

ЕЛЕНА ТРУБИНА

ГОРОД В ТЕОРИИ

библиотека
журнала

опыты
осмысления
пространства

АНТРОПОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ИСТОРИЯ

неприкосновенный
запас



БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

УДК 316.334.56
ББК 60.546.21
Т86

Издание подготовлено при финансовой поддержке
Американского совета научных сообществ (ACIS)

Редактор серии
Илья Калинин

Трубина Е.Г.

Т86 Город в теории: опыты осмысления пространства / Елена Трубина. М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 520 с.: ил.

В книге рассматриваются классические и современные теории городов — от классической чикагской школы до сложившейся в последнее десятилетие акторно-сетевой теории. Значимые идеи урбанистической теории воспроизводятся с учетом специфики постсоветских городов и тех сложностей, с которыми сталкиваются исследователи при их изучении. Книга будет интересна студентам и преподавателям, исследователям и практикам, всем, кого интересует реальность современного города и пути ее постижения.

УДК 316.334.56
ББК 60.546.21

ISSN 1815-7912
ISBN 978-5-86793-823-9

© Е.Г. Трубина, 2011
© Новое литературное обозрение, 2011

От автора

В этой книге совместились мои преподавательская и исследовательская работы — как члена нескольких междисциплинарных команд. Курс «Теории городов» читается мною в течение ряда лет. Недостатки и преимущества различных теоретических подходов рассматриваются в нем с учетом различия между классическими и неклассическими парадигмами в социально-гуманитарном знании. Свойственный последним акцент на ситуации исследователя, на его местоположенности, его интересах и предрассудках предполагает сложившиеся навыки критической рефлексии наличных теоретических подходов. Отсюда — необходимость серьезного рассмотрения доминирующих теорий, сопровождающегося их конструктивной критикой. То обстоятельство, что сами границы большинства социально-гуманитарных дисциплин в последние два десятилетия проблематизируются, предполагает довольно подробный разговор о взаимном влиянии урбанистических идей, подходов, понятий и тех тенденций, которыми отмечено развитие сопредельных областей знания. В курсе, о котором я говорю, отражены различные варианты построения теорий о городах — от масштабных теоретических повествований о развитии капитализма (невозможном без городов) до детального описания специфически местного соотношения сил в развитии того или иного города.

Самый интересный для слушателей и меня этап курса — представление студентами ментальных карт их городов. Их пу-

тешества и переживания, карьерные амбиции и экзистенциальные прозрения — многому на этих картах находится место. А совместное вникание в тексты классиков и тех, кому ими еще предстоит стать, убеждает, что город становится полем исследования для каждого горожанина. Рефлексия студентами собственного городского опыта по сравнению с иными культурными установками и ценностями приводит к усложнению их субъективного картографирования. Оно открывается не только иным пространствам и временам, их обитателям и знакам, но и более активным и критическим вариантам включенности в происходящее.

Работа в рамках междисциплинарных проектов «Баухаус Коллег» (Программа урбанистических исследований в Баухаусе-Дессау) в 2003 и 2005 годы, Международного центра культурных исследований в Вене в 2004 году, организованного Институтом Кеннана российско-американского проекта по культурному разнообразию в 2005—2007 годах, спонсированного ИНО-Центром проекта «Российские города: стратегии власти и ресурсы населения» в 2006—2008 годах обогатила многим. Она дала возможность познакомиться с разными путями исследовательской работы: от технически изощренной визуализации городских «мобильностей» до импрессионистических набросков виртуального города, от изучения современных социальных проблем как вызова для урбанистической теории до обращения в поисках вдохновения к полевым дневникам урбанистов 1930-х. Наверное, самый главный урок — сложности сравнения прошлого и настоящего, другого и своего, глобального и местного, с которыми сталкиваются и которых не боятся современные исследователи города.

Хочу поблагодарить Блэра Рубла и Беф Мичник, Мишель Рифкин-Фиш и Омера Бартова, Регину Битнер и Ину Росс (Тегел), Энтони Кинга и Тови Фенстер, Каролин Шредер и Силке Ститс, Мартину Лев и Лутца Муцнера, Светлану Бойм и Меган Диксон, Арию Розенхольм и Суви Сальменниemi, Максима Хомякова и Ирину Полякову, Марию Литовскую и Сергея Кропо-

ОТ АВТОРА

това, Александра и Глеба Лубочниковых за интересные беседы и другую, самого разного рода поддержку. Отдельная благодарность всем слушателям этого курса. Я особенно признательна Ольге Вендиной, Наталье Власовой, Виктору Дятлову, Валерию Ледяеву и Сергею Ушакину за критические замечания, высказанные по прочтении глав этой книги.

ВВЕДЕНИЕ

«Их» и «наши» города: сложности изучения

Те, для кого сегодня маршрутка — основное средство передвижения по городу, знают, что ручка ее двери находится слева, а вход в нее — справа. Тот, кто открывает дверь в час пик, рискует оказать любезность другому, более шустрому пассажиру, а сам в эту маршрутку не попасть. Нас много, мы спешим, транспорта не хватает, а тому, что есть, не хватает на дорогах места. Это — данность, так сказать инвариант. Но есть и варианты: почему в иных городах на маршрутку есть очереди, а в нашем в нее многие садятся по принципу «кто смел — тот и съел»? Ведь и у нас есть замечательные образцы самоорганизации пассажиров на маршрутах некоторых пригородных автобусов. Пенсионеры-садоводы за час приходят на остановку своего автобуса, дисциплинированно создав очередь, чтобы наверняка ехать сидя. Хронически спешащему человеку эта предусмотрительность понятна, но недоступна. Многим сегодня ближе другой опыт: защитный кокон своей машины не только гарантирует удобную позу, но и позволяет сохранять дистанцию от непредсказуемых встреч, а любимый диск в стереопроигрывателе — от навязанных звуков. Ты застрахован от неприятных запахов и недружественных прикосновений и даже можешь, остановившись на перекрестке, с любопытством оглядывать тех, кто иначе добирается до своей цели. Мотивы вроде «не добавлять выхлопов в воздух», или «не усугублять пробки», или «не лучше ли пройтись пеш-

ком» для автолюбителя остаются пустым звуком. Навсегда пересестись из автобуса в авто — это у нас обряд перехода, и сладость свободы, которую обещает машина, экологическими резонами не заглушить.

Езда на автомобиле по городу достаточно подробно описана и теми, кто ищет в ней культурные смыслы, и теми, кто занимается городским транспортом, и теми, кому важнее всевозможные моменты симбиоза между человеком и машиной, и теми, кто изучает пространственную и социальную мобильность, и теми, кто обличает эгоизм равнодушных к городской экологии людей. Представители соответствующих дисциплин — *cultural studies*, географии городского транспорта, нерепрезентативной теории, социологии и социоэкологии — нечасто обращаются к работам друг друга в силу известных законов академической и вузовской специализации, принципов финансирования исследований и, что нередко, конкуренции. Настоящий момент отмечен, однако, нарастающим пониманием того, что современная урбанистическая теория возможна только как междисциплинарная теория. Это первый принципиальный для меня момент. Соображения вроде «это не относится к социологии» не должны препятствовать исследователю города. Содержательное знакомство с самыми разными традициями и свободное от опасения быть обвиненным в эклектике их использование видится куда более продуктивным. Журналы, задающие тон в современной урбанистике, — «City», «International Journal of Urban and Regional Research», «Environment and Planning», «Urban Studies» — отмечены явной междисциплинарностью. География, антропология, теория и история культуры, экология, собственно история, право, планирование, экономика, политическая теория, социальные исследования науки и техники вступают на их страницах в самые неожиданные альянсы.

Вот почему нам нужна методологическая рефлексия той совокупности парадигм, школ, течений, теорий, что образуют урбанистические исследования, а также их места на дисцип-

линарной карте. Неслучайно даже временный доступ к информационной сети хорошего западного университета делает написание академического текста, если автор хочет себе польстить, чем-то похожим на фракталы. Обнаруживаются новые и новые разветвления мысли и влияния, контекст рассмотрения расширяется до бесконечности: Бодрийяр повлиял на Джеймисона, который повлиял на Эда Соджу (который теперь влияет на нас: по крайней мере, один из его текстов переведен, к чему я вернусь ниже). Это повседневное проявление «интертекстуальности» чрезвычайно многочисленных городских текстов, которые вступают в переключку не только в рамках упомянутой марксистско-постмодернистской традиции, но и между дисциплинами и профессиями, когда архитектура волнует кинематографистов, о которых пишут философы, критикуемые экономистами и дополняемые социальными теоретиками.

Инертность традиционного структурирования знания в нашей стране приводит к тому, что новые профессиональные практики и поля, возникшие в 1970-е годы и существенно способствовавшие институционализации гуманитарного знания в Европе и Северной Америке, сложно включаются или соединяются с уже имеющимися дисциплинами. Целый набор таких полей, которые называются «исследованиями», — гендера и расы, культуры и медиа, науки и, конечно, города — не «захватывается» существующим разделением академического труда. Рынок труда и известные всем сложности существования академической среды также препятствуют плодотворному осмыслению того, что в этих поддисциплинах или междисциплинарных образованиях происходит. Тем не менее насущен отказ от представления отношений между дисциплинами в терминах территорий и границ в пользу понимания их как горизонтальных сетей, пусть состоящих из достаточно автономных образований, отношения между которыми неравноценны и по-разному видятся их представителями, но способных к образованию новых соединений и пересечений для постижения стремительно усложняющейся городской реальности.

Одно из измерений этой реальности — город как множество сетей интенсивного социального взаимодействия. Опыт микроавтобуса — микроместа социальной интеракции — знакомит наблюдателя с эпизодами мимолетной кооперации пассажиров на предмет сбора и передачи денег... и с музыкальными пристрастиями многих шоферов (радио «Шансон», увы, лидирует). Шоферы часто говорят с акцентом, но мне нравится, как они воспитывают пассажиров — вслух или с помощью шутливых надписей над дверью. Похоже, в городе не много мест, где они могли бы быть «на месте», чувствуя себя хозяевами. Шоферы и пассажиры — студенты и служащие, молодые и не очень, разные, «неотсортированные» люди — ненадолго оказываются вместе, чтобы разъехаться затем по своим экологическим нишам — местам, где они живут, учатся, работают. Как основное средство общественного транспорта маршрутки неведомы в Западной Европе и в Северной Америке. Они объединяют наши города с городами Восточной Европы и Центральной Азии, что позволяет предложить их в качестве своеобразной эмблемы постсоветского города. Компромисс между социалистической коллективностью и капиталистической свободой ехать куда хочешь, между регулярностью совместных и видимой непредсказуемостью индивидуальных передвижений, между прозой экономической стесненности и поэзией индивидуального успеха, маршрутки — пролетарии постсоветской инфраструктуры. Правда, в Центральной и Южной Америке они воцарились гораздо раньше, чем у нас. Знать об этом полезно: не исключено, что в развитии своих городов мы «догоняем» не Париж с Лондоном, а Сан-Паулу с Мехико-Сити. И не только мы: контрасты между огороженными островками частного благополучия посреди небезопасных фавел побуждают комментаторов говорить о «бразилизации» Европы и допускать, что, может быть, и Европу ждет латиноамериканское городское будущее.

Сравнения городской жизни и городских трансформаций здесь и там, «у нас» и «у них» неизбежны, естественны и необ-

ходимы. Это второй значимый момент. У «них» есть фора: урбанистическое знание зародилось на Западе, там же пережило несколько кризисов, а сегодня, кажется, вступило в новую продуктивную фазу развития. Международное разделение исследовательского труда приводит к тому, что именно западные коллеги демонстрируют продуктивность компаративной урбанистики [см.: *Ruble*, 2001; 2005; *Ruble et al.*, 2002; *Рубл*, 2002; *Dear*, 2005]. Более близкое знакомство с иными городскими реалиями и их теоретической рефлексией позволит и нам понимать нашу ситуацию не как исключение, но как связанную с общими, нередко повсеместными тенденциями. Так, повсюду идет соревнование между регионами и городами за государственные и международные ресурсы. Опять-таки повсеместно система государственного и регионального планирования развития городов сталкивается с более требовательным населением, для «менеджмента» которого традиционные формы социального контроля необходимо дополнять новыми. Уход государства из традиционных для него сфер деятельности (строительство массового жилья, здравоохранение, образование) вовлекает в социально значимые сферы множество новых игроков. Деловые и политические интересы, связанные с контролем территорий и их экономическим развитием, рано или поздно пересекаются с тем, как люди используют городское пространство: придут ли они еще в этот торговый центр, вложат ли средства в жилье, предлагаемое по такой цене? Какой отпечаток накладывает на эти *общие* процессы то, что они происходят в Санкт-Петербурге или Москве, Смоленске или Владивостоке? Отъехав на час и на сотню километров от столицы страны (или столицы региона) в город попроще, наблюдатель, как это не раз было отмечено, снижает. Кострома или Богданович, Шеффилд или Вустер перед тобой — неважно. Важно, что почти любой из нестоличных и некрупных городов переживает как драматические перемены, связанные с процессом, скучно называемым «деиндустриализация», так и включение в классическое отношение любви — ненависти между

большими и небольшими городами (и тут слово «переживает» подходит в его буквальном смысле). Тем самым российское пространство демонстрирует два ряда противоположных тенденций, повсеместно характерных для жизни городов. С одной стороны, это экспоненциальный рост столиц и крупных городов (что особенно проявляется в Азии и Южной Америке, причем рост не только вширь, но и вверх: примечательны амбиции властей городов южноазиатских стран строить самые высокие в мире небоскребы, вроде башен Куала-Лумпура). С другой стороны, это «сжеживающиеся», «убывающие» города», население которых неуклонно сокращается в результате реструктуризации экономики. Со времен промышленной революции это две самые значительные тенденции трансформации городов.

Урбанистическая и социальная теория

Трансформации городов и посвящена эта книга. Она озаглавлена «Город в теории», но единственное число не должно ввести в заблуждение. *Urban studies* и *urban theory* — общепринятые наименования целого спектра тенденций, позиций и интерпретаций, которые стремятся сформулировать понимание городской жизни, выходящее за пределы тех конкретных обстоятельств и случаев, в которых было порождено. Академические исследования, нацеленные на понимание городов, представляют собой сравнительно молодую отрасль знания: им немногим более ста лет. В своем развитии они оказались тесно соединенными с социальной теорией.

В ходе фиксации европейской философией и социологией масштабных социальных трансформаций модерности город «синекдохически» выступает как самая «представительная» часть общества, олицетворяя и проявляя взаимосвязь индустриализации и урбанизации, отчуждения и нормализации. Так, Адам Смит еще в 1776 году говорил о городе как о воплощении происходящих в XVIII веке перемен, состоящих в нарастании

значимости производства, а не только торговли как источника «богатства нации». Разделение труда в мануфактурах вроде булавочной фабрики стало для него прообразом более масштабного разделения труда — между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством. Только в больших городах, заявлял он, возможны некоторые виды производства. Тем самым Смит одним из первых накрепко соединил осмысление урбанизации и индустриализации.

Два века спустя Макс Вебер в своем «Городе» (1921) сделает город воплощением уже не экономической, но политической сути социальной организации. Автономность города достигается через политику, что проявляет природу города как «сообщества с особыми политическими и административными институтами». Город тем самым — часть масштабного исторического процесса, в ходе которого общество создает институты, помогающие ему доминировать политически и экономически. Этот процесс Вебер называет институциональной рационализацией, а его итогом — бюрократическую администрацию. Когда они соединяются с политикой, возникает национальное государство. Так что город, по логике Вебера, становится как эмблемой общих исторических процессов территориального доминирования и государственного строительства, так и главным реальным местом, в котором эти процессы осуществляются.

Мой третий пример — Фернан Бродель с его идеей, что западные города и капитализм по сути тождественны. Бродель соединяет в своем анализе рынки, власть, производство, не забывая и про сложности выявления первичных и вторичных факторов капиталистического развития Европы и заявляя о том, что, хотя невозможно вычленить первичное и вторичное в процессах развития городов и экономического подъема, все же несомненна огромная роль городов как генераторов или утилизаторов экономического подъема. Этот образ города как независимого актора подхватит другой историк и в своем масштабном очерке урбанистической истории противопоставит

его образу города как продукта социального развития [см.: *Hobenberg*, 1990]. Однако совсем другой актор — национальное государство — надолго стал главным героем европейской истории и, соответственно, социальной теории. В то же время универсалистские притязания социальной теории XIX века были с переменным успехом проблематизированы в XX веке нарастающим интересом к *локальному* и прежде всего городскому, проявившимся не только в деятельности социологов чикагской школы — в исследовании антропологом Ллойдом Уорнером города Ньюбюри-порт («Янки-сити» в Массачусетсе) и «Миддлтауна» — Робертом Линдом, но и в разнообразных последующих работах.

Урбанистическую теорию можно с уверенностью считать частью социальной теории: у них общий язык. В то же время первая настаивает на том, что социальная жизнь в городе обладает своей спецификой. Сложности взаимодействия социальной теории и города обусловлены тем, что город — это и главное пространство, в котором происходят социальные изменения, и ключевое место, в котором социальная теория создается.

Так что, с одной стороны, нужно понимать, как связаны современный город и модерность, постмодерность, капитализм и глобализация, то есть искать соединения между масштабными социальными процессами и городскими трансформациями. Выделим три главных узла таких соединений. Во-первых, макроэкономические тенденции, такие как деиндустриализация, неолиберализм, индивидуализация и коммодификация отношений, воплощаются в таких городских процессах, как усиление пространственной сегрегации, безработица, кризис связей «по месту жительства». Во-вторых, интеграция городов в глобальную экономику с сопутствующей этому процессу деятельностью международных финансовых и торговых организаций сочетается с переменами в общегосударственной политике (такими, как реформа управления социальной сферой), что чаще всего выражается в на-

растании зависимости городов от национальных, наднациональных и глобальных сил. В-третьих, между собственно городами установились неравные отношения. Соревнование и взаимозависимость приводят к тому, что одни города оказываются в выигрыше, будучи магнитом для ресурсов, инвестиций, символической составляющей жизни, а жителям других остается лишь претерпевать положение аутсайдеров.

С другой стороны, необходимо ориентироваться в разнообразии идей, сформулированных для того, чтобы понять собственно городскую жизнь: что такое города и как они работают. Многие идеи, высказанные урбанистами, объясняют, какое вообще место города занимают в формировании пространственно-социальных процессов. Однако на них лежит отпечаток конкретных времени и места. Некоторые города, и прежде всего Чикаго и Лос-Анджелес, стали своеобразными эмблемами специфических вариантов урбанистической теории, соответственно характерных для модерности и постмодерности.

Урбанизация и урбанизм — при всей популярности и значимости их универсальных моделей — приобретают разные формы при различных социально-экономических обстоятельствах, вариантах политического контроля и типах культур. Распространенная типология включает доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные города. Другой вариант игры с приставкой «пост-» — различение социалистических и постсоциалистических городов. Еще один — противопоставление городов метрополии и городов постколониальных. Анализ разных городов часто ведется на основе экстраполяции: каково общество, таков и город, какие социально-политические отношения преобладают в той или иной стране или группе стран, такими они и будут в том или ином городе.

Осмысление городского пространства происходит, таким образом, в общих теоретических рамках, которыми исследователь вооружен. В зависимости от того, считает ли он современный социум обществом риска или обществом события, «вто-

рой модерностью» или сетевым обществом, обществом постиндустриальным или информационным, поздним капитализмом или новым капитализмом, он будет искать в городе то, что этой модели соответствует. Главная проблема, с которой мы сталкиваемся на пересечении масштабных социолого-теоретических очерков и теорий городов, — в редукции социальной сложности к новым, волнующим, но далеко не всегда реалистичным тезисам. Так, Ульрик Бек в своих последних работах о космополитизме заявляет о том, что и работа многих людей, и браки, в которые они вступают, сегодня носят международный характер. Это и так и не так: в городах Америки, его родной Германии и России мы найдем множество людей, к которым этот тезис не имеет отношения. У значительной части социальной теории достаточно короткая историческая память: два-три последних столетия, о которых идет речь в теоретических портретах модерности, второй модерности и так далее, которые рисуют сегодня Ульрик Бек, Скотт Лэш и многие другие, составляют лишь выгодный фон для того, чтобы эффектно оттенить последние и беспрецедентные изменения. Интерес к эпохальным переменам оборачивается абстрактной аргументацией и редкими примерами. Обобщения социальной теории нередко приводят к исчезновению различий между уровнями социальных образований.

Социальное название — популярное сегодня занятие, которому увлеченно предаются и урбанисты. В итоге мы читаем о городах «реальных» и «виртуальных», «городах мира» и «маленьких», «авторитарных», «тоталитарных» и «креативных», воображаемых и обыкновенных. Пестрота наименований и многообразие подходов не должны, однако, заслонять одну из главных проблем в поиске путей улучшения жизни городских обитателей: как именно мы понимаем их проблемы. Городские ли это проблемы или это общесоциальные проблемы, особенно остро проявляющиеся в городах?

«На протяжении многих десятилетий, предшествующих современному переходному периоду, развитие городов и дру-

гих городских поселений определялось прежде всего решением общегосударственных, а точнее ведомственных задач, и нередко вопреки интересам города, его жителей и окружающей среды», — читаем в недавней книге, подытоживающей деятельность научной школы региональной и муниципальной экономики [см.: *Любовный*, 2007: 41]. Эта оценка столь же справедлива, сколь и хорошо знакома: сетования на тотальное огосударствление жизни при социализме составляют общее место ретроспективных рефлексий уже много лет. Подчинение городов территориальным государствам представляет собой самую важную географическую характеристику модерности. Но отношения городов и государств — в силу разделения труда между политическими дисциплинами (ответственными за государство) и социологическими дисциплинами (изучающими, среди прочего, городские сообщества) — предметом самостоятельного рассмотрения у нас не стали. Системы городов в рамках государства были осмыслены в 1960—1980-е годы как географическое проявление национальных экономик. Отношения между городами одновременно мыслились как отношения внутри государства, так что государство и было вместилищем городов.

Очевидна необходимость перейти от осмысления социальных процессов как протекающих в замкнутых пространствах, будь это национальное государство или город, к их пониманию как совокупности пространственных отношений, то есть от «контейнерного» мышления перейти к реляционному. Примеры такого мышления мы находим в трудах социологов [см.: *Blokland*, 2003], географов и представителей междисциплинарного знания [см.: *Massey et al.*, 1999; *Massey*, 2004; 2005; *Pile*, 2005; *Smith*, 2001]. Можно выделить как минимум четыре главных направления «реляционной» работы:

- 1) понимание города как совокупности пересекающихся сетей;
- 2) поиск в нем специфических соединений человеческих, природных и технических «агентов»;

3) переосмысление диалектики близкого и далекого, прежде всего с точки зрения разнообразных транснациональных связей, виртуальных сетей, корпоративных сетей и цепей поставки товаров;

4) интерес к «невидимой» инфраструктуре городской жизни — от материальной оснастки повседневной жизни, такой как водопровод, широкополосные сети и так далее, до «призраков» прошлого, участвующих в настоящем посредством воспоминаний, страхов, ритуалов, травматических переживаний.

Как справедливо пишет Александр Филиппов: «Анализ сетей и потоков представляется весьма перспективным, однако пока трудно сказать, можно ли во всех случаях практически отказаться от метафоры пространства-контейнера» [Филиппов, 2008: 265]. Разбиение земного пространства на единицы, удобные для анализа, понимания и управления, старо как мир. Структурирование территории на основе ограниченных пространств, точки входа в которые и (выхода из них) людей, вещей и информации контролируются, продолжает демонстрировать свою эффективность. Свежий пример — судьба закона «О местном самоуправлении» в России. Станут ли малые города самостоятельными единицами местного самоуправления — неизвестно, потому что районные власти сами хотят регулировать поступление ресурсов и распоряжаться землей, создавая из малых городов и деревень, отстоящих друг от друга на десятки километров, городские округа. В литературе еще долго, вероятно, будут сосуществовать район, город, местность, регион, национальное государство, континент и, наконец, весь мир. Представления об их соотношении, сложившиеся в период модерности, — *иерархические*: одно *входит* в другое по принципу матрешки. Сегодня они трансформируются, проявляясь, к примеру, в представлениях о глобализации, которая мыслится как масштабная сила, по нисходящей влияющая на континенты, регионы, страны, города, местности и индивидов. Логика, согласно которой должна существовать некая всеобъемлющая «структура», влияющая на происходящее, сохраняет-

ся, только масштаб этой структуры существенно увеличивается, разрастаясь от национального государства к глобальному миру. Хотя картина мира как набора ограниченных территорий все слабее сочетается с пониманием мировой истории и географии именно как сети взаимодействий, для которых границы часто не имеют значения, представление о городах как территориальных образованиях еще, вероятно, долго будет сочетаться с мышлением о них в качестве сетей отношений. Вместе с тем будет нарастать осознание исследователями того факта, что в этой сети отношений те, что основаны на пространственной близости участников, не всегда являются привилегированными.

Как ни велика инерция мышления политиков и администраторов в терминах замкнутых территорий, связи между диаспорами, людьми и товарами, электронные сети, усиление миграции делают территориальность лишь одним из возможных принципов понимания современных городов. Отношения между капиталом и государством, социальным воспроизводством и социальным контролем сильно изменились. Последствия этой только разворачивающейся тенденции особенно очевидны в изменении шкалы социальных процессов и отношений, в итоге чего создается новое сочетание масштабов, так что вместо привычного сочетания (сообщество — город — регион — нация — мир) приходит что-то иное. И между городом и миром, то есть урбанистическими и глобальными тенденциями, складывается сегодня специфическое пересечение. При этом пока соответствующий дискурс, прославляющий сетевую и реляционную организацию городов, все же живет своей жизнью. Частые ссылки на такие понятия, как «транснациональные потоки», «гибкость», «мобильность», «сети», все же недостаточно эмпирически и интеллектуально обоснованы, чтобы на их базе можно было уверенно предлагать решения для накапливающихся проблем.

Другой круг проблем связан со сложностями теоретической фиксации «постсоветского» в наших больших и малых горо-

дах. Нас сегодня не столь интересует сущность города, или сущность урбанизма вообще (если вспомнить название знаменитой работы Луиса Уирта «Урбанизм как образ жизни»), или сущность социалистического или постсоциалистического города. Куда сильнее интерес к эфемерным и произвольным, даже хаотическим сторонам современной жизни. Этот интерес только город и может удовлетворить. Место пересекающихся потоков, место взаимодействия материального богатства и богатства сенсорных стимулов и импульсов, место рождения новых культурных форм, социальных практик, повседневных ритмов — «наш» город привлекает нас именно в этом качестве, побуждая не забывать и о все новых изводах социального неравенства. Города как магниты для инвестиций, города, в которых велико число торговых центров, города как пространства «спектакля», города, в которых «отцы» образуют причудливые альянсы с девелоперами и банкирами, — такого рода трансформацию наши города претерпевают одновременно с множеством других. При этом сужаются возможности спонтанного поведения и сокращаются пространства свободы, а экономика сервиса и туризма, на которую такие надежды возлагают власти многих городов, базируется на нестабильной занятости и часто низкооплачиваемых услугах бесчисленных менеджеров по продажам, охранников, официантов, строителей, швей и поваров.

В то же время именно «неодновременность» (Эрнст Блох) составляет одну из главных характеристик постсоветскости в том смысле, что в присущих ей социальных отношениях сосуществуют различные темпоральности: если мотивом одних вариантов твоего поведения может стать архаический страх наказания, а другие продиктованы современной максимой «время — деньги», то третьи связывают тебя с десятками современников тем, что вам нравится одновременно принадлежать к нескольким сетям — исследовательским, дружеским, «по интересам», которые сегодня есть, а завтра могут и исчезнуть,

сменившись новыми. То же, что важно, относится и к вещественным параметрам городского существования. Возвращаясь к примеру с маршруткой, можно сказать, что в ней произвольно сочетаются технические и социальные изобретения, возникшие в самые разные времена: колесо изобретено в неолите, циклу Карно двести лет, конвейерная сборка вошла в нашу жизнь в 20-е годы прошлого столетия, что-то добавилось полвека назад, а что-то — лишь десять лет назад. Что же тогда делает маршрутку современной? Как замечает Мишель Серр, «каждая историческая эра — мультитемпоральна, она одновременно опирается на устаревшее, современное и футуристское» [см.: *Serres, Latour*, 1995: 60]. Поэтому данные объект или ситуация — «полихронны», мультитемпоральны и раскрывают время, собранное «из многих складок». «Из многих складок» собраны и язык, и понятия, используемые нами для описания городской современности.

Не случайно столь широк круг проблем, связанных с урбанистической эпистемологией [об этом см.: *Ethington*, 2001; *Schwartz*, 1998, 2001]. Когда перед нами такое сложное образование, как город, как к нему подступиться? Что за объект будет зафиксирован в описаниях и теоретических объяснениях? Допускаем ли мы, что город представляет собой объективную реальность, которая может быть безошибочно проанализирована с помощью строгих методов? Или, проникшись уроками культурного релятивизма, отдаем себе отчет в том, что наши слова о городе, от имени какой бы дисциплины они ни произносились, лишь одни из множества возможных? Какими тропами мы пользуемся и почему предпочитаем именно эти? Кому будут интересны и нужны полученные результаты? Наконец, если мы работаем со «случаями», насколько обобщения, сделанные в отношении практик и репрезентаций *данного* города, распространяемы и значимы за его пределами? Кому принадлежит привилегия в знании о городе? А если мы скажем «знание города», то чья *это* привилегия?

Со страниц ранних классических урбанистических текстов возникает фигура исследователя-одиночки, и сила этого впечатления подкрепляется описанными в этих текстах Зиммелем и Беньямином образами горожан — прагматичных, равнодушных к окружающим, визуально их потребляющих, не вникая в их резоны. В то же время значительное число теоретических моделей порождено исследовательскими коллективами урбанистов. Работающие в одном университете и живущие в одном городе (как представители чикагской школы) или представляющие разные вузы и разные города (как представители лос-анджелесской школы), исследователи городов сам характер своих коллективов, сетей, политической ангажированности делают значимым компонентом урбанистики.

Только на протяжении второй половины XX века в урбанистике сложились как минимум три подхода: научно-количественный, изучавший с 1960-х годов природу индустриального города, продолжая традиции чикагской школы; возникшая в 1970-е годы урбанистическая политическая экономия, нацеленная на общее изучение связи города и капитализма, и появившаяся в 1980-е годы постмодернистская урбанистика, осмыслившая постиндустриальные города на примере прежде всего Лос-Анджелеса [см.: *Dear*, 2005]. С другой стороны, мир серьезно меняется, что требует новых усилий воображения. Требуется новых вопросов, которые позволят увидеть те его стороны, которые до сих пор ускользали от теоретического внимания. Неслучайно наше время — время множества теорий, время осознания того, что ни одна теория (или даже их сочетание) не способна охватить происходящее. Как пишут Н. Трифт и А. Амин: «Создание теорий — это гибридный набор проверяемых предположений и возможных объяснений, почерпнутых из зондирования мира и его ответов, и попыток абстракции... Как таковой, этот набор всегда неполон, всегда совершенствуется и всегда пронизан непоследовательностью» [*Amin, Thrift*, 2005: 224—225].

Объект исследования по месту жительства и в путешествии: немного о российской урбанистике

Многие, наверное, помнят серию «социальных» рекламных телевизионных роликов начала 1990-х. Нонна Мордюкова и Римма Маркова в оранжевых жилетках работниц железной дороги. Александр Збруев и Анастасия Вертинская — смертельно рассорившиеся «новые русские». Длинноволосая девушка в короткой джинсовой курточке спешит на встречу с любимым, зацепившись зонтом за решетку последнего троллейбуса, за рулем которого — Олег Ефремов. «Это мой город» — гласило послание этой рекламы, выражая не иссякшую еще тогда энергию социальных ожиданий, исходящую от деятелей культурной индустрии и не вызывающую столь сильных, как сегодня, ассоциаций с очередной политической кампанией.

«Это мой город» — могут сказать и те, кто о городе пишут: Владимир Абашев [см.: 2000; 2005] о Перми; Светлана Бойм [см.: 2002], Александр Ваксер [см.: 2006], Соломон Волков [см.: 2005], Ингрид Освальд и Виктор Воронков [см.: 2004], Григорий Каганов [см.: 2004], Владимир Топоров [см.: 2003] и другие — о Санкт-Петербурге; Виктор Дятлов [см.: 2000] и Сергей Медведев [см.: 1996] — об Иркутске; Мария Литовская и Сергей Кропотов [см.: 2008], Николай Корепанов и Владимир Блинов [см.: 2005] — о Екатеринбурге; А.В. Ремизов [см.: 1998] и А.П. Толочко [см.: *Очерки...*, 1997] — об Омске; Т.Л. Фокина [см.: 2001] — о Саратове; Григорий Ревзин [см.: 2002], Ольга Трущенко [см.: 1995], Алексей Митрофанов [см.: 2005; 2006; 2007; 2008], Нина Молева [см.: 2008] и Ольга Вендина [см.: 2005] — о Москве. «Право на город» — понятие, введенное Анри Лефевром, — часто используется, когда урбанистические исследования хотят наделить нормативным измерением. Своеобразным правом исследовать город и писать о нем обладают те, кто в нем живет.

Города и прилегающие к ним территории давно стали предметом исследования российского академического сообщества,

часто объединяя в себе *объект* и *место* проведения исследования. Изучать социальные и культурные процессы «по месту жительства» — удобно, дешево, сулит хоть какую-то социальную пользу и нередко имеет личный смысл. От «хоздоговорных» исследований, проводимых в годы застоя на соседних с вузами комбинатах и заводах, до академического краеведения и истории городов, издавна популярных у историков и филологов; от анализа политических предпочтений избирателей до попыток участия в кампаниях по маркетингу города (преобладающие сегодня варианты) — тематический спектр описаний городов может быть весьма различным, но, повторимся, часто изучается «свое», «местное». Отличаются и эмоциональная тональность, и, так сказать, нравственная окликнутость городских штудий: если в описаниях, продуцируемых политтехнологами, как правило, царит цинизм *realpolitik*, то на гуманитарном полюсе преобладают созерцательность и ностальгия. Эпистемологические и политические связи исследователей с родным городом могут быть различными: от прагматичного сотрудничества с обладающими ресурсами инстанциями, не предполагающего какой-либо эмоциональной и личностной вовлеченности в поставляемое знание, до искренних реформаторских интенций. Авторитетность полученных результатов чаще всего базируется на репрезентативной выборке, но и качественные исследования становятся все более популярными. Стали превалировать антропологические истоки авторитетности производимых текстов: «Я здесь, среди них, живу (жил)».

Рефлексия исследовательского зрения (что авторы ищут, на что именно смотрят) находит в текстах все более эксплицитное выражение — наряду с тем, как различающиеся истории и проблемы самих авторов отражаются в разнообразных историях мест. Превалирующей темой здесь остаются провинция и провинциальность, осмысление которых в последнее десятилетие также претерпевает интересную эволюцию: от традиционного компенсаторно-абстрактного воспевания чистоты и бескорыстия провинциальной души и патриархальности про-

винциальной культуры к «насыщенным описаниям» и экономическому анализу.

Так, масштабный проект не только по изучению деятельности городских сообществ, но и по стимулированию их активности осуществлен в начале 2000-х годов командой самого известного российского урбаниста Вячеслава Глазычева в 200 малых городах [Глазычев, 2005]. Задачи решались разные, включая и курьезные, но столь знакомые всем нам: «Я работал с маленьким кусочком славного Владимира, прямо за Золотыми воротами, где узкие улочки веером спускаются к Клязьме, и имел там дело с лестницей, которая в течение трех лет имела одну непочиненную ступеньку. Эта лестница спускается к вокзалу, и поэтому там не одна нога была сломана. Но понадобилось внешнее включение, понадобилось, чтобы мы провели там сложный семинар со всякой активизацией народа, чтобы приколотить одну доску на место на этой лестнице» [Глазычев, 2004].

Интересно, однако, что иерархическое распределение российских городов и весей по некой ценностной шкале упорно воспроизводится и в новейших штудиях провинциальности. Приведем пример, почерпнутый из предисловия редактора к недавнему тематическому номеру «Отечественных записок»: «Провинция может быть бедна, стагнирована, голодна, находится в бесконечной удаленности от полезных ископаемых, университетов, заводов и пароходов. Но все равно безошибочно узнаваема — по неизгоняемому духу русской литературы, по левитановской прелести пейзажей, по выживающим из последних сил и всегда полным театрам, по чудом сохранившимся библиотекам и любовно лелеемым краеведческим музеям. По застенчивой гордости провинциалов, по тому, что жизнь в ней продолжается своим тихим стоическим чередом <...> Торжок — провинция, Челябинск — нет. Недоказуемо, но совершенно понятно» [Отечественные записки. 2007. № 3].

Бедный Челябинск! Единственный, кажется, символический ресурс, к которому его гуманитарная публика могла обосно-

ванно прибегать, изъят по той, вероятно, причине, что город считается чересчур «советским». То, что в городе уцелели островки конструктивизма, то, что интерьеры некоторых зданий украшены кружевом каслинского литья, то, что соцгородок и озеро Первое — замечательные свидетели уже ушедшей эпохи, — все это, похоже, не вписывается в схему поэтизированной провинциальности, с ее упорством высокой культуры и якобы не пустеющими краеведческими музеями. Неслучайно на урбанистических конференциях часто возникают коллизии между «хорошими местными» и «плохими приезжими», происходящие из неявно разделяемой многими предпосылки: проживание в данном городе, знание изнутри его реалий делает местного исследователя заведомо более надежным авторитетом. Надежность его экспертизы неотделима от повседневности, в которую он погружен. Другим истоком этого устойчиво воспроизводящегося стереотипа является принцип значимости *доверия* для функционирования научных сетей: многое в них издавна строится на свидетельствах из первых рук — тех, кто наблюдал эти процессы, присутствовал при этом событии, собрал эти воспоминания.

Конкретная местность влияет на организацию научных исследований, предопределяет то, насколько велики шансы их популяризовать, и то, откуда будет почерпнута их авторитетность. Разнообразие научных практик, в принципе возможных сегодня, однако же ограничивается конкретными траекториями научной социализации, существующим международным и внутренним разделением научного труда, капризами финансирования. Различающиеся от места к месту типы культурного и социального взаимодействия предопределяют и то, как взаимодействуют знания, произведенные в разных местах.

«Производители» урбанистического знания находятся в сложных отношениях с теми, в чьих профессиональных услугах город и горожане нуждаются, — архитекторами и планировщиками, ландшафтными дизайнерами и дизайнерами интерьеров, специалистами по PR и маркетингу. В данном случае

это экономические интересы клиентов — будь это состоятельные люди или городские администрации — определяют, каков будет производимый продукт. Практические профессии и дисциплины поэтому больше связаны с переговорами по поводу бюджета проекта, торгом, манипуляцией вкусами и предпочтениями заказчика, политическими обстоятельствами. Те же, кто размышляет над эстетическими достоинствами созданного в городе или вычленяет его социальные смыслы, свободны преследовать свои субъективные интересы и высказывать индивидуальные оценки, рискуя не найти на них спроса.

Кто же является адресатом местно производимого социально-гуманитарного знания о городе? Это сложный вопрос. Глобализация усилила интерес к другим, часто экзотическим местам, но нередко оказывается, что, поездив и посмотрев (и, возможно, убедившись, что в коммерческом туризме маркетинг мест активно опирается на «легенды и мифы»), горожане свежим взглядом, «туристски» смотрят и на близлежащую территорию. Носители социально-гуманитарного знания способствуют тому, чтобы она была должным образом «упакована» для местного туризма. Чиновники городских администраций и областных организаций, мечтающие продвинуть подведомственную территорию вверх по шкале федеральной значимости, тоже составляют часть такой аудитории. Но если представить невозможное, а именно что городская администрация оплачивает исследования города, не связанные с грядущими выборами, то сложность, которая подстерегает покупателей, заключается в том, что им предстоит делать выводы из заключений ученых, не зная теоретического контекста, в котором эти заключения только и имеют смысл. Востребованность произведенного знания зависит от того, можно ли результаты анализа одного города использовать для понимания другого. Для тех, кто имеет дело с советскими и постсоветскими городами, это еще и проблема «интересности» того, чем мы занимаемся, друг для друга и в более широком — социальном, международном и прагматически-коммерческом — контексте.

Рассмотрим кратко два варианта позиционирования исследователями себя в отношении к городу и к «другим». «Исследователь» *vis-a-vis* «турист», «житель» и «фланер» — такой набор возможных позиций по отношению к городу предлагают О. Запорожец и Е. Лавринец, скептически подчеркивая в отношении «классической» исследовательской позиции следующее: «Исследователь ловит город в свои сети, предопределяя результаты своего исследования заранее обозначенными позициями, городу же остается только поместиться в прокрустово ложе схем и ловушек. Чтобы понять город во всем его разнообразии, исследователю якобы необходимо вновь и вновь повторять свои опыты, выявляя основы образующей их социальности, поэтому идеальной исследовательской ситуацией становится длительное пребывание в городе» [см.: *Запорожец, Лавринец*, 2006: 10—11].

Обратим внимание на слово «якобы» в последней фразе. Исследователь, за плечами которого опыт полевого исследования, пусть кратковременный, с его бесконечными поисками, а затем уговорами несговорчивых информантов, вслушивание в тексты интервью и муки укладывания пестрой полученной информации в связный нарратив, прочтет ее не без возмущения. По словам одного антрополога: «Я должен так исследование провести, чтобы всякий приехавший сюда же после меня получил бы примерно те же результаты»¹. В этих словах — ответственность за свое «поле», за жителей города, с которыми ты говорил, нередко на болезненные темы, но еще и сознание того, что ты включен в научные сети, что твои данные и их анализ могут быть сопоставлены с аналогичными. Блокирующие широту исследовательского взгляда «сети», о которых толкуют авторы (под чем, вероятно, понимается совокупность рабочих понятий), возникают и корректируются в результате его включенности в исследовательские сообщества. С моей точки зрения, это очень и очень важный момент, связанный с

¹ С. Ушакин, личная переписка с автором, 14.07.2006.

проблемой места, в котором продуцируется урбанистическое знание. Между тем авторы статьи, ратуя — вместе с британскими географами Найджелом Трифтом и Ашем Амином — за необходимость потеряться в городе как основу более плодотворной стратегии его понимания, убеждены: «Одиночество исследователя — одно из ключевых оснований потерянности». Не уверена, что это единственно продуктивная позиция, и вот почему.

Урбанист — одиночка, гуляющий по городу и переживающий, достаточно ли он открыт новому опыту, — фигура столь же соблазнительная, сколь и нереальная. Такой же нереальной фигурой в воображении большинства людей, когда речь заходит о науке как образцовом знании, является «очищенный» для бескорыстного поиска истины одинокий исследователь. Социальный конструктивизм убедительно показал важность внутринаучной коммуникации: встреч, разговоров, публикаций и их критического обсуждения, переписки, где уточняются гипотезы и оттачиваются идеи. Вот почему урбанист, как и любой другой современный исследователь, много времени проводит за e-mail. Более того, вряд ли наш потерявшийся исследователь — фрилансер, скорее он служит в вузе или исследовательском институте и вместе с коллегами вовлечен в самое важное сегодня дело — дело получения финансирования. А раз оно зависит от того, твоя идея или идея твоего конкурента будет поддержана, ищи союзников. И чем твои союзники влиятельнее, чем неотразимее их репутация, тем более велики твои шансы на продолжение научного поиска. Социальный капитал ученого соединяется с местными материальными ресурсами и обстоятельствами, в которых знание производится. Мастерство описаний неотделимо от психологической искушенности и коммуникативной компетентности. Место, с которого ты смотришь и вникаешь в городскую реальность, соединяется с инструментами, которыми ты располагаешь, группами, которым принадлежишь, практиками, в которых участвуешь, сетями, в которые вовлечен.

Один из социальных конструктивистов — Барри Барнс — подчеркивает, что «реальность без протестов стерпит альтернативные описания. Мы о ней что угодно можем сказать, и она не будет спорить» [Barnes, 1994: 31]. Городская реальность, с ее бесконечно сложным сплетением камней, подземных труб, проводов, транспорта и хрупких человеческих тел, каждое из которых жаждет тепла и простора, амбиций власти и личных амбиций горожан, — эта реальность города, с ее нередкой неразличимостью материального и символического, просто создана для альтернативных описаний. Может показаться, что смысл суждения Барнса в том, что городу нет дела до того, что мы о нем скажем. Да-да: мэру есть дело, деятелям культурной индустрии, возможно, тоже, а городу — этому симбиозу людей и вещей, который существовал, когда мы в этот мир пришли, и, дай бог, продолжит существование после нашего ухода, — городу-то дела нет. И тем не менее это Париж, а не Москва был назван столицей XIX века, это Санкт-Петербург, а не Хельсинки лег в основу огромного интертекста, это в Чикаго, а не в Сиэтле сложилась городская социология, это Лос-Анджелес, а не Екатеринбург породил традицию литературного, кинематографического, а теперь и интеллектуального «нуара» — мрачно-апокалиптических описаний настоящего и будущего. Почему одни названия и описания «прилипают», а у других нет ровно никаких шансов поразить своей точностью кого-то, кроме их автора?

Тут нам нужно присмотреться к тому, как действует «социальность», скептически упомянутая авторами статьи. Она, как всем известно, строится на *общем* использовании языка, и это ее изменения приводят к складыванию неповторимых комбинаций харизматических субъективностей, возможных социальных ролей, новых городских практик, богатых ресурсами экономических и социальных институтов, в ходе которых возникают доминирующие описания и модели города. И, возникнув, они обретают влияние, сопоставимое с силой материальных процессов, поскольку в конечном счете воплощаются

в том, какие здания строятся, какие люди и где предпочитают жить, сколько в город приезжает туристов и прочее.

Противопоставление туриста и исследователя неизбежно возникает во многих научных текстах, и ирония в отношении исследователя объяснима: не лишенному рефлексии человеку понятно, сколь шатки основания его деятельности, сколь уязвим его статус. О. Запорожец и Е. Лавринец остроумно пишут о том, что вконец «потерявшийся» исследователь рискует уподобиться городскому сумасшедшему. А. Космарский включает в эту игру, заявляя, что его позиция — позиция «ученого как туриста: от ученого берется презрение к необходимости утверждать аутентичность/героичность собственного опыта *там* ярким стилем и увлекательными историями; от туриста — отказ от вескости, авторитетности, объективности суждений “знатока предмета”» [Космарский, 2006: 22].

Исследователь «бродил по городу один», не забывая при этом, однако, как явствует из текста, о том, в качестве члена каких сетей он будет описывать увиденное, какой язык придаст убедительность его наблюдениям. Феноменологический же пафос статьи Запорожец и Лавринец связан, как мне кажется, с их критическим отношением к «институциональной» парадигме (рассмотрению города как системы институтов). Но не получается ли так, что поиск альтернативной, не связанной с институтами позиции бессознательно переключает внимание исследователя на самого себя: он видится себе «праздным», не чурающимся того, чтобы пройтись иногда вместе с «аборигенами», но чаще сосредоточенным на собственных чувствах и переживаниях?

Я не собираюсь — в постколониальном духе — обижаться за «аборигенов». И не намерена — в марксистском духе — пенять этим авторам за увлеченность «праздностью». Мне, однако, кажется, что их текст симптоматичен для достаточно избирательной рецепции западной современной урбанистической теории, которая обозначилась у нас. К примеру, ни один выпуск журнала «Логос» не имел, наверное, столь широкой аудитории, как тот, что был посвящен городам (2002. № 3—4). Если

бы индекс цитирования гуманитарных журналов в нашей стране определялся, в данном случае он наверняка бы зашкалил. А если бы определялся индекс цитирования статей, то английские культурные географы Найджел Трифт и Аш Амин победили бы в этом соревновании немецкого теоретика начала XX века Георга Зиммеля — по бессмертному принципу «Свежее — значит лучшее». Я хотела бы сделать три замечания на этот счет.

Во-первых, Трифт и Амин заслуженно привлекают читателя поразительной теоретической свободой и способностью зафиксировать самые эфемерные, самые трудносхватываемые нюансы сегодняшних теории и методологии. Но они же — одни из самых ярких представителей британской культурной географии, которая неслучайно именуется в литературе «левой», «прогрессивной» и «критической» и главным достижением которой они сами считают не просто «постоянное брожение идей» (что, в общем, согласуется с их призывом испробовать на себе позицию потерявшегося человека), но «приверженность к такому использованию этих идей, чтобы добиться политических изменений во всех вариантах политики и борьбы и вообще к попыткам изменить политическое воображаемое» [Amin, Thrift, 2005: 112]. Понятно, что они здесь отсылают читателя к возможности по-разному понимать политику и политическое. Если понимать политику в ключе упомянутой выше «институциональной парадигмы», то она вся сведется к властным иерархиям, к социальному верху, «центру» и так далее. В таком случае естественной реакцией нормального интеллигентного человека становится «держаться подальше» и сознательно делаться «потерявшимся» аутсайдером, потому что ничего хорошего от (так понимаемой) политики ждать нельзя. Но если всерьез продумать иную линию понимания политики, представленную, к примеру, рассуждениями Ханны Арендт об инаковости, то получается, что те практики, которыми заняты «аборигены», в группах и по отдельности, могут нести в себе проявления политики в ином смысле: ис-

пользования своей власти, чтобы что-то изменить в своем жизненном мире. Вопреки карикатурному образу непримиримого левака, Трифт и Амин настаивают: «В конце концов, условие того, что ты участвуешь в политике, — способность знать, когда идти на компромисс, когда возможно чего-то добиться, а когда необходимы тактические отступления» [*Ibid.*: 114]. Эстетические измерения городского существования важны и интересны, но самыми важными вопросами о том, как распределяются в городе ресурсы, кто принимает эти решения, как эти решения сказываются на индивидуальном существовании и, главное, как индивиды отвечают на эти решения, при всей их кажущейся скучности, «потерявшийся» исследователь вряд ли задастся. Удерживать в поле зрения связь интеллектуальной работы и политики можно только при условии, что для нас существует реальный материальный мир во всей его фактичности, которая предшествует нашим мыслям, определяет их и часто им сопротивляется.

Второй момент состоит в сложностях рефлексии отечественного городского опыта и размещении его, так сказать, на карте урбанистики. Возвращаясь к Трифту и Амину, вспомним, что в той книге, откуда взята переведенная журналом глава, они подчеркивают, что имели в виду именно «северные города», когда писали свою книгу. Это знаменитые, благополучные, богатые западные города имеют в виду авторы, побуждая нас снова и снова продумывать вопрос об универсализуемости урбанистических выкладок, то есть о приложимости теоретических штудий, написанных «в виду» одной городской реальности, к реальности несколько иной. Иначе говоря, здесь возникает вопрос об отношениях между разными городами, и вопрос этот связан с пространственной политикой научного исследования. Эта политика включает в себя и то, что на воображаемой карте, определяющей работу специалистов в одной стране, «их» города могут занимать совсем иное место, нежели в работах «северных» коллег. Можно привести несколько примеров. Так, мало кто из пишущих про глобальные города

включает в этот список Москву, хотя в осмыслении образа города российскими авторами «глобальность» (часто в сочетании с космополитизмом) встречается нередко. В ряде недавно изданных монографий российские города фигурируют в постколониальном контексте, то есть разбираются в компании с Сан-Паулу и Иоханнесбургом, а отнюдь не Лондоном и Парижем. Комментаторы единодушны в том, что проект «Пассажи» не был бы столь глубок, не будь у Беньямина за плечами «другого» опыта. Однако именно его анализ Берлина и Парижа (а не Неаполя или Москвы) взят за основу многими сегодняшними авторами (в том числе Амином и Трифтом). «Накладывая» их методологические инсайты на наши реалии, сколь многие из нас готовы допустить, что отечественный городской опыт продолжает для значительной части западных наблюдателей оставаться сугубо *другим* (и интересен только в этом качестве)?

Наконец, третий момент, связанный с рецепцией текстов географов. Автор опубликованного в другом номере «Логоса» выборочного перевода главы из книги Эда Соджи «Постметрополис» простодушно заявляет, что купюрам подверглись политические «злободневности», а вот «философия городского пространства» была сохранена (см.: Логос. 2003. № 6: 133). В тексте перевода, состоящем из выражений вроде «новая этериялизация географии», «дефиницирование» и даже «эксцентричный космический профет», трудно узнать изначальный замысел Соджи — дать очерк преобладающих сегодня вариантов — «дискурсов» осмысления пространства и трудно усмотреть основы специфической философии пространства самого автора (кроме, может быть, той очевидной идеи, что воображаемое и реальное в сегодняшнем понимании пространства неразличимы). В тексте перевода распылен по сноскам и список ключевых для лос-анджелесского мыслителя текстов, в которых, с его точки зрения, представлены основные линии географической, или пространственной, как он предпочитает выражаться, мысли. С моей точки зрения, все это симптоматично для нарастающего сегодня равнодушия к контексту, в котором

рождаются те или иные идеи, что выражается в предпочтении «краткого содержания предыдущей серии» без утомительного обращения к первоисточникам (далеко не всегда, кстати, доступным). Вызов, с которым сталкиваются урбанисты в нашей стране, заключается в том, что существенные моменты развития западной урбанистической теории получили весьма слабое отражение в нашей литературе. Неизбежная эклектичность существующего сегодня городского знания еще более осложняет ситуацию становящегося в России и чрезвычайно разобщенного сообщества урбанистов. Необходимость «догонять» западных коллег по объему освоенных понятий и аналитических приемов соединяется с пониманием того, что многие из этих понятий и приемов проблематизируются процессами вроде убывания одних городов или стремительного роста других. Изменения в физической и социальной структуре современного города привели к складыванию нового типа городской агломерации, ставящей под вопрос традиционную форму, «концепт» и границы города. Теория всегда отстает от разворачивающихся на наших глазах изменений.

Вскакивать ли опять в последний вагон уходящего поезда, воспевая «прецессию симулякров» в родных осинах, или попытаться найти в разнообразии школ и подходов такие, которые открывают возможность критического анализа происходящего или хотя бы интересно теоретически обрамленных насыщенных описаний, — это серьезный выбор.

Задачи и план книги

В книге суммируются ключевые идеи урбанистической теории. Работ, написанных по урбанистике, очень много, так что моя «сумма» неизбежно субъективна и неполна. Я подробнее рассматривала те идеи, которые кажутся мне особенно полезными для рассмотрения тех или иных сторон жизни города, особенно в нашем, российском контексте. Способы, какими

социологи, философы, географы, урбанисты, планировщики, специалисты в области культурных исследований, теоретики политики, а также те, кто не озабочен тем, по какому дисциплинарному ведомству проходит, осмысливают города, — разнообразны и далеко не всегда согласуются друг с другом.

Книга организована тематически, хотя хронологию развития тех или иных идей, влияний и тенденций я тоже имела в виду. В первой и второй главах я выделяю главные идеи, которые легли в основу модернистской (классической) и постмодернистской (неклассической) урбанистической теории. В них я не только обращаюсь к работам тех мыслителей, что оказали, мне кажется, серьезное влияние на целые поколения исследователей, но и пытаюсь ответить на вопрос, какие модели понимания городов сложились в прошлом — далеком и совсем близком — и каким образом они сохранили свою значимость сегодня. Все последующие главы рассматривают альтернативные способы осмысления городов, фокусируясь на экологических, экономических, глобализационных, политических, связанных с разного рода различиями и повседневных измерениях городской жизни. Важно иметь в виду, что за редким исключением сегодняшние авторы не задаются целью построить всеобъясняющую и универсальную урбанистическую теорию. В заключительной главе «Будущее городов» я как раз это и подчеркиваю, опираясь на немногие имеющиеся попытки спрогнозировать как будущее городов, так и будущее урбанистики.

Абашев В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000.

Абашев В., Масальцева Т., Фирсова А., Шестакова А. В поисках Юртына. Литературные прогулки по Перми. Пермь: ИПК «Звезда», 2005.

Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. М.: НЛО, 2002.

Ваксер А.З. Ленинград послевоенный. 1945—1982 годы. СПб.: ОСТРОВ, 2006.

Вендина О. Мигранты в Москве: грозит ли российской столице этническая сегрегация? // Миграционная ситуация в регионах России. Вып. 3. М.: Центр миграцион. исслед. Ин-та географии РАН, 2005.

Волков С. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. М.: Эксмо, 2005.

Глазычев В. Глубинная Россия наших дней: Публичная лекция, прочитанная в клубе «Bilingua» 16 сентября 2004 г. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://www.polit.ru/lectures/2004/09/21/glaz.html>

Глазычев В. Глубинная Россия: 2000—2002. М.: Новое издательство, 2005.

Дятлов В. Современные торговые меньшинства: фактор стабильности или конфликта? (Китайцы и кавказцы в Иркутске). М.: Наталис, 2000.

Запорожец О., Лавринцев Е. Прятки, городки и другие исследовательские игры: urban studies в поисках точки опоры // *Communitas*. 2006. № 1.

Каганов Г. Санкт-Петербург: Образы пространства. М.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004.

Корепанов Н., Блинов В. Город посредине России. Екатеринбург: Сократ, 2005.

Космарский А. Исследователь в городе: от всевластия взгляда к столкновению с Другим // *Communitas*. 2006. № 1.

Литовская МА, Кропотов С.Л. Ревитализация утопического в урбанистическом пространстве: случай Екатеринбурга-Свердловска // *Oboz. Problemy Naradow Bytego Obozu Kommunisticheskogo*. 2007. Т. 2. № 17. S. 124—136.

Литовская МА, Кропотов С.Л. Second-hand «стиль Европы»: Европейское в жизни азиатского города // *Границы: Альманах Центра этнических и национальных исследований Иван. гос. ун-та*. Вып. 2. Визуализация нации. Иваново: Изд-во Иван. гос. ун-та, 2008.

Любовный В.Я. Динамизм роли городов в социально-экономической и пространственной организации общества // *Пространственная организация общества*. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2007.

Медведев С. Иркутск на почтовых открытках. М.: Галарт, 1996.

Митрофанов А. Прогулки по старой Москве. М., 2005; 2006; 2007; 2008.

Малева Н. История новой Москвы, или Кому ставим памятник. М.: АСТ, 2008.

Очерки истории города Омска. Т. 1: Дореволюционный Омск / Под ред. А. П. Толочко. Омск: Омск. гос. ун-т, 1997.

Ревзин Г. Москва: десять лет после СССР // Неприкосновенный запас. 2002. № 5.

Ремизов А.В. Омское краеведение 1920—1960-х годов: Очерк истории. Ч. 1—2. Омск: Омск. гос. ун-т, 1998.

Рубл Б. Дворы Санкт-Петербурга и переулки Вашингтона: заброшенные соседи официоза // Вестн. Ин-та Кеннана в России. 2002. Вып. 2. С. 53—66.

Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы // Топоров В.Н. Избранные труды. СПб.: Искусство—СПб. 2003.

Трущенко О.Е. Престиж центра. Городская социальная сегрегация в Москве. М.: Socio-Logos, 1995.

Филиппов А.В. Социология пространства. М.: Владимир Даль, 2008.

Фокина Т.П. Метафизическое саратоведение и личностная позиция // Пространственность развития и метафизика: Сб. науч. ст. / Под ред. Т.П. Фокиной. Саратов: Поволж. акад. гос. службы, 2001. С. 84—90.

Amin A., Thrift N. Cities: Reimagining the Urban. Cambridge: Polity, 2002.

Amin, A., Thrift, N. On being political//Transactions of the Institute of British Geographers. 2007. No. 32. P. 112—115.

Barnes B. How Not To Do The Sociology of Knowledge // Rethinking Objectivity. Durham: Duke University Press, 1994.

Blokland T. Urban Bonds. Oxford: Polity, 2003.

Dear M. Comparative Urbanism // Urban Geography. 2005. Vol. 26, № 3. P. 247—251.

Ethington P.J. The Public City: The Political Construction of Urban Life in San Francisco, 1850—1900. Los Angeles: UC Press, 2001.

Hohemberg P.M. The City: Agent or Product of Urbanization // Urbanization in History. Ad van der Waude / Ed. Akira Hayami, and Jean de Vries. Oxford: Clarendon Press, 1990.

Massey D. Geographies of Responsibility // Geografiska Annaler. 2004. Vol. 86 (Ser. B). P. 5—18.

Massey D. For Space. L.: Sage, 2005.

Massey D. et al. City Worlds. L.: Routledge, 1999.

Oswald I., Voronkov V. Die «Transformation» von St. Petersburg — Anmerkungen zur postsowjetischen Stadtentwicklung // Die europäische Stadt / W. Siebel (Hrsg.). Frankfurt a/M: Suhrkamp, 2004. S. 312—320.

Pile S. Real Cities. L.: Sage, 2005.

Ruble B.A. Second Metropolis: Pragmatic Pluralism in Gilded Age Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Ruble B.A. Creating Diversity Capital. Transnational Migrants in Montreal, Washington, and Kyiv. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2005.

ВВЕДЕНИЕ

Ruble BA, Koehn J, Popson NE. Fragmented Space in the Russian Federation. Washington: Woodrow Wilson Center Press, 2002.

Schwartz VR. Spectacular Realities: Early Mass Culture in Fin-de-Siecle Paris. Berkeley: University of California Press, 1998.

Schwartz VR. Walter Benjamin for Historians // American Historical Review. 2001. Vol. 106, № 5. P. 1721—1743.

Serres M., Latour B. Conversations on Science, Culture, and Time. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.

Smith MP. Transnational Urbanism. Oxford: Blackwell, 2001.

ГЛАВА 1

Классические теории города

Предreshены ли какие-то траектории развития людей и социальных групп в силу их существования в городах (и определенных местах в городах)? Или же их жизненные сценарии открыты изменениям и могут развернуться совсем непредсказуемо? Это одна из дилемм, волновавших основателей урбанистики. Социальный контроль, доминирование власть имущих, свобода от патриархальных ограничений, влияние технических новшеств на повседневность и искусство — темы, обсуждавшиеся социологами начиная со второй половины XIX века. Подчас трудно отделить (да и, кажется, не всегда необходимо) рассуждения социальных теоретиков о жизни людей в период модерности и их собственно урбанистические соображения. Ключевым для возникновения социологии было различие между городским образом жизни, воплощавшим новизну модерности, и традиционно деревенским образом жизни. Его проработали Фердинанд Тённис и Эмиль Дюркгейм. В целом можно говорить о следующих имеющих отношение к урбанистике проблемах, которые были поставлены в социологии начиная с XIX века [Savage et al., 2003; Hubbard, 2006: 14]:

— что представляет собой городской образ жизни и можно ли говорить о том, что он проявляется во всех городах?

— способствует ли городской образ жизни возникновению новых социальных групп и вариантов идентичности?

— как воздействует городская жизнь на традиционные социальные отношения, в основе которых лежит уважение к обладателям «вышестоящего» классового, гендерного, кастового или расового статуса?

— способствует или препятствует город складыванию социальных связей между людьми разного происхождения, места проживания и занятий?

— в чем существо истории урбанизации и почему население концентрируется именно в городах и агломерациях городов?

— каковы основные черты пространственной организации городов и порождают ли различные ее варианты особые способы социального взаимодействия?

— какой диагноз можно поставить городским проблемам, таким как перенаселенность, загрязнение, бедность, бродяжничество, преступность и разбой?

— в чем особенность городской политики и ее неравномерного воздействия на разных горожан?

К классикам урбанистики относят Карла Маркса и Фридриха Энгельса, об идеях которых идет речь в нашей книге, в главе о городской экономике; Макса Вебера, в работе «Город» продемонстрировавшего связь урбанизации с возникновением союза бюрократии и капитала; Георга Зиммеля; авторов чикагской школы и Анри Лефевра, к которому я обращаюсь в главе о повседневности. Классики сознавали недостаточность фиксации внешней каузальности в осмыслении городской жизни, проявлявшейся во включении людей и социальных групп в большое повествование вроде марксистского. Последнее рисовало людей инструментами и «продуктами» действия масштабных социальных процессов. Люди мыслились способными к историческому творчеству в результате тех же социальных процессов и влияний.

Теоретические вызовы, с которыми эти авторы сталкивались, состояли в сложности (граничащей с невозможностью), во-первых, зафиксировать в понятиях только *становящиеся*

процессы социальной и психологической дифференциации горожан и, во-вторых, вникнуть в парадоксы самого становления новых форм социальности. Эти формы сочетали усиление беспорядочности и хаотичности городской повседневности с вызреванием ее внутренней логики и потенции к самоупорядочиванию и самоорганизации.

В этой главе я остановлюсь на идеях Зиммеля — мыслителя, с которого классическое осмысление городской модерности началось, и на чикагской научной школе, в трудах членов которой оно достигло своего своеобразного апогея. Развитие городов в период модерности совпадает с развитием социальной теории, во многом и стимулированным необходимостью зафиксировать преобладающие в городах социальные отношения и процессы, распознать повторяющиеся способы существования и решения проблем. Эта масштабная задача могла быть решена с помощью масштабных же ресурсов, вот почему столь важна была институционализация социологии, в частности создание социологического факультета в Университете Чикаго. Рост городов сопровождался появлением новых вариантов социальной организации (и новых проявлений социальной патологии), что приводило к описанию социальной организации городов с учетом нормативных измерений городского существования. Трансформация социума, которую города с такой силой и столь стремительно воплощали в конце XIX и начале XX века, делала неизбежным использование эволюционистских идей, которым отдали дань и Зиммель, и Беньямин, и деятели чикагской школы, но побуждала при этом к поиску достаточно тонко настроенных моделей эволюционизма.

Уравнение Георга Зиммеля

Фильм Мартина Скорсезе «Отступники» (2006) начинается кадрами обычной уличной суеты южного Бостона, видной из окна ресторана. За кадром звучат слова старого босса бостонс-

кой ирландской мафии Винса Костелло, которого играет Джек Николсон: «Я не хочу быть продуктом окружающей меня среды, я хочу, чтобы окружающая среда была моим продуктом». За те лет двадцать, что прошли в фильме со времени этого монолога, город превратился в моральный пустырь, борьба этнических кланов сочетается в нем с противоборством корпораций, а вопросы лояльности и предательства (в отношении к департаменту полиции штата Массачусетс и ирландской мафии) неумолимы и неразрешимы. Самоуверенный выпад легендарного мафиозо против банальной максимы социального дарвинизма фильм и подтверждает и оспаривает. Этническое, расовое и классовое измерения городского существования сплетаются с бунтом одного героя *против* и искусным приспособлением другого к правилам жизни «по понятиям». В разгар важной операции Костелло в гневе учит партнеров-китайцев тому, как делаются дела «в этой стране». Патриотизм и национализм бесп проблемно соединяются с жестко удерживаемой властью, расизмом и социопатией: «Черные так и не поняли: никто тебе ничего не даст. Ты должен сам это взять». Красоты центра старого Бостона открываются в фильме из окна лофта стремительно делающего карьеру молодого полицейского-ирландца — человека Костелло в полиции. Его ровесник, с которым они вместе учились жизни на улицах ирландского квартала и семейными узами оказались связанными с мафией, а потому вроде бы обреченный тоже пополнить ряды гангстеров, становится настоящим полицейским и успешно внедрен полицией Бостона в число людей Костелло. При этом один — продажный — стремительно утверждает в роли преуспевающего белого представителя среднего класса, другой — честный — остается бедным ирландским маргиналом. Никто в фильме не морализирует по поводу одинаковой цены, которую заплатили за успешную ассимиляцию один и сохранение подобия нравственной целостности другой: оба убиты. Просто в живых останется тот, кто придет и выстрелит последним.

Фильм Скорсезе представляет собой мизантропический вариант решения того, что Георг Зиммель называет «уравнением, которое составляется между индивидуальным и наиндивидуальным содержанием жизни». Его решение, опять-таки по Зиммелю, — «в приспособляемости личности, благодаря которой она уживается с внешними силами». Дилемма «окружающая среда — я» зафиксирована в начале «прототекста» всей урбанистики — эссе Георга Зиммеля о духовной жизни больших городов: «Глубочайшие проблемы современной жизни вытекают из стремлений индивидуума охранить свою самостоятельность и самобытность от насилия со стороны общества, исторической традиции, внешней культуры и техники жизни. Это — последняя из выпавших на нашу долю форм борьбы с природой, борьбы, которую первобытный человек ведет за свое физическое существование» [Зиммель, 2002: 23].

Как видно из этого отрывка, Зиммель — один из создателей социологии — общество мыслит как источник давления на человека, уподобляя его природе, законы которой неумолимы и от которой надо защищаться, что объединяет его скорее с поздними критиками дисциплинарного общества и общества контроля, нежели с теми его современниками, для которых общество заменяло фигуру бога — было единственным источником объяснений. Его взгляды потому и служат источником многочисленных интуиций в отношении только намечающихся сегодня процессов, что он увидел ограниченность понятия «общество», объяснению и постижению которого социальная теория посвятила столько усилий. Его взгляды менялись, и сегодня, возможно, нам более интересен не столько Зиммель, впечатляюще (и вполне позитивистски) разложивший разнобразие социальных интеракций на *диад*ы и *триады*, сколько Зиммель, амбивалентно относящийся к современному обществу. С одной стороны, общество замораживает *становление* и разрушает *стихийность* и *неупорядоченность*, связываемые Зиммелем с *жизнью*, с другой стороны, никто из людей не из-

бегают того, чтобы впустить внутрь себя установления общества и там самым стать его частью.

Эволюционный витализм Зиммеля

Отправной точкой рассуждений Зиммеля была *жизнь* — социальная, культурная, духовная. Ее бесконечное течение кристаллизуется в стабильных *формах*, оставаясь в то же время динамичным содержанием *опыта жизни*. «Жизненная сила» универсальна и абсолютна. Каждый ее момент отличен от того, чем он только что был, потому что жизнь — это постоянное становление. Пишет ли Зиммель об обществе или о культуре, в его описаниях постоянно встречается «стремление», «усиление», «углубление». В эссе «Как возможно общество?», свидетельствующем о глубоком влиянии на него Канта, Зиммель говорит о том, что это *формы* лежат в основе социальной онтологии, это они удерживают общество вместе [Simmel, 1971a]. Жизнь — это, с одной стороны, материал для создания объективированных форм, препятствующих дезинтеграции общества, с другой стороны, безусловная ценность. Такое понимание позволило Зиммелю предложить теоретически состоятельный, трезвый, но и не лишенный мизантропии очерк современного городского существования.

Зиммеля более всего интересовало, каким образом субъект «уживается с внешними силами», когда эволюция общества модерности приводит к тому, что главные социальные процессы начинают разворачиваться не в маленьких замкнутых группах, но в больших городах. На его взгляды повлияла концепция «творческой эволюции» Бергсона, наделившая, пусть и в разной степени, людей и вещи способностью к восприятию и памяти. Зиммель, по выражению Скотта Лэша, был эволюционистом-виталистом. Классический эволюционизм имеет дело со *случайным* порождением изменений, будь они природные или социальные, которые затем ложатся в основу приспособления

вида или индивида к новому или изменяющемуся окружению, и мыслит окружающую среду как *внешнюю* причину изменений функций и структур. Виталистский эволюционизм Зиммеля сосредоточен на ресурсах *самопричинения, самоконституирования, самоорганизации*, которыми обладают вещи и люди: их жизнь постоянно преодолевает свои сложившиеся формы и создает для себя новые: «Именно для человеческого удела, или удела души... противоположность тождества и различия исчезает в непрерывности самотрансформации» [Simmel, 1989: 62]. В этом ключе нужно понимать тезис Зиммеля о том, что в городе «человек *создает себе средство* самозащиты» (от перегруженности разнообразными стимулами).

Классический эволюционизм ранжирует ценности на основе их значимости для существования вида как целого. Виталистский эволюционизм использует другой критерий: его интересует, какие ценности способны привести человеческий вид к более высокому порядку жизни. Сама жизнь — ценность, так что эволюция — это движение от жизни к более полной жизни. Жизнь — «субстанция» ценности. Не просто жизнь, но социальная жизнь. Отношение между жизнью и формой подобно отношению между интересом и его реализацией или проблемой и ее решением. «Социальность» есть одна из форм, в которой проявляются интересы индивидов. Люди создают формы, преследуя «влечение, интерес, цель, склонность, психическое состояние, движение» [Idem, 1971a: 24]. Существование каждой формы претерпевает эволюцию от статуса инструмента до самоконституирующего феномена, подчиняющегося особой внутренней логике. Чтобы удовлетворить свои интересы в отношении друг друга, люди создают особые социальные формы, такие как обмен и разделение труда, искусство и знание, этика и игра. Постепенно каждая из этих форм создает особую для себя логику и обретает относительную автономию от других, частично лишаясь своей инструментальности. Только деньги сохраняют инструментальность, оставаясь главной социальной связью. Зиммель их называет пауком, выющим социальную паутину.

Витализм, однако, связан с иными, нежели деньги, ценностями, поэтому одной из его значимых частей является *этос* жизни. Способы бытия людей неразрывно связаны с вариантами поведения, мышления, отношения к окружающим и полагания ценностей.

Техники жизни в городе

Городской тип личности и его истоки, лежащие в городе модерности, — тема, которой Зиммель начинает классическую урбанистику, не смущаясь ни того, что социальный анализ в его эссе сочетается с психологическим (ведь задача, которой он задается, — понять, за счет чего человек города «уживается с внешними силами», — по своему характеру психологическая), ни использования «виталистской» терминологии. Он равнодушен к тем теоретическим табу, которыми «обложила» себя социология с момента своего возникновения. Решая сложную задачу постулирования «социального» и как объекта и как источника анализа, социология ввела строгий запрет на «биологизм» и «психологизм», что, как мы увидим в дальнейшем, предопределило ограниченное использование идей Зиммеля и чикагской школы до 1990-х годов.

Между тем поиск причин психических заболеваний в изъятиях окружающей среды был популярен на рубеже XIX и XX веков [см.: Vidler, 1994], что, несомненно, помогло Зиммелю поставить свой знаменитый диагноз: «бесчувственно-равнодушный» человек — преобладающий в городах тип — порожден «*повышенной нервностью жизни*, происходящей от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений» [Зиммель, 2002: 23]. В то же время если позитивистский социальный наблюдатель видел человеческие атомы общества сквозь *уже существующие* формы институтов, то социальный философ Зиммель демонстрирует, каким образом в «метрополисе» *возникают* новые формы социализации. Их суть в том,



**На городской улице только дети живо реагируют
друг на друга**

что отныне социум (олицетворяемый городом, в котором царят деньги и рации) становится источником смысла для субъекта, который одновременно жаждет развить свою индивидуальность. Деньги гомогенизируют социальный мир, нарастает дистанция субъекта от произведенного им продукта и самого труда. Городское окружение бомбардирует его тысячью противоречивых стимулов, не давая возможности ни на чем остановиться и ни к чему привязаться. Способом справиться с этим становится особое отношение безразличия к происходящему, которое формирует субъект, обесценивая внешний мир и такой ценой сохраняя неприкосновенность своего внутреннего мира: «[Исчезает] значение и ценность разницы между вещами, а потому и сами вещи кажутся ничтожными. Они представляются человеку с притупленными чувствами однообразно тусклыми и сырыми, ничего не стоящими, недостойными никакого предпочтения перед другими» [Зиммель, 2002: 27].

«Бесчувственное равнодушие» — особое культурное приспособление, которым индивиды защищают себя, — вытекает из их постулируемой Зиммелем неспособности взаимодействовать лицом к лицу с тем обилием людей, что они видят каждый день. Эмоциональная энергия слишком легко и напрасно бы исчерпалась, захоти городские обитатели близко к сердцу принимать многочисленные контакты, на которые их обрекает город. Гораздо более психологически экономны игнорирование окружающих, избегание контакта с ними, культивирование антипатии к другим, сочетающейся с враждебностью: преобладает «конкретное деловое отношение к людям и вещам, при котором нередко формальная справедливость сочетается с беспощадной жестокостью» [Там же: 25].

Человек сформирован городской окружающей средой так, что он определяет себя не только через класс, этничность, пол или профессию, но и через особую *предрасположенность* (которую составляет безразличие к городскому окружению). Городское окружение состоит из «стимулов» — множества возможностей, впечатлений, наружностей, жестов, товаров, обра-

зов и звуков, которые сливаются в пестрый и непостижимый хаос. Средство самозащиты — тип личности, какой субъект становится, усвоив социальную логику, лежащую за этим хаосом: сосредоточенность на своих интересах и равнодушие к социальным процессам. Капиталистические формы управления людьми оборотной стороной имеют разрушение коллективов и «обесцвечивание» людей. Разобщенность постоянно производится и воспроизводится, в итоге чего индивиды психологически «затвердевают» в жесткой городской жизни и отделяются друг от друга. Вот в чем состоит главный вектор приспособления, главное решение зиммелевского уравнения. Исчисляющая инструментальная рациональность капиталистической жизни личностей для себя не требует, более того, она, если воспользоваться более поздней метафорой Юргена Хабермаса, «колонирует» городскую жизнь. Насколько же при этом Зиммель тоньше марксистов! Он вовсе не выводит человеческие несчастья из этого обстоятельства, а фиксирует следующий парадокс: «Отнюдь не необходимо, чтобы свобода человека отражалась в его душевной жизни ощущением благополучия» [Зиммель, 2002: 31]. Разобщенность, получается, дает свободу. Отвердевание душой — возможность делать самого себя. Более того, разобщенность — это вид новой социальной связи, в которой только и возможна эта, невозможная в рамках иных, тесно сплоченных общностей свобода. Свобода — это прежде всего свобода умственная, позволяющая индивиду сделать самого себя в соответствии с правилами городского окружения, где связи с другими мимолетны, а союзы непрочны, будучи подчиненными правилам городской функциональности. Только не будучи членом тесно сплоченной социальной сети, а потому связанным по рукам и ногам обязательствами и нормами, может индивид обрести свободу для того, чтобы стать непохожим на других (и эту непохожесть затем тоже с выгодой для себя использовать). Практики городской жизни разобщают, но в ходе включенности в них появляется гибкость восприятия, формируется габитус изобретательного городского индивидуалиста.

Бремя культуры

Помимо естественной для горожанина антипатии к другим, Зиммель выделяет еще один тип антипатии — к месту, к городу, точнее, к его «объективной» культуре, вызывая в памяти ницшевского верблюда, нагруженного бесполезным профессорским знанием. Вот его описание значительной части того, из чего город состоит: «Здесь в зданиях и учебных заведениях, в чудесах и комфорте техники, в формах общественной жизни и внешних государственных институтах сказывается такая подавляющая масса кристаллизованного, обезличенного духа, что перед ним личность, можно сказать, совсем бессильна» [Зиммель, 2002: 33]. Тут важно помнить, что, отдав дань экономическому пониманию основ социальной жизни и показав, что обмен и деньги являются одними из главных форм, Зиммель движется дальше в своем анализе того, как соединены жизнь и форма. Он показывает, насколько фундаментальную роль в существовании общества играет взаимосвязь культуры и жизни. В эссе «Конфликт современной культуры» он определяет культуру как самореализацию «творческой стихии жизни» [Зиммель, 2006: 61]. Фиксированные и неизменные *формы* дают возможность течению *жизни* выразить себя. Жизнь, по Зиммелю, нуждается в постоянном самовыражении, и его формы — произведения искусства, социальные и религиозные институты, развитие техники и науки, развитие городов. С одной стороны, в них жизнь *протекает*, с другой стороны, у этих форм свой порядок и логика развития, противоположные общей неупорядоченности жизни. Чем больше они берут верх, тем сильнее та или другая форма жизни отдаляется от своего первоначала, опустошается, перестает служить нуждам самовыражения жизни, в результате чего жизнь ищет для себя другие каналы, другие формы, другие точки кристаллизации, оттесняя старые свои формы на задний план и некоторые из них ломая.



**«Город» — гравюра младшего современника Зиммеля
бельгийского графика Франса Мазереля**

Именно эти старые, отслужившие свое, пустые формы видятся индивиду «массой кристаллизованного духа». Из них сложно построить развитую индивидуальность, к чему так стремится горожанин Зиммеля. Мыслитель осмысливает конфликт между «объективной» культурой города и «субъективной» культурой личности с точки зрения того существования, которое город предлагает, и того, какой жизнь могла бы быть: «Жизнь для нее становится, с одной стороны, бесконечно легкой, так как ей со всех сторон напрашиваются возбуждения и интересы, все для заполнения времени и мыслей, и это постоянно держит ее точно в потоке, где плывцу едва нужно делать кое-какие движения. Но, с другой стороны, жизнь индивида складывается ведь все более и более из такого безличного содержания и материала, которые стремятся подавить специфически личную окраску и оригинальность» [Зиммель, 2002: 33].

Зиммель тут говорит о цене, которую платит индивид за возможность быть в потоке городских событий. Здесь речь идет о намеченной в философских текстах Кьеркегора и Ницше, Шелера и Хайдеггера дихотомии подлинности индивидуального самопревзойдения и неподлинности повседневного городского существования с оглядкой на других, которая вылилась в общие для европейской философии конца XIX — первой половины XX века негативные оценки социальных форм повседневного поведения. Зиммель, не ограничиваясь философской рефлексией, сочетает в своих размышлениях социологический анализ, психологические зарисовки и штудии культуры. «Невыносимая легкость бытия», которую Зиммель зафиксировал в вышеприведенном фрагменте более чем за полвека до появления романа Милана Кундеры, воспроизводится во многих сегодняшних литературных и повседневных объяснениях экзистенциальной значимости жизни в метрополисе. Для многих возможность быть «точно в потоке» связывается не просто с городом, но с городским центром: так, от обитателей московских кварталов вблизи Остоженки — Пречистенки можно услышать, что, «просто находясь здесь, ты в курсе всего происходящего».

Смутное представление людей о том, что жизнь, которая разворачивается перед их глазами, при всем ее жестком на них давлении, только одна из возможных, реализуется в своеобразном *этосе* — этическом измерении проживаемой жизни. Этос, в свою очередь, проявляется в разнообразных, как сказали бы сегодня, стратегиях сопротивления современности, в поведении и психологических предрасположенностях различных городских типов. Противопоставляя в городе «типичные существования» (рассудочные натуры) и «самодовлеющие существования» (бунтарей вроде Ницше), Зиммель говорит, что для вторых «ценность жизни заключается именно в несхематическом, своеобразном, не поддающемся равному для всех определению». Современный «городской уклад жизни» тем самым противопоставляется иному, в котором жизнь могла бы быть разнообразнее. И хотя жажда «несхематического» приводит иных, как показывает Зиммель, к тому, чтобы всецело сосредоточиться на задаче выделиться любой ценой, прибегая к экстравагантным манерам или стилю, важно, что «этос» жизни происходит в любом случае из опыта, из чувства, а не задан извне. Экстравагантность одних соседствует с сознательной незаметностью других, цинизм третьих сталкивается с чувствительностью четвертых, игривость контрастирует с религиозностью — на «этос» накладываются социальные роли, отношение индивидов к которым опять-таки различается: от полного слияния до расчетливого следования, от компенсаторно-защитного до истерически-эпатирующего.

Продуктивность антипатии

Насколько реалистично допущение, что «бесчувственное равнодушие» может быть главным эмоциональным оружием субъекта, насколько естественна для него такая психологическая конструкция? Зиммель проницательно замечает: «Область безразличия при этом вовсе не так обширна, как это на первый

взгляд кажется; деятельность нашей души отвечает более или менее определенным ощущением на каждое почти впечатление, получаемое от другого человека, и только неосознанность, скоротечность и быстрая смена этих ощущений приводят к видимому безразличию. В действительности последнее было бы нам так же несвойственно, как невыносимо было бы расплывчатое постоянное обоюдное произвольное внушение. От обоих этих опасностей большого города нас охраняет антипатия — первичная стадия еще скрытого антагонизма практической жизни; она помогает создаться расстоянию между людьми и удалению их друг от друга, без чего жизнь в таких городах была бы невозможна... то, что в последней сначала кажется разрушающим всякую общественность элементом, есть лишь один из самых элементарных факторов социального развития» [Simmel, 2002: 28—29].

Пространственные отношения не только определяют отношения между людьми, но и их символизируют, считает Зиммель и успешно разворачивает этот тезис, не только прибегая в своем пространственно-социальном анализе к упомянутой оппозиции дистанции — близости, но и противопоставляя привязанность и отчужденность, притяжение и отвращение.

Обозначенный здесь и не утративший своего значения для понимания городской повседневности век спустя ход мысли нашел свое дальнейшее развитие в наброске о «Чужаке», написанном Зиммелем через пять лет после эссе о больших городах.

Исторически чужаками были торговцы, отношение которых к местным жителям было прежде всего прагматично-инструментальным: «Купят или не купят?» Чужаку не нужна была их близость, кроме, возможно, той, что продавалась: он слишком дорожил своей независимостью от них. Однако в отличие от странника, который сегодня здесь, а завтра там, чужак сегодня приходит, а завтра остается. Чужаку, как правило, не было дела до того, что и к нему относились как к типу, идентифицируя его чаще всего по национальному признаку. Это означало,

что от него не потребуются ничего, вытекающего из местных обязательств или лояльностей. Его близость всегда временна, без каких-либо гарантий на будущее. Никакой «органической солидарности». Дистанция, сдержанность и анонимность — качества, которыми отмечен чужак, — одновременно составляют и атрибуты городского существования. Неслучайно Зиммель говорит, что положение чужака составляют в определенной мере и близость и дистанция. Хотя в какой-то степени они характерны для всех отношений, особое их сочетание и взаимное между ними напряжение образуют специфическое, формальное отношение к чужаку.

Важно замечание Зиммеля в «Философии денег» о том, что чужаков в традиционном историческом смысле в городе больше не найдешь [Simmel, 1978: 227]. Гомогенизирующая сила денег такова, что отношения между людьми становятся все более «абстрактными и бесцветными». «Великий уравниватель» — деньги — сводит на нет контраст между местным и неместным обитателями города. Или, что следует из эссе о больших городах, все в равной мере оказываются чужаками. Амбивалентно относящийся к миру и окружающим горожанин платит за погруженность в разнообразие жизни довольно высокую цену: он не видит людей в их уникальности, он ориентируется среди них, подразделяя всех посторонних на типы. И сам оказывается объектом такой типизации, как только выходит на улицу. Итог прост: посторонние — все. Чужак, описанный Георгом Зиммелем, был не просто одним из маргинальных городских типов, но запечатлел преобладающий вариант своеобразной связи горожанина с местом обитания.

Эта тема была развита многими мыслителями. Раз чужака нет смысла понимать с точки зрения включенности-исключенности, раз чужаками являются в пределе все, тогда его концептуально имеет смысл искать внутри своей общности или даже внутри себя. Универсалистскую позицию здесь занимают историк городов Льюис Мамфорд, который называл горожан живущими «всегда в присутствии дружности» [Mumford, 1938: 23],

равно как и политический философ Мэрион Янг, для которой город — «встреча чужаков» [см.: *Young*, 1990]. Урбанистическая мысль в XX веке колеблется между прославлением культурной продуктивности, связанной с хаотичностью городской жизни, вызовом, который она бросает психологической инерции, — и трезвым пониманием того, что у разнообразия и непредсказуемости, которые так волнуют в городских встречах незнакомцев, есть оборотная сторона — страх и тревога, вызванные тем, что другие пришли, чтобы остаться, чтобы стать соседями и конкурентами в поиске работы. Эти страхи редко фиксируются в словах, но в делах — властей, связанных с иммиграцией и управлением городами, и граждан — они проявляются отчетливо. Более того, «скрытый антагонизм практической жизни», о котором говорит Зиммель, присущ и иным социальным отношениям, в основе которых лежат класс и статус, культурные притязания и борьба за ресурсы. «Половинчатые, неясные отношения, укорененные в сумрачном настроении, который с равной легкостью порождает ненависть и любовь и смешанный характер которого иногда выражен в колебании между тем и другим» [*Simmel*, 1971b: 40], сквозят в наших и окружающих нас людей взглядах и движениях чаще, чем бы нам этого хотелось.

Зиммель наметил и иной поворот в осмыслении проблематики постороннего в городе, а именно связь между тревогами людей по поводу их собственной идентичности и присутствием рядом с ними других, на которых эти тревоги проецируются. Предсказуемость и прозрачность отношений, эмоциональный комфорт, который мы испытываем в «родной» группе, базируются на одном обстоятельстве: существуют «они», совсем не такие, как мы. Мы — трудолюбивы, они — ленивы, мы — честны, они — пронырливы, мы — дружелюбны, они — только и ждут нашего промаха. Что еще важнее — наши мысли схожи, мы друг друга в состоянии понять. Они — непостижимые чужаки. У нас — предсказуемость. У них — неопределенность. Представим, как сложно было бы определить границы «нас», не су-

ществуй «их». Фактически «мы» и существуем как группа только за счет того, что существуют «они», вот почему нужда в них постоянна. «Иностранец живет внутри нас: он тайное лицо нашей идентичности», — продолжает эту тему Юлия Кристева [см.: *Kristeva*, 1991: 1].

Неслучайно именно «Чужак» Зиммеля ложится в основу текстов, посвященных росту расистских настроений в городах. Диалектика близости и дистанцированности, намеченная мыслителем, получает развитие в осмыслении проблем пространственной сегрегации, когда доминирующая в обществе группа предпринимает значительные усилия по поддержке физической разделенности в пространстве мест своего обитания и мест обитания подчиненной группы — до той степени, что, не видя и не сталкиваясь с ее членами, ее представление о них становится все более абстрактным и все менее дружественным (что может оказаться питательной средой для расизма).

Значимость исследовательской оптики

Сочетание дистанцированности и привязанности к городу отличает и тексты самого Зиммеля. Берлин рос, превращаясь в одну из крупнейших европейских столиц, что совпало с собственным развитием Зиммеля. В то же время тексты мыслителя выразительно свидетельствуют о том, что простой погруженности в пестроту и насыщенность жизни метрополиса недостаточно, что нужен специфически настроенный взгляд на происходящее. Город именно потому был для Зиммеля бесконечным источником интригующих нас интуиций, что мыслитель разработал специфическую исследовательскую оптику. Эта оптика основывалась на поиске характеристик того или другого вида социализации, то есть «стиля» жизни, и вписывании их в широкий интеллектуальный или исторический контекст. Тем самым раскрывалось скрытое значение практик и техник городской повседневности, ее пространств

и предметов. Но поиск скрытого и глубокого смысла в потоке событий — не самоцель. Городская жизнь сама по себе, как она протекает сегодня и завтра, тоже важна для мыслителя. Однако дело заключается опять-таки в том, какую стратегию «обрамления» того, что открывается твоему взору, выбрать, какой фокус избрать. Остановиться ли на отдельном индивиде в его точном отличии от всех других или нацелиться на создание картины общества с его формами и красками. Различие между целями познания соответствует различию в занимаемом исследователем расстоянии.

Где мы, как наблюдатели, находимся, какова наша *позиция* в отношении интересующего нас предмета — Зиммель побуждает нас вдуматься в пространственный смысл привычно используемых познавательных метафор, предвосхищая недавние дискуссии об исчерпанности взгляда из ниоткуда и важности рефлексии исследователем своей *местоположенности*. Но если в этих дискуссиях (прежде всего феминистских) под местоположенностью нередко понимается политическая мобилизованность исследователя, его готовность говорить и смотреть на вещи не с универсальной «точки зрения вечности», а с позиции группы, с интересами которой он отождествляется, то для Зиммеля предмет и фокус исследования были результатом непростой динамики научной цели и психологической predisposition исследователя. Последняя включала широкие эстетические пристрастия, что и привело к тому, что это в сложностях постижения *искусства* черпал Зиммель аналогии для понимания происходящего в городе.

Во-первых, увлеченность Зиммеля понятием дистанции и постулирование дистанцированности как ключевого для модерна социально-пространственного отношения связаны с переосмыслением им Кантовой эстетики. Если Кант дистанцированность помещал в центр эстетического переживания, настаивая на беспристрастности субъекта, на его «незаинтересованном», то есть отвлеченном от собственных интересов переживании произведения искусства, то для Зиммеля поле, в

котором умение держать людей и предметы «на расстоянии» является ключевым, расширяется от тонкостей искусства до пределов всего общества (и связано с нивелирующей различия и абстрагирующей функцией денег).

Во-вторых, анализ Зиммелем понятия социальной *границы* восходит к понятию *рамы* картины или фотографии, задающей единство и целостность того, что открывается зрителю. Подобно тому как рама картины одновременно усиливает и ее реальность, и впечатление от нее, имеющиеся у общества и прекрасно сознаваемые людьми границы — то, что придает ему внутреннюю однородность. Верно и обратное: то, как функционально связаны элементы общества, получает пространственное выражение в замыкающей их границе. «Граница», понимаемая Зиммелем одновременно и в качестве пространственно сформированного социального факта, и по аналогии с рамой картины, служит примером специфической для мыслителя понятийной работы, в которой соединяются эстетическое и научное.

В-третьих, сама метафора «картины» общества тоже, конечно, имеет эстетические измерения. Как существует бесконечное число вариаций пейзажа или портрета, так, допускал Зиммель, у стабильных вневременных «форм» может быть множество разнообразных содержательных выражений. Эти выражения, «содержания» форм, варианты инвариантов он описывал, обращаясь в своих эссе к городской жизни, моде, руинам, живописи Беклина, стилям поведения, вариантам взаимоотношений.

В-четвертых, подобно тому как хорошее произведение искусства открыто бесчисленным интерпретациям, включая и те, что осуществлены «по гамбургскому счету», касаясь «последних», экзистенциальных вопросов, Зиммель убежден, что мельчайшие детали, минутные эпизоды городской повседневности могут многое открыть внимательному наблюдателю. С этим связаны задачи, которые он ставил перед собой, описывая «духовную жизнь больших городов», допуская, что «из

каждого пункта на поверхности жизни можно опустить лот в самые глубины души, что все самые банальные внешности связаны в последнем счете с конечным решением вопроса о смысле и стиле жизни» [Зиммель, 2002: 26]. Здесь сформулирована исследовательская стратегия Зиммеля, состоявшая в использовании фрагментов жизненного опыта и эпизодических впечатлений для создания полномасштабного анализа интересующего его явления, будь то деньги или культура.

Чикаго как место производства урбанистического знания

Чикаго — заповедник классической американской культуры: от домов в стиле «прерия» Фрэнка Ллойда Райта до небоскребов Мис ван дер Роэ, от блюза и музыки в стиле *house* до первого в мире колеса обозрения. «Вертикальное» впечатление от города усиливается тем, что он воплощает рожденный в период модерности стиль планирования города по принципу строгой геометрии (решетки): улицы соединены друг с другом под прямым углом, а не петляют, как, например, в Бостоне. Когда многочисленные иммигранты осваивали городское пространство, они следовали этой геометрии, что выразилось в пространственной отделенности друг от друга Чайнатауна, Германии, Гетто, Маленькой Италии и Луп — делового центра. Границы между местами обитания разных этнических групп, как и между неравными группами, живущими поблизости друг от друга, довольно строго охранялись. Границы всегда существуют и развиваются в отношениях между группами, когда у одной группы достаточно ресурсов, чтобы держать на расстоянии другую группу. Город быстро и стихийно рос, а сосуществование старых и новых жителей далеко не всегда было мирным — до такой степени, что именно в Чикаго сложилось понятие «расовые отношения» — в 1919 году, когда во время расовых волнений здесь была создана специальная Комиссия



**В 1920-е в Чикаго было возведено
несколько знаменитых небоскребов, среди них —
здание «Чикаго трибьюн»**

по расовым отношениям. То, что чикагские социологи видели каждый день на улицах, вылилось в их теоретическое понимание города, в основе которого лежало осмысление возможности и границ социального контроля за происходящим в городах.

Местом производства урбанистического знания был, однако, не только город в целом, но и здание под номером 1126 по Восточной 59-й улице — здание факультета социальных наук, где с 1929 года обосновалась чикагская школа — сплоченный коллектив профессоров, исследователей, сотрудников и студентов, которые приняли вызов руководства нового университета, созданного в конце XIX века по завещанию Рокфеллера-старшего: добиться столь же блестящих результатов в преподавании и исследованиях, что показывали старые элитные американские университеты. К отлично оснащенным помещениям скоро добавились издательство Чикагского университета и «Американский журнал социологии». Не удивительно, что с такими ресурсами чикагский факультет социологии быстро и почти на все столетие стал лидирующим в стране, а чикагская школа произвела невероятное количество книг, статей и методических руководств. Так что чикагская школа представляла собой прежде всего институциональное и организационное место, позволившее наладить конвейер эмпирических исследований под руководством маститых ученых. Маститость, кстати, к некоторым из них пришла весьма стремительно: Роберт Парк, к примеру, за десять с небольшим лет вырос из журналиста, специализировавшегося на освещении расовых проблем в колониях и южных штатах США, в лидера этой школы.

Провести границу (и тем самым ответить на вопрос, чем, собственно, занимались чикагские исследователи) между городской социологией и городской антропологией как дисциплинами и социологическим изучением подростковой преступности, миграции, бедности и богатства, гомосексуализма, социальной сегрегации (темы, открытые чикагцами) на примере данного города не всегда возможно, но можно выделить

несколько специфических для них концептуальных и, если угодно, эмоциональных тенденций.

Во-первых, это не иссякший до конца существования школы энтузиазм в отношении изучения Чикаго — то есть города, в котором жили ее представители. Его история и его обитатели, его демография и его структура — все это было интересно и все волновало до такой степени, что сухие социологические выкладки нередко перемежались в текстах с поэтическими именованиями: кварталы богемы именовались «городом башен» (*towertown*), кварталы, промежуточные по своему характеру, — «миром меблированных комнат» [*Zorbaugh*, 1929]. Поэтичные метафоры чикагцев позволяли «растягивать» себя и на другие города. Впрочем, ниже еще пойдет речь о двусмысленной позиции чикагцев в отношении того, до какой степени это знание приложимо к другим городам.

Во-вторых, это их реформаторский, прогрессистский настрой. Чикагцев иногда называют консерваторами на том основании, что они были озабочены ростом преступности и оздоровлением нравов, проявляя при этом гомофобные и сексистские настроения. Так, известно, что Парк и Берджес противопоставляли свою науку социальной работе как «женскому» делу. В то же время некоторые их студенты подрабатывали в городских реформистских организациях, что приводило к тому, что они следили за теми самыми людьми, которых изучали (или изучали с тем, чтобы этих людей было проще потом «реформировать»). Изучение чикагской школой таких нетрадиционных в первой половине XX века тем, как сексуальность, влекло за собой, в частности, такой специфический вариант включенного наблюдения, как «работа под прикрытием» в гей-сообществах Чикаго, и порождало многочисленные противоречия и конфликты интересов [см.: *Neap*, 2003]. В то же время они были убеждены в возможности вертикальной мобильности, которую открывает американское общество. Их позиции в отношении того, как именно производимое ими знание может способствовать социальным реформам, отличались: если

Парк настаивал на том, что главное — достижение максимально объективной картины происходящего, и скептически относился к предложениям участия в социальной работе, то Берджес не чурался членства в нескольких муниципальных комитетах, нацеленных на оздоровление нравов и популяризацию нравственных норм среднего класса.

В-третьих, это демонстрация контекстуальной местоположенности всех социальных процессов, их локализованности в пространстве и времени [см.: *Abbot*, 1999: 196—197]. Невозможно понять жизнь общества, не глядя на взаимодействия людей в конкретных социальных пространстве и времени. Поэтому социальный факт теряет свой смысл в отвлечении от места и времени. Каждый факт местоположен, окружен другими фактами, в совокупности образующими данный контекст, и вызван к жизни процессами, связанными с прошлыми контекстами. Когда осуществляется синхронный анализ, акцент делается на социальных отношениях и пространственной экологии, в случае диахронного анализа — на социальных процессах. В наши дни изложенные принципы кажутся элементарными, но если мы посмотрим в массив производимых сегодня текстов, то увидим, что нередко в них речь идет о демонстрации связей между социологическими переменными вне зависимости от масштаба обсуждаемых процессов: «образование» будет иметь «влияние» на «профессию» независимо от других качеств индивида, его прошлого опыта, его друзей, знакомых и связей, места его проживания, времени его жизни и жизни его сообщества и социума. Чикагцы, нанеся на карту 75 «естественных» ареалов, охватывающих собой свыше 300 районов города, резонно сочли бы такой ход мысли не очень продуктивным.

В-четвертых, это сочетание эволюционизма и натурализма в качестве оснований их мысли. Чикагская школа мыслила город как естественное место обитания цивилизованного человека, и поскольку это западная цивилизация мыслилась передовой, то чикагские авторы были убеждены в неизбежности и

необходимости ассимиляции многочисленных мигрантов. Им, однако, хватало трезвости понимать, что усвоение людьми норм свободной жизни в свободной стране будет проходить не в виде диффузной эволюции, а в рамках борьбы за лидерство и место под солнцем тех групп, к которым они принадлежали. В этом отношении мысли Парка, Берджеса и Уирта близки логике, определяющей масштабный исторический очерк становления нравов в европейской цивилизации, написанный Норбертом Элиасом. «Процесс цивилизации»: позиционирование себя доминирующими социальными группами в качестве более цивилизованных (обладающих более продвинутыми манерами), как убедительно показывает немецко-американский социолог, неизбежно основывалось на борьбе за лидерство между различными социальными группами.

Городская экология

«Выживает сильнейший» — этот нехитрый лозунг социального дарвинизма, наверное, главное, что сближает современных отечественных исследователей городской жизни и чикагскую школу городской социологии. В ней города интерпретировались как постоянно развивающиеся организмы, причем это развитие включало как рост, так и упадок, как социальную норму, так и социальную патологию. «Городская экология» — так называется подход к изучению городов, объединивший Роберта Парка, Роберта Маккензи, Луиса Уирта, Эрнеста Берджеса, Харви Зорбаха. В нем биологизм сочетался с эволюционизмом, а социальность городской жизни виделась укорененной в материальной среде. Устойчивые способы воспроизводства социальной жизни в городах понимались этими авторами с отсылкой к естественным *силам*, действующим помимо сознания людей. Социальная организация мыслилась как результат неосознанной эволюции.

Вглядываясь в то, как все новые волны мигрантов оседали в районах города — без какого-то особого регулирования и координации со стороны государства, но в соответствии с определенной логикой, чикагцы увидели в этой логике проявление «биотической борьбы», как ее называет Парк, то есть бессознательного соревнования и приспособления групп людей, приводящего к тому, что различные социальные функции закреплялись за самыми подходящими участками пространства. Те виды активности, которые функционально более всего подходили для данного места, постепенно в этом месте воцарялись, вытесняя другие активности, которым необходимо было искать для себя другие места. Между различными типами пользователей одного и того же места постепенно устанавливался симбиоз, от сосуществования друг с другом они получали выгоду, и в целом установившаяся экологическая система стремилась к состоянию равновесия. Нарушение равновесия в силу увеличения населения или каких-то иных причин приводило к новому витку биотического соревнования, в ходе которого новые группы пытались найти для себя новые ниши в изменившейся среде. Старые варианты использования места уступают место новым, равновесие восстанавливается, а социальная и культурная жизнь начинает происходить в рамках возникших новых сообществ.

Социальный дарвинизм нашел выражение в теориях концентрических зон и «естественных» ареалов. Трансформация индустриального города в связи с приростом мигрантов виделась чикагским социологам так: городская жизнь — это бесконечная борьба за ресурсы, в ходе которой складываются так называемые естественные ареалы, каждый из которых закрепляют за собой особые группы людей. «Естественные» ареалы — это социальные пространства, возникающие в ходе «естественного» экологического развития города — в противоположность запланированному развитию. Стремление найти проявления регулярности в видимом хаосе преступности, семейных проблем, беспризорных детей привело к успешной «визуали-

зации» сдвига социальных и моральных норм, происходящего в американском обществе (и имеющего обязательные пространственные эквиваленты). Если какие-то городские территории колонизируются новыми резидентами, старым приходится искать для себя новые места обитания — почти так же, как в животном мире. Вторжение новичков неминуемо означает отступление или «поражение в правах» старожилов. Соревнование между различными социальными группами сопровождается процессами вторжения, защиты и подчинения себе тех «естественных» ареалов, к которым группы наиболее хорошо приспособлены. Стремление повысить социальный статус ведет к ассимиляции мигрантов, а их неудачи на этом пути приводят к маргинализации. И те и другие процессы имеют пространственные корреляты: бедные районы уступают по популярности богатым, а социальная сегрегация выражается в пространственной и, более того, все, за чем в обществе закрепилось название «социальное», может быть в конце концов сконструировано и описано как пространство.

Социальный дарвинизм чикагцев не был тотальным, дополняясь признанием роли культурного наследия и социального взаимодействия в складывании отношений между белыми и цветными обитателями города. Борьба последних за социальный статус, стремление закрепиться и даже ассимилироваться представляли собой один из устойчивых «паттернов» городской жизни, который приводил к пространственным последствиям: движение из бедных сегрегированных районов в богатые. Люди вторгаются в жизнь друг друга, пытаясь направлять, контролировать и выражать свои собственные конфликтные импульсы, был убежден Парк. Чикагские авторы, конечно, отдавали себе отчет и в том, что многое происходящее в городе есть результат целенаправленной деятельности, но настаивали, что устойчивые модели городского роста — результат глубинных эволюционных процессов. Значимость культурного измерения городской жизни отражена и в убеждении Парка, что необходимо было исследовать влияние средств

массовой коммуникации (телефона, радио, газет и журналов, массовой литературы) на нравы и мобильность населения. Студенты и молодые исследователи вняли этому призыву, изучив и то, как многочисленные журналы «про любовь» разрушают традиционные семейные узы, маня к несбыточному, и то, как в чикагских библиотеках зачитываются до дыр романы, в которых идет речь о романтических отношениях, далеких от повседневных.

В своей знаменитой схеме концентрических зон роста города и его социальной организации Берджес выделяет пять зон: 1) центральный деловой округ; 2) «передельваемая зона» (или «зона транзита»), в которой старые частные дома перестраиваются и приобретают иные функции, прежде всего коммерческие и жилые; 3) зона домов «независимых рабочих»; 4) зона «домов получше»; 5) зона ежедневных пассажиров [см.: *Burgess*, 1924: 142—155]. Поскольку эта схема призвана была проиллюстрировать социальную и *моральную* организацию городского пространства, Берджес уделяет особое внимание «зоне транзита» — с ее кварталами богемы, районами «красных фонарей», «миром меблированных комнат», чайнатаунами и так далее — как самой проблемной. С его точки зрения, достаточная удаленность зоны от центра города была эквивалентна гарантии социальной нормальности. С другой стороны, чикагцы, напомним, были прогрессистами: вера в то, что в их стране возможна социальная мобильность, также находит отражение в этой схеме, ибо она позволяет зафиксировать не только закрепленность участков города за какими-то социальными слоями, но и перемещение городских обитателей из одной зоны в другую. «Гетто» Луиса Уирта как раз прослеживает, каким образом обреченные начинать жизнь в новой стране в «проблемном» центре города еврейские эмигранты постепенно выбирались в социально благополучные пригороды.

Опираясь на многочисленные архивные документы, опросы, свидетельства и *case studies*, проведенные ими самими, их студентами и социальными работниками, в ходе которых была

документирована жизнь афроамериканцев и проституток, посетителей танцзалов и обитателей муниципального жилья, богемы и гомосексуалистов, бездомных и обитателей трущоб, лидеры чикагской школы создали карты, документирующие «социальный отбор» (Р. Парк) городского населения. Были созданы диаграммы, отражающие карьеры гангстеров и любимые места шизофреников, не говоря уже о расположении гостиниц, борделей, магазинов и прочих мест, в которых собираются люди. Парк выделил «естественные социальные группы», близкие по смыслу расам, и показал, как они подчиняют себе определенные районы города, в ходе чего китайцы создают *Chinatown*, итальянцы — *Little Italy* и так далее. Процессы сегрегации устанавливают моральные дистанции, которые превращают город в мозаику маленьких миров, соприкасающихся, но не проникающих друг в друга, — так виделось происходящее Парку. Это открывает возможность быстрого перемещения индивидов из одного морального ландшафта в другой, осуществляя проблематичный эксперимент по совмещению пространственной близости и ценностной изолированности. Ему вторит Берджес, показывая, что изобретательность молодых людей из хороших семей, нацеленная на поиск свободных от надзора и нотаций пространств, подкреплялась активным строительством кабаре, танцзалов, дворцов в богатых частях города, сулящих «приключение и любовь» [см.: *Burgess*, 1929: 169].

Деятельность чикагской школы была отмечена колебаниями между накоплением деталей, характерных только для данного места — Чикаго, и стремлением продуцировать достаточно универсальные модели, пригодные для любого города. Историк чикагской школы Эндрю Эббот рассказывает о характерном в этом отношении эпизоде [см.: *Abbot*, 1999]. Эрнест Берджес часто выступал в университете и за его пределами с докладами о своей теории концентрических зон (о которой шла речь выше), показывая присутствующим схему этих зон, наложенную на карту Чикаго. Здесь важно помнить, что зо-

ны — условное членение городской территории, позволяющее проследивать процессы, связанные с мобильностью населения и различным использованием земли. Когда кто-то из присутствующих спросил Берджеса после одного из докладов: «А что это за голубая линия посреди схемы?» — последовал ответ: «О, это озеро!» Берджес имел в виду озеро Мичиган — огромный водоем, больше похожий на море, без которого Чикаго невозможно представить. «Голубая линия» важна в том смысле, что невозможно строить модель функционирования города, не принимая во внимание характер его территории: уникальность Чикаго в том, что существование озера предопределило структуру города. Однако в книге Берджеса и Парка «Город» фигурируют две схемы: так сказать, с озером и без. В первой удержана специфичность города, во второй воплощена абстрактная модель, годящаяся повсюду. Суть комментария Берджеса по поводу первой схемы была такова: ни Чикаго, ни какой-то другой город полностью под эту идеальную схему не подпадает. Берег озера, река Чикаго, железнодорожные пути, исторические факторы в расположении промышленных предприятий и некоторое сопротивление местных сообществ вторжениям извне усложняют картину. По поводу второй Берджес говорил, что эта схема представляет идеальную конструкцию тенденции к радиальному расширению, вектор которого направлен из центрального делового района, — то есть что это направление развития характерно для любого городка или города.

Критика чикагской школы

Организмизм, биологизм, эволюционизм — при всем различии этих понятий — ортодоксальной социологией активно отвергаются как заведомо редукционистские варианты понимания социального развития. Причин здесь несколько. Во-первых, это влияние постколониальной мысли и в целом пост-

классических теорий. Эволюция западной цивилизации не мыслится более как единственно возможная теоретическая модель, поэтому под подозрением находятся все эволюционистские модели. Во-вторых, это влияние теорий социального действия, в которых источником изменений мыслится индивидуальная деятельность, нацеленная на достижение запланированных результатов. В-третьих, это увлечение возможностями радикальных изменений, сквозящее в текстах неомарксистов. В-четвертых, это распространение социального конструктивизма, проблематизировавшего сам ход мысли, согласно которому хоть что-то в человеческих действиях и социальных институтах может быть объяснено на основе «естественных» процессов. Так, по мнению сторонников последней парадигмы, предположение о том, что расовая, классовая, сексуальная идентичность легко определяемы и бесп проблемно соединяемы с определенным городским кварталом, привело к тому, что классовые, расовые и прочие различия «эссенциализировались», а группы виделись как чрезмерно однородные и сплоченные.

Общая непопулярность эволюционной теории в социологии привела к тому, что городская экология чикагцев начиная уже с 1930-х годов была подвергнута серьезной критике.

Первая линия критики была связана с постулированием чикагскими авторами существования неких глубинных процессов, которые не всегда получали очевидное выражение на «поверхности» социальной жизни. Так, оспаривалось не просто выделение чикагцами в качестве отдельного детерминирующего рост городов фактора *биотического соревнования*, но их неспособность эмпирически продемонстрировать значимость этой детерминанты (того, что «биотические» процессы работают отдельно от культурных и социальных). Социолог Уолтер Файри на примере Бостона показал, что иногда биотическое соревнование (если оно вообще существует) может быть заблокировано культурными факторами: сентиментальная привязанность жителей к старым центральным районам, нахо-

дящимся под угрозой вторжения в них новых обитателей, может, так сказать, перевесить биологическую логику [см.: *Firey*, 1945: 140—148]. На недооценке культурных факторов в жизни городских сообществ построил свою критику Мануэль Кастельс [см.: *Castels*, 1977].

Интересно, однако, что в статьях последних двух десятилетий именно работа «биологической» логики в городах берется под защиту. К примеру, говорится, что «биотические силы» можно мыслить как реальные, но ненаблюдаемые процессы в организации городов, которые только *могут* проявиться в некоторых городах, если для этого сложатся подходящие условия. Как правило, однако, очевидность действия культурных факторов препятствует этому [см.: *Dickens*, 1990].

Вторая линия критики парадоксальным образом связана с тем, что результаты, полученные чикагскими авторами, относились к конкретному городу и потому не могли быть распространены на другие регионы. Главным препятствием мыслилась уникальность Чикаго, как города со стремительным ростом населения в результате внешней и внутренней миграции, индустриализации и разворачивания капиталистических отношений, тогда как во многих городах других частей света рост был куда более ограничен, население — однороднее и они в значительно меньшей степени были затронуты индустриализацией [см.: *Hannerz*, 1980: 57—74].

Третья линия критики была, наоборот, связана с универсализующими тенденциями в исследованиях чикагских авторов. К примеру, постулирование Уиртом универсальных характеристик *урбанизма как образа жизни* оспаривалось урбанистическими этнографами на том основании, что в действительности существуют *разные* «урбанизмы». Всегда ли насыщенные, разносторонние социальные отношения, которые возможны в городских гетто, со временем теряют свою глубину и превращаются в отношения холодного безразличия к окружающим? Всегда ли городской образ жизни связан с конкретными пространственными формами? Эта линия проблематизации была

развита авторами, исследующими специфику урбанизма в незападных городах. Так, авторы так называемой манчестерской школы городской этнографии, изучая социальные отношения в городах Замбии, пришли к выводу, что в них специфически соединяются трайбализм и урбанизм, анонимные отношения и упорная работа по категоризации окружающих людей по принципу «свои — не свои», поиску все новых и новых линий связей с теми, кто родом из твоей деревни, является дальним родственником или просто знакомым знакомого [см.: *Robinson*, 2006: 41—65]. Способность создавать и укреплять разнообразные сети отношений, разнящиеся по степени близости и интенсивности контактов, способность до неузнаваемости варьировать поведение в зависимости от исполняемой социальной роли были теми качествами, которые формировали у обитателей африканских городов режим существования в условиях колонизованного города. Все это усилило понимание антропологами урбанизма как совокупности *различных* культурных опытов.

Уроки чикагской школы

Города функционируют как организованные системы — с этим тезисом согласны многие исследователи. Но какова природа этой организации? Всецело ли она связана с целенаправленным планированием или в ее генезисе и функционировании есть нечто от «естественных», незапланированных процессов? Ответы на последний вопрос, который дает современная социальная теория, делятся на три группы. Первая группа ответов близка идеям «городского менеджеризма» (они кратко рассматриваются в главе о городской политике). Властвующие индивиды, или элиты, мыслятся как главные субъекты организации городов, активность которых предопределяет то, как города создаются и функционируют. Вторая группа ответов, даваемых урбанистической политической экономией

и марксистской социальной географией, объясняет трансформации городов масштабными капиталистическими силами. Режимы аккумуляции капитала в городах, город как место производства материальных благ и воспроизводства рабочей силы, город как место потребления в нем же произведенных товаров — практически все в организации и функционировании города объясняется капиталистической динамикой. Третья группа ответов связана с отказом от тотальной социологизации объяснений в пользу попыток представить городскую организацию как результат сложного взаимодействия природных, материальных, политических, социальных и культурных факторов. Эта исследовательская стратегия связана с социальными исследованиями науки, с нарастанием междисциплинарности городских исследований, с пониманием опасности социально-конструктивистского редукционизма.

Чикагцы были одними из первых авторов, недвусмысленно заявившими, что эволюция и организация городов не могут быть объяснены только на основе экономических или культурных факторов, но проходят на «биотическом» уровне, не попадаящем в поле человеческой рефлексивности. К примеру, преобладающие варианты социальной сегрегации могут быть точнее объяснены не только на основе экономических процессов (динамики рынка недвижимости) и культурных предпочтений (стремление селиться в районах, отвечающих представлениям людей о стиле жизни), но и врожденными и унаследованными сентиментами и мотивами, которые влекут людей к близким им по крови или по духу.

Отстаивая тезис о современности идей городской экологии, британский урбанист Питер Сондерс убедительно демонстрирует, как «что-то еще», помимо экономических, социальных или культурных детерминант, работает в пространственных предпочтениях горожан, обращаясь к исследованиям динамики расселения мигрантов в Бирмингеме, проведенных Рексом, Муром и Томлинсон [см.: *Saunders*, 2001: 44—45]. Политика властей и домовладельцев препятствовала

поселению недавних чернокожих мигрантов в пригородах: чтобы стать домовладельцем и претендовать на заем, необходимо было представить солидные гарантии долговременной занятости, чего у приезжих, конечно, не было. Они, как это происходило и в тысячах других европейских и американских городов, селились в оставленном состоятельными людьми центре, где можно было дешево купить старые большие дома, разделить их на квартиры и зарабатывать, сдавая эти дома в аренду тем, кто поселился в данном районе позднее. Пока в этой истории на первом плане — экономические и политические факторы, препятствующие поселению мигрантов там, где бы им хотелось («белые» пригороды). Но по истечении примерно двух десятилетий картина была совершенно иной. На вопрос о том, хотели бы они перебраться в пригороды, большинство отвечало отрицательно по той причине, что теперь здесь, в одном из районов центра, они чувствовали себя как дома, спокойно и защищенно. В терминах чикагской школы, группа чернокожих иммигрантов «вторглась» в данный городской район, достигла в нем «доминирования», «приспособила» к своим нуждам его инфраструктуру и начала в его рамках утверждать свою собственную «культуру»; в итоге появился новый «естественный» ареал, к которому у его обитателей возникло чувство привязанности. Сондерс противопоставляет этому «биотическому» процессу противоположный: когда в результате искусственно возникших административных границ или политических нововведений людей вынуждают жить бок о бок с теми, кто социально от них далек. С его точки зрения, драматические эпизоды истории Косово, Северной Ирландии или Бургундии связаны именно с этим, не говоря уже о многочисленных примерах плохо функционирующих сообществ с высоким уровнем внутреннего антагонизма. Англия, с ее довольно грустной историей послевоенного социального реформирования (движение *New Towns*), дает немало примеров провалившихся попыток реформаторов создать районы, в которых проживали бы бок о бок представители разных классов.

Те, кто имел средства, из этих районов быстро уехали, сегрегация только усилилась, а попытки «локально» насадить социальное разнообразие потерпели полное фиаско. Самым выразительным примером здесь является история «Каттслоу Уолс» в Оксфорде, где обитатели частного квартирнго комплекса заставили местные власти построить стену, отделяющую их от соседнего комплекса, в котором жили не устраивающие их обитатели. Советский опыт пространственного насаждения социального равенства и стремительное нарастание пространственно-социальной фрагментации городов в последние двадцать лет также демонстрируют, что «биотические» факторы — серьезная сила.

Тезис Парка состоял в том, что «естественные» ареалы, отличавшиеся довольно высокой культурной однородностью, эффективно определяли пространственное структурирование города *в том числе и потому*, что люди *предрасположены* к кооперации с близкими себе. Какого рода эта предрасположенность и как именно в ней сочетаются унаследованные и благоприобретенные факторы — на эти вопросы нет точных ответов, но открытость чикагцев допущениям о не всецело социальной природе этих диспозиций заслуживает уважения.

Саския Сассен, подчеркивая уникальность исследовательской ситуации чикагцев, называет Чикаго «эвристическим пространством для понимания масштабной динамики индустриальных обществ» [Sassen, 2005: 252]. Вместе с тем тот факт, что не все их идеи оказались востребованными, она объясняет тем, что на протяжении большей части XX века западные города просто не могли более составлять такое эвристическое пространство. Индустриальная эпоха, так сказать, устоялась, а своеобразные успехи политического и социального регулирования городов привели к тому, что какие-то интересные для урбанистов процессы в них стало проследживать сложнее. Местом масштабной динамики стали, скорее, правительства и промышленность (включаящая промышленное производство домов для американских пригородов).

Однако конец XX века опять сделал именно города объектом пристального интереса, что произошло в силу процессов глобализации. Они стали главным местом целого спектра новых политических, социальных, культурных, экономических процессов. Но здесь возникает такая сложность: для чикагских авторов город был «лабораторией», позволяющей на его примере судить о социальных процессах всего американского общества. Насколько изучение городов сегодня может помочь критическому и аналитическому пониманию масштабных социальных процессов? Проблема в том, что в разворачивающихся на наших глазах новых пространственных конфигурациях город как таковой уже не занимает того центрального места, какое он занимал в классической урбанистике. Масштабные, связанные с глобализацией процессы приводят к образованию новых пространственных феноменов, в результате чего если и существует сегодня «эвристическое пространство», то оно связано скорее с «городом-регионом». В широком мире «трансурбанистической динамики» город как таковой — лишь один из узлов. В его понимании на первый план выходит, во-первых, не замкнутость, но, напротив, разомкнутость; во-вторых, не унифицированность, но сложность; в-третьих, не вписанность в пространственную иерархию, на вершине которой — национальное государство, но самостоятельная «глобальная» роль (возможная для некоторых городов). Поэтому теоретическое «государственничество» уже не может играть роль доминирующей теоретической рамки в анализе городов.

Первый вызов, с которым, соответственно, сталкиваются урбанисты, — это найти не «государствоцентристскую» теоретическую рамку, освободиться от контейнерного мышления в терминах национального государства. Второй связан с усложнившимся пониманием «мест». Переосмысление значимости физической близости для понимания привязанности людей к месту, потоки информационных технологий, динамика глобального и локального, маркетинг мест — эти и многие другие тенденции обуславливают то, что в городских исследованиях на первый план выходит место, часто понимаемое как связан-

ное с транстерриториальными процессами. Детальная полевая работа могла бы помочь зафиксировать многие из этих новых процессов, и глубина погружения в процессы, идущие в одном городе, которую продемонстрировали авторы чикагской школы, остается непревзойденной.

Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3—4. С. 23—34.

Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Зиммель Г. Избранные работы. Киев: Ника-Центр, 2006. С. 61—79.

Зиммель Г. Чужак // Социологическая теория: история, современность, перспективы / Под ред. А.Ф. Филиппова. СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 237—271.

Abbot A. Department and Discipline: Chicago Sociology at One Hundred. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Burgess E.W. The Growth of the City: An Introduction to a Research Project // Publications of the American Sociological Society. 1924. Vol. 18. P. 142—155.

Burgess E.W. Studies of Institution // Chicago: An Experiment in Social Science Research / Ed. T.V. Smith and L.D. White. Chicago: University of Chicago Press, 1929.

Castels M. The Urban Question. L.: Oxford, 1977.

Dickens P. Urban Sociology. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1990.

Firey W. Sentiment and Symbolism as Ecological Variables // American Sociological Review. 1945. № 10. P. 140—148.

Hammerz U. Exploring the City: Inquiries Toward an Urban Anthropology. N.Y.: Columbia University Press, 1980.

Heap C. The City as a Sexual Laboratory: The Queer Heritage of the Chicago School // Qualitative Sociology. 2003. Vol. 26, № 4. P. 457—487.

Hubbard P. City. L.; N.Y.: Routledge, 2006.

Kristeva J. Strangers to Ourselves. N.Y.: Columbia University Press, 1991.

Mumford L. The Culture of Cities. N.Y.: Hartcourt Brace and Co., 1938.

Robinson J. Ordinary Cities. Between Modernity and Development. L.: Routledge, 2006.

Sasken S. Cities as Strategic Sites // Sociology. 2005. Vol. 39 (2). P. 352—356.

Saunders P. Urban Ecology, Handbook of Urban Studies / Ed. R. Paddison. L.: Sage, 2001.

Savage M, Warde A, Ward K. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.

Simmel G. How is Society Possible? // Georg Simmel on Individuality and Social Form. Selected Writing. Chicago: University of Chicago Press, 1971a. P. 6—22.

Simmel G. The Problem of Sociology // Georg Simmel on Individuality and Social Form. Chicago: University of Chicago Press, 1971b. P. 24—40.

Simmel G. The Philosophy of Money. Boston: Routledge, 1978.

Simmel G. Gesamtausgabe / Ed. O. Rammstedt. Frankfurt: Suhrkamp, 1989. Vol. 13. P. 62 (цит. по: *Lash S.* Lebenssociologie: Georg Simmel in the Information Age // Theory, Culture, and Society. 2005. № 22 (3). P. 1—23).

Vidler A. Psychopathologies of Modern Space: Metropolitan Fear from Agorophobia to Estrangement // Rediscovering History / Ed. M. S. Roth. Stanford: Stanford University Press, 1994. P. 11—29.

Young M. Justice and Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Zorbaugh H.W. Gold Coast and the Slum. Chicago: University of Chicago Press, 1929.

ГЛАВА 2

Неклассические теории города

В 1960—1970-е годы в урбанистике сочетались следующие типы теории города: 1) позитивистские по духу количественные модели использования городской земли; 2) исследования субъективного отношения людей к городу; 3) радикальная политическая экономия, основанная на марксизме. Первые продолжали чикагские традиции картографирования города, используя статистические методы и бихевиористские модели. Бихевиоризм был популярной моделью и тех авторов, которые вслед за Кевином Линчем [см.: *Lynch*, 1960] занимались исследованием ментальных карт города. Каким образом люди ориентируются в городе, как прокладывают себе путь, как принимают решения о найме жилья — эти вопросы выяснялись вначале с помощью опросов, а затем с помощью компьютерного моделирования. Один из главных результатов этих исследований состоял в обнаружении того, что в повседневном поведении горожан есть немало иррационального. Радикальная политическая экономия обратилась к отношениям производства, потребления, распределения и обмена, способствуя пересмотру отношений между исследователями и властями. Ученые видели себя теперь не только поставщиками информации для тех, кто принимает решения. Последние, наряду с планирующими инстанциями и девелоперами, были включены в число объектов исследования — в качестве факторов, скорее создающих и воспроизводящих социальные проблемы, нежели их успешно разрешающих. И не-

мудрено: поскольку фоном и истоком всех городских явлений и проблем для марксистской урбанистики был капитализм, то все агенты городского развития мыслились как вовлеченные в поиск наиболее выгодных мест для вложения капитала.

Не слишком ли, однако, жесткая это рамка для объяснения происходящего в городе, и в особенности процессов, связанных с социальными и культурными различиями? Таким вопросом все активнее стали задаваться начиная с 1970-х годов феминисты и представители постколониальных исследований. Различия и влияние этих различий на идентичность обитателей города были в центре их внимания. Допущение о том, что наряду с экономической логикой капитализма городская жизнь определяется другими процессами, роднит эти течения с постструктурализмом. Рефлексия феномена различий между людьми и культурами привела в последние десятилетия к обостренному ощущению присутствия «другого» в философском, историческом, критическом дискурсах и к проблематизации феномена гетерогенности человеческого существования. Сконцентрированность на языке и репрезентации мира в различных символических системах позволила сторонникам постструктурализма продемонстрировать взаимосвязь материальных и нематериальных сил. Так, последователи Мишеля Фуко показали силу дисциплинарных описаний современного мира и способность социальных наук собственные тотальные обобщения социальной реальности продвигать в качестве доминирующих — за счет местного и наивного знания. С тех пор тем ученым, кто считает, что их взгляд на реальность по той или иной причине является привилегированным, сложнее утверждаться в своих претензиях на интеллектуальное господство.

В урбанистике этот сдвиг проявился в пересмотре амбиций: все меньше ученых видят смысл в создании обобщающих теорий города и все больше — в обращении к местному и частному в городах. О чем бы ни писали сегодня исследователи и в какой бы области они ни работали, в их текстах можно подметить такие общие черты, как отбрасывание монолитного и гомогенного во имя разнообразия, множественного и гетероген-

ного, отрицание абстрактного, общего и универсального в свете конкретного, частного. Так, выполненные «культурными географами» работы полемически свидетельствуют, что итоги изучения, к примеру, феномена беспрецедентной притягательности американских торговых центров, различных типов спортивных и медиафанатов или «призраков», преследующих воображение горожанина, несут человечеству одинаково важную информацию.

Но есть еще одна важная причина, почему наследие классической урбанистики, в «чикагском» или традиционно марксистском ее вариантах, обнаружило ограниченность. Стремительно менялись сами города. Они «децентрировались», если воспользоваться популярным в постструктурализме термином. IT-компании и торговые центры, тематические парки развлечений и заводы — все это стало существовать теперь за пределами города. В собственно же городе тоже шли новые процессы: он по-новому разграничивался на корпоративные центры, «сообщества за воротами», центры потребления и так далее. Потребление стало центром жизни изменившихся, постиндустриальных городов — мест постфордистской экономики.

Обсуждение всех тем этой книги было невозможно без обращения к тем или иным вариантам неклассических теорий, так что я не видела смысла в том, чтобы полностью сконцентрировать соответствующий материал в этой главе. Здесь я рассмотрю постколониальные и феминистские урбанистические идеи, а затем обращусь к лос-анджелесской школе урбанистов, пытавшейся создать свою теорию постиндустриального города.

Увидеть аквариум: постколониализм и урбанистика

Читателю случалось, вероятно, сталкиваться с проявлениями работы специфического географического воображения, которое «западное» и «европейское» делает ценностным цент-

ром, а все остальное рассматривает как заведомо «недотягивающее» и даже «дикое». С начала перестройки нам всем памятен не просто ремонт, но «евроремонт». На Урале это проявляется в разнообразных играх вокруг границы Европы и Азии, пролегающей недалеко от Екатеринбурга: и власти города, и посетители соответствующего монумента явно тяготеют к «Европе» — с полным пренебрежением к географическим реалиям. Многим приходилось слышать неологизм «Азиопа» — грустный итог общей рефлексии о мере европейскости России. Знакомая журналистка, проехавшая по Сибири с запада на восток, рассказывала, что в каждом городе она слышала одно и то же: «Дальше не ездите, цивилизация кончается здесь!» Кажется, что такого рода стереотипы мы впитываем с рождения и ничто их не устранил.

Постколониальные авторы считают иначе. Они полагают, что европоцентристское знание о пространствах и местах более не пригодно. Разделение мира на запад и восток, на котором основывается западное географическое воображение, приводит к тому, что характеристики соответствующим местам даются лишь на основе этой оппозиции. Постколониальные исследования родились в 1970-е годы — на волне активной деколонизации, антивоенных и антиимпериалистических движений. Они включают в себя: 1) обсуждение опыта рабства, миграции, угнетения и сопротивления, различия, расы, гендера, места и их материальных последствий; 2) анализ реакции на дискурсы и идеологии имперской Европы (исторический дискурс, антропологический, философский, лингвистический). Они занимаются анализом условий жизни и культуры как в бывших колониях, так и в диаспорах, как условиями жизни людей в рамках колониализма и империализма, так и теми условиями, что наступают с *концом* колониализма, — и этой парадигме присуще постоянное движение *между* прошлым и настоящим, ощущение исторического перехода и фокус на конкретном культурном месте.

Главный постколониальный вызов современного мира, возможно, состоит в «обратном» движении в страны-метрополии большого количества мигрантов. Они стремятся в более развитые страны потому, что там они, как трудовой ресурс, стоят дороже. Это порождает значительные проблемы и для переселенцев, и для соответствующих городов. Можно ли в принципе всех этих людей продуктивно занять на новом месте проживания — неизвестно. Ведь нужны гарантии не только устойчивого дохода, но и сохранения идентичности. Сила глобальных процессов постколониальными мыслителями не оспаривается, но мыслится как отказывающая индивиду в определенном месте в мировом порядке, природном или культурном. Глобальное и локальное объединяются не как макрокосм и микрокосм, но конфликтно: каждое разрушает и искажает свою противоположность. Возможность абстрактно принадлежать миру тем самым исключается, а на ее место приходит «шок узнавания мира-в-доме или дома-в-мире», как выражается американский теоретик Хоми Баба. Не случайно, рассуждая о причинах и природе ноябрьских событий 2005 года в северо-восточных пригородах Парижа, итальянский политический философ Антонио Негри вспомнил фильм французского режиссера Абдельлатифа Кешиша «Умолчание» (*L'esquive*, 2003). Старшеклассникам одной из школ бедного арабского парижского пригорода учитель предлагает поставить пьесу Пьера Карле де Мариво. «Нечаянности любви» французской комедии ошибок, входящей в классический канон, переплетаются с драмами отношений подростков, изъясняющихся на жестком сленге и проводящих время в спорах и ссорах. Юные актеры-любители помогают Кешишу достоверно воссоздать повседневность обитателей социального жилья, в которой сказываются экономические и социальные проблемы, вызванные соединением постиндустриализма, перенаселенности мегаполиса и гибридных идентичностей второго и третьего поколений мигрантов. Негри подчеркивает, что если вначале подростки идентифицируются с классической любовной историей,

то затем, по мере того как сложная любовная динамика их собственных отношений достигает пика, они бунтуют против невинной пьесы, отказываясь ее играть, так как увидели в ней белой буржуазии.

Постколониальные исследования, как и *cultural studies* вообще, подходят к окружающему конструктивистски, то есть не верят ни во что естественное, стремясь за социальными отношениями увидеть историю, показать, что дело могло бы обернуться и по-другому, что то, что существует, — не вечно, не универсально, то есть является результатом конкретных исторических обстоятельств. Эту группу теоретиков отличает поэтому обостренный антиэссенциалистский пафос. Существуют ли расовые (классовые и прочие) отличия по природе? Существует ли «природа колонизатора» и «природа угнетенного»? Зафиксировав, что имеет место позиционирование расовых отличий как «природных», в то время как в действительности эти отличия — продукт деятельности социальных сил, постколониальные авторы с подозрением относятся к «естественным» видам и категориям, апелляция к которым может скрывать оправдание устаревших социальных институтов. Последнее может сочетаться и с романтизированным прославлением местных культуры и знания и с нейтральным культурным релятивизмом. Так, американский постколониальный теоретик и феминист Гайятри Спивак с возмущением говорит о некоторых культурных релятивистах, которые не видят смысла в борьбе против детского труда, считая его частью местной, скажем бангладешской, культуры.

Работающие в этом поле исследователи успешно проблематизируют и самое различие между колонизаторами и колонизованными. Дело в том, что европейцы и их представления еще были в процессе становления, когда они колонизировали мир. Например, английская буржуазия создала понятие дома на основе идеализации английской капиталистической системы, базирующейся на наемном труде. Буржуазия противопоставляла свой идеал домашности «ужасным» условиям жизни, нравам

и жилищам как бедных в самой Англии, так и жителей Африки. Поэтому идея «дома» не была сформулирована дома и затем навязана всему миру. Скорее, средний класс сконструировал ее в процессе взаимодействия с колониальным миром и с «другим» миром (бедных) в своей стране. Таким образом, между европейцами и африканцами, средним классом и беднотой, модерностью и колониализмом существовали диалектические отношения взаимного влияния. Миссионеры, заставляющие местных использовать европейский архитектурный стиль для строительства своих жилищ, насаждали гегемонию, которая была бы невозможна без этой сложной диалектики. Власть не просто исходила от колонизаторов и колонизованные не просто имели некоторое влияние на колонизаторов, но и те и другие были в процессе постоянного взаимного формирования.

Раскрывая противоречивость европейского понятия человека, постколониальные авторы стремятся не столько его разрушить, сколько выстроить более гуманистическую модель, в которой колонизованные все-таки размещались бы на стороне людей. Так, скажем, в Южной Африке люди, живущие на границе Крюгер-парка, были вытеснены с мест своего проживания из соображений охраны окружающей среды. Один из постколониальных авторов иронически заметил на этот счет, что, по-видимому, гиппопотамы оказались более важны, чем люди, по крайней мере бедные люди.

Я приведу в качестве красивой параболы этой новой познавательной ситуации образ из работы афроамериканской писательницы Тони Моррисон «Играя в темноте: белизна и литературное воображение» [Morrison, 1992]. В этой работе речь идет о том, что американская литературная критика «не до конца» прочитала канонические произведения американских писателей — от Марка Твена до Хемингуэя — и универсализировала именно белизну, представив ее как норму, вечную и всегда оправданную. С точки зрения Моррисон, позиционируя себя как расово нейтральную или расово слепую, американская литература не только утратила часть своей жизненности, но и в ито-

ге оказалась более расистской, чем она хотела бы быть. Она показывает, что черная раса является ключевой для формирования американской идентичности, что реальное, физическое тело негра, или пусть даже воображаемое, было тем основанием, на котором (или в противоположность которому — что чаще имело место) конструировались типичные черты американского характера: индивидуализм, высокие моральные качества, невинность. Обсуждая воздействие «расы», она переносит акцент с тех, кто пострадал от расистской идеологии, на тех, кто занимает привилегированные позиции в американском обществе, открыто либо тайно исповедуя расистские взгляды. Соблазн поработать других вместо того, чтобы разделять с ними свободу, — вот что усматривает она в американской литературе и считает, что эту истину надо принять и только это станет источником будущей силы.

Моррисон призывает нас представить следующий образ: мы смотрим на аквариум и видим мерцание золотистых чешуек, зеленый кончик хвоста, белую изнанку жабр, игрушечные замки на дне, завораживающие пузырьки, поднимающиеся на поверхность, и вдруг мы увидели *сам аквариум* — устройство, которое прозрачно и невидимо и которое позволяет упорядоченной жизни, то есть тому, что внутри него, существовать в большом мире.

Аквариум, который увидела Моррисон, — это раса. В прошлом можно было видеть золотых рыбок — тексты и замки — темы, в число которых не входили расовая история и политика Соединенных Штатов. Теперь произошел сдвиг гештальта, стал видимым сам аквариум, и восприятие всей жизни полностью изменилось. Это переживание писательницы можно обобщить, используя его для очень многих оппозиционных, критических теорий, что возникли в последние сорок лет. Увиденным аквариумом могла быть сексуальная политика западной метафизики — мир белых мужчин или, как в работах Эдварда Саида, ориенталистский дискурс, сквозь который «Запад» рефлексивно создает себя в столкновении с «восточным дру-

гим». Рожденный Моррисон образ схватывает демистифицирующую, денатурализирующую *суть* таких открытий (аквариум-то был всегда на месте, просто мы его не замечали), их *масштаб* (продолжая игру Моррисон, можно спросить: восстановится ли справедливость, если мы в наш аквариум посадим одну черную рыбку?) и их политическую *траекторию* (смысл не только в том, чтобы описать аквариум, но и в том, чтобы увеличить шансы на его реконструкцию). Подобный сдвиг гештальта произошел и в урбанистике — в отношении стран так называемого третьего мира. Само различие между крупными западными городами «первого мира» и городами Африки, Азии и Латинской Америки, принадлежащими к «третьему миру», было поставлено под вопрос как предполагающее однородность и сопоставимость опыта жизни в этих городах. Исследования разных вариантов сочетания исторического наследия и современных социально-экономических, политических и культурных обстоятельств показали, с одной стороны, что в городах «третьего мира» есть многое, что отличает их от западных городов. Это масштаб и размах неформальной экономики, огромные по площади трущобы и быстрый рост населения, сочетающийся с медленным ростом экономики. С другой стороны, эти исследования свидетельствуют о том, что в ходе процессов прошлой и настоящей глобализации между городами «первого» и «третьего» миров сложилось множество экономических, политических и культурных связей.

Американский исследователь Санджой Чакраворти рассматривает изменение городского пространства Калькутты сквозь призму некоторых из таких связей [*Chakravorty*, 2005]. В период колониализма город был британской столицей Индии. После 1947 года, когда после завоевания Индией независимости официальной столицей стал Дели, а самым крупным и процветающим городом — Бомбей (Мумбай), Калькутта пришла в упадок. С 1980-х годов политические реформы облегчили доступ в город зарубежного капитала. Эти перемены в характере связи Индии с мировой экономикой также отразились в город-

ском ландшафте. В период колониального господства пространство города отражало деление всех людей на колонизаторов и колонизованных, что выражалось в глубочайшей пространственной сегрегации. Сразу после обретения независимости, так сказать в период раннего постколониального существования Индии, в те части города, где раньше обитали колонизаторы, вселилась местная элита. Наконец, структура города в период после реформ усложнилась и обновилась. К примеру, к «старой» Калькутте добавилась Новая Калькутта — город на окраине, который облюбовали для себя обладатели новых профессий, крепко стоящие на ногах. Прежние попытки создания новых городов рядом с Калькуттой в соответствии с рекомендациями международных и местных специалистов по «развитию» потерпели фиаско: между камнями мостовых там пробивается трава, а некоторые фонари так никогда и не были зажжены, потому что люди просто отказались в эти города перебираться. Новая Калькутта не повторила их судьбу, потому что расположена ближе к «старой», что делает разрешимыми транспортные проблемы. В то же время в ней возможно обойтись без застарелых проблем индийских городов: плохой инфраструктуры, трущоб, бедности.

Чакраворти показывает, что история городского ландшафта не вписывается ни в одну из преобладающих историй урбанизации. Так, Калькутта не только никогда не была промышленным городом, но и вряд ли им станет: только в области компьютерной электроники она может конкурировать с другими городами на глобальном рынке. На южноазиатском рынке она может занять лишь нишу фармацевтического производства и производства удобрений, обработки кожи. Исторически город был последним прибежищем больших масс сельского населения и остается таковым поныне для примерно 300 млн людей (включая тех, кто живут в Бангладеш), так что маловероятно, что в «старой» Калькутте радикально изменится пространственное распределение богатых и бедных.

Чакраворти, как и Гайятри Спивак, — индийские интеллектуалы, преподающие в университетах США. Фундаментальной исторической предпосылкой возникновения массива постколониальных текстов был переезд ряда интеллектуалов «третьего мира» в столицы мира «первого». Политические и культурные возможности большого города (его, как правило, прогрессивная политика и бурная культурная жизнь) — все это привело к тому, что в текстах этих авторов именно глобальный город — Лондон или Нью-Йорк — метонимически и символически выступает микрокосмом нового деколонизованного мира. Город сам по себе искусственное образование, в котором сочетаются возможности чувствовать себя членом какой-то общности и созерцать бесконечное разнообразие людей. Поэтому город — идеальный постколониальный «дом»: здесь никто не может претендовать на то, что «по рождению» заслуживает здесь находиться. Постколониализм отдает предпочтение, так сказать, безродным космополитам, подчеркивая случайность и сконструированность наших отношений с местом. Достаточно ли, однако, для постколониального интеллектуала лишь воспевать свои «безродность», гибридность, «изгнание»? Тексты такого рода в изобилии продолжают производиться, но я сама не раз была свидетелем того, как публика на международных конференциях заметно скучает, когда по программе доходит очередь до очередного изгнанника. Гайятри Спивак говорит в этой связи об «элитарном» постколониализме, представители которого разработали стратегию дифференцирования себя от угнетенных собратьев по расе посредством того, что говорят от их имени [см.: *Spivak*, 1999: 358]. Спивак, которую часто приглашают выступать в европейских университетах, своими выступлениями нередко вызывает гнев «подсвешей» на постколониализм европейской интеллектуальной элиты — и тем, что считает это течение в его нынешнем виде фиктивным, и тем, что, вместо того чтобы говорить о своей гибридной индийской душе, разговаривает с ними о Деррида (благодаря ее переводам с французского с ним познакомился

англоговорящий мир) и Лакане. Она формулирует термин «постколониальный информант», имея в виду многочисленных обитателей американских университетов, которые ничего не могут сказать об угнетенных меньшинствах в самих деколонизованных нациях [см.: *Spivak*, 1999: 360]. Но «аура идентификации» с этими далекими объектами угнетения манит исследователей. В лучшем случае они идентифицируются с другими расовыми и этническими меньшинствами в городе, где живут, в худшем — пользуются этой аурой и играют роль местного информанта, не испорченного западным знанием. Они либо пишут повествования о культурной и этнической особенности своих народов, либо прямо говорят, что их экономическое и социальное преуспевание — это сопротивление колониализму. Спивак разбирает самые разные случаи непрямого участия постколониальных интеллектуалов в «пособничестве» неоколониализму. К примеру, в постколониальной ситуации женщины не представляют собой единого коллектива с общими интересами и нуждами. Они столь же стратифицированы, как и мужчины. В таком контексте традиционная гендерная политика не может заменить классовую политику. Другой пример: если считать, что сегодняшние различия в уровне оплаты труда соответствуют традиционным различиям в уровне привилегированности, тогда внимание исследователей удобно отвлекается от процесса капиталистической эксплуатации на устойчивость феодальных традиций, на национальную, культурную, этническую специфику того или другого народа. В действительности же между капитализмом, традициями и разнообразием существует удобный симбиоз.

В рамках такого «мультикультурного» капитализма эксплуатация одного класса другим носит более опосредованные формы [см.: *Cohen*, 2000]. Культурный труд — приписывание коллективных смыслов и персональной идентичности тем материалам, которые для этой цели выбраны (музыке, одежде, телам, мотоциклам, стенам), — сам по себе материальной ценности не создает. Он создает знаки аутентичности и авторские

подписи. Чтобы и то и другое функционировало в качестве товара, их надо пропустить через машину репрезентации. Это то, что делает культурный капитал, это то, что культурный капитал собой и представляет. Накопленное знание (власть) используется для того, чтобы культурный труд обменивать на деньги с помощью специфических средств репрезентации. С помощью этого соединения власти (знания) идентичность также превращается в ресурс, который можно продать или по поводу которого можно торговаться. Разнообразие и изобретательность средств репрезентаций вуалируют социальную суть происходящих процессов. Так, Пьер Бурдьё и художник Ханс Хааке впечатляюще показали в работе с ироническим названием «Свободный обмен», каким образом продается культурное разнообразие [см.: *Bourdieu, Haacke*, 1995]. Они, правда, говорят главным образом о субкультурном разнообразии, которое используется в ходе производства одежды, аксессуаров, музыки, связанных с молодежными стилями. Две стороны состоят в отношениях взаимной эксплуатации, которая превращает структуры неравенства в секретный пакт.

Многие афроамериканские и азиатские интеллектуалы успешно воспользовались тем, что в культуре, где царят дизайн, информационные и коммуникационные технологии, чрезвычайно востребованы самые разные проявления «фьюжн», гибридности. Так что изобретение традиций и, напротив, культивирование «аутентичных» корней комбинируются в разных пропорциях, создавая «постколониальную» интеллектуальную смесь. Многим представителям постколониального мира удалось вопросы расы и расизма видеть по преимуществу сквозь культурную призму. Постколониализм интеллектуальный оказывается своеобразным ресурсом освобождения. Никто не ждал этих людей в вузах, дизайне, арт-мире или массмедиа. Они «пробились», а понятия диаспоры, гибридности помогли мышлению по поводу расы, нации и этничностей освободить от эссенциализма, сделать эти термины волнующими, чем-то, с чем можно играть. Они позволяли позитивно представить

процессы внутренней дифференциации, которые имели место в городских афроамериканских и азиатских общностях второго и третьего поколений. Вместо патологизирующей картины молодых людей, навсегда и непродуктивно застрявших между культурами (которую рисовала традиционная социология города), стала возможной позитивная картина смешения влияний, где Запад и Восток встречаются равноправно и где культурные политики и сепаратизма и ассимиляционизма проблематизируются. Постколониальные термины успешно выразили опыт тех, кто поднимался из своих этнических гетто, чтобы занять заметное положение в новом мультикультурном среднем классе. Появление «постколониального города» дало им их изобретенные традиции, их собственную воображаемую историю и географию. Сгущенные, смещенные, кажущиеся равными пространственно-временные отношения глобализованной культуры вызвали нешуточные перемены субъективности и повседневности.

Постколониальные исследования и имперские города

Сложившись как анализ колониального дискурса, постколониальные исследования распространились в течение последних двадцати лет на такие области, как география, архитектура, городское планирование и урбанистика. Это привело к ряду интересных политических, социальных и культурных интерпретаций пространства колониального города: коллизий между традициями репрезентации, правовым регулированием, культурными заимствованиями, коллизий, сопровождавших многолетнее взаимодействие, к примеру, британцев и индийцев в Калькутте или французов и вьетнамцев в Ханое.

Ирония состоит в том, что, хотя постколониальные исследователи, подчеркивая чрезмерную жесткость и недиалектичность таких противопоставлений, как «культура колонизато-

ров/культура угнетенных», и призывали взамен к поиску гибридных культурных образований, сам этот поиск осуществлялся более охотно в колониях, нежели в метрополиях. Если изучение взаимовлияния культурных миров колонизованных и колонизаторов *вдали* от метрополии идет достаточно интенсивно, то *дома*, будь это Лондон или Лиссабон, осуществить его гораздо сложнее — в силу ряда идеологических и психологических причин, главная из которых состоит в сложности признания и выражения принципиальной «гибридности» западной культуры. Эдвард Саид в книге «Культура и империализм» (1994) включает столицы метрополий в число феноменов, испытывавших воздействие империализма. Он спрашивает: «Кто в Англии или Франции может провести четкий круг вокруг британского Лондона или французского Парижа, исключая воздействие Индии и Алжира на два этих имперских города?» [Imperial Cities, 2003: 4]. Динамика взаимодействия «западного» и «незападного», центра и периферии, «нас» и «их» в западных городах и их понимании составляет сегодня одну из самых волнующих тенденций постколониальных исследований. Но в урбанистике со времени начала рефлексии современного индустриального города «другие» и «другое» либо осмыслялись как один из источников витальности и привлекательности городов, либо обвинялись в эрозии традиционной городской общности.

Европейские столицы долгое время представляли собой витрину имперских амбиций и завоеваний того или иного государства, будь это парадные события или места, предназначенные визуализовать могущество империи. При этом использовалась популярная тогда идея «мира как выставки»: перед взором любопытствующего европейца разворачивался имперский образ земного шара, часто он сквозил и в организации пространства того или иного города.

Европейская столица представляет собой зрелище, в котором знаки империи переплетены с городскими местами. Так, постер 1932 года компании, обслуживавшей лондонскую подземку, приглашал лондонцев: «Посети империю!» Для этого ну-

жен был лишь билет в метро: до Австралии можно было добраться через Стрэнд, до Индии — через Олдвич и так далее. Империя и городской ландшафт британской столицы тем самым соединялись: «если имперский город был в центре мира, то империя теперь лежала в центре городской жизни» [Imperial Cities, 2003: 3], воплощаясь не только в правительственных зданиях и мемориалах, но и в характере коммерции, в космополитическом потреблении, в историческом разнообразии и географической гетерогенности культуры. Одну из многочисленных форм знания, с помощью которых европейцы в XIX веке установили новый порядок репрезентации мира, составляли путеводители. По мере того как укреплялось их мировое господство, упрочивался и упомянутый подход к «миру как выставке», усиливался «выставочный комплекс», воплощающийся прежде всего в многочисленных всемирных выставках, но также в музеях, школах, архитектуре, туризме, моде и повседневной жизни. В результате, например, туристский образ Вены непременно включал этническое разнообразие ее обитателей — венгерских цыган, богемских кормилиц, балканских мусульман, евреев из Галиции и так далее.

В основе общественной жизни европейских столиц XIX — первой половины XX века лежало имперское воображаемое, расцветшее посредством увеличивающейся совокупности зданий, мемориалов, а также историй и образов, ими воплощаемых. Увлечение колониальными товарами и образами, наводненность ими викторианских домов и улиц, а также нарастание ценности имперскости для повседневного поведения европейцев сочетались с беспокойством по поводу того, что «другие» всё более по-хозяйски вели себя в кварталах европейских городов. Одно дело — глазеть на них как на экспонаты всемирных выставок, а другое дело — понимать, что они собираются обосноваться по соседству с тобой всерьез и надолго. Космополитизм европейских столиц обнаруживал здесь свою ограниченность, а в XX веке, когда началась усиленная иммиграция из бывших колоний, колониальные рефлексy британцев вспыхнули с новой силой. Одной из причин этого было то, что

для многих из них деколонизация осталась процессом принципиально невидимым, происходящим где-то там, вдали от дома. Когда «чужие» по нарастающей стали селиться в Манчестере и Бирмингеме, воспоминания об империи всколыхнулись, и «фигура белого человека вновь вышла на поверхность — как раз тогда, когда ожидалось ее полное исчезновение» [Imperial Cities, 2003: 271]. Так что одержимость англичан историями имперского прошлого может быть прочтена как симптом их неспособности изгнать из коллективного бессознательного фигуру опасного чужака, от которого они зависят не только экономически, но и культурно: без него не на чем будет основывать претензии на моральное и расовое превосходство. У них есть смысл поучиться беспристрастному анализу такого рода симптомов.

«Неприятная история легко может произойти с ней»: феминизм и город

В знакомом нам нарративе, соединяющем модернизацию и урбанизацию, город мыслится как место свободы от сословных предрассудков, от чересчур тесных и ко многому обязывающих социальных связей. Феминистские авторы напоминают, что свобода и мобильность в городах долгое время были прерогативой мужчин [см.: *Buck-Morss*, 1986]. По мнению Джанет Вулф, «переживание анонимности в городе, быстротечные внеличностные контакты, описанные социальными комментаторами вроде Георга Зиммеля, возможность свободных от домогательств прогулки и наблюдения, вначале открытая Бодлером, а затем проанализированная Вальтером Беньямином, составляли всецело мужской опыт» [Wolff, 1990: 58].

Чтобы иметь шанс насладиться прогулкой по парижской улице без помех, можно было переодеться в мужское платье. Но такой внутренней свободой обладали лишь немногие, к

примеру Жорж Санд. Женщины не появлялись на улицах европейских городов в одиночку. Одинокой женской фигуре на улице суждено было воплощать один из полюсов ценностной оппозиции: падшую женщину либо добродетельную женщину в беде. Все потому, что это именно мужской взгляд запечатлелся в литературе и живописи, на фотографиях и в моделях восприятия. Мужчины смотрели оценивая, женщины были зрелищем. Только в обществе мужа, служанки, подруги или родственницы они долгое время могли наносить визиты. Только в XX веке без ущерба для репутации женщина могла выпить чашку кофе на террасе уличного кафе. В одиночку она могла появляться только в определенное время и в оговоренных местах, к примеру в больших универсальных магазинах — с большим удовольствием для себя и с пользой для экономики страны [см.: *Wilson*, 1992]. Другие места, особенно ночью, до сих пор небезопасны для женщин: многие ли из нас рискнут предпринять прогулку в одиночку в четыре утра даже вокруг родного квартала? Симона де Бовуар, описывая послевоенный Париж и объясняя, ни много ни мало, причину большого числа посредственных авторов среди женщин, пишет: «Конечно, сегодня девушка может выходить одна и бродить по Тюильри, но я уже говорила о том, как враждебна к ней улица. На нее смотрят, до нее могут дотронуться. Неприятная история легко может произойти с ней, и когда она бесцельно и бездумно ходит по улицам, и когда она, сев на террасе кафе, закуривает сигарету, и когда она одна идет в кино. Ее одежда и поведение должны внушать уважение. Мысль об этом “приземляет” ее, не дает забыть ни об окружающем мире, ни о себе самой» [*Бовуар*, 1997: 790].

Для продуктивного анализа гендерных отношений в городе важно не терять из виду единство материального, социального и символического измерений городской жизни. Город и гендер пересекаются, создавая непохожие сочетания возможностей и закрепощенности для разных групп мужчин и женщин. Городские места, в которых воплощены доминирующие

социальные отношения, либо позволяют, либо препятствуют нам увидеть, где именно в социальном пространстве мы помещаемся. Более того, то, как мы смотрим на самих себя, на свое тело, на свою наружность, выражение лица, и то, как мы ощущаем себя (на месте или нет), определяется этими пространствами. Их неотъемлемые характеристики: сексизм, расизм и эйджизм. В торговом центре с кинозалом и многочисленными бутиками маркетологи, проводящие экспресс-опрос публики, останавливают прежде всего девушек. Девушки — излюбленная цель тех, кто продвигает новые товары. На них многие любят смотреть. Девушки это знают и на многое готовы, чтобы на них смотрели еще внимательнее. Некоторые из этих внимательных взглядов не лишены разного рода корысти: от надежды на мимолетное приключение до бог ведает чего. При этом смуглую девушку с раскосыми глазами в синем комбинезоне маркетологи, скорее всего, не остановят. На нее не засмотрятся мужчины. Она в этом центре работает «оператором поломоечной машины». Ее видят только в этом качестве. Пенсионерке удивятся в кофейне. По этой причине я люблю нежной любовью венские кофейни, где пожилых дам — великое множество. В мехмах и с собачками, они смакуют пирожные, разглядывают посетителей и неспешно часами беседуют. В таких кофейнях проводят часы, а то и дни безработные гуманитарии (и «гуманитарки», каких больше): под рукой газеты и никто не надоедает классически «нашим» вопросом: «Еще что-нибудь закажете?», давая понять, сколь мало от тебя здесь проку. Но пожилые хорошо одетые дамы — обитательницы центра Вены или ее богатых предместий. Состарившиеся на этнических окраинах хорватки и турчанки пьют кофе у себя на кухне.

Упомянутые «измы» — функция преобладающих в городе мест, которые позволяют или не позволяют индивиду, так сказать, обладать именно этим телом и находиться именно в этом публичном месте. Сексизм, в частности, проявляется в том, что и во взгляде на свое тело, и в ощущении себя в публичном месте женщина не свободна от оценивающего (иной автор ска-

зал бы «колонизирующего») взгляда «другого». Сходными ощущениями отмечен и расизм. Франц Фанон говорил, что страдающий от расизма человек находится в мире, где нет пространства, которое он бы мог считать своим: во всех заправляют люди высшей расы.

То, что Жиль Валентайн называет «географией женского страха» [Valentine, 1989], пересекается с географией опасности. Феминистские авторы не случайно обращают критическое внимание на дизайн конкретных мест в городе, на недостаточное освещение или многоэтажные парковки как проявления нечувствительности к специфическим опасностям, которые подстерегают женщин. Однако ирония состоит в том, что если страх вызывают ночные улицы, то опасность физического насилия ждет некоторых женщин и дома. В то же время город не только предписывает и закрепляет гендерные роли, но и позволяет их «нарушать». Для скольких женщин, которым не очень повезло с семьей, возможность заниматься *window-shopping*’ом или просто не спешить домой после работы — настоящая отдушина. С тем большей оторопью мы читаем работы турецких и иных жительниц мусульманских городов, движение которых по городу регламентируется настолько, что препятствует и дополнительному заработку, и возможности ощущать себя современной.

Изучение того, как накладываются друг на друга классовые и гендерные различия, ведется вместе с переосмыслением границ между приватной и публичной сферами. Публичность и интимность, общественное и частное, публичное и приватное взаимозависимы, составляют бинарную оппозицию. С возникновением государственных институтов модерности и становлением капиталистической экономики термин «приватное» стал относиться к широкому кругу феноменов: во-первых, к домашнему хозяйству; во-вторых, к экономическому порядку рыночного производства, обмена, распределения и потребления; в-третьих, к сфере гражданских, культурных, научных, художественных ассоциаций, функционирующих в рамках граж-

данского общества. Женщины и женский опыт помещались на стороне приватного. В последние три десятилетия этот расклад подвергся серьезной критике со стороны феминистских авторов. Если в начале речь по преимуществу шла о расширении участия женщин в жизни публичной сферы, то впоследствии внимание исследователей переключилось на защиту *privacy* в условиях роста государственной и негосударственной бюрократии в современных обществах. Приватное определяется как те аспекты жизни и деятельности, куда личность имеет право не допускать других, то есть не то, что исключают публичные институты, но то, что сама личность предпочитает держать подальше от публичного внимания. Возвращаясь к соединению классовых и гендерных отношений, важно иметь в виду, что это классовые отношения традиционно мыслятся как включенные в публичную сферу, будь это рынок труда, политика или массмедиа. Они редко фигурируют как значимый момент личных отношений. Напротив, гендерные отношения часто мыслятся как принадлежащие приватной сфере, ибо они строятся не только на эксплуатации, но и на чувствах. Теоретическое различие подкрепляется пространственным. Поэтому возникает задача демонстрации того, как в различных местах, начиная от отдельных социальных институтов и кончая рынком труда в целом, класс и гендер тесно переплетены [см.: *Baxter, Western*, 2001; *Hanson, Pratt*, 1995].

Гендерные различия пересекаются в городах с другими проявлениями социальной дифференциации и другими вариантами идентичности — вот на чем настаивали феминистские критики традиционной урбанистики. В последней жизнь и интересы женщин, заявляли они, оставались невидимыми или искаженными. Гендерные отношения — значимый элемент общего, базирующегося на неравенстве структурирования городского пространства наряду с классом, расой, этничностью, возрастом и так далее. Городские ландшафты — это продукт патриархальных гендерных отношений — вот главная идея той линии феминистских исследований, что своим предметом

сделали города. Города воплощают нужды мужчин уже тем, как в них привычно воспроизводится деление на публичное (пространства экономики и коммерции) и приватное (дома и пространства потребления). Так, эволюция пригородов, с их часто отсутствующим общественным транспортом и недостатком сервиса, рассматривается как воплощение традиционных допущений о гендерной специфике использования пространства и мужских и женских социальных ролях. Одни феминисты подчеркивают, что города сделаны мужчинами, которые преобладают среди планировщиков, архитекторов, политиков [см.: *Roberts*, 1991]. Другие рассматривают упорство, с каким в дизайне городов воспроизводятся стереотипные взгляды на гендерные роли, от чего страдают прежде всего женщины [см.: *Tivers*, 1985]. Третьи предлагают альтернативное феминистское видение городов, включающее проекты дизайна городов и домов, отвечающее на вопрос, каким мог бы быть «несексистский» город [см.: *Hayden*, 1980; 1994; *Sandercock, Forsyth*, 1992]. Четвертые демонстрируют, что период капиталистической реструктуризации ускорил разрушение старого гендерного порядка: современные города не могут быть поняты без учета изменений в гендерном разделении труда и в структуре домашнего хозяйства [см.: *McDowell*, 1991]. Старый гендерный порядок, основанный на модели одного зарабатывающего в семье, с 1970-х годов уступает место целому спектру социальных новшеств. Карьерные траектории многих женщин беспрецедентны по своей стремительности. В то же время множество женщин обречены на низкооплачиваемую работу и социальную маргинализацию. Гендерные трансформации профессий, да и просто рост числа занятых в экономике женщин, в постфордистскую эру отражаются на идентичностях горожан и особенно горожанок. Так, деиндустриализация обрекает пожилых и не склонных к переезду мужчин с устаревшими профессиями на безработицу. Возможность финансовой независимости в жизни многих женщин сочетается со «стеклянным потолком», то есть продолжающейся половой сегрегацией рынка труда.

Какие же новые гендерные идентичности формируются в городе? По мнению Анджелы Макроби, «не определяемые более как чьи-то жены, дочери или подруги, женщины, и в особенности молодые, освободились для соревнования друг с другом, подчас безжалостного» [см.: *McRobbie*, 2004: 100]. Феминистские географы изучают феминизацию экономики и ее воздействие на мужчин и женщин, в частности связь между постфордистскими экономическими отношениями и гендерными идентичностями. Кто выигрывает и кто проигрывает на сегодняшнем витке накопления капитала? Положение, которое мужчины и женщины занимают в рамках очень неравномерного распределения экономических возможностей, связано с гендерным разделением продуктивной и репродуктивной сфер, что включает проблемы домашней работы, разделения между работой и домом. Феминисты немало сделали, чтобы работой считалась не только та, что предполагает полную занятость и отсутствие работника дома.

Материальные аспекты занятости тесно связаны с другими сторонами городской культуры. Трудовые отношения, гендерные идентичности, стили жизни и городское пространство и его смыслы для обитателей создаются одновременно. Одним из фокусов урбанистического теоретизирования является сексуальная жизнь горожан, а именно: 1) разнообразные связи между плотской тоской, желанием, идентичностью и материальной средой; 2) изменение сексуальных нравов и условностей. Так, в рамках проекта по исследованию трансформаций сексуальности в России, осуществленного Гендерной программой факультета политических и социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге [см.: В поисках сексуальности, 2002], Екатериной Пушкаревой были реконструированы сексуальные отношения в подростковой тусовке городской окраины [Пушкарева, 2002], а Юлией Белозеровой — динамика взаимодействия беременной женщины и ее социального окружения, образованного как повседневными взаимодействиями (мужчины в автобусе), так и социальными институтами (женские консультации) [Белозерова, 2002]. Елена Омель-

ченко в ряде публикаций описала культурные пространства — «культурные молодежные сцены», используемые ульяновской молодежью для выражения своей идентичности и включающие как конкретные городские места (клубы, дискотеки, дворы, торговые центры), так и культурно-географические (столица, провинция, Россия, Запад), субкультурные и стилевые [см.: Омельченко, 2000; 2002].

«Город, который американцы любят ненавидеть» и лос-анджелесская школа

Лос-Анджелес — «это единственный город на земле, где все места видны под любым углом, очертания каждого ясны, никакой путаницы, никакого смещения», — пишет американский урбанист и географ Эд Соджа [см.: Soja, 1989: 191]. Социальный комментатор, урбанист, историк и политический активист Майк Дэвис позволяет себе более парадоксальную оценку (она вынесена в название этого параграфа). Апологетика *национальной* исключительности нами обычно на тех или иных основаниях порицается. Как быть с апологетикой *городской* исключительности, не совсем ясно. Лос-анджелесская школа урбанистики в этом отношении представляет серьезный интерес.

С начала XX века в описаниях Лос-Анджелеса подчеркивается, что это не совсем обычный город: образование и развитие в нем самых разнообразных иммигрантских сообществ, а также его распыленность побуждали урбанистов судить о нем скорее исходя из него самого, нежели сравнивая его с другими городами. Этой тенденции отстаивать исключительность Лос-Анджелеса был придан теоретический лоск в 1980—1990-е годы группой южнокалифорнийских урбанистов — представителями лос-анджелесской школы. Они сочли, что Лос-Анджелес не просто необычный город, но что в своем развитии он опережает другие американские города, что его ди-

намика «эмблематична» или «симптоматична» для всего североамериканского континента.

Два эпизода особенно значимы для истории школы: тематический выпуск «Пространство и общество» журнала «Окружающая среда и планирование» (1986 год), посвященный Лос-Анджелесу, и встреча на озере Эрроухэд. Выпуск прославился предсказанием членов школы Алена Скотта и Эда Соджа, что если Париж был столицей XIX столетия, то Лос-Анджелес будут считать столицей XX века и что интерес к нему таков, что скоро этот город по объему написанного о нем превзойдет Чикаго. «Не найти лучшего места для изучения динамики капиталистического опространствливания», — писал в этом же выпуске Эд Соджа [см.: *Soja*, 1986; 1989: 191].

Осенью 1987 года девять членов школы (и примкнувшие к ним) собрались на выходные на озере Эрроухэд в горах Сан-Бернардино. В ходе дискуссий они укрепились в убеждении, что Лос-Анджелес — архетипический город конца XX века, «один из самых информативных палимпсестов и парадигм развития в XX веке городов и массового сознания» [*idem*, 1989: 248]. Как написал позднее Майк Дэвис: «Я достаточно неосторожен, чтобы говорить о “лос-анджелесской школе”». В строгом смысле слова, я включаю сюда примерно двадцать представителей новой волны марксистских географов, или, как выражается один мой друг, “политэкономов в скафандрах”, хотя некоторые из нас — неортодоксальные городские социологи или (как и я) неудавшиеся городские историки. “Школа” базируется, конечно, в Лос-Анджелесе, в Калифорнийском университете и в университете Южной Калифорнии, но некоторые ее члены живут в Риверсайде, Сан-Бернардино, Санта-Барбаре и даже во Франкфурте» [*Davis*, 1989: 9].

Дэвис признается, что сравнение их коллектива с чикагской и даже с франкфуртской школами привело лишь к выводу о том, что связи членов их школы куда более слабые и столь же «децентрализованные», что и город, который они пытаются



**Образец постмодернистской архитектуры
Лос-Анджелеса — развлекательный центр
Уолта Диснея (архитектор Фрэнк Гэри)**

объяснить. В центре их общего проекта — понятие реструктуризации и то, как процессы реструктуризации происходят на разных уровнях анализа — от городского района до глобальных рынков, или «мировых режимов накопления» (термин Дэвиса).

Как мы знаем из социологии науки, каждая следующая парадигма тогда получает шанс на существование, когда она предпринимает усилия по демонстрации ее принципиального отличия от предыдущей. Авторы из Лос-Анджелеса здесь не исключение, в особенности Эд Соджа, который ставит под вопрос всю предшествующую теоретическую традицию. Главный вектор этой проблематизации — отношения города и территории или региона. Вот только один пример. Авторы чикагской школы описывали типичные для индустриального общества классические формы развития городов, такие как агломерации (для которых характерна синонимичность понятий города и центра региона), говоря о том, что город есть лишь ядро более широкой зоны деятельности, из которой он извлекает ресурсы и на которую распространяется его влияние. Соджа убежден, что к концу XX столетия такие формы себя полностью исчерпали. Апеллируя к случаю Лос-Анджелеса, он настаивает, что о городе как центре региона говорить бессмысленно, ибо специфические социальные, экономические и политические процессы привели к тому, что «центров» данной территории много. В то же время символическое значение города выросло. Каждое место, по крайней мере символически, претендует на то, чтобы быть городом, а процесс урбанизации «осязуемо прерывист и неупорядочен» [Soja, 2000: 397]. Поэтому разрыв в развитии урбанистической теории, фиксируемый лос-анджелесскими теоретиками, вызван неспособностью традиционных моделей объяснить феномен этой школы. В чем же он состоит?

В период массового фордистского промышленного развития парадигмой города, повторим, стал центрально располо-

женный город, окруженный менее политически и экономически значимой территорией, откуда черпались разного рода ресурсы. Специфика Лос-Анджелеса заключалась в том, что его промышленное развитие свидетельствовало о неразрывности города и территории, точнее говоря штата — богатейшего в США, что в свою очередь объясняется стратегическим расположением Калифорнии на берегу Тихого океана, высокой концентрацией хай-тек и медиаиндустрии, тесно связанной с университетской наукой и многонациональным населением. Иными словами, развитие региона и развитие собственно города оказались здесь сплетенными сильнее, чем где-то еще. Добавим к этому, что главным способом самоопределения людей, живущих в этой части Штатов, стал специфически калифорнийский стиль жизни, вобравший в себя открытость нетрадиционным религиям и идеологиям, неформальность, нацеленность на радости жизни (подкрепляемую мягким климатом), соединенный с мощной культурной индустрией. Здесь набирало силу движение за гражданские права в 1960-е годы и в защиту окружающей среды в 1970-е, отсюда начали победное шествие персональный компьютер в 1980-е и Интернет в 1990-е. Но здесь имели место и самые впечатляющие городские беспорядки, начиная с бунтов, инициированных «черными пантерами» в 1960-е, до периодически происходящих столкновений этнических меньшинств с полицией. Одной из причин волнений был характер городского планирования: оно с начала XX века было нацелено на максимальное коммерческое использование городских зон, расположенных друг от друга на значительном расстоянии. Рост пригородов сопровождался делением их на изолированные сообщества, образованные по этническому и классовому признаку. Строительство хайвеев и критерии, по которым городские власти выделяли гражданам земли под застройку, усугубляли пространственную сегрегацию.

Две самые известные школы урбанистов: попытка сопоставления

Эти и другие процессы, вызвавшие беспрецедентное разрастание города вширь и его социальную и политическую фрагментацию, нашли отражение и в литературе по истории города, и в текстах более общего характера (выполненных в ключе социальной теории и философии). Знакомство с последними позволяет выстроить (заведомо неполную) сравнительную характеристику чикагской и лос-анджелесской школ.

Во-первых, если чикагцы строили свою исследовательскую стратегию на постулате моноцентричности города, то лос-анджелесские теоретики видят в своем городе модель полицентрического развития. Во-вторых, если для первых принципиальным был центр, то для вторых — периферия. В-третьих, если в первом случае исповедовалась идеология объективного научного исследования, заведомо превосходящего по глубине проникновения в предмет случайные наблюдения и опыт самих горожан, то во втором исследователи отнюдь не претендуют на то, чтобы «побивать» объективностью и глубиной своих изысканий какие-то другие наблюдения. В-четвертых, если чикагцы интересовались материальным, социальным и измеримым, то лос-анджелесские теоретики строят свой анализ на тезисе о том, что социальное и политическое воображаемое по нарастающей становится материальной силой, воплощаясь в новых городских проектах. В-пятых, если чикагцы были достаточно равнодушны к действиям власти, то у теоретиков из Лос-Анджелеса, особенно у Майка Дэвиса, ее действия часто становятся центром анализа. В-шестых, если в текстах первых поэтика «насыщенных» описаний нечасто (и нерerefлексивно) проникала в социологические по характеру штудии, то в текстах вторых (и Дэвис здесь безусловный лидер) журналистский репортаж с места события сочетается с неспешным анализом художественной литературы, экскурсии в основы урбанистики

сменяются непримиримой политической полемикой, а сфокусированность на городских процессах время от времени уступает место захватывающим дух картинам земных геологических сил и географических тенденций. В-седьмых, если чикагцы рисовали портрет классического индустриального города, то акцент лос-анджелесских теоретиков на реструктурировании вызвал их интерес к деиндустриализации и реиндустриализации городов, в частности к росту индустрии развлечений. В-восьмых, если чикагцы следовали схеме линейной эволюции, то теоретики из Лос-Анджелеса выступают в пользу нелинейного видения развития города, представляющего собой своеобразное поле возможностей, в котором развитие одной части в результате капиталовложений никак не связано и никак не отражается на развитии какой-то другой части. Не случайно Майкл Диз и Стивен Фласти [см.: *Dear, Flusty*, 2001; 2002] — также члены лос-анджелесской школы — с энтузиазмом позиционируют чикагцев как школу мысли, воплотившую установки модерности, а лос-анджелесскую школу — как постмодернистскую.

Однако, сколь бы настойчиво идея о принципиальных различиях двух главных школ урбанистики ни проводилась, достаточно очевидными являются и моменты преемственности между ними. Понятно, что в случае Чикаго традиционная структура города (с деловым центром) делала видение, базирующееся на «концентрических зонах» (я имею в виду диаграмму Берджеса), неизбежным. Однако увлеченность лос-анджелесских авторов «децентрализованным» видением, постоянное подчеркивание ими, что в Лос-Анджелесе ни одна культура или сектор промышленности не лидирует, что Лос-Анджелес — город меньшинств (при отсутствии какого бы то ни было доминирующего сообщества), кажутся чрезмерными. Лос-анджелесские авторы оспаривают тезис чикагцев, что влияние всегда идет из «центра», из города, но если «центр» мыслить диалектически, то роль, которую ведущие корпорации играют сегодня в реорганизации пространства этого и других городов,

функционально совпадает с той, что издавна отводилась «центру». Кроме того, преемственность проявляется в том, что некоторые ключевые понятия авторов лос-анджелесской школы — те же, что использовались чикагцами. Так, Соджа в уже цитированной статье для тематического выпуска «Пространство и общество» описывает Лос-Анджелес как «упорядоченный мир, в котором микро- и макро-, идеографическое и номотетическое, конкретное и абстрактное можно увидеть в выраженном и интерактивном сочетании». Само словосочетание, которое он здесь использует, — «упорядоченный мир» — восходит к видению города Парком и Берджесом как, во-первых, целостного социального мира — средоточия процессов цивилизации; во-вторых, мира, организованного на основе понятия социального порядка. В-третьих, в основу своей книги «Экология страха» (1998) Майк Дэвис, по сути, кладет «самую знаменитую диаграмму в социальной науке» [Smith, 1988: 28] — диаграмму концентрических зон использования городской земли Берджеса и пытается с ее помощью представить будущую географию Южной Калифорнии [см.: Davis, 1998: 393, 397—398]. Рост антидемократических настроений, вызванный всеобщей озабоченностью безопасностью, приводит к усилению наружного наблюдения в центре Лос-Анджелеса, увеличению численности охранников и частных охранных агентств, строгой охране в школах, сокращению социальных программ, сопровождающемуся резким увеличением расходов на тюрьмы, программы «нулевой толерантности», — все это, по мнению Дэвиса, свидетельствует о готовности белых калифорнийцев пожертвовать гражданскими свободами из-за страха, который они постоянно испытывают. Город исчезает в безграничности пригородов, его ландшафт милитаризуется. Его ядро превращается в «зоны страха», в которых обитают торговцы наркотиками, проститутки, бездомные. Этот опасный бункер, как ватой, обит кольцами ареалов (это метафоры Дэвиса), жители которых более всего боятся социальной заразы, а потому добровольно заключают себя в подобие современных анкла-

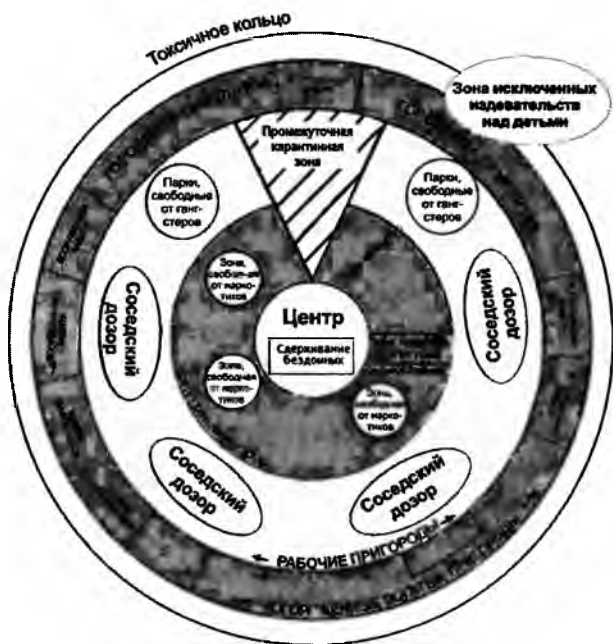


Диаграмма М. Дэвиса

вов. Схема Берджеса, напомним, отражала воплощение в пространстве города социальной иерархии: в зависимости от дохода и социального статуса, а также длительности пребывания в Америке люди селились в трущобах, в этнических анклавах, отелях, квартирах и домах. В центре пространства Лос-Анджелеса, по версии Дэвиса, — безработные, чреватый насилием «даунтаун», по соседству — рабочие пригороды, где сообщество объединилось в тотальном надзоре друг за другом, предотвращая преступность, в отдалении — процветающие «сообщества за воротами» и, наконец, на самой периферии — кольцо «тулага», как любят выражаться американские авторы, — многочисленные калифорнийские тюрьмы [см.: *Davis*, 1998: 363—365].

Урбанистический милленаризм Майка Дэвиса

«Нам не нужен Деррида, чтобы знать, откуда дует ветер или почему тает пакет со льдом», — полемически восклицает Майк Дэвис, раздраженный тем, что для его коллег-теоретиков постмодернистская французская философия — последнее слово истины, заслоняющее неотложные проблемы социальной поляризации. Однако избранный им интеллектуальный стиль включает в себя демонстрацию внутренних механизмов функционирования популярных мифов о Лос-Анджелесе, иначе говоря стратегию деконструкции доминирующих дискурсов. Объясняя замысел своего первого бестселлера, он говорит: «Для понимания Лос-Анджелеса не было всеобъемлющей рамки, поскольку истории города пишутся, как правило, односторонне: с акцентом на экономике, политике или архитектуре. Моя книга была попыткой более целостной и более радикальной критики места. Я рассмотрел, как образ города — земли вечного лета и бесконечных возможностей — стал ключевым в его продаже и покупке» [Цит. по: *Ho*, 1999].

Дэвис подробно рассмотрел, каким образом группировки бизнесменов и ассоциации домовладельцев преобразуют город в соответствии со своими интересами и при поддержке городского департамента полиции, вытесняющего с привычных мест обитания и подавляющего бездомных, бедных и представителей этнических меньшинств. Через два года после того, как книга вышла в свет, новый всплеск расовых волнений подтвердил своеобразную правоту его описаний Лос-Анджелеса как «города карцеров», чреватого потрясениями.

Лос-Анджелес рассматривается Дэвисом в «Городе кварца» (1992) и как физическое, и как воображаемое место, в котором игра национальных и международных политических сил и экономических тенденций происходит на фоне специфических для этого города расовых и классовых отношений. Воображаемое включается в эту игру через многочисленные конкурирующие мифологии, эрзац-истории, в которые город словно прячется сам от себя. Так, Дэвис останавливается на феномене «нуар», имея в виду не столько любимый нами жанр, сколько деятелей культурной индустрии, тяготеющих к беспросветным изображениям города в литературе и кинематографе. Отделенные от местных жителей «миниатюрным обществом» навязанного им самим себе культурного гетто [см.: *Davis*, 1992: 47], «веймарские изгнанники» (Дэвис имеет в виду волны эмиграции европейских культурных деятелей, приведшие в Голливуд, к примеру, Бертольта Брехта) так и не пришли к тому, чтобы начать с симпатией относиться к городу и его обитателям. Этот недостаток сочувственного воображения в сочетании с их повышенной креативностью привел к тому, что именно негативное в изображениях Лос-Анджелеса стало доминировать в популярном воображении. Идея о том, что именно европейцы спровоцировали рост «чернухи» о городе, не лишена предвзятости. Джон Стейнбек, Раймонд Чандлер или Джоан Дидион — «местные» авторы, но от их внимания не укрылись ни размах политической коррупции, ни расизм, ни капризы погоды, ни насилие, ни сексуальные скандалы.

Дэвису, однако, более интересно то, что чаще всего эти мифологии — порождение власти, поэтому в развитии города они получают материальное воплощение, закрепляя существующие привилегии. Лос-Анджелес как лаборатория будущего — это один из последних мифов, в распространении которого немалую роль сыграли сами урбанисты. Деконструируешь ты эти мифы или способствуешь их «гламуризации», создавая тексты о городе? Создаешь ты лишь впечатляющий перечень «родимых пятен» позднего капитализма или пытаешься соединить радикальную критику происходящего с альтернативными урбанистическими моделями?

Деконструкция мифов не станет для тебя самоцелью, демонстрирует Дэвис, если ты не забываешь, во-первых, о власти, во-вторых, об опыте обитателей города, в-третьих, о судьбе альтернативных проектов, в-четвертых, если у тебя хватит терпения, проницательности и литературного мастерства показать, каким именно образом городское пространство распределялось между властными группировками. Опираясь в значительной мере на материалы «Лос-Анджелес таймс» за несколько десятилетий, Дэвис прослеживает, откуда приходили деньги, на которые город строился в XX веке, и рассказывает весьма поучительную историю о том, как первые городские бизнес-кланы искусно добились того, чтобы *федеральное* правительство оплатило работы по усовершенствованию городской инфраструктуры. В итоге — парадокс: белая протестантская бизнес-элита даунтауна, знаменитая своим консерватизмом и антисемитизмом, расизмом и равнодушием к нуждам рабочих, добивается того, что в городе возводится крупнейший в мире порт и эффективно работающая система водоснабжения. Затем на сцену выходит другая группировка элиты, пространственно сосредоточенная в Вест-сайте, в Голливуде, либерально-демократическая и по преимуществу еврейская, которая наладила отношения с профсоюзами рабочих и в целом выступала за более просвещенный капитализм. На несколько десятилетий «дарвинистские войны за место» между

даунтауном и Вест-сайдом определяли жизнь города, пока не возник третий узел интересов, вызванный опять же федеральным стимулированием оборонной промышленности в годы холодной войны. Читателя с советским прошлым, в габитус которого прочно встроено стремление воздерживаться от публичного высказывания каких бы то ни было суждений относительно отечественного военно-промышленного комплекса, особенно поражает свобода, с какой Дэвис оценивает слова и дела американского ВПК (чему также посвящено немало страниц в его недавней книге «Мертвые города»). «Бесшовный континуум корпорации, лаборатории и учебной аудитории», Калифорнийский технологический институт в Пасадене, руководство которого обладало особым талантом совмещать «физику и плутократию», соединив усилия с такими гигантами, как «Аэроджет дженерал», лег в основу индустрии, осваивавшей в год по 20 млн долларов федеральных денег и скоро обогнавшей Голливуд по влиянию и богатству. Калифорния нашла свою золотую жилу, и, покауда военные нужды будут определять существование государства, за ее благополучие можно не беспокоиться. На фоне этой счастливо обретенной экономической «идентичности», показывает Дэвис, конфликты между группировками элиты на долгое время утратили почву. Затем на сцену выходит японский капитал, и, по мере того как город фрагментируется, попытки элиты оставаться в рамках прочных коалиций становятся все менее удачными. Суля выгоды, торгуясь, обманывая, разобщенная элита все же сохраняет за собой участки власти.

Дэвис непримиримо показывает, как региональная элита, все сильнее связанная с национальной и международной, через операции на рынке недвижимости и спекуляцию землей во имя «развития» получает возможность разрушать и возводить, оставляя в городе видимые следы своих притязаний. Регуляция поступления в город воды и «эксцессы» вооруженной полиции, регуляция оборонной и хай-тек-индустрии властями штата и государства, приватизация публичных пространств, вытесне-

ние бедных из кварталов, где они традиционно обитали, — Дэвис касается этих и других проблем, задав как минимум на десятилетие превалирующую стилистику описания трансформаций современных городов по типу «что еще плохого происходит и может произойти». Мертвые зоны города — это зоны обитания маргиналов, и власти предпринимают одну попытку за другой удержать «отверженных» в этих зонах, тем самым закрепляя образ Лос-Анджелеса как постлиберального города, в котором тщательно охраняются (и пространственно закрепляются) привилегии белых и состоятельных. Город, который некогда мыслился как кейнсианское пространство, в котором доступ к благам открыт для всех, оставил позади либеральные и радикальные проекты, отделяя — архитектурно, пространственно, социально — чистых от нечистых. Безопасность, чистый воздух, пространство, время — приватизированы и огорожены. Есть что-то средневековое в тех картинах, что рисует Дэвис: замки белых и богатых, окруженные трущобами бедных. Пространство исключения, которое, однако, готово продать нескольких жертв на постмодернистском базаре экзотики.

Город джентрифицируется и деиндустриализуется, так что бывшие рабочие городки и кварталы вроде Фонтаны обречены на запустение. Дэвис подробно их описывает: это память о другом, возможном городе, об исторической альтернативе «раю обладания». Дэвис не собирается романтизировать это альтернативное воображение, но показывает, что те, кто стирает следы *другого* прошлого Лос-Анджелеса, рискуют поплатиться за свое высокомерие.

Смерть и упадок, реальные и символические, были описаны им в «Мертвых городах» [см.: *Davis*, 2002]. Дэвис рисует образ города как хрупкого и временного человеческого создания, которому постоянно угрожают природные и социальные катастрофы. Силы небесные и геологические создают фон для истории городов, которую прослеживает Дэвис, доводя ее до социальных катастроф XX века и показывая, сколь многое в истории последнего столетия было направлено скорее на раз-

рушение городов. Изменения в социальном воображении и восприятии городов, вызванные 11 сентября 2001 года, оттеснили на второй план «бустеризм» и «триумфализм». Гордость, которую вызывали города как символ экономического процветания, осталась в прошлом, а апокалипсические картины происходящего и будущего, которые с мастерством подлинного писателя рисует Дэвис, нацелены на то, чтобы осмыслить город не как вечный спутник, смысл и средоточие человеческой цивилизации, а как что-то, что может исчезнуть куда быстрее, чем людям кажется.

Дэвис иллюстрирует эту идею малоизвестными эпизодами истории «неонового Запада» (так называется первая часть его книги), когда американские нефтяные корпорации и Голливуд были мобилизованы для помощи военным частям, связанным с химическим оружием. Города вроде Джермантауна, в которых были тщательно воссозданы интерьеры типичных немецких и японских квартир, были специально построены в 1943 году в пустыне Юты для экспериментов с применением напалма во время бомбардировок, чтобы добиться максимального поражения. Они трижды разрушались и воссоздавались заново, пока результаты не удовлетворили военных [см.: *Davis*, 2002: 66—69]. Эксперименты с напалмом не прошли напрасно: 2 тыс. тонн напалма было сброшено на Азакуса — рабочий район в Токио [см.: *Ibid.*: 79—80]. Погибли 100 тыс. человек, эти данные долго держали в секрете, а когда обнародовали, то они не вызвали ажиотажа. Некоторое время спустя гражданское население Хиросимы и Нагасаки стало мишенью ядерной бомбардировки.

Дэвис считает, что эксперименты военных обрекли целые регионы на то, чтобы стать «национальными зонами, принесенными в жертву». Это прежде всего юго-запад США. 1059 взрывов было произведено между 1945 и 1992 годами, подавляющее большинство которых — на полигоне в пустыне Невады. Каждое облако — будь оно результатом подземного или атмосферного взрыва — содержало, считает он, больше радиации, чем то, которое поднялось над Чернобылем в

1986 году. Комиссия по атомной энергии выбирала для взрывов дни, когда ветер дул от Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса: маленькие города и деревни считались менее значимым фактором.

Когда по приказу Черчилля велись ковровые бомбардировки немецких городов, британский премьер надеялся, что уцелевшие гражданские жители поднимут восстание против Гитлера [см.: *Davis*, 2002: 66—71]. Реализация секретной стратегии воздушной борьбы против Германии сопровождалась массовой пропагандой, в ходе которой американцев убеждали, что только стратегически значимые цели будут подвергнуты бомбардировке. В действительности союзники предпочитали бомбить максимально заселенные районы, и Дэвис сообщает о разочаровании британских военных, которым так и не удалось вызвать масштабные пожары в подвергаемых бомбардировке городах. С марксистской страстью Дэвис подчеркивает, что больше всего пострадали кварталы рабочего класса, тогда как виллы богатых и дома состоятельных, слишком далеко отстоящие друг от друга, не подходили в качестве целей бомбардировок: слишком много пришлось бы потратить бомб.

Хотя российского читателя это полномасштабное повествование о городах, пострадавших в XX веке, смущает тем, что в нем полностью отсутствует упоминание о наших мертвых городах, о руинах Сталинграда, Минска, Киева, сама модель войны, ведущейся военными против гражданских лиц и больших и малых городов, описана Дэвисом весьма впечатляюще.

Марксистский постмодернизм Эда Соджи и Фредерика Джеймисона

«Исходить из пространства» — так обманчиво просто формулирует основания своего многолетнего исследовательского проекта Эд Соджа [см.: *Soja*, 2000: *xvi*]. Сначала пространство, а потом история, сначала пространство, а потом дискурс, сначала пространство, а потом бессознательное — таков его взгляд

на прошлую и настоящую социальную реальность. Сами названия книг, составивших трилогию: «Постмодернистские географии» (1989), «Третье пространство» (1996) и «Постметрополис» (2000), безошибочно указывают на то, что главный эпитет реальности настоящего для Соджи — «постмодернистская», а в содержании этих книг с разных сторон описан главный постмодернистский город — Лос-Анджелес.

Соджа был не первым автором, увидевшим в городе значимые для постмодернизма процессы. На пальму первенства с успехом может претендовать неомарксистский культурный теоретик Фредерик Джеймисон, опубликовавший в 1984 году в «Нью лефт ревью» знаменитую статью о постмодернизме, или культурной логике «позднего» капитализма, в которой постмодернизм позиционировался как продукт меняющейся мировой экономики, а главным способом анализа этих изменений провозглашались не классовые отношения, а эстетическое измерение новой архитектуры (в качестве примера которой Джеймисон рассмотрел лос-анджелесский отель «Вестин Бонавентура»¹, спроектированный архитектором Джоном Портманом, — о чем ниже).

Неомарксист-постмодернист — не самая привычная для нашей страны комбинация взглядов. Здесь важно помнить, что в интеллектуальной истории США второй половины прошлого столетия между двумя этими линиями мысли сложились достаточно тесные отношения. Они состояли прежде всего в том, что волна сильного интереса к марксизму, вызванная майскими событиями 1968 года в Европе, довольно быстро (в 1980-е) сменилась волной другого сильного интереса — к постмодернистской теории, расплывчатость и многогранность которой препятствовали ее политической мобилизации. Изменения в политике американских университетов и издательств состояли в том, что если в 1970-е годы марксизму были

¹ В переводах на русский закрепился такой вариант написания, хотя в Лос-Анджелесе чаще можно услышать, как отель называют «Бонавенче».

открыты все двери, то в 1980-е они открылись для постмодернизма (закрывшись, соответственно, для марксизма). Среди интеллектуалов-марксистов, которые приняли новый вызов, были Дэвид Харви и Фредерик Джеймисон. Если Харви сосредоточивается на экономическом анализе постмодерности, постоянно говоря о «гибком накоплении» и глобализации, то Джеймисон пытается воссоздать все разнообразие культурных проявлений новой стадии развития капитализма, организованного вокруг потребления и основанного на власти многонационального капитала. Его главная идея состоит в том, что постмодернизм выражает третью («позднюю») стадию развития капитализма, которая проявляется, во-первых, в нарастании связи технологии (электроники, автомобилей и ядерной энергии) с сетями социального контроля, во-вторых, в глобализации капитала, в-третьих, в организации жизни общества вокруг потребления, в-четвертых, в укреплении позиций массовой культуры и массмедиа и, в-пятых, в завершении процесса индустриализации.

Западный марксизм, который на зрелой фазе своего развития словно забыл об экономическом детерминизме и погрузился в утонченный анализ «надстройки» в трудах Лукача и Блоха, Бенямина и Маркузе, Адорно и Альтюссера, находит в Джеймисоне достойного продолжателя, но для Джеймисона важно постоянно держать в поле зрения те процессы, которые происходят *на стыке* экономики и культуры. Вот почему «из всех искусств» для него особенно важной является архитектура, которую он считает самой близкой экономике, ибо с нею у экономики «непосредственные связи», состоящие в заказах архитекторам и динамике стоимости земли [см.: *Jameson*, 1991: 5].

Джеймисона и Соджу, помимо участия в общем исследовательском движении, объединяют и более частные вещи. Одна из них — равнодушное отношение к новой архитектуре Лос-Анджелеса. Соджа вспоминает об автомобильной прогулке по этому городу, предпринятой им, Джеймисоном и Анри Лефевром в 1984 году: они с «Бонаventura» начали и к нему же вернулись [см.: *Soja*, 1989: 63]. По Джеймисону, новые коммуника-

ционные технологии усиливают мобильность капитала, который словно теряет вес и определенное местонахождение, а его усиливающиеся фрагментация и эфемерность отражаются в новых культурных предпочтениях. Отражаются в том числе и буквально: в зеркальных стеклах, которыми множество зданий покрыты снаружи. Когда мы недобро усмехаемся сегодня, увидев в столице или еще где-нибудь очередное зеркально облицованное корпоративное здание, полезно, мне кажется, помнить, что, какие бы местные культурные смыслы за таким выбором ни стояли (и какими бы удручающими ни были иногда результаты), мы здесь «в струе» (правда, этой тенденции уж больше сорока лет). Как пишет Джеймисон об отеле «Бонавентура»: «Эта диалектическая интенсификация самореференционности всей модернистской культуры... дает нам возможность радикально иного, по дополнительного пространственного опыта... по отношению к референту, самому Лос-Анджелесу, захватывающе и даже тревожно раскинувшегося перед нами» [Jameson, 1991: 13—14]. Ему вторит Соджа: «“Бонавентура” стал концентрированной репрезентацией реструктурированной пространственности позднекапиталистического города: фрагментированный и фрагментирующий... пастиш отражений его поверхностей нарушает координацию, а вместо этого поощряет подчинение» [Soja, 1989: 243—244].

Джеймисон в отражениях окружающих зданий в зеркальной башне отеля видит выражение увязанных воедино в современной жизни эстетики, технологии и экономики. С Соджей они едины в указании на дезориентирующе-искажающую функцию «Бонавентуры», лишаящую посетителя привычных ориентиров и референтов.

Отель «Бонавентура» останется в истории как место, которое посетило рекордное число звезд-интеллектуалов. Бодрый-яр пишет о самодостаточности здания, сравнивая его зеркальные фасады с людьми, носящими черные очки. Он подчеркивает, что такого рода здания не только никак не взаимодействуют с городом, но и сами в своей бесконечной



Отель «Вестин Бонавентура»

самореферентности лишены какой-либо тайны [см.: *Baudrillard*, 1988: 59; *Бодрийяр*, 2000: 131]. Майк Дэвис в свою очередь критикует и отель, и его интерпретацию Джеймисоном. Если Джеймисон убежден, что отель продолжает популярные архитектурные традиции Лос-Анджелеса, то Дэвис напоминает, что расположен отель в «центре» города, где обитает большое количество латиноамериканцев и азиатов-американцев, и что своей системой безопасности (не каждый туда войдет) и зеркальным интерьером лишь закрепляет пространственную сегрегацию [см.: *Davis*, 1985].

История отеля и его рецепции урбанистами заслуживает нашего внимания вот еще в каком отношении: она связана с популярным вопросом об исследовательской оптике. На что, собственно, смотреть и что анализировать в многоаспектной жизни городов и конкретных мест — такая методологическая проблема получает решение в зависимости от того, к какой исследовательской традиции принадлежит наблюдатель. Приведу два примера. Первый связан с анализом «эстетического производства» (Джеймисон). Не желая участвовать в популяризации экономического детерминизма, Джеймисон отодвигает на второй план и логику развития технологий, подчеркивая относительную независимость от технологии и повседневности и культурного производства [см.: *Jameson*, 1991: 37]. Между тем, когда мы читаем его рассуждения сегодня, в свете общего усилившегося интереса к материальности городов, очевидна крайняя условность выдвижения им облицованного зеркальным стеклом отеля-небоскреба в качестве эмблемы эстетической сути постмодернистской эпохи.

Зеркальное стекло получило распространение в архитектуре XX столетия по причинам прежде всего экономическим и технологическим. Обшитые прозрачным стеклом здания простых очертаний, характерных для архитектуры модерности, стали эмблемой «международного стиля», воплощая послевоенные надежды на новую, свободную от невзгод жизнь. Они были гораздо дешевле традиционных каменных зданий, так

как в них стекло закреплялось в промышленно производимых металлических рамах. Однако уже в 1950—1960-е годы стал очевиден их серьезный дефект: они перегревались летом. Этот «тепличный» эффект хорошо знаком любому обладателю остекленной лоджии. При этом они плохо держали тепло зимой. В 1960—1970-е годы в СССР строились магазины, присутственные здания, кинотеатры, фасады или витрины которых были остеклены. Впоследствии все эти здания пришлось перестраивать. В Америке повышенные расходы на кондиционирование летом и обогревание зимой, связанные с эксплуатацией таких зданий, привели к поиску архитекторами и технологами эффективных решений. Их тесная кооперация с производителями стекла и привела к тому, что в начале 1960-х были построены первые здания из зеркального стекла. За одно-два десятилетия было налажено его промышленное производство, а пока маркетологи искали стратегии продвижения нового продукта на рынке, в 1973 году разразился нефтяной кризис, стоимость кондиционирования и обогрева зданий взлетела настолько, что маркетинг основывался на перспективе существенной экономии расходов, которую получают те, кто решится возводить зеркальные здания [см.: *Heune*, 1982: 86—104]. Небоскребы, требования к микроклимату которых были повышенными, стали с тех пор активно облицовываться зеркальным стеклом, породив в конечном счете характерный облик центра почти любого американского города.

Приведу второй пример, связанный с исследовательской оптикой. Американский урбанист-марксист Энди Меррифилд, прослеживая борьбу вокруг неолиберальной модели города (согласно которой предоставление каких бы то ни было социальных гарантий работникам экономически неэффективно), замечает: «Любопытно, что как раз тогда, когда радикальные профессора и културные критики были заняты деконструкцией отеля “Бонавентура” как эмблемы позднекапиталистической постмодерности, Мария-Елена Дюразо и ее команда пытались воссоздать в Лос-Анджелесе профсоюз работников

отелей и ресторанов. Какое-то время они боролись за зарплату, на которую можно прожить, — честную дневную оплату честного трудового дня — и вели эту борьбу в роскошных отелях вроде “Бонавентура”, где члены их профсоюза скребли ванны и унитазы, застилали постели, работали официантами и вывозили мусор. Чтобы придать выразительность своим проблемам, профсоюз использовал изобретательные медиа — и уличные тактики. <...> Члены профсоюза участвовали в сидячих забастовках в лобби отелей... организовывали массовые бойкоты. Другие виды активности были более театральными, например так называемые кофепития или “Джава за справедливость”, когда члены профсоюза занимали в отелях целые рестораны и заказывали кофе» [Merrifield, 1992: 79].

Как бы скептически ни описывалась в этом фрагменте безусловно необходимая теоретическая работа с культурными репрезентациями, Меррифилд «схватил» здесь суть проблематики, которая в урбанистике, с одной стороны, имеет достойную традицию, а с другой стороны, только начинает разворачиваться на новом витке интереса к классу, статусу и экономическому неравенству в целом, вызванному процессами глобализации и ростом популярности идеологии неолиберализма. Чикагский урбанист Саския Сассен в своих текстах призывает бросить более внимательный взгляд на ситуацию глобальных городов, «гламур» и экономическая привлекательность которых тесно связаны с существованием класса мигрантов. А калифорнийский социолог Рэчел Шерман «включенно» наблюдает жизнь обслуживающего персонала и пишет книгу «Классовые действия: сервис и неравенство в пятизвездочных отелях» [см.: *Sherman*, 2007]. Сложность отечественной интеллектуальной ситуации усугубляется не только скомпрометированностью марксистской парадигмы, но и серьезной идентификацией значительной части наших пишущих людей не с теми, кто скребет унитазы, а с теми, кто может себе позволить заплатить за «персонифицированный» сервис. «Дольче вита» лидирует в нашем интеллектуальном воображении по

многим причинам. Однако и та левая традиция, в которой исполнены многие тексты Соджи и Дэвиса, так что первым выразительно описаны влиятельные политики и звезды-архитекторы, а вторым щедро и подробно изображены социальные «низы» и переживаемые ими лишения, не обходится без сложностей. Одна из них — «диалектика влечения-отвращения», как ее называет Меррифилд, состоящая в том, что городское дно и наиболее острые проявления социальной несправедливости могут быть странно привлекательными как для авторов, так и для читателей, сообщать нездоровое волнение, вероятно связанное с извечной людской страстью вглядываться в удел тех, кому не повезло, чтобы утешиться на собственный счет (о непростой проблеме освещения жизни городских низов мы еще поговорим в главе о социальных и культурных различиях).

В своих зрелых работах Соджа отказывается от поиска очевидных архитектурных эмблем постмодернизма в пользу решения куда более сложной задачи: разработки специфической познавательной стратегии, которая позволила бы «начать с пространства». Опираясь на идеи Анри Лефевра о трех типах пространства, он вместо диалектики пространства и времени вводит понятие триалектики, объединяющей пространство, время и социальное бытие. Суммируем основные его идеи. Во-первых, Соджа успешно демонстрирует недостаточность историцизма — присущего модерности акцента на времени — в ущерб пространству. Противопоставление неподвижного пространства стремительно бегущему времени быстрой индустриализации Соджа возводит к Марксу, связавшему получение прибавочной стоимости с социальной организацией времени. К чести Соджи, он не только стремится позиционировать себя как одного из главных участников «пространственного поворота» (оформление «пространственных» интересов большинства современных дисциплин) в социальной мысли, но и задается серьезными вопросами: каковы причины того, что интеллектуальная история модерности отмечена приоритетом времени по отношению к пространству, и почему этот приори-

тет столь упорно воспроизводится? Разбирая целый спектр текстов, от Кассирера через Хайдеггера к Фуко (у которого он и черпает эту проблематизацию), он приходит к выводу, что фундаментальной причиной были онтологические идеи о человеческом существовании, согласно которым «временные и социальные аспекты бытия-в-мире» понимались как более существенные по сравнению с «внутренней пространственностью человечества» [Soja, 2006: 818]. Во-вторых, Соджа призвал (со времени опубликования «Постмодернистских географий» прошло почти тридцать лет) к тому, чтобы проработать идею социальной сконструированности пространства, к демонстрации социальной и географической местоположенности деятельных субъектов. В-третьих, называя себя «убежденным сторонником критической власти пространственного и географического воображения» [Idem, 2003: 271], Соджа убежден, что пространственное измерение социальной реальности имеет большую практическую и социальную значимость. Он призывает читателей «по-другому понять смыслы и значения пространства и тех связанных с ним понятий, что образуют и составляют пространственность, внутренне присущую человеческой жизни: место, расположенность, местность, ландшафт, окружающая среда, дом, город, регион, территория и география» [Idem, 1996: 6—7]. В основе его призыва — надежда, что привычные способы осмысления пространства можно отбросить, а пространственное воображение — расширить. Этому препятствуют, с его точки зрения, доминирующие в структурах человеческого мышления историчность и социальность. Если пространственность постулировать как «третье экзистенциальное измерение» существования, а «третьепространство» (*Thirdspace*) — как такой способ мышления, который исходит из пространства (а не из истории или социума), то проблем традиционного модернистского мышления можно избежать.

Соджа, впрочем, сам не избегает рецидивов телеологического мышления: в «Постметрополисе», начав с Чатал-Хююка, то есть с первых городов на Земле, он рассказывает историю городов так, что той, похоже, суждено было привести челове-

ство к Лос-Анджелесу. Тем не менее Соджа — один из немногих авторов, описавших специфику постмодерного города. Он считает, что такой город, во-первых, «региональный», во-вторых, постфордистский, в-третьих, «мировой», в-четвертых, «дуальный», то есть состоящий из поляризованных сообществ, в-пятых, «дисциплинирующий», то есть включающий в себя активно контролируемые места («сообщества за воротами» и тюрьмы — два примера таких мест), и, в-шестых, «город-симулякр», в котором производится гиперреальность и царит потребление.

Белозерова Ю. Практики беременной женщины: личный опыт // В поисках сексуальности. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 338—366.

Бовуар С. де. Второй пол. СПб.: Алетейя, 1997.

Бодрийяр Ж. Америка. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2000.

В поисках сексуальности / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002.

Омельченко Е. «Жертвы» и/или «насильщики». Феномены подростковой сексуальности в фокусе западных академических дискурсов // Другое поле / Под ред. Е. Омельченко и С. Перфильева. Ульяновск: Средневолж. науч. центр, 2000. С. 238—255.

Омельченко Е. Изучая гомофобию: механизмы исключения «другой» сексуальности в провинциальной молодежной среде // В поисках сексуальности. СПб., 2002. С. 469—511.

Пушкарева Е. Подростковая компания городской окраины: сексуальные отношения в тусовке // В поисках сексуальности. С. 197—223.

Baudrillard J. America. L: Verso, 1988. P. 59.

Bourdieu P., Haacke H. Free Exchange. L: Polity Press, 1995.

Baxter J., Western M. Reconfigurations of Class and Gender. Stanford: Stanford University Press, 2001.

Buck-Morss S. The Flaneur, the Sandwichman and the Whore: the Politics of Loitering // New German Critique. 1986. Vol. 39. P. 99—140.

Chakravorty S. From Colonial City to Global City? The Far-From-Complete Spatial Transformation of Calcutta // Globalizing Cities: A New Spatial Order? / Ed. P. Marcuse and R. van Kempen. Oxford: Blackwell, 2005. P. 56—77.

Cohen P. From the Other Side of the Tracks: Dual Cities, Third Spaces, and the Urban Uncanny in Contemporary Discourses of «Race» and Class //

A Companion to the City / Ed. G. Bridge and S. Watson. Oxford: Blackwell, 2000. P. 316—331.

Davis M. Urban Renaissance and the Spirit of Postmodernism // New Left Review. 1985. № 151. P. 107—113.

Davis M. Homeowners and Homeboys: Urban Restructuring in L.A. // Enclitic. 1989. № 3. P. 9—16.

Davis M. City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles. L.: Macmillan, 1992.

Davis M. Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster. N.Y.: Metropolitan Books, 1998.

Davis M. Dead Cities and Other Tales. N.Y.: The New Press, 2002.

Dear M., Flusty S. The Spaces of Postmodernity: A Reader in Human Geography. Oxford: Blackwell, 2001.

Dear M.J., Flusty S. The Resistible Rise of the L.A. School // From Chicago to L.A.: Making Sense of Urban Theory / Ed: M.J. Dear. Thousand Oaks: Sage, 2002.

Hanson S., Pratt G. Gender, Work and Space. L.: Routledge, 1995.

Hayden D. What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work // Women and the American City / Ed. C.R. Stimpson, E. Dixler, M.J. Nelson, K.B. Yatrakis. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Hayden D. Redesigning the American Dream: Gender, Housing, and Family Life. N.Y.; L.: W.W. Norton, 1994.

Heyne P.A. Today's Architectural Mirror: Interiors, Buildings, and Solar Designs. N.Y.: Van Nostrand Reinhold, 1982.

Ho C.L. Scared? An Interview with Mike Davis // Architecture. 1999. Vol. 88, № 1. P. 2.

Imperial Cities: Landscape, Display and Identity (Studies in Imperialism) / Ed. F. Driver, D. Gilbert. Manchester; New York: Manchester University Press, 2003.

Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1991.

Lynch K. The Image of the City. Cambridge: The MIT Press, 1960.

McDowell L. Life without Father and Ford: The New Gender Order of Post-Fordism // Transactions of the Institute of British Geographers. New Series. 1991. Vol. 16. P. 400—419.

McRobbie F. Notes on «What not to Wear» and Post-Feminist Symbolic Violence // Feminism after Bourdieu / Ed. L. Adkins, B. Skeggs. Oxford: Blackwell, 2004.

Merrifield A. Dialectical Urbanism. Social Struggles in the Capitalist City. N.Y.: Monthly Review Press, 1992.

Morrison T. Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination. Cambridge: Harvard University Press, 1992.

Roberts M. Living in a Man-Made World: Gender Assumptions in Modern Housing Design. L.: Routledge, 1991.

Sandercock L., Forsyth A. A Gender Agenda: New Directions for Planning Theory // Journal of the American Planning Association. 1992. Vol. 58. P. 49—58.

Sherman R. Class Acts. Service and Inequality in Luxury Hotels. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2007.

Smith D. The Chicago School: A Liberal Critique of Capitalism. L.: Macmillan, 1988.

Soja E.W. Taking Los Angeles Apart: Some Fragments of a Critical Human Geography // Environment and Planning D: Society and Space. 1986. Vol. 4. P. 255—272.

Soja E.W. Postmodern Geographies: the Reassertion of Space in Critical Social Theory. L.: Verso, 1989.

Soja E.W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Oxford: Blackwell, 1996.

Soja E.W. Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Blackwell, 2000.

Soja E.W. Writing the City Spatially // City. 2003. Vol. 7, № 3. P. 269—280.

Soja E.W. Writing Geography Differently // Progress in Human Geography. 2006. Vol. 30, № 6. P. 817—820.

Spivak G.Ch. Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Tivers J. Women Attached. London; Sydney: Croom Helm, 1985.

Valentine G. The Geography of Women's Fear // Area. 1989. № 21. P. 385—390.

Wolff J. Feminine Sentences. L.: Polity Press, 1990.

Wilson E. The Sphinx in the City: Urban Life, the Control of Disorder, and Women. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1992.

ГЛАВА 3

Город и природа

Природа как «другое» города

В привычном нашем стремлении вырваться из города «на природу» проявляется разделение между природным и социальным — то, на чем современное общество строит понимание самого себя. Динамика взаимодействия между природой, технологией и людьми сложилась в ходе модерности, но теоретически долгое время она отражалась весьма ограниченно. Причина этого в том, что история социальной теории неотделима от постоянно воспроизводимого противопоставления общества и природы. Это противопоставление встроено в понимание самого развития обществ модерности. Главное направление развития было зафиксировано в понятии прогресса, который определялся успехами в покорении природы — как внешней, так и тех черт человека, которые традиционно связывались с его природным происхождением. Новые формы организации социальной жизни осмысливались на основе жестко воспроизводящегося качественного различия между традицией и модерностью. Люди традиционного общества мыслились как от природы зависимые и вынужденные с нею считаться. Индустриальное урбанизованное общество стало эмблемой независимости людей от природы. Успехи промышленности воспроизводили взгляд на мир как неограниченное поле возможностей его

преобразования. Городской образ жизни свидетельствовал о том, что город успешно пренебрегает теми ограничениями, что природные циклы накладывают на социальную активность (делением на день и ночь, к примеру): он никогда не спит и не зависит от погоды.

Город и природа оказались связанными в одном нарративе, где город мыслился как место цивилизации, но лишенное добродетели, а природа — как «дикая», но обладающая моральным порядком. Парадоксальность отношений природы и города состоит в том, что, с одной стороны, дискурсивно и концептуально «город» был отделен от «природы». Введенный Эмилем Дюркгеймом постулат — социальные явления имеют социальные причины и социальные же последствия, независимые от психологических или биологических факторов, — предполагал разделение труда между естественниками (сфокусированными на природных фактах) и «неестественниками» (выражение А. Перцева) — социологами, нацеленными на факты социальные. Как «другое» природы, город представлялся олицетворением совершенной от нее независимости. В итоге экологи и биологи устремлялись для изучения природы подальше от городов, а урбанисты и планировщики видели в городе исключительно творение рук человеческих.

С другой стороны, исторически город и природа тесно взаимосвязаны. Создание города возможно было только за счет соединения человеческих и нечеловеческих (природных) ресурсов. Но особенности развития социальной теории и характер городской повседневности обуславливали помещение природы в «слепое пятно»: ее роль и масштаб участия в происходящем просто не попадали в поле зрения. Глубокая, исторически сложившаяся, сложная взаимосвязь между городом и природой ускользает от внимания обитателя города. Этому способствуют, во-первых, физические обстоятельства, во-вторых, культурные репрезентации. Природа в них предстает (дискурсивно конструируется) как находящаяся «где-то там», за пределами города. И в самом деле, массивность бетона, размах городских просторов, защищенность от невзгод стихии при

помощи отопления и кондиционирования, легкость «добывания» пищи в супермаркете, сам ритм городской жизни — все это препятствует осознанию того, как тесно и разнообразно природное и городское переплетены.

Прежде всего их объединяет история. Каждый город был возведен на земле. Достаточно перенестись мыслью на несколько веков назад и представить, как выглядело место, на котором сегодня стоит твой дом, чтобы понять, каким относительно новым является столь важное сегодня различие между городом и негородом. Подчас только названия городов напоминают о том, что отличало ту местность, на которой они возникли, от соседних. Саратов — «желтая гора». Чикаго получил свое название от полей дикого чеснока, что росли в прериях между Скалистыми горами и Великими озерами. Оксфорд означает «бычий брод». Одна из версий истории названия Лондона — «дикое место». Москва, Минск, Самара, Воронеж, Тула, Рязань, Казань и многие другие города названы по имени рек, на которых построены. Для строителей городов природа представляла собой «чистый лист»: ее ресурсы (реки, леса, минералы) использовались за счет ее же постепенного истребления. В текстах по истории городов она выступает как инертный фон для героического покорения. Города мыслятся как отделенные от физического мира, ибо на протяжении последних двух столетий тем, кто о них писал, было гораздо важнее понять их социальный смысл и роль, которую они играют в истории. Экологические факторы существования городов долгое время оставались на заднем плане именно потому, что социальное осознавалось социальными теоретиками за счет жесткого противопоставления биологическому.

Город как экосистема

В наши дни обсуждение города как экосистемы ведется на основе сравнения его с «правильными», природными экосистемами. Природная экосистема включает все организмы (ра-

стения и животных) и неорганические «субстанции» данной местности, прежде всего воздух, воду и почву. Организмы и вещества объединены в сложную сеть. В этой сети различные варианты взаимозависимости ее компонентов («петель» обратной связи) приводят к тому, что изменения в одной части экосистемы разнообразно отзываются в других ее частях. Пример такой взаимозависимости — пищевая цепь, в которой зеленые растения, используя солнечную энергию, превращают неорганические вещества в органику, пригодную для потребления животных, снабжая их энергией для жизнедеятельности, которая рано или поздно завершается, а их тела, разлагаясь, поступают в почву. Природные экосистемы имеют встроенные стабилизаторы: у каждого вида есть своя экологическая ниша, обусловленная специфическим источником энергии, а циркуляция воды и воздуха, как и земельные массивы, способствует этой стабильности. Дополнительным источником стабильности является и общее разнообразие видов, и биомасса.

Экологический архитектурный проект *The High Line*

The High Line — это короткая (2,33 км) приподнятая над транспортными путями секция бывшей грузовой железной дороги, построенной вдоль нижней части Вест-Сайда в Нью-Йорке, сооруженная в 1930-е годы и не используемая для перевозки грузов начиная с 1980-х. Хотя строение еще достаточно надежно, оно начало разрушаться и поросло травой и деревьями.

Группа добровольцев из организации «Друзья *The High Line*» [см. Friends of the High Line], созданной живущими в ее районе Робертом Хаммондом и Джошуа Дэвидом, предложила превратить *The High Line* в необычный парк, похожий на тот, что есть в Париже (*Promenade Plantee*). В 2004 году правительство Нью-Йорка выделило 50 млн долларов на реализацию этого проекта. В апреле 2006 года мэр Майкл Блумберг торже-

ственно открыл церемонию закладки парка. Проект был разработан ландшафтной группой *Field Operations* и архитектурной фирмой *Diller Scofidio + Renfro*. Весной 2007 года была демонтирована большая часть рельсов и путей. К необычному парку будут вести пять лестниц и три лифта.

Фотограф Джоел Стернфилд издал альбом «Прогулки вдоль *The High Line*», запечатлев в 2000—2001 годах ее разрушение и ее «флору» [см.: *Stilgoe et al.*, 2002]. Популяризатор экологических проблем Алан Вейсман рассматривает *The High Line* в своей книге «Мир без нас» как пример того, что природа, если ей дать шанс, обязательно берет свое [см.: *Weisman*, 2007].

Городское общество, с этой точки зрения, не является экосистемой, потому что включает в себя только один вид животных — людей и не включает ни одну из природных субстанций. Тем не менее объяснительная сила экологической модели такова, что урбанисты и социологи давно применяют ее к человеческим сообществам. Когда совокупность социальных отношений называют экологией, имеют в виду такое взаимодействие между множественными элементами, которое не является ни полностью автономным, ни полностью зависимым от чего-то еще. Экологическая модель объяснения тем самым противостоит, с одной стороны, механистической и органистической, а с другой — атомистической и редукционистской. Об «экологии людей» (*human ecology*) — подходе, сформулированном социологами чикагской школы, — идет речь в главе о классической урбанистике. Первым ученым, предложившим все же понимать город как экосистему, был английский физический географ Иэн Дуглас [см.: *Douglas*, 1981]. Аргумент Дугласа состоял в том, что город, вбирая в себя одни вещества, выделяет другие. Поглощая энергию и воду, город порождает шум, изменение климата, загрязнение воздуха, отходы жизнедеятельности людей и мусор. В городах люди используют огромные энергетические ресурсы, что стало возможным потому, что человек нашел для себя уникальную энергетическую нишу.



Парк *The High Line*

Научившись использовать солнечную энергию прошлого, сконцентрированную в угле, нефти и газе, вначале для обогрева, а затем для промышленных целей, он, во-первых, перестал быть зависимым от солнечной энергии, во-вторых, обеспечил постоянное снабжение себя едой, одеждой и жилищем, в-третьих, стал доминирующим среди живых существ видом. Земли расчищались, осушались или орошались, и люди могли не беспокоиться о последствиях своей деятельности. Отдаленные последствия использования природных сил и ресурсов мыслились как проблема последующих поколений либо как то, с чем со временем справится сама природа. Между тем в городах все природные, «встроенные» стабилизаторы экосистем либо уничтожены, либо нарушены. Чтобы уменьшить непредсказуемость своего существования, люди возвели здания для защиты от стихии, очистные сооружения — для регуляции потоков воды, улицы и транспорт — для коммуникации, социальные институты — для регулирования «природных» человеческих страстей. Но сегодня обнаруживается, что эти артефакты и организации более не способствуют стабильности. Город как экосистема сам оказывается источником беспорядка в окружающей среде. Люди, живущие в городах, все сильнее зависят в своем благополучии и друг от друга, и от артефактов, и от институций, и от того, насколько надежно организовано поступление необходимых для жизни веществ в город и освобождение его от уже ненужных.

Зависимость города от источников энергии проявляется в том, что характер их развития задан стоимостью доступной энергии. Дешевое (до недавнего времени) топливо обусловило «расползание» американских городов, тот факт, что значительное число американцев живет в пригородах (*suburbanization, sprawl*). Напротив, одно из объяснений того, что европейские города компактны и обладают хорошим общественным транспортом, — дороговизна топлива.

Экологический отпечаток (*ecological footprint*), который города оставляют на окружающей среде, проявляется в так назы-

ваемом феномене теплового острова. Всем известен факт, что в городах теплее. Тепло поглощается зданиями и улицами днем и отдается ночью. Это позволяет немного сэкономить на отоплении зимой, но увеличивает расходы на кондиционирование воздуха летом. Тепловой остров влияет на циркуляцию воздушных масс над городом, что выражается в том, что в городах выше облачность и чаще гремит гром. Другой печально известный экологический отпечаток — выхлопы и выбросы: углекислый газ, окись углерода, двуокись азота, бензопирен, угольная и мазутная золы, сернистый ангидрид. Около половины выбросов в атмосферу дают автомобили, почти столько же составляют продукты сгорания топлива объектов теплоэнергетики, вносят свой вклад в загрязнение окружающей среды и городские предприятия. Страдают и люди (вредный городской воздух давно стал притчей во языцех). Страдает и атмосфера в целом: города — одна из главных причин глобального потепления и «озоновой дыры». Мусор, который современные города, в силу высокой населенности и значимости упаковки для продвижения товаров на рынок, производят в невероятных количествах, должен либо сжигаться (увеличивая выброс вредных веществ), либо перерабатываться, что далеко не всегда экономически выгодно. Забастовки мусорщиков в Германии в 2007 году и в Италии в 2008 году показывают, в какие сложные экономически-политические коллизии включена циркуляция мусора сегодня даже в тех странах, население которых восхищает нас своей экологической сознательностью.

Диалектика природы и города

Город — центр сложных диалектических отношений природы и культуры [Whartmore 2002]. Американский географ и историк Уильям Кронон в книге «Метрополис природы» [см.: Cronon, 1992] показывает, до какой степени стремительный рост Чикаго был обусловлен качеством окружающей его тер-

ритории: рекой, позволяющей кораблям пройти в надежную гавань, прерией, посреди которой довольно легко было возвести железную дорогу, болотами, осушение которых в конечном счете способствовало процветанию знаменитых чикагских скотобоев. Британский географ Мэтью Ганди в книге «Бетон и глина: преобразуя природу в Нью-Йорке» сосредоточивается на том, как взаимодействовали городские власти и ньюйоркцы, природа и город в налаживании городского водоснабжения, строительстве Центрального парка, организации вывоза мусора, строительстве скоростной дороги в Бронксе, разрушившем один из старых, сплоченных, населенных самыми разными людьми районов [см.: *Gandy*, 2002]. Подчинение людьми природы нерасторжимо связано с подчинением одних людей другими: непригодные для жизни городские районы, места повышенной загрязненности всегда оказываются уделом бедных и обездоленных. Приватизация и нарастание корпоративной власти вносят сильный коммерческий элемент в функционирование городской природы.

Город-сад Эбенезера Ховарда

Эбенезер Ховард (1850—1928) — английский реформатор, один из основателей современного городского планирования. Чтобы положить конец отчуждению человека от природы, Ховард замыслил создание городов-садов. Общество должно было быть интегрировано в окружающую среду так, чтобы их взаимодействие отличалось устойчивостью. Перенаселенность городов и вымирание деревень, считал он, должно было быть остановлено с помощью государственного вмешательства и создания «зеленого пояса» вокруг больших городов. В книге «Сады-города завтрашнего дня» (1902) он сделал набросок города, свободного от загрязнения воды и воздуха и отмеченного изобилием открытых пространств и парков. Производство в нем ориентировано на местные потребности, чтобы избежать

транспортировки товаров на дальние расстояния, а все отходы возвращаются в землю, чтобы обеспечить ее неослабевающую продуктивность. Книга стала манифестом целого движения — Ассоциации городов-садов — и сильно повлияла на современное городское планирование.

Ховард считал несправедливой необходимость для человека выбирать между городом и деревней как местом жительства, полагая, что в его городе-саде можно совместить активность и энергию городской жизни с удовольствием от созерцания красот природы за городом. Понимая, что к жизни в такого рода «гибридах» людей нельзя принудить, он настаивал, что они должны быть «магнитами» (его любимая метафора), что они, иными словами, должны хорошо продаваться. И в деревне и в городе есть качества, которые работают как «магнит» для людей. В деревне это красота природы, свежий воздух, солнце, свежие продукты. В городе это возможность интересной работы, социального роста, культурного обогащения, высоких зарплат. Но города-сады обещали соединить все эти качества, освободив людей как от «идиотизма деревенской жизни», так и от городской скученности. Для этого деревню и город надо объединить, и из этого союза, надеялся он, возникнет новая цивилизация.

Моделью для утопического проекта Ховарда послужила замкнутая феодальная общность с добавлением незначительного промышленного производства и современных коммуникаций, соединяющих такие города друг с другом и с центральным городом, в котором предполагалось сосредоточить основное промышленное производство. Но реформаторский пафос Ховарда (сады вместо загрязненных земель, рациональная система распределения благ вместо жадности и бессердечия, города без трущоб, социальная поддержка пожилых и больных) сегодня кажется более чем насущным. В век, когда неолиберальная логика приводит к тому, что все больше зеленых пространств превращается в парковки и торговые центры, идеи Ховарда напоминают о возможности альтернативных путей развития городов.

Интерес к сложным отношениям между городом и окружающей средой воплотился в таких дисциплинах, как «Городская экология» и «Гуманистическая география». Первым городским экологом стал биолог Ричард Фиттер, в «Естественной истории Лондона» показавший, как рост Лондона повлиял на «родную» для этой территории флору и фауну [см.: *Fitter, 1945*]. Но еще во второй половине XIX — начале XX века проблема городской окружающей среды обсуждалась в трудах реформаторов Эбенезера Ховарда, Фредерика Лоу Олмстеда, Патрика Геддеса. Этому, в свою очередь, предшествовало прозрение о принципиально «неустойчивом» характере европейских городов, принадлежавшее Фридриху Энгельсу, который описал неприглядные условия жизни английского рабочего класса (его взгляды подробно рассмотрены в главе 5). Автор «Диалектики природы» трезво оценил последствия стремительной урбанизации, предвосхищая современную рефлексию удручающей экологии городов: «Два с половиной миллиона человеческих легких и двести пятьдесят тысяч печей, сосредоточенных на трех-четыре квадратных географических милях, потребляют необъятное количество кислорода, которое возмещается лишь с большим трудом, так как городские постройки сами по себе затрудняют вентиляцию» [Энгельс: 436].

В работе британского социолога культуры Раймонда Уильямса «Деревня и город» трансформация природы западным обществом прямо увязана с процессами урбанизации [см.: *Williams, 1973*]. Социальность природы, ее способность выступать на стороне власти — вот что выходит на первый план. От конструирования знания о природе до способов, какими люди с ней взаимодействуют, от коммерческой апроприации природы как товара до ее физической трансформации в соответствии с представлениями властей предержащих [см. *Lannuzzietal, 2002*] — природа пронизана властными отношениями. По словам Уильямса, сама идея природы включает большой объем человеческой истории.

Американский географ Дэвид Харви в работах, посвященных взаимодействию капитализма и пространства, подчеркнул, что взаимное преобразование общества и окружающей среды ведет к созданию все новых вариантов сочетания городских социальных и физических условий. Британский радикальный географ Эрик Суингеду подытожил эту линию мысли введением понятий *социоприрода* и *социоэкология*. Другие авторы используют понятие *городская природа*. Эти понятия фиксируют понимание городов как гибридов природы, технологии и архитектуры. Повсеместные комары в подвалах, крысы в подсобках, лондонские лисы, у которых, говорят, даже очертания челюстей изменились, потому что они добывают пищу из мусорных баков, — часть городской, а не какой-то иной природы. Обмены и превращения, что поддерживают городскую жизнь, — еда и вода, банкоматы и компьютеры — демонстрируют бесконечную переплетенность природного и социального. «Органическая» еда, доставляемая в Москву из Европы, и частички гари, которые невозможно, кажется, выкашлять из легких, когда горят подмосковные торфяники, — глобальные влияния и местные риски сплетены в связях, объединяющих людей, нефть, автомобили, растения и животных, леса и климат и создающих город в неравномерно распределяющихся социоэкологических процессах.

Социальные исследования науки и технологии (SSS, SST)

Социальные исследования науки и технологии — это сложившееся около тридцати лет назад влиятельное междисциплинарное движение, результаты работы которого публикуются в журнале «Social Studies of Science» и которое исследует взаимодействие науки и технологии с экономическими, политическими и культурными силами. Отвергнув понимание науки и технологии как внесоциальных или внекультурных факторов,

представители этого движения ратуют за их понимание как *местно* производимых, а потому специфических и произвольно развивающихся (в том смысле, что их возникновение и развитие видятся зависимыми от целой совокупности социальных факторов). Если в воображении большинства людей, когда речь заходит о науке как «образцовом» знании, царит «очищенный» для бескорыстного поиска истины одинокий исследователь, а разговоры ученых в курилке и проведение, скажем, эксперимента, который ведет к достижению истинного знания, не только разведены во времени, но и имеют совершенно различный вес, то данная парадигма, если сильно огрубить суть дела, нацелена на демонстрацию того, что как раз в курилке научной лаборатории наука и делается. Социальный капитал ученого соединяется с местными материальными ресурсами и обстоятельствами, в которых знание производится. Каждый атрибут науки, начиная от фигуры ученого, приборов и экспериментов и заканчивая утонченными научными понятиями, мыслится здесь как тесная связь между телами, жестами, привычками, вещами, знаками, собранными в особом месте. Стивен Шейпин, Саймон Шейфер, Донна Харавей, Джон Ло, Эндрю Пикеринг, Брюно Латур и Стив Вулгар, Майкл Линч показали, что вся наука — это местоположенное знание.

Те представители исследований науки и технологии, кто описывает и объясняет научную деятельность, касаются также и отношений между наукой, технологией и природой. Дискуссии ведутся о том, в какой степени природные сущности можно рассматривать как «социальные конструкции». Первоначально преобладало прагматическое решение проблемы социального конструктивизма: доказывалось, что социологи должны придерживаться агностической позиции в отношении к природным сущностям (или брать в скобки свое естественное отношение к природным феноменам), сосредоточиваясь на том, как социально конструируется научное знание. В последнее десятилетие эта позиция уступает место так называемой соконструктивистской традиции. Ее представители Донна Ха-

равей, Эндрю Пикеринг, Брюно Латур считают, что, если социологи работают только с «социальной» стороны водораздела между природой и обществом, прагматическое решение сомнительно. Изучая науку и то, как она связана с природой, конструктивисты пришли к выводу, что чрезмерное внимание к социальным факторам подрывает способность социологов объяснить влияние современной науки — иными словами, препятствует рассмотрению ими материальных условий, позволяющих ученым эффективно действовать в мире.

Материальное, символическое и социальное, объединяясь, создают всякий раз специфический вариант социозкологии. Социальные и экономические процессы, в которых соединено локальное и глобальное, в городе материализуются и только в городе возможны. Литература, посвященная городскому развитию, редко связывает капитализм, технические аспекты развития и проявления несправедливости, мотивированные окружающей средой (*environmental injustice*). Американский урбанист Нил Смит считает, что современный капитализм буквально вовлечен в производство и воспроизводство природы [см.: *Smith*, 1992]. Зримым примером этого является сосуществование в каждом городе депрессивных, пустынных, спальных микрорайонов и ухоженной зелени «дворянских гнезд». Процесс урбанизации становится неотъемлемой частью создания новой окружающей среды и новой природы.

Глобальные взаимозависимости

В окружающей среде сегодня видят все больше проявлений социальности, тогда как в городах — все больше природного. Прежние границы между обществами изменяются процессами глобализации, которые в свою очередь приводят не только к тому, что последствия природных катаклизмов отзываются во всем мире, но и к тому, что последствия глобальных природ-

ных перемен неодинаково сказываются в разных регионах мира: глобальный Север защищен от них лучше глобального Юга. Так, на столице Индонезии Джакарте в 1998 году особенно сокрушительно сказались последствия лопнувшего «пузыря» глобальных финансовых спекуляций. Амбициозные небоскребы остались недостроенными, а множество людей остались без работы и пропитания. В то же время и там же проявились последствия природного феномена Эль-Ниньо — циклического потепления воды в восточной части Тихого океана. Лужи стоячей воды в заброшенных высотных зданиях стали экологической нишей для комаров. К безработице и общей растерянности прибавились малярия и лихорадка денге. Так соединились глобальное потепление и перипетии перераспределения глобального капитала, глобальное и местное, природное и социальное, человеческое и физическое, культурное и органическое. При этом сами различия между отмеченными противоположностями могут быть проведены по-разному в разных обстоятельствах и в разные периоды. Историки окружающей среды и теоретики «акторов-сетей» показали, что различные «природы», которые общества производят, могут сами обладать активностью, могут сами изменяться и трансформироваться, сопротивляясь нам и нас удивляя.

Наращение понимания как социально сконструированных измерений природы, так и нерасторжимости природы и самых современных аспектов городской жизни ведется, таким образом, на двух основных полюсах. С одной стороны, это постструктуралистские в своей основе доказательства конфликтного сосуществования различных культурных и дискурсивных рамок, в которые помещается понятие природы (что отражается в том, что эти авторы предпочитают говорить о различных природах). С другой стороны, это достижения социальных исследований науки и идей акторно-сетевой теории с их акцентом на гибридности большинства изучаемых сегодня наукой объектов, невозможности однозначного проведения их по ведомству либо естествознания, либо социальной

науки, а главное — способностью проанализировать сложные сети, объединяющие различные инстанции власти и комбинации человеческих и нечеловеческих агентов в конструировании природы.

Трубы и микробы

Летом 2007 года в городе — спутнике Екатеринбурга Верхней Пышме в результате вспышки легионеллезной пневмонии пострадали 166 человек, четверо погибли¹. Это необычное название болезнь получила, поразив участников встречи ветеранов Американского легиона в 1976 году в Филадельфии. Возбудитель — стойкая грамотрицательная палочка, живущая в воде, иле, камнях. Случаи заражения происходят, как правило, в городах, где системы водоснабжения и кондиционирования (слизь, накапливающаяся в водопроводных трубах, застоявшаяся теплая вода в охладителях кондиционеров) создают условия для размножения бактерии. В Пышме бактерия, распространяющаяся алиментарно и ингаляционно, находилась в горячей воде, которая остыла в трубах в период опрессовки и не была перед возобновлением подачи воды спущена или нагрета до нужной температуры. В качестве экспертов массмедиа привлекли микробиологов, санитарных врачей и специалистов по водоснабжению. Главный санитарный врач страны Г. Онищенко в интервью программе «Вести» телеканала «Россия» подчеркнул: «Если соблюдать все технологии, которые предусмотрены утвержденными Минтопэнерго регламентами по эксплуатации теплосетей, то это гарантия того, что никто не заболеет». А спикер Госдумы Б. Грызлов связал случившееся с качеством оборудования, используемого в ЖКХ. «Совершенно ясно, что и качество труб, и качество другого оборудования

¹ Цифры заболевших и погибших, даваемые различными источниками, не совпадают.

во многих городах очень далеки от того уровня, на котором они должны быть», — подчеркнул он (URL: <http://www.rian.ru/realty/20070731/70039235.html>). Спикер также призвал к наказанию всех виновных. Самый экстравагантный комментарий к случившемуся сделал в ходе телевизионной конференции губернатор Свердловской области Э. Россель: «В природе микробов столько, что удивляешься, как человек вообще выживает» [Мунгалов, 2007: 2].

В газетных заметках и телевизионных репортажах об этом случае соединились факты биологии и политические ходы, изношенные теплосети и недофинансируемые больницы, повсеместность рисков и будущие выборы в Государственную Думу. Необходимость для одних людей справляться с последствиями болезни, для других — спасти политическое лицо, для третьих — предотвратить распространение эпидемии, для четвертых — без опаски мыться горячей водой соединяются в одной истории. Иррациональные страхи и политические интересы, глобальная циркуляция микробов и национальные особенности ухода за теплосетями, профессиональное знание и слухи, социальное и биологическое оказались сплетены в одной сети объектов и событий. «Гибриды природы и культуры», как называет подобные истории французский философ науки Брюно Латур, потому часто и остаются содержанием вчерашних новостей, что прямо не проходят ни по чьему научному ведомству.

Акторно-сетевая теория

Акторно-сетевая теория — самая инструментальная часть масштабного проекта Латура, включающего в себя и блестящие историко-научные исследования, и участие в дебатах о дальнейшей судьбе социальной теории [см.: *Latour*, 2000]. Он достаточно радикально рассматривает историю современного знания, показывая, что значительная его часть строилась на

возведении и последующем поддержании границ между различными дисциплинами и познавательными областями. Эти границы мешают увидеть гибридность большинства феноменов действительности, исключающую возможность проведения их либо по ведомству естественно-научного знания, либо по ведомству знания социального. Противопоставление друг другу, во-первых, людей и их связей, во-вторых, фактов о вещах и, в-третьих, слов и дискурса — относительно поздняя культурная тенденция. Для ряда культурных критиков, историков, философов и социологов науки «Великое разделение» между указанными традициями составляет суть модерности [см.: *Latour*, 1994; *Bhaskar*, 1994]. Если же принять во внимание и позднюю модерность, тысячами нитей связанную с постмодернистским проектом, то к ориентациям на вещи, людей, слова следует, по мнению Б. Латура, прибавить четвертую — деконструктивистски схватываемые игры смысла. Эти ориентации сложились в ходе модерности примерно так. Ее наступление ознаменовалось постулатом о *природе*-«сфинксе», неуязвимой в своей свободе от человеческих страстей и желаний, существующей независимо от людей, которым, однако, под силу, постигнув ее законы, мобилизовать ее возможности для своих, человеческих целей. Развитие модерности сопровождалось складыванием представлений о *социальной связи*, соединяющей людей, обремененных страстями и желаниями, в монолитное социальное целое, которое укрощает их непредсказуемость и выступает как начало, превосходящее создавших его людей. Итогом этого развития явилось понимание автономности процессов *означивания*, осмысление языка и текста как главного места, где обитают люди, организуя на основе тропов и жанров понимание ими приключений и несчастий, на которые их обрекают упомянутые страсти и желания. Наконец, приходит пора понять, что бесконечная активистская деятельность и великие повествования, ее фиксирующие, оборачиваются забвением *бытия*, присутствие которого тем не менее рассредоточено между людьми, воплощаясь в историчности их существования. Каждая

из ориентаций, возникая и отвоевывая себе место, демонстрировала ограниченность предшествующих, преувеличивала свою несопоставимость с ними. В итоге, прослеживая эволюцию или связи какого-то объекта, люди видят в нем либо вещь, либо социальное отношение, либо нарратив, помня о несводимости того, другого и третьего к бытию. Научные дисциплины поделили мир, не считаясь с гибридностью большинства объектов, которые предстают сегодня перед исследователями.

Реализация модернистского эпистемологического проекта была невозможна без практик «очищения», как их называет Б. Латур. То, что в действительности неразлично, спутано и сплетено, подвергается жестким познавательным и риторическим процедурам, представая предназначенным для исследования в одном случае естественно-научными, в другом — социологическими, в третьем — лингвистическими и так далее средствами. «Очищению», добавим мы, подвергается и собственно познающий субъект. И он, предполагается, вступая в святая святых лаборатории или кабинета, в состоянии оставить за дверями прагматические мотивы, повседневные заботы и политические пристрастия.

Напротив, по мнению ее создателей, акторно-сетевая теория представляет собой концептуальную рамку, в которой можно помыслить взаимосвязи, отношения и «со-конструкции», которые объединяют людей, другие живые организмы и вещи, то есть естественные, технические и социальные феномены и процессы, как возникающие взаимосвязанно. Ее сторонники убеждены, что она может помочь избежать традиционного дуалистического мышления (природа — общество) и увидеть принципиальную гибридность большинства изучаемых сегодня феноменов (не только изучаемых науками, но и иными способами входящих в горизонт человеческих забот). Может быть, мир в целом стал гибриден до такой степени, что традиционные линии различения природного и социального становятся бессмысленными? Может быть, людей и «нелюдей» можно по-

мыслить так, что, с одной стороны, степень активности последних не будет заведомо принижена, а с другой стороны, и фундаментальное различие между ними не будет утеряно из виду?

Материальность города и социальная теория

Социальная теория занимается тем, что переводит культурное знание о естественно-научной причинности на язык социальной причинности, включающий анализ социальных и политических интересов, нахождение среди социальных агентов ответственных и виновных и определение меры их ответственности и вины. Ни зловредный микроб, ни сплетения труб в толще земли как таковые не входят в ее компетенцию. Для нашего разбора трудностей социальной теории, обращающейся к городам, случай с легионеллой показателен тем, что соединяет социальные процессы, с одной стороны, с биологией, а с другой — с технологией. Традиционно такого рода случаи не получали более или менее целостного рассмотрения именно по причине инертности дисциплинарного знания и жесткости границ между сферой компетенции трех родов знания — социально-гуманитарного, естественно-научного и технического.

Неразличимые компоненты и тенденции городской жизни, запутанные и переплетенные, видимые и невидимые, сверхординарные и надоевшие, рано или поздно проходят по разным познавательным ведомствам: специалисты по водоснабжению могут объяснить, почему только у нас в стране опрессовка сопряжена с длительным отключением горячей воды, микробиологи — идентифицировать возбудителя, а политологи — «вычислить» мотивы, побудившие официальных лиц высказаться так, а не иначе.

Городская окружающая среда только на первый взгляд кажется средой обитания людей, в действительности в ней обитает невероятное число живых организмов. Мало того — это

техническая и материальная среда. Подчас сети, в которые входят наши дома, улицы и природа, спрятаны от нашего взора как буквально (под землю), так и в силу привычных путей размышления. Сдвиг интереса урбанистов от зданий, кварталов и сообществ к проводам, трубам, воде, микробам, ядохимикатам, радиоактивным отходам и прочим *невидимым* составляющим городской жизни произошел в последние десять лет. Еще раз подчеркнем, что серьезными концептуальными импульсами этого сдвига явились философия Жюль Делеза и акторно-сетевая теория, разработанная социологами науки и технологии Мишелем Каллоном, Джоном Ло, Брюно Латуром и другими.

Пастер и оспа

Акторно-сетевая теория претендует на разработку концептуальных ресурсов «демократичного» по отношению к «нелюдям», то есть вещам и связям между ними, мышления. Она предназначена для описания взаимодействия самых разнородных участников процессов, каких только можно представить, а именно участников-людей и нечеловеческих участников — материальных объектов и живых организмов. Брюно Латур определяет эту теорию как теорию, способную понять «нечеловеческих» акторов, не определяя априори степень их участия в создании мира.

Он, соответственно, критикует социологию за ее чрезмерную уверенность в способности раскрыть реальные мотивы участников социального действия, включенного в социальные структуры, чья причиняющая сила остается закрытой от акторов или только частично им понятной [см.: *Latour*, 2004: 154—156]. Латур убежден, что в таких, например, феноменах, как глобальное потепление или «озоновая дыра», социальные и природные факторы смешаны таким образом, что сами категории природного и социального становятся бессмысленными.

В книге «Пастеризация Франции» Латур подробно рассматривает открытие Луи Пастером противооспенной вакцины, демонстрируя, что и Пастер как микробиолог и оспа как отдельный микроб в известном смысле возникли в ходе его экспериментов [см.: *Latour*, 1988]. Пастер смог добиться успеха только потому, что задействовал в своем исследовательском проекте самых разных «акторов» — природных, социальных, технологических, политических, объединив их в «сеть» — спутанную, разнородную сложность. Что же именно осуществляет Пастер? Он следует классическому предназначению ученого — сделать невидимое видимым, непонятное — понятным. Он бесконечно экстрагирует, фильтрует, растворяет, выращивает биологические материалы, в ходе которых бацилла оспы и экспериментатор «взаимно обмениваются и усиливают свои качества» [*Idem*, 1999: 125]. Но Латур неслучайно использует термин «со-конструирование». Бацилла, получается в его интерпретации этого этапа истории науки, не таилась столетиями невесь где, причиняя людям вред. Она была *создана* ученым в качестве отдельной и независимой сущности. Им была сконструирована сложная социально-культурная сеть (Латур еще использует термин «ассамбляж»), которая и позволила бацилле возникнуть. Существует ли теперь бацилла? Определенно, отвечает Латур. Но в каком смысле? Это не значит, что она будет существовать всегда. Или что она может существовать *вне* социальных практик и научных дисциплин. Она существует только в созданной ради ее открытия сети [см.: *Ibid.*: 155—156]. А в сети все компоненты объединены симметрично, в ней нет «более равных» акторов, поэтому не будет ошибкой сказать, что именно бацилла оспы «сделала» Пастера знаменитым.

Разбор Латуром открытия вакцины позволяет понять, как соединяются основные компоненты акторно-сетевой теории:

- 1) идея соконструирования;
- 2) допущение о симметричности вклада человеческих и нечеловеческих членов сети в ее функционирование;

3) изучение того, как сети складываются из самых разнородных и неожиданных компонентов;

4) изучение того, как сети впоследствии кристаллизуются в стабильные конфигурации.

Действие, согласно этой теории, осуществляется своеобразным «совместным предприятием», включающим в себя людей и «нелюдей». Латур понимает, что он здесь подрывает одно из ключевых антропологических допущений, а именно то, что к целенаправленному действию способны только люди. Он убежден, что к целенаправленному действию способны также и институты, аппараты, «развертывания», или диспозитивы, как их называл Мишель Фуко [см.: *Latour*, 1999: 192]. Латур рассуждает о действии тем же образом, что Фуко о власти. Микрофизика власти «на местах» вновь и вновь создает новые варианты власти/знания. Эта динамика порождает «диспозитивы» — институциональные конфигурации, являющиеся источниками стратегий, порождающих и дисциплинирующих субъектов. «“Действия”, — настаивает Латур, — это не то, что люди делают, а то, чего они достигают вместе с другими» [*Ibid.*: 288]. Действие — результат того, что возникла сеть, а сеть создается из компонентов, одни из которых могут быть техническими, другие — социальными, третьи — природными. Анализировать, как эти многочисленные (от генетически модифицированных продуктов до ВИЧ-инфекции) сети возникают, укрепляются и куда простираются, — вот исследовательская программа акторно-сетевой теории, настаивающей на «симметричном» отношении к природным объектам и социальным субъектам.

Официальные лица и легионелла

В центре нашей истории и рассказанной Латуром истории о Пастере и оспе — микробы, невидимая часть городской природы. Главное отличие между этими историями в том, что Латур в своем историко-научном исследовании живописует на-

учное *открытие* оспы, тогда как легионелла, уже будучи открытой, лишь проявилась, или «вспыхнула», в Верхней Пышме. С другой стороны, очевидная параллель между микробами Пастера и микробами в водопроводных трубах состоит в том, что как Франция XIX века не ведала об оспе, так и микроб легионеллы — до того, как он проявился поблизости и представил реальную угрозу, — для большинства из нас не существовал. Он возник во всей своей очевидности, когда стало ясно, что *недогретая* вода для него — лучшая чашечка Петри. И он... продемонстрировал свою активность в качестве «агента», объединенного с людьми в одну сеть, в данном случае — городскую теплотель. Есть и другая параллель: оспа прославила Пастера, а в данном случае легионелла могла сделать свердловского губернатора печально знаменитым: «А, это тот, у которого люди заражаются воспалением легких, приняв горячий душ!» Как же это противоречит образу лидера стремительно трансформирующегося региона, в котором строятся все новые объекты и возводятся все новые высотные здания, в котором бьет ключом деловая активность и перспективы развития которого все более расширяются!

Небезосновательно позиционируя себя как большого мастера привлечения иностранных инвестиций, губернатор мог знать, а мог и не знать, что в еще одном крупном городе — Санкт-Петербурге — легионелла фигурировала в контексте, куда более тесно связанном с инвестициями. Туристская привлекательность второй столицы — источник экономического благополучия большого числа людей и структур. После того как в газете «Guardian» была опубликована заметка о том, что пожилые английские туристы с круизного корабля, делавшего остановку в Петербурге, заболели легионеллой и допускают, что заразились поблизости от городских фонтанов (URL: <http://www.guardian.co.uk/international/story/0,,2138543,00.html>), пресс-служба Водоканала Санкт-Петербурга распространила заявление, что вода в фонтанах — водопроводная, то есть по определению проходит глубокую очистку (как если бы под

Екатеринбургом люди заразились не из водопровода), что фонтаны ежедневно осматривают специалисты (!) и что вода в них просто-напросто слишком холодная для выживания бактерий. Этот эпизод еще раз свидетельствует о том, что в современном глобализованном человеческом воображении микробы играют важную роль. Они, с одной стороны, олицетворяют невидимость и повсеместность рисков, а с другой стороны, символизируют потребительскую искушенность и активность: микробы, внушают нам послания реклам чистящих средств, это то, с чем можно справиться, то, что можно уничтожить, то, по *отсутствию* чего на вверенной тебе территории (кухня, унитаз, квартира, далее — везде) о тебе судят как о хорошем хозяине.

В «Тринадцати друзьях Оушена» (2007) режиссера Стивена Содерберга есть эпизод: одним из способов мести за «кинутаго» друга, который придумывают Оушен и Ко, стало помещение судьи, присуждающего престижную гостиничную премию, именно в тот номер роскошного отеля при развлекательном центре, который предварительно был щедро опрыскан бульоном, кишмя кишящим бактериями. Когда все это биологическое разнообразие высвечивается судьей, проверяющим номера гостиницы на соответствие самым строгим гигиеническим нормам в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, ты понимаешь ужас бедолаги. Но здравый смысл подсказывает, что что-то подобное — при подобающей смене оптики — можно увидеть и в родном жилище. Так потребители и колеблются между высокомерным самообманом, иллюзией контроля («Где угодно, только не у меня») и реалистичным пониманием того, что мы давно уже с микробами сосуществуем, и наше счастье, что мы их не видим.

Легионелла в силу своей вездесущности — вредоносный агент (по Латуру, агент в буквальном смысле слова!), угрожающий имиджу города. Риторическая стратегия петербуржцев: «Это не у нас! В наших фонтанах ничего такого нет! Вы лучше кондиционеры у себя на корабле проверьте!» Риторическая

стратегия свердловского губернатора: «Этот случай никак не связан именно с моей территорией, так как микробы повсеместны». Россель переворачивает традиционный социологический аргумент об «исключительности человека», в соответствии с которым физические и природные объекты рассматриваются «вдали» от людей с их проблемами. Он поднимает вопрос о том, как люди выживают в *мире микробов*, имея в виду, что раз микробы повсюду, то окончательно справиться с ними невозможно. Контекст для социальных проблем здесь образован, ни много ни мало, всей биосферой. Губернатор Свердловской области, ведя речь о человеке вообще и микробах вообще, такой естествоиспытательской риторикой искусно «вычитает» из своей картины технологические сети и «человеческий фактор», прибегая к классическому аргументу «неуправляемости природы».

Природа и политика

В 1980—1990-е годы ряд социальных теоретиков в длинный перечень провозглашенных тогда «концов» (истории и автора, искусства и философии) включили и конец природы [см.: *Giddens*, 1994; *Smith*, 1992]. Риторическое обоснование «конца», как правило, включает поправку относительно того, что речь идет не о безоговорочном исчезновении того или иного феномена, но лишь об исчерпании традиционного его понимания. Так, говоря о природе, Ульрик Бек настаивает, что наступил «конец противопоставления природы и общества» [Бек, 2000: 98], имея в виду, что природа, без разрушения которой современное общество не могло бы существовать, стала частью общественно-экономического и политического развития. Нет смысла представлять природу первозданной, и неправы будут те, кто мыслит ее находящейся вдалеке. Все это в прошлом, теперь потенциально каждая ее малая часть может быть модифицирована, и нет ни единого места на земле, не затро-

нутаго антропогенной активностью. Бек справедливо обращает внимание на то, что язык нас дезориентирует, когда мы продолжаем говорить об «окружающей» среде, тогда как «индустриально преобразенную “внутреннюю природу” цивилизованного мира следует воспринимать не как окружающую среду, а как внутреннюю среду, относительно которой наши возможности дистанцирования и разграничения проявляют свою не состоятельность» [Бек, 2000: 99].

Эти оценки совпали по времени с разворачиванием парадигмы социального конструктивизма, в рамках которой невозможность отделить друг от друга социум и природу в их действительном материальном существовании была дополнена впечатляющей демонстрацией социальной сконструированности представлений о природе и активной манипуляции понятием естественного в социальных и политических целях [см.: Eder, 1996; Robertson, 1996]. Так, географы Нозл Кэстри и Брюс Браун настаивают, что сегодня продуктивнее задаваться не вопросом о том, что общество делает с природой, но вопросом «кто конструирует какие природы, с какими целями и с какими социальными и экологическими последствиями?» [Castree, Braun, 2005].

Драматическое одиночество человека в мире микробов, подчеркнутое в реплике свердловского губернатора, может быть истолковано так, что отношение «человека» к «природе» определяется ситуативно, в рамках местоположенных практик самых разных «публик». Эти отношения двусмысленны, различны и произвольны. Деловые сообщества и сообщества политиков, делегируя из своих рядов экспертов, должны как-то совладать с этой двусмысленностью. Губернатор, надо сказать, справился с этой задачей не худшим образом. Фактически, повторим, его реплика — это вариант аргумента о «неуправляемой природе», который активно, настаивают Джон Урри и Фил Макнахтен, воспроизводят члены правящих сообществ посредством «официально-бюрократических, научных и управленческих дискурсов» [Urry, Macnaghten, 1998]. Нам этот

аргумент знаком по освещению в прессе начала отопительного сезона: он всегда застаёт коммунальщиков врасплох.

Моральная и политическая насущность вопросов глобального потепления, эксплуатации транснациональными корпорациями экологии малоразвитых стран, последствия биомедицинского картографирования генетической системы — все это побуждает по-новому присмотреться к динамике отношений природы и общества, к тому, какие возможности для освобождения людей эта изменившаяся динамика может содержать. Люди стремятся сохранить свои среды обитания, будучи включенными во властные отношения. При капитализме множественные социоэкологические отношения доминирования и подчинения скрыты за товарными отношениями. Тем не менее город оказывается местом соединения разнообразных социоэкологических процессов — от ближайшего подвала до отдаленных уголков земного шара. Эрик Суингеду продолжает эту тему в книге «Социальная власть и урбанизация воды» [см.: *Suyngedouw*, 2004]. Регуляция поступления воды в города городскими властями — иллюстрация необходимости развития марксистской урбанистической политической экологии. Ее главный тезис в том, что материальные условия городской природы контролируются и манипулируются в интересах элиты за счет маргинализированных слоев населения. Эти условия в свою очередь зависят как от социальных, политических и экономических процессов, так и от культурных конструкций и репрезентаций, определяющих, что понимается под «городским» и «природным».

Ученица Суингеду, оксфордский городской географ Мария Кайка в книге «Город потоков» [см.: *Kaika*, 2005] предлагает мыслить современный город как гибридный «ландшафт-палimpseст». Кайка на примере воды в городе показывает, что, хотя природу и город уже ничто в умах людей не связывает, циркуляция воды в городе определяется политикой: снабжение водой — это арена, на которой разворачиваются конкретные политико-экономические программы. Каким образом полити-

ческая экономия урбанизации проявляется в дискурсивных и материальных практиках в отношении воды? Если в пору культурного энтузиазма в отношении индустриализации плотины и водонапорные башни были популярными у людей местами посещения и отдыха, возле них даже устраивались пикники, то постепенно успехи промышленности и повсеместность технологии стали привычными, а процессы коммодификации укрыли от человеческих глаз «потоки природы» и включенные в них властные отношения: вода течет из крана и наливается из бутылки, так что о ее происхождении с неба или из реки не задумываются. Кайка рассматривает, каким образом процессы приватизации сказались на снабжении Лондона водой начиная с 1970-х годов. Кратковременные интересы любой частной компании, то есть ее нацеленность на максимально быстрое получение прибыли, ведут к тому, что экологические и социальные интересы всегда будут последними, что она примет во внимание. В случае Лондона недостаток ресурсов, отведенных для поддержания водопровода в порядке, приводил к многочисленным авариям и потере воды. Побудить компании к учету экологических последствий их деятельности могут только специальные меры, рассчитывать на логику рынка в данном случае совсем не приходится.

Многочисленные превращения и метаболизмы, поддерживающие и определяющие городскую жизнь — от воды и пищи до сотовых телефонов и компьютеров, — нерасторжимо переплетают между собой физические и социальные процессы. За ними важно видеть различные варианты городских экологий — от «умных» домов и ухоженных парков, сосредоточенных на территориях «дворянских гнезд» и коттеджных поселков, до вредных отходов, таящихся в почве под домами попроще, квартиры в которых отделаны дешевыми, но вредными для здоровья материалами. Внимание к разнообразию вариантов взаимодействия города и природы позволяет внести уточнения в тезис Энгельса о принципиальной «неустойчивости» городов: процессы развития городской экологии та-

ковы, что если одни группы от них страдают, то другим они приносят выгоду. Урбанистическая политическая экология призывает задавать такие вопросы: кто платит за развитие городской экологии, а кто от этого приобретает выгоду? каким образом воспроизводятся глубоко несправедливые социоэкологические отношения?

Самым зримым процессом, делающим политическую экологию насущной теорией, является *коммодификация природы*, или окружающей среды, с целью увеличения шансов городов и регионов на победу в глобальном или национальном соревновании по привлечению инвестиций. Так, в США понятия *устойчивого развития* (*sustainable development*) и *умного роста* (*smart growth*) активно используются в рамках дискурса «зеленой революции» (*green revolution*) во имя улучшения экологических условий жизни людей. Нередко, однако, это оборачивается улучшением условий жизни только для состоятельных людей. Политики устойчивого развития (защита «зеленого пояса» города, продвижение «зеленых» районов как привлекательных для состоятельных людей и так далее) вытесняют людей с низким заработком в отдаленные районы, что влечет за собой увеличение времени на дорогу до работы и, соответственно, негативное воздействие на окружающую среду.

«Умный рост»

«Умный рост» (*smart growth*) — инициатива американских планировщиков и городских властей, тесно связанная с понятиями качества жизни и нового урбанизма. Американский Институт городского землепользования (*American Urban Land Institute*) определяет «умный рост» как сочетание экологической устойчивости и неотрадиционалистских подходов к политике широкой коалиции интересов, нацеленной на усиление стратегического планирования и эффективное использование городского транспорта [см.: *Thorns*, 2002]. Сан-Франциско и

Портленд — два города, где такие коалиции особенно влиятельны.

К примеру, два раза в год мусорщики Сан-Франциско собираются на обед вместе с городскими властями: вино предоставляют местные виноделы, зелень — фермеры. Это знак признания вклада мусорщиков (их называют работниками по очистке города — *sanitation workers*) в сельскохозяйственное производство. Они ежедневно доставляют 350 т пищевых отходов на городскую фабрику компоста. Жители Сан-Франциско следуют так называемой системе «Fantastic 3», складывая производимый ими мусор в три корзины: для перерабатываемых отходов, пищевых и всего остального. Первые два типа отходов вывозятся бесплатно, за вывоз третьего типа жители платят. Все это позволило на 70 % сократить вывоз мусора на городские свалки, расположенные, как и везде, на прилегающих к городу полях. Программа по изготовлению компоста — самая значительная в США — также позволяет уменьшить экологический отпечаток города. Исследования, проведенные в городе, показали, что 20 % выбросов связаны с гниением, в особенности с метаном, получающимся от разложения пищевых отходов. Хотя есть технологии, позволяющие улавливать метан на свалках, они не очень эффективны: до двух третей газа улетучивается. Изготовление компоста гораздо более эффективно: метан поглощается, а город получает продукт, который продает фермерам, владельцам виноградников и полей для гольфа. Две тысячи ресторанов и большинство жителей сортируют свой мусор.

Экологическая устойчивость городов

Если в прошлом люди составляли незначительный компонент природных экосистем, то постепенно их деятельность сравнялась по своему масштабу с силами природы. К 2050 году население мира возрастет, по разным оценкам, от 7,6 до

10,6 млрд человек [см.: United Nations, 2005]. Справятся ли экологические системы Земли с этой нагрузкой? Способны ли будут государства снабдить едой и всем необходимым такое количество обитателей? В недавнем прошлом человечество перешагнуло важный рубеж: сегодня большее количество людей живет в городах, чем в сельских поселениях [см.: United Nations, 2004]. Отражением этих тенденций и тревог стало понятие *экологической устойчивости города (urban sustainability)*, фиксирующее необходимость сократить нагрузку, оказываемую городами на окружающую среду. В набирающих сегодня популярность терминах — уменьшить *экологический след* городов (*ecological footprint*). Воздействие города можно описать, измерив его экологический след, то есть меру «нагрузки» на природу, которая возникает в результате удовлетворения разнообразных потребностей городских обитателей. Сегодня, с одной стороны, социоэкологический след города стал глобальным (по словам Эрика Суингеду), с другой стороны, будущее некоторых городов неопределенно из-за экологической ситуации, которую они создают и усугубляют. Чем слабее законодательная регуляция экологических проблем, тем более высока вероятность того, что экономический рост быстро развивающихся стран будет достигнут ценой драматического загрязнения воздуха, воды и земли.

Политически эти тенденции отражаются в росте коалиций заинтересованных сторон и появлении все большего числа неправительственных организаций, пропагандирующих необходимость срочных мер и увеличения экологической осведомленности граждан. В июне 2005 года мэры крупных городов мира собрались в Сан-Франциско, чтобы подписать Декларацию зеленых городов. Общие городские экологические вызовы, с которыми городские власти и горожане сталкиваются повсеместно, — перегруженность городов автомобилями, пробки, отдаленность мест проживания от мест работы, рост пригородов, недостаток воды, неравномерное развитие. Успехи городских властей по части устранения этих проблем, как

правило, весьма скромные. Особенно значимы те, где властям удается убедить местное население в необходимости «что-то сделать». Так, бывший мэр колумбийского города Богота Энрике Пеньялоса резонно гордится своим проектом «цивилизованного города», то есть тем, что ему удалось ввести «дни, свободные от машин», побудить людей чаще пользоваться общественным транспортом и так называемыми мягкими способами передвижения — на велосипеде и пешком. Богатых обитателей Боготы он убедил в необходимости капиталовложений в инфраструктуру тех районов, где те живут, — из того соображения, что лучше пользоваться общественными благами (школами, к примеру) «на месте», чем ездить за тридевять земель. Этот пример подтверждает очевидное: экологические проблемы тесно связаны с социальными. Успех в их решении зависит и от социального капитала района или города. Этот пример указывает и на некоторое прекраснотушние городских экологов 1980-х, предлагавших в своих книгах бороться с «гранитными садами», создавать города, более дружественные к своим обитателям, города с изобилием парков вместо парковок, с открытыми, а не спрятанными под землю реками [см.: *Spirn*, 1984, 2000].

Строительство городов, гармонично сосуществующих с природой, сегодня вряд ли достижимо в силу как политических, так и экономических причин. Сложно заставить полчеловечества добираться на автобусе до работы или магазина. Сложно побудить людей отказаться от тех благ цивилизации, с которыми они сроднились и с которыми эмоционально связаны, пожалуй, прочнее, чем с природой. Пригороды, которые многие предпочитают сегодня как место жительства, воплощают тот стиль жизни, те представления о свободе и необходимом для жизни пространстве, которые для многих людей нерасторжимы с их идентичностью. Самое же главное состоит в том, что никто не отказался бы от того, чтобы жить в более чистом и зеленом городе, но сделать что-то для этого индивидуально не готов. Мы сталкиваемся здесь с классической



**Побудить людей меньше ездить
на машинах помогают общественные кампании**

сложностью организации людей на какое-то коллективное действие. Решение экологических проблем в городе требует срочных коллективных действий, но коллективными действиями часто не удается достичь того, что предпочел бы каждый индивид. Более благополучная окружающая среда отнюдь не занимает достаточно высокого места в списке человеческих приоритетов.

Тем значимее работа каждого из нас над собой. Возможно, в не столь уж отдаленном будущем станут непопулярными езда на внедорожниках, поедание полукилограммового стейка, строительство огромных загородных домов, выбрасывание большого количества вещей под давлением моды. Если тебе есть дело до городской (и просто) природы, *ты* подашь пример другим людям. Когда таких людей будет достаточно много и они продолжат оказывать влияние друг на друга, появится рынок «зеленых» продуктов (покупаемых не только потому, что они полезны для *твоего* здоровья) и экологических технологий. Уже сегодня тенденции развития рынка автомобилей-гибридов и нарастающая популярность движения *down-shifting* (см.: <http://www.downshifting.ru/about>) выглядят достаточно обнадеживающе.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

Блинов А. Азбука градостроительной экологии [Электрон. ресурс]. URL: nauka.relis.ru/09/0203/09203024.htm

Мунгалов Д. Имя ей — легионелла // Русский Newsweek. 2007. 6—12 авг.

Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. 1955. Т. 2. С. 31—517.

Bhaskar R. Plato etc. The Problems of Philosophy and Their Resolution. L.: Verso, 1994. P. 36—45.

Castree N, Braun B. Constructing Rural Natures // Ed. Marsden T. *The Handbook of Rural Studies*. London: Sage, 2005.

Cronon W. Nature's Metropolis: Chicago and the Great West. N.Y.: Norton, 1992.

Douglas I. The City as an Ecosystem // Progress in Physical Geography. 1981. № 5. P. 315—367.

Eder K. The Social Construction of Nature. L.: Sage, 1996.

Fitter R.S. London's Natural History. L.: Collins, 1945.

Friends of the High Line [Electronic resource]. URL: [http:// www.thehighline.org](http://www.thehighline.org)

Gandy M. Concrete and Clay: Reworking Nature in New York City. Cambridge: MIT Press, 2002.

Giddens A. Living in a Post-Traditional Society / Ed. U. Beck, A. Giddens, S. Lash. Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press, 1994.

Gill D., Bonnett P. Nature in the Urban Landscape: A Study of City Ecosystems. Baltimore: York Press, 1973.

Heynen N., Kaika M., Swyngedouw E. In the Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism. L.; N.Y.: Routledge, 2006.

Iannuzzi T.J., Ludwig D.F., Kinnell J.C., Wallin J.M., Desvousges W.H., Dunford R.W. A Common Tragedy: History of an Urban River. Amherst: Amherst Scientific Publishers, 2002.

Kaika M. City of Flows: Modernity, Nature and the City. L.: Routledge, 2005.

Latour B. The Pasteurization of France. Cambridge: Harvard University Press, 1988.

Latour B. We Have Never Been Modern / Trans. C. Porter. Cambridge: Harvard University Press, 1994.

Latour B. Pandorra's Hope: Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Latour B. When Things Strike Back: a Possible Contribution of 'Science Studies' to the Social Sciences // British Journal of Sociology. 2000. № 51. Issue № 1. January/March. P. 107—123.

Latour B. Why Has Critique Ran Out of Steam: From Matters of Fact to Matters of Concern // Things / Ed. B. Brown. Chicago; London: University of Chicago Press, 2004. P. 154—156.

Robertson G. Future Natural: Nature/Science/Culture. L.: Routledge, 1996.

Smith N. Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space. Oxford: Blackwell, 1992.

Social Nature: Theory, Practice and Politics / Ed. N. Castree, B. Brown. Oxford: Blackwell, 2002.

Spirn A.W. The Granite Garden: Urban Nature and Human Design. N.Y.: Basic Books, 1984.

Spirn A.W. Language of Landscape. New Haven: Yale University Press, 2000.

Stilgoe J, Gopnik A, Sternfeld J. Walking the High Line. N.Y.: Steidl/Pace/MacGill Gallery, 2002.

Suyngedouw E. Social Power and the Urbanisation of Water: Flows of Power. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Thorns D. The Transformation of Cities: Urban Theory and Urban Life. Palgrave: Basingstoke, 2002. P. 224.

United Nations. World Urbanization Prospects: The 2003 Revision. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. 2004 [Electronic resource]. URL: <http://esa.un.org/unpp>

United Nations. World Population Prospects: The 2004 Revision Analytical Report. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. 2005 [Electronic resource]. URL: <http://esa.un.org/unpp>

Urry J, Macnaghten P. Contested Natures. L.: Sage, 1998.

Weisman A. The World Without Us. N.Y.: St. Martin's Press, 2007.

Whatmore S. Hybrid Geographies: Natures, Cultures, Spaces. L.: Sage, 2002.

Williams R. The Country and the City. L.: Chatto a Windus, 1973.

ГЛАВА 4

Город и мобильность

Обитатели города зависят от транспорта и ежедневных перемещений. Люди путешествуют по делу и в отпуск из города в город, а международная иммиграция — на повестке дня большинства развитых стран. Практики мобильности и репрезентации мобильности становятся все более важными для понимания современного городского общества.

Очередь в кассу в супермаркете и вечерняя транспортная пробка, усталый предутренний танец свадебных гостей и воскресные «покатушки» велосипедистов, костыли инвалида и выволакивание коляски из двери подъезда молодой матерью, доставка продуктов и вывоз снега, проблемы компании с таможней и новый аэропорт — движение в городе разнообразно. Дороги и сети, объединяющие места работы людей и их дома, а это место на карте — со множеством других, делают город средоточием движения. Перемещаются и доставляются по назначению люди, продукты и товары, вывозится мусор. Как все это многообразное движение описать? Как зафиксировать в понятиях сложную диалектику подвижности и неподвижности, перемещения и оседлости, которую города издавна воплощают?

Памятные нам со школы объяснения возникновения и роста того или иного города «пересечением торговых путей» имеют к проблематике мобильности прямое отношение. Вни-



«Покатушки» велосипедистов — глобальный тренд

мание к разнообразному транспорту как главному средству передвижения отличало городские исследования на протяжении всего XX столетия. Сегодня исследователи призывают, следуя традиции именования смен парадигм «поворотами», «повернуть к мобильностям», то есть объединить в одном междисциплинарном поле исследования транспорта как средства мобильности и самые разнообразные виды движения людей и вещей. Более того, сложные философские и социальные теории привлекаются для того, чтобы попытаться сделать более мобильной и концептуальную сетку мышления. В этой главе мы сначала рассмотрим уроки транспортной географии, остановимся на взглядах ряда авторов, предвосхитивших «поворот к мобильностям», а затем обратимся к его существу.

Исследования городского транспорта

Внимание географов вначале привлек «дальнобойный», межрегиональный транспорт и его влияние на города. Немецкий географ Вальтер Кристаллер одним из первых увязал в своей классической теории центральных мест местоположение, расстояние и движение, продемонстрировав дифференциацию мест в зависимости от уникальности услуг и товаров, которые в них можно получить: скажем, товары повседневного спроса производятся и потребляются в малых городах, а качественный сезонный шопинг возможен только в городах-миллионниках. По этой логике самыми центральными местами-городами сегодня будут те, что именуются глобальными (см. об этом главу 6). Кристаллер прослеживает складывание транспорта в Европе, подчеркивая, что высокая стоимость и медленная скорость передвижения приводили к тому, что торговые города первоначально отстояли друг от друга примерно на 10 миль, а торговля шла с жившими неподалеку крестьянами [см.: *Christaller*, 1968]. Только соль, пряности, шелк, золото и драгоценности перемещались на дальние расстояния, дав начало

поселениям на торговых путях, остававшимся незначительными по размеру.

Идеи Кристаллера были развиты американскими урбанистическими географами Чонси Харрисом и Эдвардом Ульманом, построившими после Второй мировой войны интересную типологию городов в зависимости от характера предоставляемых ими благ и услуг: города как центральные места, города как транспортные узлы и города как пункты специализированного сервиса (большинство городов сочетают в своем функционировании эти три фактора). Как центральные места города являются торговыми, политическими и общественными (в частности, религиозными) центрами. В качестве транспортных узлов они нередко линейно располагаются вдоль водных артерий или железных дорог. «Все города зависят от транспорта, необходимого чтобы использовать для своей поддержки окружающие земли», — подчеркивают географы [Harris, Ullman, 2005: 48—49]. Это, в свою очередь, разрушает симметрию центральных мест (которая возможна, когда города образуются посреди гомогенных территорий, как, например, на аграрном Среднем Западе): транспортные центры распределены по земле неравномерно в силу особенностей рельефа. Географы подробно останавливаются на понятии города как ворот (*gateway*) или как окна (что более нам знакомо по истории своей страны), объединяющего «контрастные регионы с контрастными нуждами» [*Ibid.*: 49]. Так, Канзас-Сити и города-близнецы Миннеаполис и Сент-Пол являются и центральными местами для окружающих аграрных регионов, и воротами на запад страны. Порты Нового Орлеана, Саванны, Чарльстона, Норфолка традиционно служили воротами к Хлопковому поясу страны. Такие города, как Балтимор, Вашингтон, Цинциннати и Луисвилль, — ворота на юго-запад страны.

Ульман и другие транспортные географы в 1950—1960-е годы ратовали за использование количественных методов в урбанистической географии, стремясь определить, как расстояния и соединяющие города типы транспорта (автодороги,

железные дороги, телекоммуникации) влияли на объем движения между разными местами. Они продемонстрировали, что экономическая динамика существенно зависела от двух типов связанных с транспортом ограничений — временных (перевозка занимает время) и финансовых (перевозка требует денег). Линейное программирование, факторный анализ, сетевой анализ были привлечены для того, чтобы продемонстрировать тесную связь экономической деятельности и ее местоположения, то есть зависимость экономики от пространственно-временной координации труда, материалов и энергии.

Так, к 1800 году большинство городов либо располагались на воде (низкая стоимость навигации), либо были столицами, и их росту способствовали скорее политические обстоятельства, нежели преимущества, получаемые от торговли. Взаимосвязь транспорта и городов была неоднозначной: далеко не во всех случаях можно с определенностью сказать, какой фактор был определяющим для развития. Безусловно, транспорт использовался для того, чтобы расширить и ускорить поставку товаров в города и тем способствовать их превращению в промышленные центры, но и функция города как «хаба», то есть узлового центра взаимообмена, довольно скоро начала мыслиться как самодостаточная. Шотландский экономист Том Харт приводит интересные примеры, иллюстрирующие противоречивость связи транспорта и перспектив городского развития. Он говорит, что в XIX веке очень многие города стремились к коммерческой экспансии, вкладывая серьезные средства в развитие транспортного сообщения с отдаленными регионами, но только некоторые — Нью-Йорк и Чикаго — достигли фантастического успеха. С другой стороны, шотландский Глазго стал крупным промышленным городом более чем за сто лет до того, как в нем был построен крупный современный порт. Некоторые города выиграли от того, что вложились в инфраструктуру, позволившую им стать «хабами» для перевозки грузов по морю и по суше (океан — порт — железная дорога или

река), но далеко не всегда деньги, потраченные на строительство новых портов или аэропортов, оправдываются [см.: *Hart*, 2001: 102—103]. Когда читаешь такого рода скептические оценки, в это с трудом верится, потому что крупные транспортные проекты часто становятся гордостью муниципалитетов и региональных правительств, о них много говорится в прессе в том ключе, что процветание региона и благополучие людей непосредственно зависят от того, будут ли завершены или реконструированы новый вокзал, аэропорт, центр логистики. Похоже, что политическая значимость подобных проектов, прямая заинтересованность в них первых лиц региона и города и их активное освещение в прессе не позволяют оценить их реальную экономическую значимость. Харт настаивает, что объекты, возведенные с сильным опережением спроса, могут создать финансовые/налоговые проблемы в городах с недостаточно развитой экономикой. Так что в выигрыше, как всегда, будут большие города, которым часто и в течение длительного времени удастся избегать крупных вложений в свои аэропорты, склады и вокзалы. Однако статусные притязания городов поменьше, выражающиеся в увеличении числа прямых рейсов и в претензии на то, чтобы стать промежуточными транспортными «хабами», делают связь городов и перемещений на дальние расстояния полем упорного соревнования. В исследованиях последнего времени расширение авиасообщения из того или иного города рассматривается в контексте городского предпринимательства, то есть «глобальных» амбиций местных правительств, их стремления повысить место конкретного города в городской иерархии. Так, транспортный географ Ола Джоханссон [см.: *Johansson*, 2007] на примере аэропорта в городе Нэшвилл показывает, как политика, осуществляемая альянсом местного правительства и бизнеса, хотя и не всегда успешная, способна расширить экономические возможности среднего по размеру города.

Однако проблема связи между реальными «мобильными» потребностями городского населения (ко всем ли нужным

местам у людей есть транспортный доступ) и транспортной политикой городских властей, в частности вложениями в крупные проекты, стоит во многих городах весьма остро и нуждается в детальном критическом исследовании.

Обратимся теперь к внутригородскому транспорту, обеспечивающему движение *внутри* города и близлежащего региона. Специалисты по городскому транспорту с осторожностью высказываются в отношении того, только ли характер транспортных сетей определяет форму города, но признают, что характер транспорта, доступного на принципиальных стадиях городского развития, существенно повлиял на плотность и размер городов. Рассеяние и концентрация составляли две противоположные силы городского развития в XIX веке. Заводы располагались в центральных районах городов и там же сосредоточивалось жилье рабочих. Электричка, городской трамвай, метро и автомобиль сделали возможным возникновение так называемого города массового перемещения (*mass transit city*), для которого было характерно центральное расположение мест занятости и большинства видов активности (так что преобладающей схемой движения была звезда: все дороги вели в центр). Тот факт, что первые линии метро Лондона и Нью-Йорка связывали пригород и центр, указывает на тенденцию, сложившуюся в конце XIX века и преобладающую до сих пор: стремление извлечь максимум прибыли из земли и активов, расположенных в центральном деловом районе, за счет легкости доступа к ним из большинства точек города [см.: *Hart*, 2001: 106].

Городской историк Роберт Фогельсон показывает, что сам феномен американского даунтауна возник благодаря развитию трамвайного движения: первые даунтауны (сосредоточение крупных магазинов и разнообразных офисов на компактной территории центра) возникли на пересечении трамвайных линий. Централизация и концентрация городского развития проявилась в них буквально: на площади, не превышавшей квадратную милю, соединились все правитель-

ственные, финансовые, торговые институты, штаб-квартиры корпораций и культурные заведения. Концентрация мыслилась как большой стимул для бизнеса, а транспорт облегчал перемещение в центр рабочих, клерков, деловых людей и покупателей. Чем скученнее становился деловой центр, тем привлекательнее для жизни выглядел пригород: разделенность мест работы и жилья казалась большинству американцев естественной [см.: *Fogelson*, 2001: 31]. Так сложился пропагандируемый бизнесом и массмедиа идеал, иронически именуемый Фогельсоном «пространственной гармонией»: даунтаун — это сердце города, все, что делается для него, благотворно и для города в целом. Как бы город ни расширялся, самые значимые процессы и самые интересные события все равно происходят в его центре, поэтому единственное, что требуется, — это легкий к нему доступ. Фогельсон подробно рассматривает дебаты между сторонниками этого идеала и его противниками, доказывавшими, что ресурсы, нужные для развития центра, наверняка будут отняты у тех, кто находится на городской периферии, что нужно ввести ограничения на высоту небоскребов, потому что в противном случае владельцы земли и бизнесмены в других районах города никогда не дождутся прибыли. В течение XX века владельцы бизнеса в центре города убедились, что их интересы и интересы города отнюдь не тождественны: все больший объем промышленности, торговли и развлечений перемещался в пригороды. Нарастающая децентрализация, считает Фогельсон, привела к тому, что даунтауны так и не возродили свою былую роль. Подчеркну еще раз, что преобладающие транспортные системы влияли на форму городов: «звездное» строение было предопределено трамвайной сетью, а аморфное расползание городов — развитием автомобильного сообщения.

Том Харт прослеживает сходные тенденции в Европе, но показывает, что в крупных городах уже к 1914 году сложились и нерадиальные транспортные пути (на примере трамвайных путей крупных городов Европы, построенных в форме сети

или решетки, но не в форме звезды) [см.: *Hart*, 2001: 107]. Развитие производства автобусов и автомобилей способствовало нарастанию популярности модели полицентричного города. Американские историки городов подробно рассматривают, как различные группы интересов сталкивались на протяжении XX века, способствуя в конечном счете ослаблению тенденции к чрезмерной централизации и уплотнению доступных большинству транспортных сетей, не завязанных на центр [см.: *Hanson, Giuliano*, 2004]. Если британские городские историки разрастание пригородов объясняют желанием большинства людей жить в частном доме с садом [см.: *Thomson*, 1982], то их американские коллеги признают ведущую роль в этом процессе транспортных инноваций (сначала распространение трамваев, а затем автомобилей) [см.: *Jackson*, 1985; *Gutfreund*, 2004].

Представление о том, что есть город, сильно изменилось в силу тесной связи субурбанизации и автомобилизации, особенно в США. Послевоенный период стал, по выражению географа Питера Маллера, «эрой фривсев», окруживших и соединивших города. Те города, которые магистральные автодороги обошли стороной, обезлюдели. Как всегда во время строительства федеральной системы автомагистралей, не на шутку сталкивались интересы соперничающих городов. Так, политикам штата Колорадо потребовалось убеждать в 1956 году президента Эйзенхауэра в необходимости соединить Денвер и Солт-Лейк-Сити за счет строительства дорогостоящей дороги в Скалистых горах. Между тем власти другого города — Шайенна, штат Вайоминг, — надеялись, что именно их город ляжет на пересечении магистралей. Росчерк президентского пера предрешил дальнейшее: сегодня мало кто слышал о Шайенне [см.: *Judd*, 1971: 173].

Американские демографы подсчитали динамику субурбанизации за 50 лет в 39 городах и прилегающих территориях, насчитывавших в 2000 году свыше 1 млн жителей. В 1950 году 34,1 млн, то есть 65 % жителей, проживали в городах и 18,1 млн — в пригородах, а в 2000 году 81 млн — в пригородах

и 39,1 млн (33 %) — в городах. Если население городов за это время выросло на 15 %, то население пригородов — в 4 раза [Greenberg, 2008: 72]. При подсчете экспертами десяти ключевых факторов, повлиявших на американские города в 1950—2000 годах, на первом месте оказались скоростные автомагистрали и машины, а остальные девять факторов тоже так или иначе связаны с автомобилизацией: «...деиндустриализация центральных городов, обновление городов, расовая сегрегация, дискриминация на рабочем месте и городские волнения 1960-х — все это произошло, когда средний класс покинул города ради пригородов», что в свою очередь снизило доступность сервиса и сузило возможности, связанные с проживанием в центральных городах [*Ibid.*: 72—73]. Хайвеи и субурбанизация изменили вид и функции американского города.

В последние три десятилетия исследования транспорта испытывали на себе влияние социальной и политической теории, культурной географии, гендерной теории, превратившись в междисциплинарное движение, в рамках которого обсуждается связь транспортных систем, публичного и частного пространства, социальных и политических отношений, доступности тех или других мест (*accessibility*), пространственной и временной организации деятельности людей.

Мобильность и политическая мобилизация

Доступность для людей со скромными средствами общественного транспорта — важное проявление социальной справедливости, одним из измерений которой является пространственная справедливость. Социальные и культурные географы стремятся не только осуществлять нормативный анализ этого понятия, но и рассматривать конкретные случаи политической борьбы, в которых вопросы пространственной справедливости и ее связи с мобильностью стояли весьма остро [см.: Pflieger et al., 2009; Norton, 2008; Fotsch, 2007]. Один из самых

известных подобных случаев — кампания за справедливую систему общественного транспорта в Лос-Анджелесе, во главе которой стоял Союз пассажиров автобусов (*Bus Riders Union*) — социальное движение работающих бедных, жизнь которых невозможна без автобусов. Ему удалось оспорить интересы элиты и изменить приоритеты развития транспортной системы в пользу людей с небольшими доходами.

История этой кампании такова. В 1980-е годы транспортные власти Лос-Анджелеса разработали план модернизации, по которому предполагалось построить дорогостоящую ветку железной дороги, предназначавшуюся для соединения даунтауна с пригородами. В 1994 году власти, испытывая дефицит бюджета, решили направить средства, первоначально предназначенные для развития автобусного сообщения в городе, на эту железнодорожную линию. Не забудем, что пригородной железной дорогой пользуются, как правило, благополучные обитатели пригородов, тогда как от доступности автобусов зависит жизнь бедных. На автобусах в то время каждый день добирались до места работы около 0,5 млн афроамериканцев, а также их латиноамериканских и азиатских по происхождению сограждан. Так что, когда в 1994 году было объявлено, что стоимость одноразовых билетов будет поднята с 1,10 долл. до 1,35, а ежемесячные проездные будут отменены, те, кто добирался из дома на работу, в больницы и школы на автобусе, были возмущены. Эти решения и стали причиной создания Союза под руководством Эрика Манна и Стратегического центра труда и сообщества (*Labor/Community Strategy Center*). У этой организации уже имелся опыт мобилизации рабочих, полученный во время массового закрытия фабрик в 1980-е годы [см.: *Soja*, 2000: 256—257]. Однако в основе успеха движения лежала скорее толковая деятельность его активистов в правовом поле: они возбудили дело против транспортных властей города, обвинив их в транспортном расизме и в том, что их политика нарушает четырнадцатую поправку к Конституции США, согласно которой ни один штат не может отказать какому-либо

лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона, и статью 6 Билля о гражданских правах 1964 года, запрещающую расовую дискриминацию получателей федеральных льгот. Иск был подан в суд от имени 350 тыс. бедных представителей расовых и этнических меньшинств. В качестве доказательства в деле фигурировали данные о непропорциональном использовании общественных фондов для строительства железнодорожной линии, которой пользовались по преимуществу белые представители среднего класса, а также о предложенном властями повышении цен за проезд на автобусе. В деле говорилось: «Хотя 94 % пассажиров, обслуживаемых транспортными властями города, — пассажиры автобусов и 80 % из них — цветные, транспортные власти тратят на них только 30 % своих ресурсов. Типичный пассажир автобуса — цветная двадцатилетняя женщина из семьи с совокупным доходом, не превышающим 15 тыс. долл., в год и не имеющей машины (согласно исследованиям, проведенным самими городскими властями). Разительный контраст составляет то, что 70 % своих ресурсов транспортные власти расходуют на железную дорогу, которой пользуются только 6 % городских пассажиров, по преимуществу белых. Типичный пассажир здесь — профессионал, доход семьи которого — около 65 тыс. долл. в год. 69 % пассажиров всех пяти линий пригородной железной дороги — белые» [Cresswell, 2006: 168—169]. Суд Лос-Анджелеса провозгласил в ответ, что повышение цен на билеты и отмена месячных проездных «нанесет существенные убытки принадлежащим к меньшинствам пассажирам автобусов, что приведет к потере ими работы и жилья, неспособности получить медицинское обслуживание, купить еду, лишит их образовательных возможностей и других базисных жизненных потребностей» [Ibid.: 170]. Главная же победа была одержана в 1996 году, когда городские транспортные власти подписали соглашение, по которому стоимость месячных автобусных проездных была уменьшена, а для организации ежедневных перевозок отводилось значительно больше автобусов.

Эта история, конечно, очень вдохновляет. Времена изменились и в Америке, и повсеместно, но обсуждалось хоть когда-либо в нашей стране неравномерное распределение возможностей мобильности с таким четким пониманием классовых и этнических различий? Сдается, что трезвая оценка большинством наших граждан возможностей социальной политики государства и привела к массовой автомобилизации. Не ждать часами автобусов на остановках, не страдать от давки, не убеждаться, что проезд опять подорожал, — все это не было бы столь важно, если бы впереди маячили перемены к лучшему. Отмена в 2009 году социальных проездных для пенсионеров в ряде городов и регионов в ходе «монетизации льгот» вызвала локальные протесты: на демонстрации вышли пенсионеры Уфы, Екатеринбурга, Ижевска. Но правительства — городские, региональные, федеральное — слишком заняты перебрасыванием ответственности за непопулярные меры. Так что высокая оценка американскими географами и юристами победы Союза пассажиров [см. также: *Mann*, 2004], побудившего суды признать связь происхождения людей и того, что их интересами, как правило, пренебрегают, важна и в общем плане, так как напоминает, что «разные люди в разных местах по-разному оснащены и ограничены в отношении мобильности» [Cresswell, 2006: 172].

Дальнейшее развитие истории Союза пассажиров и его борьбы с городскими транспортными властями (борьбы Давида с Голиафом, считает кто-то из комментаторов) скорее свидетельствует об отсутствии надежных рецептов связанной с мобильностью политической мобилизации. Так, активисты в других городах США, стремясь повторить успех, обнаружили, что проявления расовой дискриминации в организации работы транспорта очень нелегко доказать. В самом же Лос-Анджелесе ограниченность возможностей активистов в правовом поле проявилась после 2007 года, когда истек срок подписанного транспортными властями соглашения. В соответствии с этим соглашением власти добавили количество автобусов на

линии и не повышали стоимость проезда, но затем, столкнувшись со значительным бюджетным дефицитом, приняли решение о еще большем повышении стоимости. Союз пассажиров пригрозил, что снова подаст в суд, но шансы выиграть дело весьма низкие как в связи с изменениями в федеральном законодательстве, так и в связи с тем, что с тех пор расовая композиция пассажиров пригородной железной дороги сильно изменилась — среди них стало немало рабочих-латиноамериканцев [см.: *Lin II, Rabin*, 2007].

«Комплекс мобильностей как сплетения путей, ведущих внутрь и вовне»: взгляды Анри Лефевра

Одним из первых стал размышлять о связи города и мобильности французский неомарксистский урбанист Анри Лефевр. В этой книге о его взглядах речь идет неоднократно, так что в данной главе я хотела бы лишь кратко проанализировать, как Лефевр понимал мобильность. Постижима ли мобильность города — этот вопрос для него связан с более масштабным: как возможно реальное знание о пространстве? Лефевр восстал против «контейнерного» представления о пространстве как статичном вместилище вещей, привлекая для этого самые разные концептуальные средства, в том числе и физическую теорию Фреда Хойла, рассматривавшего пространство как порождение энергии [см.: *Lefebvre*, 1991: 13]. Такое знание должно одновременно учитывать прошлое и смотреть в будущее [см.: *Ibid.*: 91], а точнее помочь понять, как именно общества порождают пространство и какие именно факторы стоит учесть в будущем, размышляя о «проекте... другого пространства и другого времени в другом (возможном или невозможном) обществе» [*Ibid.*]. Тогда сегодняшнее, современное городское пространство подлежит критике, но не слишком ли абстрактны и «умственные» используемые для его критики термины вроде

«модернистской триады» «читаемости, видимости, постижимости» [Lefebvre, 1991: 96]? Не слишком ли неосвязаемы в городском пространстве результаты развития истории, общества и культуры? Не скрывает ли пространство свое содержание за смыслами, избыточными или недостающими? К тому же иногда пространства нам лгут. Так не попытаться ли проникнуть за фасад поверхностей?

Возможно, что ощущение стабильности, которым веет, к примеру, от шестизэтажного дома, обманчиво. Его строгий абрис и бетон, из которого он сделан, побуждают видеть в доме воплощение неподвижности. Но можно увидеть в нем и нечто совершенно другое: «В свете этого воображаемого анализа наш дом предстал бы как пронизываемый в каждом направлении потоками энергии, несомой внутрь и вовне любым воображимым способом: с водой, газом, электричеством, телефонными линиями, радио- и телевизионными сигналами и так далее. Тогда его образ как неподвижного уступил бы образу комплекса мобильностей как сплетения путей, ведущих внутрь и вовне. Показывая соединение волн и течений, этот новый образ, куда точнее любого рисунка или фотографии, раскрыл бы в то же время тот факт, что этот объект недвижимости в действительности — двусторонняя машина, аналогичная активному телу: одновременно требующая массивного поступления энергии и основанная на информации, а потому требующая мало энергии. Обитатели дома воспринимают, получают и пользуются энергиями, которые активно потребляются самим домом (для лифта, кухни, ванной и так далее)» [Ibid.: 93]. Сопоставимые наблюдения, настаивает Лефевр, возможны в отношении улицы и города в целом, который потребляет «поистине колоссальные количества энергии, физической и человеческой» и представляет собой, по сути, постоянно горящий костер [Ibid.].

Такое «энергийное» пространство не может быть нейтральным вместилищем живого опыта людей, которые, глядя вокруг, видят прежде всего движение [см.: Ibid.: 95]. Мобильность свя-

зана с проживаемым временем, «величайшим благом среди всех благ», запечатленным в пространстве подобно годовым кольцам дерева, но нам невидимым в силу действия особой оптики. Модерность — а Лефевр был ее страстным критиком — отмечена тем, что проживаемое время «утрачивает свою форму и социальный интерес, за исключением времени, проведенного за работой» [Lefebvre, 1991]. Иными словами, «время оказывается подчинено экономическому пространству» [Ibid.], оно в нем скрыто, оно «спрятано под кучей обломков, от которых надо избавиться как можно скорее» [Ibid.: 96]. Логика капиталистической экспансии приводит к тому, что «пространство опустошено — и опустошает», «ограничивает», будучи превращенным в однородное и рационализированное, лишенное границ «между городом и деревней, центром и периферией, пригородами и городским центром, сферой автомобилей и сферой людей» [Ibid.: 97]. Города превращаются в «коммерческие центры, напичканные товарами, деньгами и машинами» [Ibid.: 50], а водитель автомобиля воплощает логику, по которой выхолащивается живое переживание пространства в пользу его функционального использования (прежде всего специалистами): «...человек, который делает чертежи и знает только, как оставлять следы на листе бумаги, человек, который ездит и знает только, как водить машину, — все они вносят вклад в порчу пространства, повсюду расчлененного. И все они дополняют друг друга: водитель озабочен только доставкой себя по адресу, глядя вокруг, он видит только то, что относится к делу, поэтому он видит только свой маршрут, материализованный, механизированный и технизированный, и видит его только под одним углом, а именно функциональности: скорость, постижимость, удобство» [Ibid.: 313]. Лефевра заботит, что таким образом теряется глубина восприятия людьми пространства, оно превращается в свой собственный «симулякр», уступая место поверхности, образованной визуальными знаками.

В работе, посвященной повседневности, Лефевр критикует стремительное изменение урбанистического ландшафта Франции, в ходе которого историческая городская среда раз-

рушалась возведением все новых дорог, необходимых для все новых автомобилей. Авто «занимают почетное место в системе заменителей» [Lefebvre, 1990: 104] подлинных удовольствий, в принципе возможных в «подлинной» повседневности, тогда как в ее капиталистической версии воображение людей подчинено «ложным нуждам». Циркуляция движения становится одной из основных функций общества, обуславливая «приоритет парковочных мест, улиц и дорог» [Ibid.: 100] по отношению к другим соображениям. Наблюдения Лефевра близки тем, что сделали американские урбанисты, к примеру Джейн Джекобс, сетуя на то, что поменялись функции городской улицы: из места встреч горожан и повседневной активности она превратилась в место хранения и перемещения машин. Конструируя абстрактное, геометрическое городское пространство, технократы-управленцы, чьи интересы совпадают с интересами производителей автомобилей, способствуют окукливанию автовладельцев в своих машинах и распаду общественного измерения городской жизни в силу исчезновения парков, рынков и других общественных мест. Итог, подводимый Лефевром, грустен: «Автомобиль поработил повседневность, навязав ей свои законы» [Ibid.: 101]. Порабощение автомобилем повседневности Лефевр рассматривает в контексте плохого состояния французских дорог и соревнования водителей в агрессивности, столь знакомых нам по родным пенатам: «Движение машин позволяет людям собираться и смешиваться, не встречаясь, представляя поэтому яркий пример одновременности без обмена, заключенности каждого элемента в своем собственном отсеке, его замкнутости в своей скорлупе. Эти условия способствуют дезинтеграции городской жизни... и усиливают особый “психоз” водителя; с другой стороны, реальные, но ограниченные и предустановленные опасности не мешают большинству людей “рисковать”, ибо машина с ее свитой раненых и погибших, с ее кровавым следом — это все, что остается от повседневной жизни с ее жалким рационом волнения и опасности» [Ibid.].

Эти мысли Лефевра резонируют со свежей статистикой, согласно которой, по данным последнего исследования ВОЗ, ежегодно в мире в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 1,27 млн человек и около 50 млн получают травмы. «Кровавый след» автомобилизации более чем наполовину оставлен пешеходами, мотоциклистами и велосипедистами. В России под колесами ежегодно гибнет свыше 10 тыс. человек. Возможно, Лефевр и погорячился, назвав «жалким» «рацион волнения и опасности», которым мы вынуждены пробавляться в повседневности, но его диагноз переплетенности повседневной жизни и опасности, тревоги, неуверенности не только в завтрашнем дне, но и в исходе дня сегодняшнего весьма точен (я вернусь к этой тематике в главе о повседневности).

Мыслитель в то же время видит мощную экономическую логику, которая приводит к «расчленению, деградации и окончательному разрушению» городского пространства [Lefebvre, 1991: 359]. Нацеленный на демонстрацию противоречий капиталистического производства пространства, он рассуждает о разрыве между потреблением пространства, дающем прибавочную стоимость, и таким его потреблением, которое дает «только удовольствие» и в этом смысле не является продуктивным. Примером первого является создание скоростных дорог, мест парковки, гаражей. Это «продуктивное потребление пространства»: оно производит прибавочную стоимость. С ним связаны правительственные субсидии. А между тем «владельцы частных машин имеют в своем распоряжении пространство, которое лично им стоит очень немного, но обществу в целом его поддержание обходится очень дорого. Такое положение дел приводит к увеличению числа машин и автовладельцев, что очень устраивает производителей автомашин и усиливает их возможности влиять на расширение этого пространства» [см.: *Ibid.*]. Примером второго является разбивка парков и скверов и озеленение улиц. За удовольствие же от зеленых насаждений, которое получает все городское сообщество, некому заплатить. Вот чем объясняется, что они исчезают: чем больше дорог и

парковок, тем меньше деревьев и парков. Эти рассуждения зафиксированы Лефевром в начале 1970-х годов, когда о капитализме в России еще мало кто помышлял, но сегодня трезвость (и постижимость) проведенного им анализа «автомобильности» трудно переоценить.

В стиле вождения, в спаянности статуса владельца и дороговизны автомашины, в поедании парковками зеленых мест проявляются социальные отношения капитализма. Но Лефевр претендует на то, чтобы создать общую теорию капиталистического производства городского пространства, поэтому он завершает свою работу размышлениями о «субстрате», базисе, основании социальных отношений, каким является физическое пространство, что вновь приводит его к анализу мобильности. Места, обеспечивающие мобильность, подозревает он, обладают специфической природой, превышающей их материальность: «На это основание (физическое пространство. — *E.T.*) наложены — так, что преобразуют, вытесняют или даже угрожают его разрушить, — последовательные наслаивающиеся и запутанные сети, которые, хоть они по форме и всегда материальны, существуют все же помимо своей материальности: проходы, дороги, железные дороги, телефонные линии» [*Lefebvre*, 1991: 403]. Помимо товаров, лежащих в основе социальных отношений, нужно что-то еще: «Магазины и склады, где эти вещи хранятся, где они ждут, корабли, поезда и грузовые машины, которые их доставляют, — а поэтому и используемые маршруты — нужно тоже принять во внимание. <...> Мир товаров не имел бы “реальности” без подобных пристанищ или точек включения или без существования в качестве ансамбля» [*Ibid.*]. Два момента особенно значимы в этих рассуждениях. Во-первых, это коэволюция социального и материально-технологического, на что впоследствии стали настойчиво обращать внимание акторно-сетевая теория, а затем и сторонники «поворота к мобильностям». Во-вторых, это акцент на сложной сети, образованной потоками и структурами, которые эти потоки делают возможными, — местами стоянки, надежными

пристанищами, то есть сети, образованной мобильностью и иммобильностью. Этот момент также стал ключевым в последующем изучении мобильности.

Поль Вирильо: скорость и политика

Неспешность деревенского житья и скорость, задаваемая городом, знакомы нам по личному опыту и многократно противопоставлены в литературе. Быстрее — значит лучше, быстрее — значит сделать больше за отведенное время, время — деньги, высокая скорость экономит время — все эти элементарные сегодня максимы лежат в основе недовольства транспортными пробками или качеством соединения домашнего компьютера с Сетью. Производство мобильности и иммобильности, скорости и приостановки становится решающим фактором изменений социального пространства, стратификации, включенности и исключенности людей из сетей и информационных потоков.

О связи скорости и современной социальной и политической жизни писал целый ряд авторов [см.: *Gleick*, 1999; *Rosa*, 2003]. Я остановлюсь на взглядах французского мыслителя, архитектора, планировщика и политического активиста Поля Вирильо. Ему интересно, как скорость, возможная в век информационных технологий, меняет городскую жизнь. Если преобладающим объяснением «сжимания» пространства и времени, предложенным географом Дэвидом Харви и социологом Мануэлем Кастельсом, является глобализация (см. об этом подробнее в 6-й главе), то Вирильо в своих взглядах ближе основательнице современной социологии времени Барбаре Адам. Для них ценность, которую придает скорости общество модерна, и есть главная причина всех изменений. По Адам, никто не ставит под вопрос ценность скорости. Все социальные проблемы рассматриваются «в тени» одержимости современного общества скоростью [см.: *Adam*, 2003]. Вирильо также



**«Стоянка» велосипедов у библиотеки
университета Гумбольдта — эмблема дружественного
велосипедистам Берлина**

убежден, что скорость — в центре современной цивилизации и политики и это скорее их негативная характеристика. Во-первых, ускоряется ведь и скорость принятия политических решений, так что на убеждение граждан и выслушивание их мнений ни у кого сегодня времени нет. Скорость дробит политическое сознание до такой степени, что современный человек не способен ни с кем и ни с чем отождествиться, когда пытается осмыслить свою социальную жизнь.

Публичная сфера поэтому приходит в упадок, демократия разрушается, а военно-промышленный комплекс приобретает все большую власть. Столицы будущего уже не будут играть какой-то политической и социальной роли: их роль в качестве средоточия скорости выйдет на передний план [см.: *Virilio, Lotringer*, 2007]. Во-вторых, скорость связана с тем, что в основу современного социального порядка уже невозможно положить знание: «...если *скорость* ответственна за экспоненциальный рост *вызванных человеком несчастных случаев* XX века, она в равной мере ответственна за увеличение частоты *экологических несчастных случаев*... как и за эсхатологические трагедии, которыми угрожают недавние открытия, связанные с вычислением генома и биотехнологиями. Если в прошлом *местные несчастные случаи* были еще местоположены... то *глобальные несчастные случаи* — уже нет» [*Virilio*, 2003: 24—25]. В-третьих, скорость ставит под угрозу подвижность человека. Ускорение всех измерений реальности оборачивается властью машин и тех, кто их программирует [см.: *Idem*, 2000: 122], тех, кто нацелен на «предельные представления» на грани возможностей искусства, науки и технологии, оборачивается съезживанием нашего мира: «Каждый раз, когда мы вводим ускорение, мы не только сокращаем протяженность мира, но и стерилизуем движение и величие движения, делая бесполезным действие движущегося тела» [*ibid.*: 123].

Скорость передачи информации, которую делают возможной современные информационные технологии, дает нам

контроль над пространством и временем, только время меняется. Оно уже не связано с хронологической последовательностью, соединяющей прошлое, настоящее и будущее. Оно — абсолютное настоящее. Итог — «серая экология»: «загрязнение расстояний и протяженности времени, что уменьшает простор нашего обитания» [Virilio, 1997: 58]. Разрушение традиционных пространственно-временных границ между местами и временами (положим, дня и ночи) приводит к нарастанию инерции. Наиболее яркое проявление этой диалектики скорости и инерции — наша прикованность к высокоскоростным компьютерам. Изменение темпоральности информационными технологиями Вирильо описывает, используя метафору города. Если дороги и мосты, канализация и здания городов дали людям контроль над пространством, то нематериальные технологии дали им контроль над временем. Урбанизация пространства в прошлом уступает место урбанизации времени, а последняя представляет собой «урбанизацию тела, подключенного к различным интерфейсам» [Ibid.: 11]. Изменение времени освобождает нас от ограничений, налагаемых делением на дни, недели и так далее, мы свободны от «местечковой» ограниченности в выборе того, что читаем и любим. С другой стороны, «мы» состоит из тех, кто сосредоточен в метрополисах, и тех, кто остался «на местах», «выживая в реальном пространстве местных городков» [Ibid.: 71]. Жизнь последних не имеет отношения к высоким технологиям, разрыв между «местными городками» и глобальными городами неминуемо будет нарастать, так что «в наступающем столетии нам следует бояться метрополизации» [Ibid.: 74]. Вирильо имеет в виду не концентрацию населения в той или иной сети городов, но «гиперконцентрацию мирового города, виртуального города, лишь пригородами которого окажутся реальные города» [Ibid.]. В качестве примера он приводит высокоскоростное метро, которым девять самых крупных городов Швейцарии собирались превратить в «суперпригород», в «столицу, которая положит конец всем столицам» [Ibid.: 80—81].

Вирильо пытается главные характеристики городского пространства — плотность, сложность и разнородность — использовать для описания городского времени. Плотными, сложными и разнородными теперь оказываются протяженность, интервалы и одновременность. Пространство и визуальное восприятие уничтожены массмедиа, перемещающимися со скоростью света: «Вся наша жизнь проходит в протезах ускоренных путешествий» [Virilio, 1991: 61]. Иными словами, город, который рисует Вирильо, преобразован ускорением, вносимым в жизнь информационными технологиями. «Реальный» город приходит в упадок уже потому, что в нем сегодня не работают привычные различия между городским и деревенским, центром и периферией. На его месте оказывается «эффект реальности»: на наше переживание пространства все большее воздействие оказывают экран ТВ и кино. Так, аэропорт — это не что иное, как «проектор» [см.: *Idem*, 2005: 98].

Весьма активная критика идей Вирильо — симптом нарастающего сегодня противостояния тех, кто, продуцируя понятия и метафоры, включает их в деконтекстуализованные масштабные «трансисторические» описания современности, и тех, кто не возражает против новых понятий, но всегда интересуется тем, как их можно исторически и контекстуально укоренить. Если географ Дэвид Харви просто, по сути, отмел взгляды Вирильо как постмодернистские [см.: *Harvey*, 1989: 351], а социальный теоретик Джон Армитаж, наоборот, призывает внимательнее читать его тексты [см.: *Armitage*, 2000], то политические географы Тимоти Люк и Герод О'Туатхейл подчеркивают, что, хотя энергичный стиль письма Вирильо и завораживает читателя, к его размашистым гиперболам нужно относиться с большим скепсисом [см.: *Luke, O'Tuathail*, 2000].

Возможно, не стоит преувеличивать возросшую скорость городской жизни, ибо чрезмерное к этому внимание вновь возвращает нас в тенета технологического детерминизма, отвлекая от того, что информационные технологии включены в сложные сети, объединяющие материальную городскую инф-

раструктуру и людей. Стремительность циркуляции информации невозможна без большого количества ее неподвижных носителей, включая и людей: парадоксальный образ прикованного к компьютеру человека, нарисованный Вирильо, побуждает вновь и вновь задумываться о том, о чьей, собственно, скорости часто идет речь в описаниях современности. Более того, реляционное мышление побуждает нас анализировать акселерацию в тесной связи с ее противоположностями: скорость, обеспечиваемую автомобилем, — с тем, как быстро отвыкают люди от радости физического движения, привычный комфорт ресторанов быстрого питания — с невероятным количеством пустых калорий, которое их посетители вынуждены поглощать. Стоит чаще напоминать себе о том, что в городе можно активно переживать самые разные ритмы, а не только пресловутую скорость жизни. Радости неспешной беседы, медленно-го чтения и другие переживания, открываемые возможностью не торопиться, ценны сами по себе, а не только по контрасту с акселерацией.

Критика седентаризма

Исследования мобильности тесно связаны с критикой традиционной социальной теории за ее слепоту в отношении разных видов движения в социальном пространстве. В «Социологии помимо обществ» английский социолог Джон Урри [См.: *Urry*, 2000] противопоставил традиционную социологию, базирующуюся, по его мнению, на статичных структуре и социальном порядке, и *мобильную социологию*, которая должна основываться на движении, мобильности и случайном упорядочении. Если традиционная социология рисует картину мира, поделенного на национальные государства, то это и антропологов, и урбанистов, и иных специалистов побуждает мыслить в терминах стабильных структур. Дело не только в том, чтобы подробно описать самые разнообразные городские мобильно-

сти (чем многие исследователи сейчас увлечены). Важно сделать акцент на мобильности стимулом к новому мышлению о социальном мире, такому, которое бы не «вычитало движение из картины», по выражению канадского философа Брайана Массуми [см.: *Massumi*, 2002: 3].

Перечислим основные составляющие этого нового мышления. Во-первых, социальные науки должны стремиться зафиксировать мир как подвижный и текучий, а не как стабильный. Во-вторых, социальный мир образован разнородной множественностью времен и пространств. В-третьих, социальные науки должны исходить из того, что социальность составляют как человеческие, так и нечеловеческие силы, а технология и общество взаимозависимы. В-четвертых, социальным наукам необходимо избавиться от «контейнерного» мышления, в частности от описания мира как поделенного на национальные государства. В-пятых, социальные практики — главное в обществе. В-шестых, эмоционально-аффективная составляющая социальной жизни должна в теоретических описаниях последней занять подобающее место.

Рассмотрим кратко некоторые из этих составляющих. Тезис о подвижности и текучести социального мира трудно, конечно, назвать новым. «То, что “все вещи изменяются”, представляет собой первое смутное обобщение, которое было сделано несистематической и еще далекой от аналитичности человеческой интуицией. Это тема лучших образцов древнееврейской поэзии в Псалмах; как фраза Гераклита, она выступает одним из первых обобщений древнегреческой философии... и вообще на всех стадиях цивилизации воспоминание об этом способно вдохновлять поэзию», — справедливо пишет английский философ Альфред Уайтхед, подробно исследовавший понятия процесса, протекания и креативности [см.: *Уайтхед*, 1990: 293]. Дело в том, чтобы, во-первых, само мышление и метафоры, в которых оно фиксируется, сделать динамичными, а во-вторых, чтобы критически выявить общепринятые представления о подвижности и неподвижности, понять их связь с

моралью и политикой. К примеру, не получается ли, что в наших представлениях о социальной жизни мы часто неосознанно предпочитаем то, что находится (и остается) на своем месте, тому, что движется? Седентаризм, то есть точка зрения, отдающая предпочтение оседлому и неподвижному образу жизни перед кочевым и подвижным, до сих пор куда более популярен. Я коснусь трех вариантов критики седентаризма, предпринятой антропологами Т. Ингольдом и Л. Малки и философами Ж. Делёзом и Ф. Гваттари.

У популярности седентаризма много причин. Начнем с того, что в период модерности сложилось воображаемое противопоставление познания и движения, то есть уравновешенного и находящегося в покое разума и перемещающегося тела. Хождение мыслилось как удел простолюдинов, а возможность добраться до цели иными средствами свидетельствовала о более высоком социальном статусе. Вордсворт, Рёскин и другие романтики прославили зоркость, необходимую, чтобы должным образом воспринимать красоту Озерного края, и тем способствовали воцарению зрения как главного способа контакта с миром. Американка Ребекка Солнит, автор интересной книги о гулянии и ходьбе, убеждена, что первым событием, приведшим к тому, что ходьба сегодня так непопулярна, было торжественное открытие в 1830 году первой междугородной пассажирской железной дороги между Манчестером и Ливерпулем [см.: *Solnit*, 2000: 256]. Воспетые Нестором Кукольниковом первые российские поезда, которые с 1837 года стали курсировать между Петербургом и Царским Селом («Дым столбом — кипит, дымится Пароход... Пестрота, разгул, волнение, ожиданье, нетерпенье... Православный веселится наш народ...»), также привели к тому, что люди отныне предпочитали добираться до места *сидя и беседуя*. Пространство, понятое как вместилище, в котором тело и дух могут оставаться в покое, положившись на силу зрения, — такое подспудное отношение к пространству сформировалось, как ни парадоксально, с развитием железнодорожного транспорта, сделавшим возможными путеше-

ствия, в ходе которых путешественников движение как таковое не интересовало. Они стремились к пунктам назначения, удобно расположившись в вагоне.

По мнению шотландского антрополога Тима Ингольда, «ничто лучше не иллюстрирует ценность, придаваемую седентарному восприятию мира, опосредованному предполагаемо превосходящими все другие чувства зрением и слухом, не нарушенному никаким тактильным или синестическим ощущением ног», как то, что мы последние 200 лет живем в «сидящем обществе» [Ingold, 2004: 323]. Так что, заключает он, для обитателей современных городов характерна *беспочвенность*: их не только все время что-нибудь отделяет от земли, будь то асфальт, стул или подошвы ботинок, но они почти не ходят, а потому лишены возможности познания мира в движении.

Однако скажем без обиняков: мало ли куда и как далеко люди могут зайти, если дать им волю. Это хорошо понимали и понимают все правители. Необходимость эффективного управления передвижением населения, безусловно, нередко самым опосредованным образом, но все же отражалась в социальной теории. Движение и поток, возможно, потому так долго входили в «слепое пятно» социальной теории, что отождествлялись с животным, инстинктивным, иррациональным и примитивным [см.: Blackman, 2008: 38]. Антрополог Мэри Дуглас в работе «Чистота и опасность» показала, что мы считаем «грязью» те предметы и тех людей, что *сходят* со своих мест, нарушая привычный порядок вещей. Антрополог Лииса Малки, развивая эти идеи в книге «Чистота и изгнание» [см.: Malkii, 1995], показывает, какую сомнительную роль в современном коллективном воображении играет метафора дерева. Она преобладает в описании отношений человека с местом: укорененность приветствуется, а люди-«перекати-поле» порицаются: «Наши седентаристские допущения о привязанности к месту приводят к тому, что мы определяем перемещение не как факт социополитического контекста, но как внутреннее патологическое

качество перемещенных» [Malkii, 1997: 62]. «Седентаристская метафизика» проявляется в отношении ко всем, кто выпадает из своей нации в силу исторических событий или случайностей судьбы, ведь именно нация составляет сегодня преобладающий режим классификации, образуя «национальный порядок вещей». По Малки, это обитание в постоянном месте «мыслится как норма, а глобальный социальный факт, что сегодня больше, чем когда-либо, люди хронически мобильны и привычно перемещены, изобретая дома и родину в отсутствие территории», недооценивается [Ibid.: 52].

Если Малки показывает проблематичность дерева как ключевой метафоры, описывающей отношения человека с местом, то Делёз и Гваттари прославили ризому — динамическое образование, задающее направления ускользания от посягательств территориальной власти. Называя доминирующую культуру древовидной, они заявляют: «Мы устали от дерева» [Делёз, Гваттари, 1996]. Не присмотреться ли, предлагают они, к чему-то вроде сорняков, части которых простираются во всех направлениях, и в земле и над нею, произвольно соединяясь, сплетаясь друг с другом. Эта сеть отличается от дерева или корня, обозначающих место и порядок, принципиальной неиерархичностью, произвольной соединяемостью, разнородностью. В качестве примера города-ризомы философы приводят Амстердам: его каналы подобны переплетенным стеблям, а за утилитарным фасадом гнездится безумие. Да и город вообще они переосмысливают весьма радикально, настаивая на его переходности, мобильности, значимости его функции как сети: «Город — это коррелят дороги. Город существует только как функция циркуляции и кругооборотов, это единичный пункт кругооборота, который создает его и который создается им. Он определяем входами и выходами: что-то должно в него входить и из него выходить. Он навязывает частоту. Он обуславливает поляризацию материи, инертной, живой или человеческой. Он побуждает тип, поток проходить особые места

вдоль горизонтальных линий. Это феномен транспоследовательности, феномен сети, потому что он фундаментально связан с другими городами. Он представляет порог детерриторизации, потому что, какой бы материал в него ни входил, он должен достаточно детерриторизоваться, чтобы включиться в сеть, подлежать поляризации, следовать круговороту городского и дорожного запечатлевания» [Deleuze, Guattari, 1997: 297].

По мнению Делёза и Гваттари, «история всегда пишется с седентарной точки зрения и во имя единого государственного аппарата (по крайней мере, возможного), даже когда идет речь о кочевниках. Недостает противоположности истории — нomaдологии» [Idem, 1987: 23]. Если укорененному индивиду, всю жизнь прожившему в одном городе, легко чувствовать равновесие с окружающей средой, то философы ратуют за противоположное, то есть за те ситуации, которые невозможно осмыслить исходя из предшествующего опыта, за то, чтобы стать кочевником, который нигде и никогда не дома. Его единственный дом — движение. Логика ризомы противопоставляет «детерриализованные» пространства и «линии полета» кочевников седентаризму, состоящему из иерархии, закрытости и симметрии.

Метафора нomaдизма в силу неумеренного пользования ею в последние двадцать лет для описания неиерархически мыслящих индивидов, интеллектуалов, членов оппозиционных движений и многого другого, а в более общем плане — конфликта между неподвижностью и текучестью, седентаризмом и рассеянием, увы, стала банальностью. Допуская, что концепция нomaдической субъективности не носит дескриптивного характера, все же отметим, что в эпоху насильственных смещений людей с насиженных мест, в эпоху, когда *вынужденная* миграция приобрела такие масштабы, энергичное противопоставление «безродности» и оседлости кажется несколько упрощенным.

Движение как основа перформативного понимания пространства и познания

Понятие перформативности связано с переосмыслением отношений между субъективной деятельностью и социальными обстоятельствами с учетом того, что мир, другие люди, объекты и места находятся в процессе изменения. Люди могут нерелективно и бессловесно входить в сети «воплощенных» и чувственных отношений с другими людьми и объектами, нередко являясь субъектами пространственного и других видов знания, не подозревая об этом. Перформативность — это термин, часто используемый сегодня как для того, чтобы говорить о неосознаваемых компонентах знания и практик, так и для новых вариантов описания того, что происходит между человеком и местом. Упомянем, к примеру, безудержное туристское фотографирование по бессмертному принципу «Здесь был Вася». Сблaзн запечатлеть себя на фоне знакового места или сфотографировать интересный объект в музее — нет ли в этом чего-то от магической практики «запирания» значимого и дорогого (в данном случае в карту памяти своей цифровой камеры)? Под вопрос ставятся привычные основания различения между зрителем и тем, на что направлено зрение, между практикой зрения и материальностью объекта зрения [см.: *Wylie*, 2006]. Границы между текстами и телесными повседневными практиками также утрачивают свою очевидность, а «тактильные» варианты взаимодействия с местностью, так сказать, реабилитируются [см.: *Lorimer*, 2003: 282; 2005: 85]. Возникают основанные на этих нетривиальных подходах «генеалогии чувствительности к движению и телесных практик (освоения) ландшафта» [см.: *Merriman*, 2006: 78] или «перформативные историографии ландшафта» [см.: *Della Dora*, 2009].

Обитание в мире невозможно без движения. Английский географ Дорин Мэсси формулирует теорию пространства, вспоминая о том, как коллега (Стьюарт Холл) в течение многих лет подвозил ее на работу. Пространство создается отноше-

ниями и взаимодействиями, в которые люди вовлечены: «Ты — в постоянном процессе завязывания и разрушения связей, являющихся частью создания (1) тебя самого; (2) Лондона, который на целый день лишится удовольствия твоего общества; (3) Мильтон Кейнс (существование которого как независимого пункта назначения в результате усилено); (4) самого пространства. Ты не просто движешься в пространстве, ты его немного изменяешь, двигая его и его производя» [Massey, 2000: 225—226]. Город и кампус, в который стремится исследовательница, представляют собой совокупность множества историй, объединяющих людей и пространство. Некоторые из них «готовятся к ее прибытию»: из корзин вычищен мусор, двери отперты — все готово к новому учебному дню. Города — «интенсивные и разнородные констелляции социальных траекторий» [Ibid.: 226]. В их настоящем, в горизонтальности их пространства отложились многочисленные истории прошлого, а некоторые из них обречены на забвение. Но главное — это не поверхность пространства. Главное — «одновременность траекторий» [Ibid.: 228]. Возможно, вообще главная связанная с пространством проблема — это проблема множественности траекторий, необходимости помыслить «моментальное сосуществование траекторий, конфигурацию множества разворачивающихся историй», а пространство и время — как результат взаимосвязей «местоположенных одновременностей» [Ibid.: 229].

На возможность перформативного участия в обитаемом и познаваемом мире указывает и уже упомянутый Тим Ингольд. Он подчеркивает экзистенциальную значимость движения не между абстрактными точками пространства, но между местами в сети, образованной твоими предшествующими маршрутами. Знать, где ты находишься, — это «быть в состоянии связать твои недавние движения с рассказами о путях, уже пройденных тобой и другими. Находя свой путь, люди не пересекают поверхность мира, план которого уже зафиксирован, как это представлено на географической карте. Они, скорее, “чувству-

ют свой путь” в мире, который сам движется и все время становится на основе объединенного действия человеческих и нечеловеческих сил» [Ingold, 2000: 155]. Антрополог противопоставляет два типа движения по местности: навигацию и нахождение пути (*wayfinding*). Первая — это движение при посредстве карты. Здесь главное — это координаты на карте интересующего тебя места. Тебе не нужно в данном случае ничего знать об истории места, о тех, кто здесь раньше обитал. Нахождение же пути предполагает готовность идущего *настроить* свои движения на движения других составных частей своего окружения, будь то другие люди или ветер. Понимание своего местоположения идущим в этом случае развивается с приобретением им разнообразного опыта, с учетом памяти о предыдущих проделанных путях: «...каждое место содержит воспоминания о приходах в него и уходах из него и ожидания того, как до него можно добраться, а из него — к другим местам» [Ibid.: 237].

Ингольд, черпая вдохновение в феноменологической традиции, исходит из того, что люди и другие живые существа населяют землю, не столько занимая то или иное место, сколько участвуя в становлении самого мира, прокладывая свой путь по земле и вплетая его в полотно своей жизни. Он полемизирует с теми, кто историю человечества отождествляют с модерностью, понимая под историческим контекстом своего исследования лишь последние двести-триста лет. Мысль в этот период, как известно, работала дихотомически. В результате сложились противопоставления природы и культуры, технологии и искусства, репрезентации и опыта, разума и материи, умозрения и чувственного восприятия, интеллекта и интуиции, традиции и новации, цивилизации и дикости, модальностей слуха и зрения, ограниченность которых увлеченно демонстрирует сегодня целый ряд авторов. Среди них — французский социолог науки Брюно Латур, показавший, как гибридные объекты исследования были разведены по ведомствам естествознания и социального знания (подробнее о его идеях см.

в главе 3), и британский географ Найджел Трифт (о нем идет речь во введении и главе 9), в рамках своей «нерепрезентативной теории» осваивающий невербальные и додискурсивные способы обретения людьми идентичностей.

Это прежде всего линии движения, а не вещи образуют мир, убежден Ингольд. Линии *обитания* на земле он защищает от линий *овладения* землей или линий ее оккупации, проложенных с пренебрежением к уже существующим и плотно переплетенным людским путям так, как если бы перед колонизаторами лежала чистая поверхность. Знание обитателя местности и знание ее оккупанта создаются по-разному, они связаны с двумя модальностями путешествия — странствием и транспортом. В первом путник всегда где-то, и это «где-то» — на пути еще куда-то [см.: *Ingold*, 2007: 81]. Реальность буквально упорядочивается им *по ходу дела*. Так, название мест здесь увязано с историями о том, как до этих мест добираются. Во втором случае каждое движение сориентировано на особую цель, а покоритель пространства, выехав из пункта *А* и направляясь в пункт *Б*, мыслит пространство между этими ориентирами как «нигде». Нефтепровод или железная дорога прокладываются по прямой поверх нахоженных людьми и животными дорог и тропок. Они открывают доступ к прежде недоступным ресурсам ценой потревоженных жизней тех, кто жил здесь от века.

Модерность придала особую значимость прямой линии, воплощавшей торжество детерминистского мышления и рационального замысла над хаосом природного мира, *неуклонного* культурного прогресса — над отдельными проявлениями неуправляемости. Целеустремленная прямизна движения по плану противостоит всевозможным колебаниям и отклонениям. Линейная логика современного интеллекта утверждает себя за счет критики уклончивости и извилистости путей мышления других людей, культур и времен. Отклонившихся и сбившихся с пути нужно было *направить на* путь истинный, предварительно разметив вверенную территорию прямыми линиями. Не случайна связь между проведением прямых, «нормальных»

линий и функционированием власти. Эта связь содержится в английском слове *ruler*, два главных значения которого — *правитель* (тот, кто контролирует территорию) и *линейка* (инструмент для проведения прямых линий). Правитель намечает курс действий, линейку используют для изготовления планов и чертежей. Если прежде в ходе возведения зданий линии наносились на землю по ходу дела, с большой долей импровизации, то постепенно архитекторы перестали быть «бригадирами» строителей, сосредоточившись на создании чертежей. Власть чертежей и планов, часто изготовленных вдали от мест строительства, подкрепляется сегодня законами и контрактами. В компьютерном же архитектурном дизайне исчезают и последние следы движения человеческой руки.

Все меньше и меньше следов человеческих жестов и все больше сфабрикованных отпечатков окружают нас. Непрерывность линий уступила место соединению точек на поверхности. Вспомним многочисленные анкеты, заполняемые нами при поступлении на работу или перед поездкой за границу. Помогающие нам писать прямо, нанесенные на лист бумаги ограничители, часто состоящие из точек, над которыми мы печатаем буквы, воплощают для Ингольда современную бюрократию: движение линии в них разбито на серию точек, подписаться над которыми — не проложить путь, но оставить отпечаток среди тех вещей, что подлежат присвоению в многочисленных местах оккупации [см.: *Ingold*, 2007: 94]. Мы не странствуем, но летим из пункта *А* в пункт *Б*, не рассказываем истории, но, зевая, узнаем повсюду вариации одних и тех же сюжетов. Нарисованные от руки наброски маршрутов давно уступили место фабричным картам (а теперь и GPS-навигации). Ингольд, правда, считает, что нарисовать что-то на готовой карте — дело сомнительное, сопоставимое с испещрением текста книги своими пометками, по-моему, пренебрегая тем, как часто мы рисуем именно на готовых картах, приспособляя их индифферентность к своей занятости и помечая, к примеру, путь от гостиницы к университету.



**Явные следы компьютерного дизайна в оформлении
Потсдамерплац в Берлине**

Ингольд выразительно описывает обреченность современных городских обитателей на жизнь в окружении, спланированном и построенном не в целях обитания, но в целях овладения. Опираясь на известное различие М. де Серто между стратегиями и тактиками, он торжествующе подчеркивает упорство и изворотливость людей и иных обитателей городов. Они все же умудряются прокладывать и прогрызать свои пути в обход прямых линий, проложенных стратегами. В том, что прежде было неприступно и закрыто, прокладываются проходы, а замкнутые пространства размыкаются. Это выявляет главную характеристику линий — их незамкнутость. Говорим ли мы о линиях жизни или истории, линиях социальных отношений или мыслительных процессов, главное — чтобы у других был шанс продолжить их там, где мы остановились, и в том направлении, что им подходит. Где бы вы ни были, отсюда можно пойти еще куда-то, заключает Ингольд.

«Поворот к мобильностям»

Радикальность тех или иных сдвигов парадигм в социально-гуманитарном знании, при всей ее психологической привлекательности, часто преувеличивается. Так, «поворот к мобильностям» в социальной теории, провозглашенный Джоном Урри, сложно отделить от общего постструктуралистского концептуального движения 1980—2000 годов, которое для одних ассоциируется с деконструкцией Деррида, для других — с «детерриториализацией» и «номадами» Делёза и Гваттари, для третьих — с «текучей» модерностью Баумана. Отказ от дихотомичного противопоставления внешнего и внутреннего и от мышления в терминах центра — периферии в пользу реляционного мышления привел к попыткам описать *сети* и *потоки*. Последние — как метафора — важны тем, что у них нет исходной или конечной точки, поэтому они позволяют мыслить движение в его материальности, но без преувеличения его на-

правленности и управляемости. Социальные связи объединяются в сети, которые перемещают потоки товаров, денег, людей и идей. Вместе с тем различные виды движения людей, вещей, информации и идей не могут бесп проблемно стать предметом исследования, они требуют перефокусировки социального знания и специфической методологии.

В ходе рассматриваемого поворота складывается представление о социальном мире как образованном множественными и пересекающимися системами мобильности. Оно тесно связано с «постчеловеческим» взглядом на этот мир, согласно которому движения вещей следует рассматривать не как подчиненные человеческой воле, а как соучаствующие в человеческих практиках. Акторно-сетевая теория Б. Латура и его последователей, идеи К. Хэйлз, Ф. Киттлера и многих других исследователей, призывающих отказаться от «гуманистической» парадигмы, ставящей человека в центр исследования любых процессов, сегодня используются для описания процессов, в которых на равных участвуют люди и вещественная оснастка информационных технологий. Мобильным видится все, и прежде всего потоки информации, и один из упомянутых авторов справедливо подчеркивает, что в «высокоразвитых и сетевых обществах, например в США, человеческое сознание составляет лишь вершину огромной пирамиды потоков данных, большая часть которых перемещается между машинами» [см.: Hayles, 2006: 161].

Джон Урри, большой мастер разнообразных связанных с движением перечней и типологий, также выделяет следующие типы мобильности, которые в равной степени относятся к людям и вещам: 1) *удержание на месте* (заключенный, зажатая между другими машина, постер, риторическая фигура); 2) *прикрепленность к месту* (страдающий агорофобией человек, здание, библиотечная книга, чувство места); 3) *временная остановка* (посетитель, машина в гараже, граффити, презентация); 4) *портативность* (младенец, ноутбук, сувенир); 5) *часть мобильного тела* (зародыш, iPod, удостоверение личности, дизайнерская марка); 6) *протез* (помощник инвалида,

контактные линзы, бейдж с именем, гендер); 7) *компонент мобильной системы* (водитель, дорога, расписание, скорость); 8) *основанность на коде* (киборг, *Blackberry*, цифровой документ, компьютерный вирус) [см.: Büscher, Urry, 2009: 100].

Главное, чем важна «парадигма новых мобильностей», как еще именует ее Урри, для понимания городов, это возможность их интерпретации в качестве образований, заданных множественными вариантами движения, ритмов и скорости. Движение повсеместно, поскольку пронизывает материалы, места, пространства, настаивает Урри, выделяя четыре смысла понятия «мобильный» или «мобильность». Во-первых, это что-то движущееся или способное к движению (мобильный телефон, мобильный человек, передвижные госпиталь или кухня, дом на колесах). Мобильность — это свойство вещей и людей, осмысливаемое в основном позитивно [см.: Urry, 2007: 7]. Во-вторых, это неуправляемая толпа, неуправляемая именно в силу своей подвижности, способности выйти из-за границ, а потому нуждающаяся в наблюдении и регулировании. Современность порождает все новые, «умные» толпы и «множества», для сдерживания которых используются все более изощренные средства надзора. В-третьих, в традиционной социальной теории термин используется для обозначения перемещения индивида с одной социальной позиции на другую, которые, в свою очередь, мыслятся как четко отделенные друг от друга, так что, к примеру, можно понять, восходящей или нисходящей является социальная мобильность индивида по сравнению с его родителями. Если этот вариант понимания мобильности метафорически фиксирует карьерный рост как вертикальный, то четвертый, напротив, сосредоточен на миграции и других вариантах географического перемещения людей, а потому может быть сочтен горизонтальным. Стремление к лучшей жизни от века побуждало людей к пересечению больших территорий, но сегодня миграция беспрецедентно интенсивна [см.: *Ibid.*: 8; см. также: *Mobile Technologies and the City*, 2006].

«Поворот к мобильностям» социолог связывает с определением степени, размаха и последствий телесных, воображаемых

и виртуальных передвижений самого разного плана — на работу, на отдых, чтобы избежать насилия, чтобы поддержать свою диаспору. В фокусе внимания, во-первых, то, как перемещения людей и передача сообщений, информации и образов накладываются друг на друга и соединяются и, во-вторых, как физические и виртуальные перемещения связаны с социальной мобильностью, подтверждая статус и обладание властью в одних случаях и порождая социальную исключенность в других.

Западные исследователи городов сами могут составить интересный «случай» академической мобильности, так как часто меняют места работы (и предсказуемым образом: из Австралии — в Великобританию, а оттуда — в США). Работающая теперь в американском Университете Дрексель британская исследовательница Мими Шелер считает, что исследования мобильности, придя на смену традиционной транспортной географии, способны проблематизировать привычные различия приватного и публичного в городах. Что же, с ее точки зрения, ведет к необходимости такой проблематизации? Это новые IT-технологии, новые варианты мобильности, новые варианты соединения, скажем, туристской мобильности, коммуникации, обеспечиваемой мобильными устройствами, и инфраструктуры. Они приводят к появлению «новых типов публичного-в-приватном и приватного-в-публичном», препятствующих воспроизводству общепринятых пространственных моделей, согласно которым приватное и публичное представляют собой две отдельные сферы [см.: *Scheller*, 2004: 39].

Мобильность и глобальный финансовый кризис

Одним из зримых выражений продолжающегося на момент издания книги глобального финансового кризиса является сокращение географической мобильности людей — между



**Скутер и удоба — атрибуты
нью-йоркской женственности**

странами, внутри них, а также между городами и пригородами. Например, в США, где население долгое время било рекорды по числу переездов внутри страны, по данным Бюро переписи населения, мобильность уменьшается, и ее продолжающееся сокращение является развитием тенденций, обозначившихся в течение последних сорока лет. Первая тенденция состоит в том, что увеличивается число домовладельцев (с 64 % в 1968 году до 68 % в 2008). Вторая тенденция — старение населения.

Сохраняется высокая привлекательность пригородов для жизни: в период с 2007 по 2008 год 5,3 млн людей переехали в пригороды, а 3,1 выехали, тогда как 5,1 млн обитателей крупных городов их покинули и только 3 млн в них переехали.

Главное препятствие мобильности, вызванное кризисом, — тот факт, что большое количество домовладельцев не могут продать свои дома и должны за них банкам гораздо больше, нежели способны выручить при продаже на рынке недвижимости. Безработица и неопределенность на рынке труда также не способствуют желанию переехать. С другой стороны, многочисленные случаи продажи банками домов заемщиков, не способных выполнить договор ипотеки (*foreclosures*), вынуждают людей переезжать в мотели, к друзьям или родителям, снимать квартиры, что в конечном счете увеличит их вынужденную мобильность и нарушит сложившиеся социальные связи. Особенно (и предсказуемо) страдают семьи с низким доходом.

Мобильные методы: следить за местами и прогуливаться с информантами?

На недавней конференции урбанистов, специализирующихся на исследовании постсоветских городов, состоявшейся в Тарту в сентябре 2009 года [см.: *Cities After Transition*, 2009], около десяти докладов восточноевропейских коллег были посвящены картографированию мобильности городских обитателей на основе данных, предоставленных провайдерами со-

товой связи. Речь шла, в частности, о том, что русские и эстонцы в Таллине проезжают разные расстояния до работы и что пражская молодежь проводит свободное время по преимуществу в центре. Возможность, так сказать, «сосчитать» мобильность сегодня привлекает многих. Масштабные сдвиги, вроде описываемого в этой главе, всегда обостряют соревнование между сторонниками количественных и качественных методов, и поскольку я гораздо больше верю в последние, их кратко и опишу.

Исследователи мобильности обращаются прежде всего к разнообразным *практикам* — практикам движения (ходьба, езда, полет), заблокированного движения (очередь, пробка, ожидание отложенного рейса), возможного движения (планы на выходной или отпуск), неподвижности (прикованность к постели или инвалидному креслу), обитания в мире (воображаемые путешествия, если ты стеснен в средствах), создания мест (продвижение своего музея или города среди образованной публики). Соответственно, используемые методы — антропологические и социологические, и прежде всего опробованные Ирвином Гофманом методы *исследовательского слежения* за людьми по мере того, как те движутся, и наблюдения за тем, как они взаимодействуют друг с другом или с каким-то местом. Так, участники датского исследовательского проекта «Туристские практики и производство мест: репрезентации, сети и стратегии» исходили из того, что туристские места надо понимать как «гибриды, объединяющие людей и не-человеческие объекты», созданные «разнообразными видами мобильности и близости, потоков предвосхищений, “перформансов” и памяти, а также широкими социально-материальными сетями, стабилизирующими практики обитания, создающие туристские места» [Baerenholdt et al., 2004: 2]. Включенное наблюдение, интервью с экспертами и туристами позволило им, в частности, прийти к выводу, что популярность дач среди датчан делает неформальные некоммерческие сети, существующие вокруг их использования, куда более эффективными, чем те, что

существуют между туристскими фирмами. Необычна установка членов этой команды на то, что «места подобны кораблям, перемещающимся и совсем не обязательно остающимся там, где были. Они путешествуют, быстро или медленно, на большие или меньшие расстояния, в рамках сетей, образованных людьми, и не только. Места связаны с отношениями, с размещением (*placing*) людей, материалов, образов и системами различий, что эти отношения и размещения создают» [Baerenholdt et al., 2004: 146]. Насколько же последовательны они в выборе методов исследования? Акторно-сетевая теория (о ней подробно идет речь в главе «Город и природа»), составляющая концептуальную рамку исследования, приводит к тому, чтобы, к примеру, методы визуальной антропологии применять не для осмысления репрезентаций туристских впечатлений, но для того, чтобы вникнуть в «перформансы», исполняемые туристами вместе с посещаемыми местами. Так, исследователи описали существенную разницу в использовании фотокамер для того, чтобы снимать те или другие сцены и пейзажи, с одной стороны, и для запечатления членов семьи — с другой. Фотографирование используется для «постановки социальных отношений и превращения мест в частные театры счастливой семейной жизни» [*Ibid.*: 122].

Перформативность повседневных передвижений и неподвижности меняет представление о социологическом исследовании, о связи между теорией, наблюдением и вовлеченностью. Внимание к мобильности способно обернуться новыми объектами исследования. Так, английские географы детства подробно изучают особенности детской мобильности, стремясь проанализировать последствия ее изменения за последние пятьдесят лет, в частности состоящего в том, что по сравнению с предыдущими поколениями у сегодняшних детей гораздо меньше свободы независимого передвижения по городу, то есть возможности играть с друзьями на улице, самостоятельно добираться до родственников и так далее. Если прежде во многих странах главным местом детской игры и других за-

нятий была улица, то сегодня «улица» не случайно, по крайней мере по-русски, имеет пейоративное значение: от тех, кто приходит в буквальном смысле «с улицы», не ждут ничего хорошего. Предмет обоснованных родительских страхов (от похищения до встречи с эксгибиционистом), улица соединяется в воображении горожан со скверами и парками — местами, где детям стоит появляться лишь в сопровождении взрослых. У городских властей, как правило, нет денег на освещение, обиход, оснащение таких мест. То, чем дети занимаются вне дома, активно регулируется, подвержено постоянному родительскому мониторингу. Воздействие физического и социального окружения на детскую мобильность изучается смешанными методами, включающими формальные и неформальные интервью с детьми и их родителями и учителями, визиты в дома, а также туры по окрестностям, во время которых дети показывают исследователям свои привычные маршруты, любимые места рядом с домом, в саду [см.: *Christensen et al.*, 2003]. Это дает возможность исследовать самые разные измерения детского «обитания» в локальном мире [см.: *Karsten, Van Vliet*, 2006].

«Интервью на ходу», а также виртуальная этнография и видеоэтнография применяются и для решения множества иных исследовательских задач. Американский социолог Маргарет Кузенбах считает, что прогулку вместе с информантом (*go-along*) отличает от таких традиционных методов, как включенное наблюдение и интервьюирование, возможность с ее помощью привнести мобильность в этнографическое урбанистическое исследование. Прогулки в исследовательских целях — не только возможность доступа к рефлексивным сторонам опыта обитания в городских местах, но и выявление особенностей восприятия окружения, пространственных практик, биографий и социальных отношений [см.: *Kusenbach*, 2003].

Дневники, запечатлевающие перемещения информантов в пространстве и времени, — рукописные, фото-, аудио-, видео- или комбинированные [см.: *Palen, Salzman*, 2002; *Kenyon*,

2006] — привлекательны тем, что позволяют информантам совмещать их рефлексию ежедневных практик с собственно практиками. Поскольку исследования мобильностей на их сегодняшней стадии стремятся придавать столько же значения воображаемым перемещениям, сколько реальным, исследование возможностей, которые открывает для этого Интернет [см.: *Bakardjieva*, 2005], а также осмысление атмосферы привлекательных для посещения мест ведется на основе соединения качественных исследований с литературным, художественным и «воображаемым» исследованием [см.: *Baerenholdt et al.*, 2004].

Упомянутое выше стремление инициаторов «поворота к мобильности» не только обогатить социальное знание новым объектом исследования, но и побудить к пересмотру установок и методов не привело пока к отчетливым результатам, так как «повороту» (читатель может судить по приведенной литературе) нет еще и десяти лет. Тем не менее смена исследовательских приоритетов и поиск новых способов, которыми можно было бы «схватить» передвижения людей и вещей, происходят очень активно.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Ризома // *Философия эпохи постмодерна*: Сб. переводов и рефератов. Минск, 1996. С. 7—31.

Уайтхед АН. Избранные работы по философии / Под ред. М.А. Киселя. М.: Прогресс, 1990.

Adam B. Reflexive Modernization Temporalized // *Theory, Culture and Society*. 2003. Vol. 20, № 2. P. 59—78.

Armitage J. Paul Virilio: An Introduction // *Paul Virilio: From Modernism to Hypermodernism and Beyond* / Ed. J. Armitage. L.: Sage, 2000. P. 1—23.

Baerenholdt et al. Performing Tourist Places. Aldershot: Ashgate, 2004.

Bakardjieva M. Internet Society: The Internet in Everyday Life. L.: Sage, 2005.

Blackman L. Affect, Relationality and the «Problem of Personality» // *Theory, Culture and Society*. 2008. Vol. 25, № 1. P. 23—47.

Büscher M., Urry J. Mobile Methods and the Empirical // *European Journal of Social Theory*. 2009. Vol. 12, № 1. P. 99—116.

Christaller W. Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchungen über die Gesetzeseinheit der Verbreitung

und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968.

Christensen P. et al. Children in the City: Home, Neighbourhood and Community L: Routledge Falmer, 2003.

Cities After Transition. Tartu, 2009. [Электрон. ресурс]. URL: <http://citiesaftertransition.webnode.cz/new/>

Cresswell T. On the Move. L: Routledge, 2006.

Deleuze G., Guattari F. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia // Trans. B. Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

Deleuze G., Guattari F. City-State // Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory / Ed. N. Leach. L: Routledge, 1997. P. 296—299.

Della Dora V. Travelling Landscape-Objects // Progress in Human Geography. 2009. № 33(3). P. 334—354.

Fogelson R.M. Downtown: Its Rise and Fall, 1880—1950. New Haven: Yale University Press, 2001.

Fotsch P.M. Watching the Traffic Go By: Transportation and Isolation in Urban America. Austin: University of Texas Press, 2007.

Gleick J. Faster: The Acceleration of Just About Everything. N.Y.: Pantheon, 1999.

Greenberg M.R. Environmental Policy Analysis and Practice. New Brunswick: Rutgers University Press, 2008.

Gutfreund O.D. Twentieth Century Sprawl: Highways and the Reshaping of the American Landscape. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Hanson S., Giuliano G. Geography of Urban Transportation. L: The Guilford Press, 2004.

Harris C.D., Ullman E.L. The Nature of Cities // The Urban Geography Reader / Ed. by N.F. Fyfe and J.T. Kenny. L: Routledge, 2005. P. 46—56.

Hart T. Transport and the City // Handbook of Urban Studies / Ed. by R. Paddison. L: Sage, 2001.

Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell, 1989.

Hayles K. Unfinished Work. From Cyborg to Cognisphere // Theory, Culture, and Society. 2006. Vol. 23, № 7—8. P. 159—166.

Ingold T. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. L: Routledge, 2000.

Ingold T. The Culture on the Ground: the world perceived through the feet // Journal of Material Culture. 2004. Vol. 9, № 3. P. 315—340.

Ingold T. Lines: A Brief History. N.Y.: Routledge, 2007.

Jackson K.T. Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States. Oxford: Oxford University Press, 1985.

Johansson O. Inter-Urban Competition and Air Transport in the Deregulated Era: The Nashville Case // *Journal of Transport Geography*. 2007. № 15. P. 368—379.

Judd D. From Cowtown to Sunbelt City // *Restructuring the City* / Ed. S. Fainstein. N.Y.: Longman, 1971. P. 167—201.

Karsten L., Van Vliet W. Increasing Children's Freedom of Movement // *Children, Youth and Environments*. 2006. № 1. P. 69—73.

Keryon S. Reshaping Patterns of Mobility and Exclusion? The Impact of Virtual Mobility upon Accessibility, Mobility and Social Exclusion // *Mobile Technologies of the City* / Eds. M. Sheller, J. Urry. L.: Routledge, 2006.

Kusenbach M. Street Phenomenology. The Go-Along as Ethnographic Research Tool // *Ethnography*. 2003. Vol. 4, № 3. P. 455—485.

Lefebvre H. *Everyday Life in the Modern World*. New Brunswick: Transaction Publishers, 1990.

Lefebvre H. *The Production of Space* / Trans. D. Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.

Lin II R.-G., Rabin J. The State MTA Approves Steep Hikes for Bus, Rail Fares // *Los Angeles Times*. 2007. May 25. P. A1.

Lorimer H. Telling Small Stories: Spaces of Knowledge and the Practice of Geography // *Transactions of the Institute of British Geographers*. 2003. № 28. P. 197—217.

Lorimer H. Cultural geography: the Busyness of Being More-Than-Representational // *Progress in Human Geography*. 2005. № 29. P. 83—94.

Luke T., O'Tuathail G. Thinking Geopolitical Space: The Spatiality of War, Speed and Vision in the Work of Paul Virilio // *Thinking Space* / Ed. N. Thrift, M. Crang. L.: Routledge, 2000. P. 360—379.

Malkii L. *Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania*. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

Malkii L. National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees // *Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology* / Ed. A. Gupta, J. Ferguson. Durham: Duke University Press, 1997. P. 52—75.

Mann E. Los Angeles Bus Riders Derail the MTA // *Highway Robbery: Transportation Racism and New Routes To Equity* / Eds. R. Bullard, G.S. Johnson and A.O. Torres. Boston: South End Press, 2004.

Massey D. Travelling thoughts // *Without Guarantees: In Honour of Stuart Hall* / Eds. P. Gilroy, L. Grossberg, A. McRobbie. L.: Verso, 2000. P. 225—232.

Massumi B. *Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation*. Durham: Duke University Press, 2002.

Merriman P. A New Look at the English Landscape: Landscape Architecture, Movement and the Aesthetics of Motorways in Early Postwar Britain // *Cultural Geographies*. 2006. № 13. P. 78—105.

Mobile Technologies and the City / Eds. M. Scheller, J. Urry. L.: Routledge, 2006.

Norton P.D. Fighting Traffic: The Dawn of the Motor Age in the American City. Cambridge: MIT Press, 2008.

Palen L., Salzman M. Voice-Mail Diary Studies for Naturalistic Data Capture under Mobile Conditions // *Proceedings of the Computer Supported Cooperative Work Conference*. New Orleans: CSCWC, 2002.

Pflieger G., Kaufmann V., Pattaroni L., Jemelin Ch. How Does Urban Public Transport Change Cities? Correlations between Past and Present Transport and Urban Planning Policies // *Urban Studies*. 2009. Vol. 47, № 7. P. 1421—1437.

Rosa H. Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-Speed Society // *Constellations*. 2003. Vol. 10, № 1. P. 3—33.

Scheller M. Mobile Publics: Beyond the Network Perspective // *Environment and Planning D: Society and Space*. 2004. № 22. P. 39—52.

Soja E.W. Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Wiley-Blackwell, 2000.

Solnit R. Wanderlust: A History of Walking. N.Y.: Viking, 2000.

Thomson F.M.L. The Rise of Suburbia. Leicester: Leicester University Press, 1982.

Urry J. Sociology Beyond Societies. L.: Routledge, 2000.

Urry J. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2007.

Virilio P. The Aesthetics of Disappearance. N.Y.: Semiotext, 1991.

Virilio P. Negative Horizon: An Essay in Dromoscopy. L.: Continuum, 2005.

Virilio, P. (2003) Unknown Quantity. London: Thames and Hudson, 2003.

Virilio P., Lotringer S. Pure War. Cambridge: MIT, 2007.

Wylie J. Depths and Folds: on Landscape and the Gazing Subject // *Environment and Planning D: Society and Space*. 2006. № 2. P. 519—535.

ГЛАВА 5

Город как место экономической деятельности

В урбанистической теории экономический анализ играл и продолжает играть ведущую роль. С одной стороны, экономика городов мыслится как основа социальных, политических, культурных и прочих аспектов их развития. С другой стороны, ведутся попытки оценить сами города как «агентов» экономического развития.

Какую экономическую роль играют города? Если отвечать на этот вопрос исторически, то ясно, что в прошлом их роль была беспрецедентной. В масштабной истории мирового капитализма, написанной французским историком Фернаном Бродемом [см.: *Бродель*, 2002; 2007], города органично вплетены в сложную картину случайностей, способствовавших либо препятствовавших движению вперед, проб и ошибок, природных ограничений и человеческой предприимчивости. Говорит ли историк о разделении труда или о складывании рынка, город участвует в этих процессах как один из главных агентов. Говоря в общем, это город сделал разделение труда и рынок всеобщими явлениями. Говоря более конкретно, это в Севилье, Марселе, Генуе, Флоренции, Венеции и Милане сложился в XVI веке «торговый капитализм». Столицы крупной торговли, эти города стали и местом отработки новых форм промышленного производства, таких как производство хлопковых и шелковых тканей.

Без городов не сложились бы фордистская экономика и промышленность, не оформились и не воплотились бы поли-

тически имперские амбиции европейских держав. Поскольку главным предметом интереса урбанистической теории являются современные города, тип которых начал формироваться около 200 лет назад, она конкретизирует связь города и экономики. Ее интересует, *как связаны город и капитализм*. Сегодня, когда немалое число бывших социалистических либо колонизованных городов включилось в капиталистическое развитие, вопрос о разнообразии проявлений капитализма в городах и, наоборот, о различных сторонах жизни капиталистического метрополиса приобретает универсальное звучание.

Капиталистический город сформировался в западных странах около 150 лет назад — к середине XIX века. Три фактора оказали наибольшее воздействие на его формирование:

- развитие промышленности;
- ускорение сообщения между регионами за счет паровозов и пароходов, а также изобретение телеграфа, кинематографа и двигателя внутреннего сгорания;
- массовое потребление промышленно произведенных продуктов (ставшее возможным за счет механизации производства).

Строительство новых заводов, быстрый прилив рабочей силы в города (население городов удваивалось или утраивалось каждые пятьдесят лет), усиливающееся разделение труда, усложнение физической инфраструктуры городов, складывание банковской системы и многое другое способствовали тому, что с конца XIX века города превратились в машины капиталистического накопления. Но еще раньше — в первой половине XIX века — противоречия нового общества стали настолько разительными, что вызвали интерес основоположников марксизма. К их трудам сегодня относятся достаточно амбивалентно: признается их вклад в изучение процесса капиталистического накопления, но не забывается, чем для значительной части человечества обернулась попытка воплощения марксистских идей. Тем не менее есть целая группа влиятельных урбанистов, предпринявших неомарксистский (или пост-

марксистский) анализ городов. Это такие авторы, как профессор Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе социолог Мануэль Кастельс, британский географ Дорин Мэйси, американский географ Дэвид Харви. Критика современного неолиберального капитализма ведется левыми урбанистами, в особенности британскими, с поистине марксистской страстью. В главах данной книги, посвященных городской повседневности и неклассической городской теории, идет речь и о других, не чуждых марксизму авторах — от Вальтера Беньямина и других представителей франкфуртской школы до американского мыслителя Фредерика Джеймисона.

Становление капитализма в европейских городах: идеи К. Маркса и Ф. Энгельса

«Основой всякого развитого и товарообменом опосредствованного разделения труда является отделение города от деревни. Можно сказать, что вся экономическая история общества резюмируется в движении этой противоположности, на которой мы не будем, однако, здесь долее останавливаться», — пишет Карл Маркс в «Капитале» [Маркс, 1983: 365]. Пространство, в котором развивался капитализм, Маркса интересовало мало. В то же время, когда он раскрывает механизм капиталистического способа производства в индустриальном обществе, он, конечно, имеет в виду городское общество. Если феодальное общество было основано на аграрном способе производства, то капиталистическое общество могло сложиться тогда, когда из прибавочной стоимости произведенных товаров можно было извлечь прибыль (а для этого нужен был наемный труд). Это Маркс и имеет в виду в приведенном выше фрагменте. Превращение труда в товар было возможно главным образом в городах и на города существенно повлияло. Во-первых, образовался рынок труда. Маркс считает, что движение в горо-

да из деревень освобожденной от личной зависимости рабочей силы определяет современную историю. Немногие люди, владевшие средствами производства, могли нещадно эксплуатировать неимущих людей, привлеченных в города развитием коммерции и индустрии.

Сподвижник Маркса молодой радикал Фридрих Энгельс ужаснулся условиям жизни этих людей, которые он наблюдал в Ланкашире. Его исследование «Положение рабочего класса в Англии» (1845) делает его предтечей и городской антропологии, и социальной географии. Некоторым читателям это сочинение памятно, вероятно, в связи с семинарами по истмату, стоически претерпеваемым в юности. Убеждена, что эту работу Энгельса стоит прочесть в качестве достойного культурного артефакта. Сейчас можно только догадываться, пришла ли идея визитов в трущобы английских городов в результате растущей уверенности Энгельса в том, что нельзя принимать на веру слова, которые общество говорит о себе устами своих идеологов, или сказались нужды семейного текстильного бизнеса, но вот эти слова мыслителя в предисловии к работе, обращенные к рабочим, свидетельствуют, что его методология была по своему характеру антропологической: «Я достаточно долго жил среди вас, чтобы ознакомиться с вашим положением. Я исследовал его с самым серьезным вниманием, изучил различные официальные и неофициальные документы, поскольку мне удавалось раздобыть их, но все это меня не удовлетворило. Я искал большего, чем одно абстрактное знание предмета, я хотел видеть вас в ваших жилищах, наблюдать вашу повседневную жизнь, беседовать с вами о вашем положении и ваших нуждах...» [Энгельс, 2: 236].

«Классовый» словарь марксиста в это время еще только становится, вот почему он называет буржуазию и рабочий класс двумя «народами», настолько различными, «как если бы они принадлежали к различным расам». Познакомить общественность с практически неизвестной доселе «расой» рабочих — такую задачу ставит перед собой Энгельс.

«Полевое исследование» Энгельса продолжалось почти два года. Манчестер и Ланкашир, Дербишир и Бирмингем, Шеффилд и «Стаффордшир, в особенности Вулвергемптон», не говоря уже о Дублине и Лондоне, — города и местности, которых он касается в тексте. Многие темы, которые он рассматривает или впервые ставит: иммиграция и изображение иммигрантов в качестве «козлов отпущения» за насущные социальные проблемы, джентрификация, связь эксплуатации и роскоши, составляют предмет активных сегодняшних обсуждений.

Его описания скученности, грязи, болезней и общей безнадёжности существования английских рабочих предварены общей историей индустриализации и урбанизации в Англии, изложенной мыслителем достаточно тенденциозно в том смысле, что он, кажется, буквально видит, как все бывшее социальное разнообразие английского населения стремительно сводится к двум полярностям — рабочему классу и буржуазии: «Так возникли большие фабричные и торговые города Великобритании, в которых по меньшей мере три четверти населения принадлежат к рабочему классу, а мелкая буржуазия состоит только из лавочников и очень, очень немногочисленных ремесленников» [Энгельс: 257].

Тенденциозно, а временами возмутительно политически некорректно и отношение мыслителя к некоторым культурным группам, положение которых он описывал, — прежде всего к «кельто-ирландской национальности». Ирландцы, бежавшие в Лондон, спасаясь от царящего дома голода и берясь за самую грязную работу, плохо влияли, считал мыслитель, на английский работный люд. Энгельс демонстрирует простодушный эссенциализм, граничащий с расизмом, когда говорит о «характере» ирландцев, которые «чувствуют себя уютно именно в грязи». Значительным ирландским присутствием отличались к середине XIX века многие английские города, что немедленно нашло отражение в литературе, прежде всего в текстах Томаса Карлейля (кстати, именно этот английский историк и литератор впервые в 1854 году использовал слово «ка-

питализм»), и в общих ксенофобных настроениях. Ирландцы более всегогодились на роль «козлов отпущения», когда дело доходило до плохих жилищных условий и низкой зарплаты. Их непритязательность поощряла строительство новых трущоб. Энгельс, по сути, обвиняет в своей книге ирландцев в усугублении и без того тягостного положения английских рабочих, в дурном влиянии на людей, нравы которых и без того отличались простотой. Тем самым он способствовал (вместе с другими людьми, посетившими Англию в то время) распространению многочисленных стереотипов об ирландцах, которые упорно воспроизводятся и поныне.

Эта часть городской антропологии Энгельса перекликается с сегодняшними антропологическими и социологическими штудиями иммиграции, а именно с идеей тесной связи между переживанием страха и неопределенности, испытываемой местными жителями, и враждебностью к не самым лучшим представителям того или иного народа, кочующим по миру в поисках заработка.

В его масштабной работе «различные официальные и неофициальные документы», в частности статистический анализ, используются более часто, нежели собственные наблюдения мыслителя, что немудрено: им описана, по сути, вся Англия. Другой причиной этого могло быть то, что традиция описания городов модерности к концу первой половины XIX века лишь складывалась, и вряд ли только риторическим является, к примеру, следующий пассаж: «Нищенские кварталы Дублина рассеяны по всему городу, и грязь и неблагоустройство домов, запущенность улиц *не поддается описанию*». (курсив мой. — Е.Т.) Интересно, что в некоторых используемых Энгельсом источниках справедливо отмечается практически полное отсутствие знания о беднейших слоях населения в своей стране, сопоставимое с объемом знания об отдаленных културах: в благополучных частях города об обитателях соседних с ними кварталов знали «не больше, чем о дикарях Австралии и Южной Океании».

И до и после Энгельса социальные контрасты английских городов выразительно описывались писателями — от Эдгара По до Чарльза Диккенса. Так, Энгельс активно использует тексты Томаса Карлейля для своего анализа масштабной ирландской иммиграции и ее последствий. Приемы контраста, противопоставления аристократического блеска и удручающей бедности в описании городской жизни (у того же Эдгара По в «Человеке толпы», к примеру) к тому времени уже сложились. Однако именно у Энгельса мы находим проницательные описания того, к чему может приводить *неравномерность городского развития*. Бедность и богатство могут соседствовать на одной улице, а физическое соседство не исключает социальной пропасти, лежащей между обитателями того или иного квартала. Энгельс, среди прочего, показывает это на примере центрального лондонского квартала Сент-Джайлс, окруженного «блестящими, широкими улицами, по которым фланирует лондонский высший свет, совсем близко от Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, от Трафалгар-сквера и Стрэнда» [Энгельс: 266]. Наблюдатель видит «беспорядочное нагромождение высоких трех- и четырехэтажных домов, с узкими, кривыми и грязными улицами», жизнь в которых протекает столь же бурно, сколь и на соседних фешенебельных улицах. Описания Энгельса выразительны и полны обличительной силы: «Дома, от подвала до самой крыши битком набитые жильцами, настолько грязны снаружи и внутри, что ни один человек, казалось бы, не согласится в них жить. Но все это ничто в сравнении с жилищами, расположенными в тесных дворах и переулках между улицами, куда можно попасть через крытые проходы между домами и где грязь и ветхость не поддаются описанию; здесь почти не увидишь окна с целыми стеклами, стены обваливаются, дверные косяки и оконные рамы сломаны и еле держатся, двери сколочены из старых досок или совершенно отсутствуют, ибо в этом воровском квартале они, собственно, не нужны, так как нечего красть. Повсюду кучи мусора и золы, а выливаемые у дверей помои застаиваются в зловонных лужах. Здесь живут

беднейшие из бедных, наиболее низко оплачиваемые рабочие, вперемишку с ворами, мошенниками и жертвами проституции. Большинство из них — ирландцы или потомки ирландцев, и даже те, которых еще не засосал водоворот морального разложения, окружающий их, с каждым днем все более опускаются, с каждым днем все более и более теряют силы противиться деморализующему влиянию нужды, грязи и ужасной среды» [Энгельс: 226].

Сент-Джайлс, описанный подобным образом (шум, вонь гниющих овощей, которыми торгуют тут же), не единственный квартал, в котором соседствуют благополучие и безнадежность: «В огромном лабиринте улиц есть сотни и тысячи скрытых переулков и закоулков, дома в которых слишком плохи для всех тех, кто имеет возможность хоть сколько-нибудь расходовать на более человеческое жилье, и такие пристанища жесточайшей нищеты можно найти часто в непосредственном соседстве с прекрасными домами богачей» [Там же: 267].

Как же согласовать сетования Энгельса на неопишуемость того, что ему открылось в переулках Лондона, с этими «насыщенными» описаниями, в которых мыслитель проницательно фиксирует главные компоненты социальной реальности большого города? Ведь это лишь в течение последних полутора столетий марксизм, так или иначе затронув большую часть человечества, стал общим для многих компонентом культурной памяти и популярной интерпретационной рамкой. В итоге противопоставление потребления богатых напоказ и стесненности бедных в средствах стало таким общим местом, что мы даже боимся его банальности и очевидности. Однако Энгельс описывал Лондон, центр которого продолжал застраиваться, и происходящее в нем еще надо было расшифровать.

Так, упомянутая Энгельсом Риджент-стрит была построена в 1820-е годы на деньги нескольких финансистов и задумана как место концентрации самых престижных торговых и доходных домов [см.: *Arnold*, 2000: 48—491]. Для того чтобы привлечь богатых жильцов и покупателей, этот район надо было

подвергнуть тому, что теперь называется *джентрификацией* (см. об этом главу «Город и глобализация»), — вытеснить прежних обитателей и вложить капитал для увеличения экономического потенциала района. Джон Нэш, спроектировавший знаменитые классицистские колоннады зданий улицы (ныне исчезнувшие), сумел придать единый социальный смысл кварталу — отныне месту обитания состоятельных людей. Выразительной стеной фасадов он закрыл дома победнее, в которых обитали торговцы и рабочие. Риджент-стрит стала своего рода социальным барьером, отделяющим места проживания богатых к востоку от нее и трущобы Сент-Джайлса к западу настолько успешно, что благополучные обитатели Лондона могли прожить всю жизнь по соседству с беднотой, не подозревая об этом.

По замечанию Стивена Маркуса, Энгельс нашел своеобразную стратегию «прочтения непонятного» в городе, состоящую в том, что он изображает город одновременно и как прочитываемый, и как нерасшифруемый [см.: *Marcus*, 1973: 262]. Планирование города в первой половине XIX века, как это ни парадоксально, добавляет городу «нечитаемости». Плотно стоящие друг к другу фасады богатых домов и дома бедняков, спрессованных как селедки, сосуществовали так, что люди по разные стороны социального водораздела видели только «своих». Потребовался «тенденциозный» взгляд социального теоретика, чтобы это невидимое доселе противоречие увидеть и зафиксировать, чтобы прочесть коммерческие здания и пабы бедноты как камуфляж, симптом, видимую часть невидимой реальности, как образования, «созданные из смещений и компромиссов между антагонистическими силами и инстанциями» [*Ibid.*].

Увидев классовые противоречия, Энгельс облекает их в плоть. Он описывает, как девушки из лондонских модных лавок слепнут, сутки напролет изготавливая предметы для «украшения буржуазных дам». «Какой-нибудь ничтожный дэнди», опять-таки «поблизости» от рабочих, «проигрывает в один вечер в



**Классицистские здания Риджент-стрит —
классовый барьер**

фараон больше денег, чем они могут заработать в течение целого года». Увидев классовые противоречия на Риджент-стрит, Энгельс изображает их в качестве главного измерения современной ему городской реальности: «Все, что можно сказать о Лондоне, применимо также к Манчестеру, Бирмингему и Лидсу, ко всем большим городам. Везде варварское равнодушие, беспощадный эгоизм, с одной стороны, и неопикуемая нищета — с другой» [Энгельс, 2: 264]. Тропы «города контрастов», «разделенного города», с помощью которых современные авторы продолжают изображать социальные последствия экономических противоречий, в этом тексте кристаллизовались и упрочились, начав победное шествие по «городской» литературе.

Когда мы читаем Энгельса сегодня, нам трудно абстрагироваться от знания того, что поиски универсального минимума компонентов «урбанизма как образа жизни», которые были присущи теории городов первой половины XX века, велись с оглядкой на стандарты естественно-научного знания и с уверенностью, что к воплощению своей сути города пришли лишь в XX веке. Между тем за полвека до Зиммеля и Уирта Энгельс проницательно замечал, глядя на Лондон, что «деньги — вот бог на земле», что человек — «лишенный воли объект всевозможных комбинаций и стечений обстоятельств», что «все жизненные отношения оцениваются по их доходности, и все, что не приносит денег, — чепуха, непрактичность, идеализм». В особенности выразительны его описания влияния на людей больших городов: «Это жестокое равнодушие, эта бесчувственная обособленность каждого человека, преследующего исключительно свои частные интересы, тем более отвратительны и оскорбительны, что все эти люди скопляются на небольшом пространстве. И хотя мы и знаем, что эта обособленность каждого, этот ограниченный эгоизм есть основной и всеобщий принцип нашего современного общества, все же нигде эти черты не выступают так обнаженно и нагло, так самоуверенно, как именно здесь, в сутолоке большого города. Раздробление

человечества на монады, из которых каждая имеет свой особый жизненный принцип, свою особую цель, этот мир атомов достигает здесь своего апогея. Отсюда также вытекает, что социальная война, война всех против всех провозглашена здесь открыто» [Энгельс: 264].

Среди тех, с кем Энгельс говорил, собирая материал для своей книги, был манчестерский промышленник. С ним Энгельс идет по улицам рабочего квартала, пытаясь понять, почему сами принципы его застройки таковы, что обрекают рабочих на невероятную скученность и болезни. Ответ промышленника был циничен и честен: «И все же здесь зарабатывают очень много денег. До свидания, сударь!» [Там же: 497]. Он был далек от того, чтобы хотя бы притворно разделить классовую страсть Энгельса. Разделение труда между теми, кто зарабатывает, превращая городское пространство в капитал, и теми, кто критикует последствия капитализма для городов, оформившись в этом эпизоде, воспроизводится по настоящий день.

Идеи современных марксистов-урбанистов

Американский географ Дэвид Харви в работе «Социальная справедливость и город» называет город «центром организации данного способа производства» и призывает географов к отказу от мнимой объективности исследований в условиях, когда увеличиваются отряды городской бедноты [см.: *Harvey*, 1973: 202]. В книге «Сознание и городской опыт» [см.: *Idem*, 1985] он рассматривает связь между деньгами, временем и пространством как основу процесса урбанизации. Он различает *денежную экономику* и *капиталистическую экономику*. Первая существовала задолго до того, как возникли крупные города. Вторая оформилась в начале XIX века. Когда промышленность пришла в города, некоторые из них уже насчитывали миллион и более жителей. Превращение людей в товар и цир-

куляция денег как эквивалента этого товара соединяются. Нарастает противоречие между равенством, предполагаемым владением деньгами и классовой борьбой, определяющей деление денег. Согласно Харви, «деньги обладают невероятной способностью концентрировать социальную власть в пространстве, ибо, в отличие от других видов потребительной стоимости... могут без ограничения накапливаться в определенном месте. Эта невероятная концентрация социальной власти может быть использована для осуществления в конкретном месте массивного преобразования природы созданием городской среды и тому подобного» [Harvey, 1985: 12].

Иными словами, в капиталистическом городе усиливается связь между деньгами и пространством. Создание точных карт и земельных кадастров способствовало *коммодификации пространства*, то есть превращению земли в актив, который мог быть продан или куплен. Она базируется не только на фиксации прав на землю, но и на том, что они отныне принадлежат не какому-то единоличному властвующему субъекту, но широкому кругу частных лиц. Сначала землю в городе поделили на аккуратно очерченные и продаваемые участки, затем ее владельцы научились получать арендную плату, которая увеличивалась по мере того, как росла стоимость городского пространства. Близость недвижимости к центру, рынку, вокзалу гарантировала наивысшую арендную плату, и с тех пор надежным способом увеличения стоимости земли стало строительство на ней зданий или дорог, каналов, железных дорог или аэропортов.

Книга Харви «Сознание и городской опыт» содержит один из немногих конкретных случаев развития городского пространства, включенных автором в большой корпус своих работ. Он ведет речь о масштабной перестройке Парижа, осуществленной бароном Османом при Наполеоне II. Если некоторые москвичи извели в полной мере горечь насильственных переселений в 1990—2000-е годы (см. раздел о джентрификации в главе «Город и глобализация»), то парижане, особенно

те, кто был причислен к «опасным классам» (в количестве 350 тыс. человек), были вытеснены из трущоб Монпарнаса и Ле Галля в середине XIX столетия. Осман проложил Большие бульвары по живой ткани города, став первым из модернистских планировщиков, воплотивших свое видение нового и лучшего города вопреки всему и всем и, как правило, не считаясь с интересами низов. Он построил театры для элиты, разбил несколько парков, но главное — обеспечил легкий доступ от жилых кварталов к местам культурного потребления. Рабочий же люд был вытеснен из города на периферию — туда, где в это время возводились большие заводы.

В работе «Пределы капитала» Харви проясняет Марксову теорию капиталистического способа производства, с тем чтобы осуществить исторический анализ процесса урбанизации при капитализме [см.: *Harvey*, 1982]. Используя труды французского неомарксиста Анри Лефевра, Харви сосредоточивается вначале на *первичном обращении капитала*, в рамках которого труд создает прибавочную стоимость. Рабочие придают ценность продукту, который продается капиталистом для получения прибыли. Воспроизводство труда и потребление товаров также осуществляются в рамках первичного обращения. Харви показывает, насколько сложнее современная капиталистическая политическая экономия. Маркс предвидел эту сложность, сформулировав понятие *сверхнакопления*. Капитализм склонен порождать кризисы в первичном обращении, состоящие в избытке капитала, который требует прибыльного вложения. Симптомами кризиса являются: 1) перепроизводство товаров; 2) неиспользуемые промышленные мощности; 3) увеличение числа безработных.

Кризис, разразившийся в западном мире в конце 1960-х — начале 1970-х годов, пришел на смену послевоенному буму, отмеченному почти полным отсутствием безработицы, заметным повышением благосостояния людей, победой профсоюзов в борьбе за социальные права. При этом — в Марксовых терминах — капитал продолжал сверхнакапливаться. Старая

техника не могла больше гарантировать высокой производительности труда и становилась убыточной. Рабочих не хватало. Борьба людей за гражданские права, как это ни парадоксально, подрывала уверенность в завтрашнем дне. Вложения в производство сократились. По мнению историка и социального теоретика Роберта Бреннана, причина «хронического» для капитализма перепроизводства, которое привело к этому кризису, — анархическое соревнование между компаниями [см.: *Brennan*, 2006]. Компании стран Юго-Восточной Азии в силу своей технологической продвинутойности оставили позади компании Европы и США, «застрявшие» в большом числе старых активов. Неолиберальные новшества привели к приватизации, дерегуляции и переносу производства из старых промышленных центров в регионы с дешевой рабочей силой. Это не значит, что попытки переструктурировать первичное обращение с тех пор прекратились. Напротив, пример японской промышленности (прежде всего автомобильной) побудил американских и европейских промышленников к «флексibiliзации»: вместо больших промышленных предприятий с иногда пожизненно нанятыми рабочими пришла «гибкая» рабочая сила, соединенная новыми формами электронной коммуникации, нанятая независимыми сетями подрядчиков и субподрядчиков.

Еще одна причина окончания послевоенного бума в начале 1970-х — резкое (в 4 раза) подорожание нефти. Те же самые тенденции, что погрузили российские города в спячку относительного брежневского благополучия, привели на Западе к отчаянным попыткам найти новые источники получения прибыли. Спекуляции на недвижимости стали главной находкой с конца 1970-х годов. Создание новых или реконструкция старых городских пространств в качестве мест потребления или развлечения — сегодня главный способ, каким капиталу удастся избежать кризиса и снижающихся прибылей. Опасность сверхнакопления в промышленном первичном обращении капитала на стадии индустриального капитализма была главной причиной переключения капиталистов в направлении

кратковременных спекулятивных операций с землей и недвижимостью.

Городское пространство стало главным способом «фиксации» капитала. Присущая капиталу тенденция ускорять время своего обращения и уничтожать пространственные препятствия своей циркуляции обуславливает создание относительно стабильных и неподвижных пространственных образований. Каждая фаза капиталистического развития укоренена в особой форме территориальной организации — «второй природе», состоящей из инфраструктуры (включающей транспорт, иные коммуникации, институты управления и так далее), через которую капитал может циркулировать [см.: *Harvey*, 2006]. Этот момент территориализации (который Харви называет *пространственной фиксацией* — *spatial fix*) возможен за счет долговременных инвестиций в землю и постройки, которые в ходе каждого кризиса накопления переоцениваются. Это причина, по которой изменяющиеся формы урбанизации и территориальной организации государства при капитализме попадают в ловушку пространственно-временных противоречий капиталистических отношений. Динамика развития капитализма обуславливает в городах беспрестанное строительство нового, разрушение существующего и его перестройку. Пространственная «фиксация» есть попытка вернуть капиталу его прибыльность, что выражается в новой конфигурации капитала и городского пространства, которая возникает после каждого кризиса. Пространство — абсолютное условие всего производства и всего потребления, и оно должно все активнее расширяться, чтобы соответствовать логике капиталистического роста. Но пространство может стать и барьером на пути получения прибыли и капиталовложений. Наружный покров городского пространства периодически должен «сбрасываться» и вырастать заново. Пространственная фиксация связана с двумя другими вариантами обращения капитала — вторичным и третичным. Капитал инвестируется во вторичное или третичное обращение (или в комбинацию того и другого). Вто-

ричное обращение — вложения в физический капитал, которые после некоторого времени начинают приносить прибыль. Вторичное обращение предполагает также вложения в новые формы потребления. Так, ТВ и телекоммуникационные компании, вложив серьезные деньги в покупку спутников, получают хорошую прибыль. Коммерческий туризм также представляет собой вариант таких инвестиций. Как это видно из схемы Харви, вложения во вторичное обращение делаются игроками рынка и правительствами — теми, кто способен обеспечить так называемый фиктивный капитал (облигации, ваучеры, ценные бумаги, государственные обязательства). Это нужно для того, чтобы вложения, сделанные в один тип товара, были достаточно «подвижными» для перенесения в другой тип товаров. Харви отстаивает идею, что земля — форма фиктивного капитала — это чистый финансовый актив, тесно связанный с циркуляцией приносящего проценты капитала. Соединяя ее с марксистской концепцией накопления, сверхнакопления и кризиса, Харви дает подробный анализ денег, финансов, капитала и кредита. В основе — погоня за прибылью через вложение в городскую недвижимость.

После публикации книг Харви его идеи были развиты, в частности, в том направлении, что урбанисты проследили и подробно описали механизмы приватизации городского пространства. Места, прежде являвшиеся общественными, стремительно переходят в частное владение. В России эта тенденция проявляется, в частности, в том, что из-за резкого подорожания городской земли парки и скверы становятся лакомым куском для девелоперов. Так, в Екатеринбурге в 2005 году торговый центр (молл) «Парк-хаус» был возведен на территории любимого горожанами Основинского парка. О завершении строительства центра на его сайте говорилось так: «Активно благоустраивается прилегающая территория, завершается уборка и реконструкция рельефа Основинского парка, на аллеях которого сейчас заканчивается монтаж системы освещения. Готовится к открытию и сам “Парк-хаус”: в будущих тор-

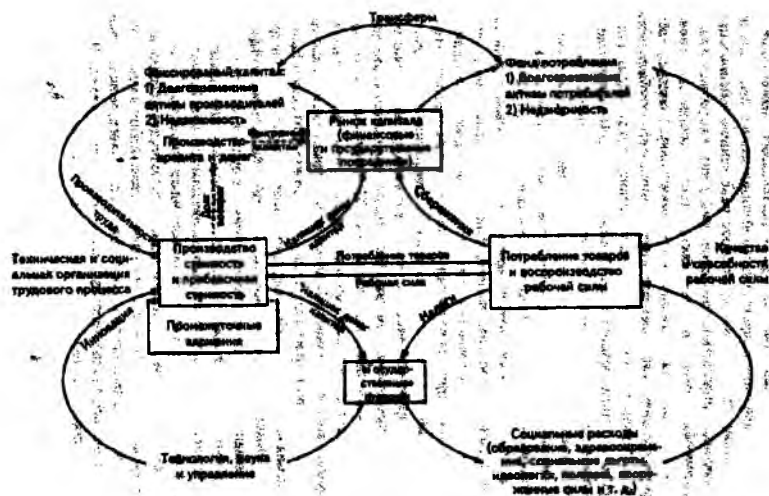


Схема Харви. Пути циркуляции капитала

говых галереях в три смены идут отделочные работы, торговые помещения передаются арендаторам. В здании начат монтаж технологического оборудования. В августе жителей столицы Урала встретит современный молл европейского уровня, который предложит богатый ассортимент товаров от мировых брендов, разнообразные услуги и развлечения, включая фуд-корт, восьмизальный кинотеатр, боулинг, детские аттракционы и игровые автоматы». Искусная риторика PR-сотрудников центра позиционирует присвоение территории парка владельцами центра как деятельность по улучшению городской среды, тем самым повторяя классический риторический прием тех, кому надо оправдать продолжающуюся во всем мире приватизацию городов. Он состоит в утверждении, что нам всем станет от этого лучше: города станут благоустроеннее, шопинг — удобнее, парки — ухоженнее, жизнь горожан — более «европейской». Еще одним примером этой тенденции является рекламная компания «Твой дом и твой парк», продвигающая в Екатеринбурге масштабный жилищный комплекс «Зеленая роща» с видом на небольшой одноименный парк, ценность которого в том, что он — в самом центре города. Территория парка по причине ее малости, скорее всего, этим строительством затронута не будет. Здесь в действиях промоутерской компании интересен другой момент: общественное место продается как частный символический актив, который, обещают рекламщики, будет принадлежать только обитателям будущего комплекса. Будет ли ограничен доступ горожан в Зеленую рощу — пока неизвестно, но, скорее всего, обещание девелоперов будет выполнено и еще один участок общей земли будет навсегда изъят из коллективного пользования.

По сравнению с другими вариантами инвестиций недвижимость оказывается наиболее выгодным вложением. Колебания процентной ставки накладывают отпечаток на географическую структуру капиталистических городов. Это проявляется в том, что образуется тесная связь между спросом и предложением финансового капитала и спросом и предложением зем-



Рекламный макет квартала «Зеленая роща»

ли. Низкая процентная ставка и избыток финансового капитала связаны с увеличивающейся стоимостью земли. Стремление получить максимум прибыли от недвижимости не только отражается в стоимости земли, но и стимулирует те способы ее использования, которые сулят наивысшую коммерческую отдачу. То, что к земле относятся как к чисто финансовому активу, создает городской ландшафт, в центре которого — марксовский цикл производства, обмена, распределения и потребления. Цены на землю определяют действия девелоперов (кстати, русский *Google* выдает около 2 млн ссылок на это слово).

Какой бы притчей во языцех ни был абсурд московского рынка недвижимости, спекулятивный характер земли и недвижимости присущ всем капиталистическим городам. Проницательный инвестор находит лучший момент для вложения капитала в землю, создавая тем самым материальную основу для получения в будущем более высокой, дифференциальной ренты. Городское пространство оказывается крайне зависимым от колебаний процентной ставки и тенденций развития глобальной экономики. Высокая процентная ставка означает высокую стоимость кредитов, низкий спрос на офисную недвижимость и в целом снижение прибыли от недвижимости. Сверхвложения в сектор недвижимости подвергаются «дисциплинированию» со стороны законов экономики. Реальный капитал «дисциплинирует» фиктивный капитал через перенасыщение товарами, резкий спад производства и обесценивание. В секторе недвижимости эти тенденции проявляются следующим образом: владельцы офисных зданий, квартир, жилищных комплексов терпеливо ждут, пока финансовая ситуация станет более благоприятной.

Подытожим. Харви выделяет следующие характеристики капиталистической урбанизации:

- 1) государственное регулирование классового конфликта;
- 2) создание городской среды как предназначенной для элиты;
- 3) создание рынка земли и недвижимости, увязанного с глобальной финансовой ситуацией;

4) городское пространство — главный источник прибыли и возможный барьер на пути ее получения.

Изменение экономической роли городов при «позднем» капитализме

В наши дни два ключевых фактора изменили экономическую роль городов: нарастание мобильности труда и капитала и то, что города (по крайней мере, западные) в течение последних тридцати лет перестали быть местом индустриальной экономики. Деиндустриализация — сокращение доли промышленного производства в экономике развитых стран — приводит к тому, что, во-первых, индустриальная экономика сменяется постиндустриальной (основанной на IT и сервисе); во-вторых, промышленное производство переносится из развитых стран в развивающиеся; в-третьих, заводы-гиганты уступают место небольшим фабрикам, где трудятся высококвалифицированные рабочие. В центре городской экономической активности сегодня находится сервис. Покупателей и горожан обслуживают в торговых и развлекательных центрах, сосредоточивая прибыль в банках и страхуя ее в страховых компаниях. Помимо сервиса, с которым, как правило, и связывают постиндустриальный характер современного города, можно выделить еще несколько видов экономической активности, местом которых традиционно являются города. Это торговля: город — центр коммерции, распределяющий товары и сервис. Город — это место производства. В центре производства сегодня могут лежать знания, инновации, мода, исторические традиции, необходимость снабжать горожан едой и мебелью. Город — это центр неформальной экономики: здесь представлен весь спектр полулегальных, нелегальных и преступных занятий, людей, не вписавшихся в мейнстрим [см.: *Castells*, 1989].

Отношение урбанистов к связи города и экономики неоднозначное. Критически настроены британские теоретики

Аш Амин и Лорен Грэхем. Они указывают, во-первых, на дороговизну городской земли и недвижимости, перенаселенность городов и перегруженность городской инфраструктуры, что проявляется в автомобильных пробках, недостатке доступного жилья, больших классах в школах [см.: *Amin, Graham, 1997*]. Все это представляет собой экономическое бремя, налагаемое городом как на бизнес, так и на обитателей города. Во-вторых, депрессивные районы, в которых сосредотачиваются маргиналы, являются местом беспорядков. Американские города нередко называют местом, через которое просачиваются экономические ресурсы: социальная политика субсидий, направленных на «невписавшихся», экономически непродуктивна.

Другие авторы, и среди них американский географ Дэвид Харви (идеи которого мы уже рассмотрели), считают, что все еще возможно считать города центром экономической активности. Большая группа авторов доказывает, что сочетание (агломерация) разных видов экономической деятельности в городах дает последним серьезные преимущества. Еще в 1920-е годы экономист Альфред Маршал отметил три ключевых фактора агломерации: концентрация квалифицированного труда, способствующая передаче знаний, умений и информации, наличие развитой сети вспомогательных фирм, обеспечивающих приток товаров и сервисов, и географическая близость, способствующая контактам лицом к лицу, установлению доверия и обмена информацией. Если в городах стран Запада, повторим, перестали размещать промышленные предприятия и открывать новые заводы, то эти тенденции проявляются в странах Азии, где, как, например, в Шанхае, продолжают создаваться агломерации промышленных предприятий. Что же сохраняет экономическое «лицо» западных городов? По мнению Аша Амина, можно выделить три аргумента в пользу сохраняющейся экономической значимости городов [см.: *Amin, 2000*]. Во-первых, это то, что преимущества городских агломераций продолжают перевешивать их недостатки. Во-вторых, то, что города продолжают играть роль в обмене и

передаче информации, что особенно значимо для современной экономики. В-третьих, города — узлы глобальной экономики (см. об этом отдельную главу).

Сдвиг, происшедший в последние три десятилетия, — выход ряда работ, способствовавших пониманию того, что отношения между экономикой и всем остальным в городах вряд ли есть смысл понимать в стиле вульгарного марксизма, по принципу «первичное — вторичное». Сегодня отношения между экономикой и культурой мыслятся как взаимно конституирующие, что получило отражение в таких понятиях, как *символическая экономика* или *культурная экономика* городов.

Шарон Зукин о символической экономике

Город сегодня представляет собой место, в котором возникают новые варианты сочетания экономики и культуры. Для городов культура — бизнес, а культурная экономика — значимый сектор экономики в целом. Это связано с тем, что капитализм сегодня, возможно, находится на такой фазе развития, когда культурные формы оказываются встроенными в производительную деятельность, а культура в целом подвергается различным вариантам коммерциализации и коммодификации. Производство и маркетинг товаров и услуг предполагают наделение их эстетическими и семиотическими чертами, а в целом они оказываются предметами символической экономики.

Понятие *символическая экономика* ввела американский урбанист Шарон Зукин. В книге «Обитая в лофтах» она рассмотрела коммодификацию городских мест, их функционирование в качестве мест потребления [см.: *Zukin*, 1989]. Она отметила, что такие города, как Нью-Йорк, начинают потреблять сами себя — в качестве города-мира, воплощающего все лучшее и интересное, что есть на земле. Предметом ее рассмотрения были богемные районы Нью-Йорка, их использование девелоперами в качестве магнита для состоятельных клиентов и

последующее вытеснение первоначальных обитателей, которым стало не по карману жить в джентрифицированных районах Сохо и Челси. Само слово «лофт» возникло, когда фабричные постройки стали перестраивать под жилье, не без влияния основоположника поп-арта Энди Уорхола, чья «фабрика» находилась на Западной 47-й улице Манхэттена. Тогда же сложилась тенденция не членить просторные помещения на комнаты, позволяя наслаждаться целостностью обитаемого пространства и его гибридной природой (мастерская/квартира), отсылающей к мифам о художниках-авангардистах. Зукин даже ведет речь о своеобразном «художественном способе производства», который, с ее точки зрения, возник в Нью-Йорке в 1970—1980-е годы. Он состоял в переоценке зданий и улиц с точки зрения культурного потребления и исторической реставрации, использовании художественных практик как способа справиться с безработицей молодежи и создании нового набора ценностей, который фиксировал примат эстетических ценностей в отношении людей к городской среде. Практически эта тенденция выражалась в стремлении девелоперов увеличить ценность недвижимости за счет прибавления к ней художественной ценности, понимаемой в данном случае как поощрение поселения художников в бывших промышленных зданиях, предоставляемые им льготы на аренду жилья в том или ином квартале, с тем чтобы у квартала появилась хорошо продаваемая божественная аура. С тех пор подобные меры использовали коалиции городского правительства и частных девелоперов в английских городах Ньюкасле и Ливерпуле. В американском городе Джексон (штат Мичиган) городское правительство увеличило привлекательность перестраиваемого района (в центре которого была заброшенная государственная тюрьма), предложив художникам мастерские и квартиры в прилегающих к ней промышленных зданиях.

В книге «Культура городов» Зукин исследует символическую экономику Манхэттена, сосредоточиваясь на отдельных его



**Сегодня в Челси и Сохо художники лишь продают
свои картины — жить им там уже не по карману**

местах как примере пересечения обращения капитала и обращения культуры, таких как Брайант-парк, расположенный недалеко от Публичной библиотеки на Шестой авеню [см.: Zukin, 1995]. В 1930—1980-е годы парк пользовался сомнительной репутацией как место торговли наркотиками. В 1981 году городские власти пригласили урбаниста Уильяма Холи Уайта и организацию «Проектирование публичных пространств» для разработки проекта его реконструкции. По проекту предполагалось превращение парка в более открытое место, строительство в нем кафе и киосков и так далее. Одновременно была создана Корпорация реставрации Брайант-парка, которая провозгласила своей целью сохранение присущей парку атмосферы оазиса среди небоскребов и функциональную его переориентацию, с тем чтобы другие люди и по-другому могли его использовать. В парке стали организовывать кинофестивали, бесплатные концерты под открытым небом, показы мод. Он стал популярным местом отдыха работающих в Мидтауне деловых людей. Еще одним новшеством стали усиленная охрана и многочисленный персонал, хорошее освещение, несколько табличек с правилами поведения. Это помогло справиться с преступностью и вандализмом: если в 1979 году в парке произошло 150 ограблений, то после реконструкции — только одно: слишком хорошо он теперь охраняется и слишком был открыт и многолюден. Вложения в парк с лихвой оправдались: он не только стал популярным местом отдыха, но и увеличил привлекательность прилегающего района, став важным компонентом его маркетинга. Это пример того, как местный бизнес, по сути, создал популярное культурное место. Если вместо баскетбольных площадок вы построите теннисные корты, если отводите «нежелательных» людей повышенной видимостью охраны, если глухие заборы вокруг парка снесете, но поставите оградки вокруг детских и собачьих площадок, достойные люди сюда придут. Зукин называет эту стратегию *умиротворение с помощью капучино* (*pacification by cappuccino*). Она анализирует этот случай, понимая неизбеж-



**Хитрости джентрификации не мешают сотням людей
найти в Брайант-парке приют в жаркий полдень**

ность появления все новых коалиций городского развития и все новых стратегий маркетинга городов. Присвоение конкретного парка капиталом — частный случай продолжающейся апроприации городов, когда музеи и галереи, концертные залы и филармонии работают на «символическую экономику» городов, «продавая» города как местным (прежде всего состоятельным) обитателям, так и туристам.

Культурная экономика городов

Какие же условия города способствуют производству коммодифицированных (произведенных на капиталистических предприятиях для получения прибыли в условиях рыночной экономики) *культурных продуктов*? Такого рода продукты предназначены прежде всего для развлечения, но также для коммуникации, саморазвития, украшения, утверждения и повышения социального статуса. Они могут быть «чисто» культурными (книга или CD) или сочетать культурное и утилитарное измерение (мебель, одежда). Скотт Лэш и Джон Урри показали, что современный, так называемый поздний капитализм отличается тем, что значимость культурного измерения товаров и услуг нарастает (соотношение между утилитарным и символическим меняется в пользу второго), а те секторы экономики, которые производят такого рода продукты, выдвигаются на передний план [см.: *Lash, Urry*, 1994].

Простой факт состоит в том, что фирмы, производящие такие культурные продукты с повышенным содержанием символического компонента, сконденсированы в больших городах. Размещение фирм в больших городах имеет то преимущество, что здесь сосредоточены высококвалифицированные, способные к инновациям специалисты. Географ Алан Скотт называет большие города *креативными полями*, объединяющими культурную и экономическую жизнь [см.: *Scott*, 2000]. Неважно, в бизнесе или культуре осуществляются инновации,

но ряд городов действительно демонстрирует беспрецедентную концентрацию творческой энергии: Париж 1880-х годов (пик импрессионизма) или Вена рубежа XIX—XX столетий (родина психоанализа и атональной музыки), Манхэттен 1950-х (рождение абстрактного экспрессионизма), Ланкашир, в котором произошла революция в текстильной промышленности, или известная всем Силиконовая долина (передовой край развития IT). Говорим ли мы сегодня о Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, Милане или Токио, сети инноваций, сложившиеся в этих городах, воспроизводятся, способствуя поддержанию существующей специализации, будь это звукозаписывающая индустрия, кинематограф или мода. Что же именно делает города креативными полями?

Во-первых, в таких городах живут сообщества профессионалов, зарабатывающих на жизнь в рамках каких-то местных производств или ремесел. Различные ремесла или производства редко распределяются более или менее пропорционально по всему континенту — напротив, они имеют тенденцию концентрироваться. За городами закрепляется та или иная специализация в производстве культурных продуктов. Соответственно, сети профессионалов, обитающих в том или ином городе, — копилки уникального *know how*, умений и навыков, то есть особой встроенной в их тела чувствительности к тому, что надо производить, как и когда. Флорентийские кожевники и бумажных дел мастера, венецианские стеклодувы, миланские дизайнеры, неаполитанские изобретатели и виртуозы пиццы — это примеры специализации только итальянских городов. Сообщества профессионалов привлекают неофитов, которые понимают, что, только находясь в центре того или иного ремесла или производства, имея доступ к мастерству, передаваемому из рук в руки, они достигнут необходимого уровня. Для начинающих художников таким центром будет Париж или Нью-Йорк, сценаристов — Лос-Анджелес, дизайнеров — Лондон, программистов — Силиконовая долина или Кембридж в Бостоне, где размещается MIT.



Школа кожевного мастерства во Флоренции

Во-вторых, стремительная циркуляция информации в социальных сетях больших городов, интенсивность и разнообразие контактов способствуют тому, что одни репутации рушатся, а у других есть шанс быть выстроенными, что способствует постоянному пересмотру критериев и норм, в соответствии с которыми определяется то, что востребовано и хорошо продается. Нельзя также сбрасывать со счетов и традиции разделения труда между теми, кто входит в сложные сети по созданию и продаже культурных продуктов. Нет художника без галериста, нет модели без владельца агентства, нет архитектора без архитектурного бюро. Журналисты, критики, спонсоры, литературные агенты, кураторы, владельцы галерей, издатели — все они разными способами участвуют в создании и продвижении тех или иных артефактов.

В-третьих, в городах — и как результат сознательно проводимой политики, и стихийно — воспроизводятся сообщества профессионалов, создающих те или иные культурные продукты. Иногда местные власти предпринимают ряд мер (в частности, различные схемы частного и государственного партнерства), чтобы сделать свой город хай-тек-центром или чтобы через специализированные школы и центры переподготовки обеспечить воспроизводство квалифицированной и узкоспециализированной рабочей силы.

Креативные индустрии и креативный город

Связь города и творчества (или креативности, как предпочитают сегодня выражаться) давно привлекает внимание пишущих о городе людей. Урбанист Питер Холл в книге «Города в истории цивилизации» исследует взлеты креативности в различных городах мира, когда те находились на пике развития, — от Афин Перикла до современного Лондона [см.: *Hall, 1998*]. Главный тезис Холла в том, что креативность — условие городского образа жизни, потому что городская жизнь не-

возможна без творческого решения городских же проблем. Но что делает возможным золотой век того или иного города? И почему взлет искусств и инноваций, которым отмечена история почти каждого из великих городов, столь недолговечен? Обращаясь к Флоренции и Парижу, Вене и Сан-Франциско, Лос-Анджелесу и Токио, Холл вспоминает античные идеи «хорошей» или «счастливой» жизни, которые возникли в условиях достаточной праздности мыслителей. Иными словами, жизнь на грани выживания и сосредоточенность лишь на неотложных практических проблемах не способствует возникновению искры творчества. Второе условие — готовность населения поддерживать творцов и вкладываться в творческие проекты. В Афинах на общественные деньги были возведены здания, часть которых дожила до наших дней. В Риме и Лондоне поддержка общественности позволила усовершенствовать городскую инфраструктуру. В итоге не только, говоря словами поэта, «в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима», но и электросистемы и канализация стали своеобразными памятниками эффективного использования общественных денег. Третье условие — отсутствие авторитарных или тоталитарных политических режимов. Тогда появляется возможность восстания против существующего порядка, будь это консерватизм художников-академиков (так, по Холлу, появился импрессионизм), мужской шовинизм (суфражистское движение), непомерная эксплуатация рабочих (профсоюзы) и так далее. Четвертое условие — оригинальность решения проблем данного города. Пятое — эти города привлекали творческих людей самого разного толка: технологов, строителей, революционеров, мыслителей, а не только художников. Тем не менее одни города стали центрами художественных и культурных инноваций — Афины золотого века, ренессансная Флоренция, елизаветинский Лондон, Вена Габсбургов, Париж времен Бель Эпок, Берлин времен Веймарской республики. Все эти города объединяет: 1) стремительное накопление капитала; 2) концентрация амбиций людей; 3) культурное разнообра-

зии; 4) новые модели кооперации представителей разных классов (аристократов и деловых людей); 5) развитая инфраструктура, включающая изобилие мест для установления и поддержания контактов — салонов, кафе и так далее; 6) статус столицы. Другие города — Манчестер, Глазго XIX века, Детройт периода расцвета автомобилестроения, Силиконовая долина и Токио — стали инновационными центрами в сфере бизнеса и технологий. Что позволило этим городам стать питательной средой для инноваций? Все эти города объединяет: 1) присутствие харизматичных личностей (например, Генри Форда); 2) отсутствие статуса столицы, а потому привлекательность для аутсайдеров и не столь выраженное иерархическое распределение возможностей; 3) общий дух творческого разрушения. Третья группа городов (Лос-Анджелес и Мемфис) успешно соединила искусство и технологию для создания влиятельных направлений массовой культуры. Голливуд возник как результат технологизации искусства кино. Мемфис, штат Теннесси, расцвел после того, как именно там была изобретена звукозапись, сложились блюзовая и рок-н-ролльная музыкальные традиции; кроме того, этот город — родина Джона Ли Хокера, Джонни Кэша, Элвиса Пресли. Наконец, четвертая группа городов знаменита социальными инновациями, отразившимися в их физической структуре (Рим, Нью-Йорк, Париж, Лос-Анджелес) и в политике (Стокгольм и Лондон времен королевы Елизаветы). Учитывая, что естественным состоянием городов является скорее дезорганизация, те города, которые предложили удачные модели самоорганизации, останутся в истории с той же вероятностью, что и столицы искусств. В самом деле, проблемы доставки в город чистой воды или налаживание сотрудничества между совершенно разными людьми требуют, возможно, еще большей степени креативности, чем те занятия, которые мы привычно с этим качеством ассоциируем.

В дискурсе менеджеров, политиков, а также ряда урбанистов креативность означает способность людей создавать продукты, отмеченные культурными или художественными досто-

инствами. Термин *креативные индустрии* (*creative industries*) описывает разнообразные варианты соединения художественных практик и медиаиндустрии, нацеленные на получение прибыли за счет создания и использования интеллектуальной собственности. К таковым относят рекламу, архитектуру, искусство, антиквариат, киноиндустрию, дизайн, программирование для образования и развлечения, музыку, театр, телевидение и радио. К креативным индустриям относят также здания и организации, обеспечивающие *коллективное культурное потребление*: музеи, галереи, библиотеки, концертные залы, театры, находящиеся либо в государственном, либо в частном владении.

Креативные индустрии составляют значительный (и в западных странах быстро расширяющийся) сегмент капиталистической системы. Свежая статистика на этот счет недоступна, но тенденция очевидна: это в больших городах наиболее велико число занятых в креативных индустриях. В США свыше 50 % занятых в них работников сосредоточено в городах с населением 1 млн и выше, а из них наибольшее число — всего в двух городах — Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (см. таблицу 1 [Evans, 2001: 158]).

В Лондоне работает до 30 % всех английских «креативных» специалистов. Объясняется это тем, что для создателей культурных продуктов типична высокая концентрация, часто близости от деловых районов города. Кинопроизводство Голливуда, медиаиндустрия Манхэттена, производство одежды в Париже, издательский бизнес Лондона — примеры подобной концентрации. Рынок распространения таких продуктов может быть чрезвычайно широк, но их производство требует от всех участников нахождения в одном городе или даже районе. Другой момент, отличающий культурную продукцию, — то, что ее значительная часть должна быть и «потреблена» также на месте, близости от того места, где она сделана. Это театральные премьеры, вернисажи, концерты, обеды от знаменитых

Таблица 1

Занятость в креативных индустриях Нью-Йорка

Сектор	Всего занято, тыс. чел.
Кинопроизводство	41
Актеры	15 (40 % от общего числа американских актеров)
Музыканты	14 (из них 4 активно концертирующих)
Книгоиздание	12
Кинотеатры	3
Занятые в визуальных искусствах	7
Писатели	4
Танцоры	2
Занятые в графических искусствах	2
<i>Всего</i>	<i>100</i>

шефов. Не удивительно поэтому, что театры и рестораны, концертные залы и музеи концентрируются опять-таки в больших городах, население которых и составляет главных потребителей культурных продуктов.

Общая тенденция современного производства и маркетинга товаров (наделение их эстетическими и семиотическими чертами) здесь проявляется особенно ярко. Убеждение, что «креативные индустрии» способны создавать рабочие места и приумножать капитал, распространено практически повсеместно. В рассуждениях на этот счет, как правило, соединяются понятия экономики знаний, постиндустриального общества, инноваций, автономии, креативного класса (автор последнего — американский экономист Р. Флорида). В политике больших и малых городов, а также стран в целом эти индустрии мыслятся как спасение от деиндустриализации, безработицы, недостатка финансирования. В 1980—1990-е годы эта тенден-

ция, среди прочего, проявилась в том, что ряд европейских городов — Кельн и Глазго, Болонья и Валенсия, Гренобль и Реймс — организовали собственный маркетинг в качестве европейских культурных городов.

Кроме этого, стимулирование креативности в английских городах проявляется в создании *культурных, или творческих, кварталов* (таких, как Квартал культурной индустрии в Шеффилде, Культурный квартал в Стоуке, Медиаквартал в Бирмингеме). Слово «квартал» эквивалентно используемому экономистами понятию *кластера* — группы близких по характеру продукции предприятий, расположенных в одном месте. В культурных кварталах объединены бизнесы, связанные с кино, музыкой, наукой и так далее. Так, в Шеффилде в такой квартал входят кинотеатр «Шоурум», детский центр, несколько больших кафе и баров, факультет медиа, общежитие и бизнес-центр Университета Халам, медиамузыкальная студия «Ред Тэйп», ночные клубы «Лидмилл» и «Спезминт райно», Студенческий клуб, Национальный центр популярной музыки, Театральный центр. Администрация Шеффилда приняла решение создать такой квартал в начале 1980-х годов с целью сделать медиаиндустрию и культурную индустрию частью экономического возрождения города. Музыкальная студия «Ред тэйп» стала первой в Англии муниципальной студией. Многие медиакомпании и культурные организации города настолько в то время заинтересовались этим проектом (поскольку нуждались в подходящих для своей деятельности площадях), что правительство, объявив о создании Квартала, стало постепенно перестраивать находящиеся в его собственности старые здания. Так появились Центр аудиовизуального предпринимательства, другие помещения, стоимость от аренды которых правительство пускало на продолжение работы студии «Ред Тэйп». Такая модель перекрестного субсидирования с тех пор используется в ряде городов для поддержки некоммерческой и культурной деятельности.

Европейский город культуры как бренд

В 1980-е годы, когда деиндустриализация захватила большинство европейских городов и традиционные отрасли промышленности утратили и экономическое и символическое значение, министр культуры Греции предложил организовать соревнование городов за право называться Европейским городом культуры. Афины первыми получили это право в 1985 году, за ними в 1986 году последовала Флоренция, в 1987-м — Амстердам, в 1988-м — Западный Берлин, в 1989-м — Париж, в 1990-м — Глазго, в 1991-м — Дублин, в 1992-м — Мадрид, в 1993-м — Антверпен, в 1994-м — Лиссабон, в 1995-м — Люксембург, в 1996-м — Копенгаген, в 1997-м — Фессалоники, в 1998-м — Стокгольм, в 1999-м — Веймар. Популярность соревнования и престижность включения в сеть европейских городов культуры были такими, что в 2000 году были избраны сразу девять городов (среди них Рейкьявик, Прага и Краков, то есть город страны — не члена ЕС и города только что присоединившихся стран). В 1999 году этот титул был изменен на звание Европейской культурной столицы. Включение новых стран — членов ЕС было отмечено провозглашением в 2007 году Европейской культурной столицей румынского города Сибиу.

Включенность городов в национальную, континентальную и мировую экономику вынуждает их строить свою культурную политику с учетом взаимоналожения различных уровней их экономической зависимости. Так, деятельность Европейского союза по созданию общей европейской идентичности стран-членов именно городскую культуру сделала передовым краем перемен и капиталовложений. При этом капиталовложения Союза распространяются лишь на некоторые европейские города — те, которые получили право называться Европейским городом культуры. Города включились в активное соревнование за ресурсы Европейского союза, которые вкладываются в восстановление архитектурных сооружений, развитие туризма, поддержку местных ремесел и так далее — вне учета нацио-

нальной и даже городской экономической и культурной политики. Иными словами, какое бы видение собственного развития иной европейский город ни имел, он вынужден включаться в это соревнование: есть шанс получить средства на развитие хотя бы той части его культуры, которая по тем или иным причинам важна для общеевропейских целей. Так, в румынском Сибиу реконструкции была подвергнута «европейская» часть города, связанная с некогда существовавшей там большой немецкой колонией. Так и сосуществуют в нем небольшой и неотличимый от множества городов Центральной Европы, предназначенный для туристов центр и разрушающийся, страдающий от недостатка финансирования реальный город — со следами социалистического прошлого и крестьянского настоящего.

Эта тенденция интересна тем, что, сознавая ограниченность своих возможностей перед лицом непреложного факта (люди творческих профессий всегда концентрировались в больших городах, и сегодня это для них важно более, чем когда-либо), правительства малых городов все же не теряют надежды и создают в своих городах пространства, привлекательные для «креативщиков», активно, кстати, используя возможности местных вузов. Каждый город претендует на то, чтобы быть «креативным». Объяснение этому — «дыры», оставленные в ткани почти любого города пустующими заводскими корпусами, преимущества, которые получают те города, которые смогли стать местами IT и других новых видов производства. Автор бестселлера «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» американский экономист Ричард Флорида считает, что в мировом соревновании выигрывают те города, которые способны продуцировать новые деловые идеи и коммерческие продукты [см.: *Florida, 2002; Флорида, 2005*]. Эта способность зависит от концентрации творческих людей — креативного класса. Съезжаясь в Сан-Франциско, Остин, Сан-Диего, Бостон, Сиэтл (первые пять в списке креативных горо-



**За приукрашенным центром Сибиу—
крестьянский город**

дов Америки, составленном Флоридой), именно эти люди превращают города в привлекательные для многих. Флорида считает, что креативный класс концентрируется не там, где есть высокооплачиваемая работа, но в центрах креативности. Если учесть, что понимание им креативного класса весьма расплывчато (до 30 % его составляют рабочие, большинство — «креативные профессионалы», то есть те, кто занят в менеджменте, бизнесе, финансах, праве, медицине, и есть еще «суперкреативное ядро», образованное теми, кто занимается компьютерами, математикой, архитектурой, инженерным делом, социальными науками, образованием, искусством, дизайном, спортом, медиа и индустрией развлечений), не совсем понятно, в борьбу за привлечение каких именно «талантов» (по Флориде, синоним творческих людей) города должны включаться. Флорида участвует в экономической реабилитации городских центров, побуждая раздумывающих о новом месте жительства людей выбрать в пользу города, а не пригорода. Но информационный шум, который он создает вокруг этой проблемы, заявляя, что выбор человеком места жительства — одно из важнейших решений в жизни (этому посвящена его книга «Кто твой город»), вуалирует то обстоятельство, что большинством людей этот выбор совершается из достаточно узкого круга возможностей и что он экономически, политически и так далее ограничен [см.: *Florida*, 2008].

«100 (самых) креативных»

Перечни всего «самого-самого» крайне популярны в наши дни, и перечень «креативных» городов, составленный Р. Флоридой, был обречен на успех. Флорида известен еще и как автор понятия *креативный класс*. Он не ограничился его теоретической проработкой, но организовал весной 2003 года встречу американских представителей креативного класса, предположительно номинированных от различных регионов. В ней уча-

ствовали экономисты — авторы книг, популяризирующих различные варианты «экономики различий» (Джо Котрайт), художественные директора музеев современного искусства, журналисты, главы корпораций, PR-специалисты и так далее. Группа получила название «The Creative 100» («100 (самых) креативных») и написала так называемый Мемфис-манифест, который, как ожидалось, должен был стать руководством к действию городских властей, девелоперов, культурных институтов. Флорида впоследствии с успехом огласил манифест на конференции мэров американских городов в Вашингтоне, усилив повсеместную ныне тенденцию — старания городских властей прославить свои города как центры инноваций, привлекательные для креативного класса. Во время встречи активно использовалось выражение *креативная экосистема*. Имелся в виду идеальный город, с изобилием искусств и культуры, бурной ночной жизнью, оживленным центром, множеством открытых и зеленых мест, уютными жилыми кварталами и разнообразными обитателями, разнообразно стимулирующими друг друга на продуцирование все новых творческих идей.

Мемфис-манифест

100 (самых) креативных нацелены на помощь сообществам в полной реализации творческих идей, поощряя следование этим принципам:

1. Культивируй и вознаграждай креативность. Каждый — член цепочки приращения креативности. Креативность возможна везде и в любое время, сейчас и рядом с тобой. Не пропусти.

2. Инвестируй в креативную экосистему. Креативная экосистема может включать искусство и культуру, ночную жизнь, обилие музыкальных концертов, рестораны, художников и дизайнеров, инноваторов, антрепренеров, доступные пространства, приятные жилые кварталы, духовность, образование,

плотность, общественные места и третьи места (термин Рэя Олденбурга: не дом (первое место человека) и не работа (второе), а что-то третье (вроде паба), куда приходишь поболтать, увидеть знакомых, пропустить рюмочку, обменяться новостями. — *Е.Т.*).

3. Прими разнообразие. В нем исток креативности, инновации, позитивного экономического воздействия. Разнообразие идей, выражений, талантов и точек зрения, обогащающих сообщества, создается людьми разного происхождения и образования. Так идеи процветают и создают жизнеспособные сообщества.

4. Выращивай творческих людей. Поддерживай тех, кто объединяет и связывает. Кооперируйся, чтобы по-новому участвовать в соревновании и всех включить в игру.

5. Цени риск. Преврати климат, в котором царит «нет», в «да»-климат. Инвестируй в создание возможностей, а не просто в решение проблем. Используй креативные талант, технологию и энергию для твоего сообщества. Бросай вызов общепринятому.

6. Будь подлинным. Определи, какую ценность ты вносишь, и сосредоточься на тех активах, которые делают тебя уникальным. Смей отличаться, а не походить на другое сообщество. Сопротивляйся монокультуре и однородности. Каждое сообщество может быть тем самым сообществом.

7. Инвестируй в качество города и основывайся на этом. Данности (климат, природные ресурсы, население) важны, но другие важные его характеристики могут быть созданы и усилены: искусство и культура, открытые и зеленые пространства, оживленный центр, учреждения образования. Это увеличит шансы сообщества, так как создаст для идей больше возможностей оставить след.

8. Устрани барьеры креативности: посредственность, нетерпимость, разобщенность, переезд людей в пригороды, бедность, плохие школы, исключительность, социальную деградацию и экологический кризис.

9. Возьми ответственность за перемены в твоём сообществе. Импровизируй. Меняй ситуацию. Развитие — это проект «сделай сам».

10. Добейся, чтобы у каждого, но особенно у детей, было право на креативность. Непрерывное образование высокого уровня — условие формирования и удержания креативных индивидов как ресурса сообществ (URL: <http://www.memphismanifesto.com>).

Потребление в городах

Сдвиг к массовому потреблению массово произведенных товаров произошел в большинстве западных городов в начале XX столетия. Его связывают со строительством автомобильных заводов Генри Форда. Введение промышленником новой рациональной конвейерной организации труда (получившей название фордизма) позволило делать и продавать большое число доступных автомобилей. За первые двадцать лет существования заводов Форда (1908—1928) было продано свыше 15 млн машин. Это начало массового потребительского рынка. В его основе — три главных условия: 1) достаточно высокая зарплата (позволяющая покупать товары потребительского рынка); 2) система потребительских кредитов, позволяющая выплачивать стоимость покупки (и проценты) в течение долгого времени; 3) идеология, которая потребление ставит в центр жизни человека.

В каких городских местах осуществляется потребление? Это улица. Это магазин. Это торговый центр. И наконец, это дом.

Шопинг неразрывно связан с городским пространством (и с пригородами, где расположено немало число торговых центров). Вместе с растущей популярностью интернет-шопинга именно магазины и практика «реального» шопинга создают сегодня городскую жизнь. Можно сказать, что магазины в значительной степени и образуют современное городское про-

странство: что еще мы сегодня ассоциируем с центром города? Не случайны мнения, согласно которым шопинг — это единственный возможный сегодня вариант публичного времяпрепровождения, а торговые центры превратились в самые популярные публичные места. Посещение магазинов, обмен сведениями о том, где можно купить что-то полезное, необычное и со скидкой, важны еще и в силу быстрых перемен на рынках товаров, которые одним из компонентов шопинга делают систематические и оперативные социальные интеракции. Чего стоят одни лишь «исследования», проводимые в Сети, в особенности на потребительских форумах, что предваряют сегодня большинство покупок! Если в ходе онлайн-потребительских дискуссий люди в основном высказываются как рачительные эксперты, то, совершая покупки, они нередко оказываются захвачены собственными воображением и идеями о том, чего (в том числе этой ли вещи) они в этой жизни достойны.

Время, проводимое горожанами в торговых центрах, уступает только времени, которое они проводят дома и на работе (в школе). Некоторые центры стали туристскими достопримечательностями, как, например, *The Mall of America* в Миннесоте. Те торговые центры, которые расположены в центрах городов, часто соединены с отелями или квартирными комплексами. Торговые пространства (которые в России чаще называют «площадями») наводняют не только отели, но и вокзалы, аэропорты, офисные здания, больницы, что лишний раз подтверждает превращение шопинга в преобладающую сегодня практику.

Дизайн торговых центров подчинен интересам инвесторов, девелоперов, арендаторов, а эти интересы, в свою очередь, состоят в получении прибыли от продажи товаров. Центры строятся так, чтобы покупатели хотели в них возвращаться снова и снова. В отличие от других форм недвижимости, для которых характерно быстрое насыщение рынка и зависимость от общей экономической ситуации в городе и регионе, строитель-



Хиджабы на выбор в Старом городе Иерусалима

ство торгового центра — это надежное вложение капитала. В строительстве таких центров в пригородах обычно заинтересованы крупные игроки торгового рынка (цепи магазинов вроде *Macy's* в Штатах). А в городах от строительства центров выигрывают городские правительства.

Если в США и многих странах Европы строительство торговых центров в 1970—1990-е годы замедлилось, то российские города, особенно самые крупные, до начала глобального финансового кризиса в 2008 году находились на пике такого строительства. Среди причин, замедляющих строительство торговых центров, исследователи называют следующие: недостаток доступных площадей за городом и в центре, высокая стоимость возведения и использования, сокращение правительственных инвестиций в инфраструктуру, сопротивление местных сообществ, изменяющаяся демография покупателей и сегментация торговой индустрии. Девелоперы выходят из этой ситуации, реконструируя и расширяя старые торговые центры, интенсифицируя менеджмент или пытаясь выработать новые концепции торговых центров, такие как тематический шопинг или «горячий молл». Получение выгоды все сильнее зависит от продвижения имиджа торговых центров. Как правило, центры создаются крупными корпорациями или коалициями, объединяющими крупные магазины (*department stores*), строителей и девелоперов. Обычно эти корпорации включают государственные агентства и команды маркетологов, геодемографов, бухгалтеров, юристов, инженеров, архитекторов, специалистов по ландшафту, дизайнеров, специалистов по автомобильному движению. Сочетание разнообразных подходов и интересов в конечном счете возможно благодаря главному: необходимости максимизировать прибыль от данного торгового центра.

Американский географ Джон Гос специализируется на анализе семиотики торговых центров. Он проницательно отмечает: «Торговый центр кажется всем тем, чем он на самом деле не является. Он стремится быть общественным местом, даже если

он в действительности — частное владение, нацеленное на получение прибыли; местом для общения и отдыха, хотя он стремится извлекать доллары; он заимствует знаки других мест и времен, чтобы затушевать свою укорененность в современном капитализме. Торговый центр продает своим покупателям парадоксальный опыт: они могут пережить опасность в безопасности, столкнуться с “другим” как с хорошо знакомым, быть туристами не уезжая в отпуск, пойти на пляж посередине зимы и быть снаружи, оставаясь внутри. Это буквально фантастическое место... концептуализованное пространство, научно спланированное и реализованное через строгий технический контроль, притворяясь пространством, творчески созданным его обитателями. Торговый центр задуман элитарной наукой планирования, которая включает вычисление прибыли от торговли и применяет бихевиористские теории действия в целях социального контроля. Но, однако, часть его замысла — его маскировка в качестве популярного пространства, созданного спонтанными индивидуальными повседневными тактиками» [Goss, 1993: 40].

Госс пишет это, не просто абстрактно развивая идеи мыслителей франкфуртской школы, которые очень критически относились к обществу потребления. Он отмечает это в результате включенного наблюдения, осуществленного в крупнейших торговых центрах Соединенных Штатов, в частности уже упомянутого *The Mall of America*, открытого в 1992 году. Концентрируясь на вывесках, организации пространства, регуляции поведения посетителей, он использует семиотический анализ: показывает, как культурные значения конструируются посредством языка, образов, жестов, объектов. Можно спорить, насколько убедительно его понимание киоска хот-догов как фаллического символа или огромного обувного отдела универмага «Нордстром» с манящим запахом кожи и удачным освещением как игровой площадки для фетишистов. Однако исследователь прав, когда говорит, что блуждание по 520 магазинам центра, 22 тематическим ресторанам, не считая бес-

численных кафе фастфуда, совсем не обязательно должно пониматься как сдача без боя силам рынка. Он справедливо пишет, что задача критически настроенного социального исследователя не в том, чтобы грубо напомнить покупателю о реальности за пределами этого пространства, но в том, чтобы вместе с коллегами разобраться в том «потенциале мечты», который содержится в пространстве центра, и даже попытаться открыть в нем следы идей осмысленной жизни. Это очень продуктивная позиция. Прогулка по любому такому центру открывает разнообразие повседневных практик, которые осуществляются в нем людьми, — от поиска велосипедного рюкзака именно этой прославленной марки (действительно очень удобного) до семейного отдыха, от *window shopping*'а до охоты за товарами, выложенными на распродажу.

Бауман З. Индивидуализированное общество. Гл. 1. Возвышение и упадок труда. М.: Логос, 2005.

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: В 3 ч. М.: Языки славянской культуры, 2002.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.: В 3 т. М.: Весь мир, 2007.

Долгин А.Б. Экономика символического обмена. М.: ИНФРА-М, 2006.

Маркс К. Капитал: В 3 т. М.: Политиздат, 1983. Т. 1. Кн. 1.

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика XXI, 2005.

Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 2.

Amin A. The Economic Base of Contemporary Cities // A Companion to the City / Ed. G. Bridge, S. Watson. L.: Blackwell, 2000.

Amin A, Graham S. The Ordinary City // Transactions of the Institute of British Geographers. 1997. № 22. P. 411—429.

Arnold D. Re-Presenting the Metropolis: Architecture, Urban Experience and Social Life in London 1800—1840. Aldershot: Ashgate, 2000.

Brennan R. The Economics of Global Turbulence. L.: Verso, 2006.

Castells, M. et al (eds.) The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries. Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1989.

Cities and Consumption / Ed. M. Jayne. L.: Routledge, 2006.

Evans G. Cultural Planning, an Urban Renaissance? L.: Routledge, 2001.

Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. N.Y.: Basic Books, 2002.

Florida R. Who's Your City: How the Creative Economy is Making Where to Live The Most Important Decision of Your Life. N.Y.: Basic Books, 2008.

Goss J. The Magic of the Mall: Form and Function in the Retail Built Environment // Annals of the Association of American Geographers. 1993. Vol. 83, № 1. P. 18—47.

Goss J. Once-upon-a-time in the Commodity World: An Unofficial Guide to Mall of America // Annals of the Association of American Geographers. 1999. Vol. 89, № 1. P. 45—75.

Hall P. Cities in Civilization. N.Y.: Pantheon Books, 1998.

Harvey D. Social Justice and City. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1973.

Harvey D. The Limits to Capital. Oxford: Blackwell, 1982.

Harvey D. Consciousness and the Urban Experience. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1985.

Harvey D. Spaces of Global Capitalism. Towards a Theory of Uneven Geographical Development. L.: Verso, 2006

Lash S, Urry J. Economies of Signs and Space. L.: Sage, 1994.

Marcus S. Reading the Illegible // The Victorian City: Images and Realities / Ed. H.J. Dyos, W. Wolff. L.: Routledge, 1973.

Peffer R.G. Marxism, Morality, and Social Justice. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Scott A. The Cultural Economy: Geography and the Creative Field // Media, Culture, and Society. 1999. № 21. P. 807—817.

Scott A. The Cultural Economy of Cities: Essays on the Geography of Image-Producing Industries. L.: Sage, 2000.

Scott A. The US Recorded Music Industry: on the Relations Between Organization, Location, and Creativity in the Cultural Economy // Environment and Planning A. 1990. № 31. P. 1965—1984.

Zukin S. Loft Living. New Brunswick: Rutgers University Press, 1989.

Zukin S. The Cultures of Cities. Oxford: Blackwell, 1995.

ГЛАВА 6

Город и глобализация

Верно ли представлять себе мировую экономику как сумму «контейнеров» — государств, содержащих «контейнеры» поменьше — города? Теоретики глобальных городов пытаются доказать, что эта популярная картина уступает место другой, на первом плане которой — Нью-Йорк, Лондон и Токио и базирующиеся в них транснациональные корпорации, соединенные друг с другом разнообразными связями, в которые также вовлечены и не столь значительные города.

Изучение влияния глобализации на города в настоящее время представляет собой бурно развивающуюся исследовательскую индустрию. Урбанистика в ней соединяется с международной политической экономией и анализом мировых систем. С одной стороны, урбанисты анализируют мировые экономические сети, в которые включены (или нет) города. С другой стороны, специалисты по международной экономике рассматривают ее организацию в виде городов — командных пунктов экономики — и связей между ними. Схемы описания мировой экономики, в центре которых лежат отдельные государства и национальные экономики, в свете этих исследований обнаруживают свою недостаточность. Огромное количество появившихся в последние два десятилетия исследований глобальных городов (или городов, претендующих на этот статус) показывает, как связаны городская экономика и возникающая миро-

вая иерархия городов. Главные тенденции современного городского развития: деиндустриализация, расширение сфер сервиса и финансов, сегментация рынка труда, социальная поляризация, этнические конфликты, пространственная сегрегация — объясняются на основе обращения к динамике мировых экономических сил. Создаются такие варианты географии капитализма, которые отходят от «государствоцентричных» схем.

Города, несмотря на разнообразие функций, которые они в принципе способны выполнять, — от религиозных до военных, — со становлением промышленного общества оказались подчиненными одной функции — способствовать централизации капитала. Их размер и масштаб, как показал в своих исследованиях американский географ Нил Смит, задавались одним критерием — географическими пределами ежедневного перемещения рабочих из дома на работу и обратно [см.: *Smith*, 1990: 136—137]. Социальное разделение труда между производством и воспроизводством одновременно стало и пространственным разделением. Города представляли собой, иными словами, территориальную организацию социального воспроизводства труда. И, как это ни парадоксально, промышленные города воплощали прежде всего место для воспроизводства рабочего класса.

В 30—60-е годы XX века, когда преобладающей экономической политикой западных стран было кейнсианство, задачи социального воспроизводства рабочей силы выполняло главным образом государство. От жилья до транспорта, от социальных льгот до мест отдыха — государство в городах создавало условия воспроизводства рабочих. То, что в урбанистической литературе 1970-х получило название *кризиса городов*, отразило ту точку в развитии западных городов, когда нужды капиталистического накопления, превращение городов скорее в центры извлечения прибыли и потребления, чем в места воспроизводства, стали брать верх. Кризис городов мыслился именно как кризис социального воспроизводства.

Кейнсианство

Кейнсианство — экономическая теория Джона Мейнарда Кейнса, воплотившаяся в государственной политике большинства западных стран в 1930—1960-е годы. Ее суть — в акценте на государственном регулировании экономики. По Кейнсу, рыночная экономика не способна развиваться так, чтобы обеспечивать полную занятость. Накопление капитала встроено в ее функционирование, что делает совокупный спрос меньше совокупного предложения. Государство должно оказывать воздействие на совокупный спрос: финансировать из своего бюджета заказы предприятиям, увеличивать расходы на социальные нужды, увеличивать денежную массу, снижать процентную ставку, стимулируя тем самым инвестиционную деятельность. Государственный заказ предприятиям — дополнительный наем рабочей силы — повышение номинальной заработной платы — оживление потребительского спроса — рост предложения товаров и услуг — оздоровление экономики — такой виделась Кейнсу логика экономического развития. Эта модель способствовала формированию в западных странах смешанной экономики, в которой государственное регулирование эффективно взаимодействует с механизмами рынка.

Города стали основой капиталистического развития в результате соединения двух тенденций: возникновения нового международного разделения труда, во главе которого встали транснациональные корпорации, и кризиса фордистско-кейнсианской технологической системы. Старое разделение труда основывалось на добыче сырья на периферии и его промышленной обработке в промышленных центрах. Новое разделение труда переместило промышленную обработку сырья на периферию: нужна была более дешевая, чем в крупных западных городах, рабочая сила. Фордистский капитализм основывался на массовом производстве, кейнсианской модели управ-

ления и распределительной социальной политике. Его кризис в 1970-е годы сопровождался расцветом пространств «новой промышленности». Силиконовая долина, Баден-Вюртемберг, Третья Италия — регионы, в которых было организовано «гибкое» производство, включенное не столько в национальные иерархии, сколько в транснациональные сети. Новая организация ремесленного производства, IT-производство и финансы — главные виды постфордистского производства.

В глобальных городах место промышленных предприятий заняли обслуживание бизнеса и собственно индустрия сервиса, а также разнообразные административно-организационные службы. Если транснациональные корпорации охватывают весь мир, то управляются они из трех-четырех городов — командных пунктов. Развитие новых информационных технологий способствовало этому процессу нарастания концентрации управления.

В бурных исследованиях связи городов и глобализации скажется необходимость создания теорий, адекватно описывающих капитализм в целом, его развитие, его варианты и последствия. Так, экологические проблемы и нарастание неравномерности развития регионов мира требуют более эффективного управления со стороны глобальных институтов. С другой стороны, оппозиция усреднению развития стран, которую несет с собой глобализация, сохраняя при этом глобальное неравенство, выражается во внимании к различиям между городами, странами, регионами и местностями. Накопление капитала транснациональными корпорациями порождает негативную реакцию на местах. Она выражается в разных вариантах «фетишизации» (Д. Харви) мест и пространств, коммерческой в одних случаях (брендинг мест) и сепаратистской в других. Середина 1990-х — 2000-е годы отмечены распространением антиглобализационных настроений и движений. Некоторые города (Сиэтл) стали их эмблемой. В этой теме вначале мы рассмотрим понятия мирового и глобального города и дискуссии вокруг них, затем посмотрим, в каких тенденциях

развития городов сегодня глобализация проявляется наиболее заметно.

Теории глобализации

Термин *глобализация* стал общепринятым в бизнесе и политике в 1990-е годы, его популярность была подхлестнута стремительным взлетом экономик стран Юго-Восточной Азии и падением Берлинской стены, то есть уверенностью в том, что с крахом коммунизма мир быстро станет единым («глобализуется»). «Глобальная парадигма», как ее называет изобретший понятие *глокализация* Р. Робертсон, изменила социальную теорию, побудив ее перейти от нации к миру как главному объекту анализа. Глобализация конечно же и просто модное слово, из-за частоты употребления теряющее смысл. Происходит смешение научного и повседневного использования термина в идеологии, политике, бизнесе, рекламе. Наблюдая коммодификацию термина, часть ученых переключилась на термин *транснационализм*, часть — продолжает работать с прежним.

Основные проблемы теории глобализации:

- происхождение и продолжительность процесса глобализации;
- движущие силы глобализации;
- связь между разнородным и одинаковым в рамках глобализации;
- связь между глобальным и локальным (и степень, в какой локальное произведено глобальным);
- судьба национального государства в исторических рамках глобализации;
- связь между глобальностью (глобальностями) и модерностью (модерностями);
- социальное (прежде всего коммуникативное, интерактивное) измерение глобализации (наряду с экономическим, культурным и политическим измерениями).

ГОРОД И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Глобализация — система социальных отношений производства и воспроизводства, поддерживаемая неравномерным развитием разного масштаба — от местного и регионального до национального и сверхнационального. Глобализация — это интенсивное (все быстрее и дальше) движение людей, капиталов и информации.

Во-первых, это результат *различных* тенденций и сил, проявляющихся на *разных* уровнях. Во-вторых, глобализация усиливает способность капитала отсрочивать проявление его противоречий и лавировать между разными масштабами экономических процессов, углубляя *пространственное разделение труда* и усиливая неравномерность развития. В-третьих, она усиливает способность капитала избегать воздействия иных систем регулирования и, соответственно, ослабляет возможность государств сочетать развитие капитала и нужды социальной политики. С экономической точки зрения глобализация сигнализирует сдвиг мировой экономики от производства к финансам. В идеологическом плане термин означает рыночную экономику и в целом распространение неолИБЕРАЛИЗМА (свобода торговли, приватизация, дерегуляция).

История идеи глобализации

- Конец XVIII — XIX век — Кант, Гегель, Маркс, Сен-Симон, Конт: изменения в характере путешествий и коммуникаций приводили к мысли, что возникает новый, единый мир.

- Эти изменения в восприятии пространства и времени (телеграф, телефон, самолет) не нашли места в трудах великих социологов-классиков 1880—1920-х годов — Дюркгейма, Вебера, Зиммеля, Тенниса.

- То, что происходило на их глазах, интересовало их меньше того, как современное общество (европейское) стало современным.

- Их работы привели к тому, что и поныне главным объектом исследования (и главной рамкой) является не мир в целом, а национальное государство.

- Национально-государственное мышление образует барьер на пути к новым способам анализа, к новым представлениям о мире.

- Большинство из нас, обучившись социологии или чему-то еще, впитали вместе со своими дисциплинами «национально-государственную аксиоматику» (Ульрик Бек).

- Бессознательно наша ментальная карта мира поделена на отдельные «контейнеры»: «американский культурный империализм», «природа Киргизии», «немецкая философия».

- Все в современном мире, что подвижно, одновременно присутствует здесь и там (а потому попадает между дисциплинами и этими организующими категориями), социальные теоретики пытаются охватить понятиями транснациональных социальных пространств и логикой «не только, но и»: глобализация и регионализация, централизация и децентрализация и так далее.

- Есть ли разница между глобализацией и мировой историей? Есть, если считать, что глобализация началась *недавно* (Э. Гидденс): причина глобализации — рост западной модерности. Нет, если считать, что она началась *давно* (Р. Робертсон). Мировая история изучает историю человечества, а теория глобализации — те аспекты мировой истории, которые ведут к объединению мира (или препятствуют ему).

Мировые города и глобальные города

О глобальных городах и мировых городах исследователи рассуждали с начала XX века (не прибегая к самим терминам). Они обсуждали торговые связи и международные рыночные связи, усматривая зависимость изменений в городах от международных и национальных политических условий. Патрик Гед-

дес — шотландский урбанист, спланировавший Тель-Авив, в книге, посвященной основам городского планирования «Города в развитии» (1915), уже говорит о мировых городах. Фернан Бродель и другие историки Европы подчеркивали, что город всегда был центром притяжения мировой экономики. Бродель называет города «логистическими центрами» и прослеживает эволюцию экономики от основанной на городах к основанной на территориях, то есть улавливает все более тесную включенность городов в национальные экономические системы и их подчиненность политической власти соответствующих государств.

Британский урбанист Питер Холл в книге «Мировые города» выделил такие их роли: центры национальной и международной политической власти, правительственные центры, центры национальной и международной торговли, а также банковского и страхового дела, центры концентрации самых квалифицированных профессионалов, центры сбора и трансляции информации посредством издательского дела и массмедиа, центры потребления напоказ, центры искусства и культуры [см.: *Hall*, 1996]. Холл определил идею мирового города как такого, в котором «осуществляется непропорционально большая доля самого важного мирового бизнеса» [*Ibid.*: 1]. Итак, на ранней стадии работы теоретиков с понятием мирового города подчеркивалась включенность городов в экономику той или иной страны. Так, по Холлу, космополитичность мировых городов — выражение геополитического положения соответствующих государств.

В 1980-е годы экономист Джон Фридман с коллегами сформулировал иную гипотетическую теоретическую рамку для изучения глобальных городов. Крупный сдвиг в пространственной организации капитализма состоит в том, что *города стали главными моторами мировой системы*, ее организующими узлами, выражениями (артикуляциями) глобальных, национальных и региональных товарных потоков. Другой сдвиг в географии мирового капитализма заключается в том, что с

1970-х годов города и сети городов заменяют государства в качестве основной территориальной инфраструктуры капиталистического развития. Фридман, во-первых, подчеркнул значимость появления в городах развитой индустрии сервиса, состоящей, «с одной стороны, из высокого числа занимающихся контролем профессионалов, а с другой — из огромной армии малоквалифицированных рабочих, занятых в персональном обслуживании... привилегированных классов, ради которых мировой город и существует» [см.: *Friedman*, 1995: 322]. Откуда берется армия малоквалифицированных рабочих? Ее доставляет иммиграция. Удастся ли глобальному городу справиться с «социальной ценой» своего роста, состоящей в классовой поляризации и пространственной сегрегации? Отнюдь. Во-вторых, Фридман первым сформулировал идею *глобальной иерархии городов*, в которой Нью-Йорк, Лондон и Токио представляют мировые финансовые центры, Майами, Лос-Анджелес, Франкфурт, Амстердам и Сингапур — мультинациональные центры, а Париж, Цюрих, Мадрид, Мехико-Сити, Сан-Паулу, Сеул и Сидней — важные национальные центры. Все они входят в единую сеть городов. Мануэль Кастельс считает формирование сети городов столь же значимым социальным сдвигом, как и переход от традиционной к промышленной экономике. Фридман исследует ряд городов Азии и Австралии и предлагает новую исследовательскую стратегию: анализировать *пространственную организацию нового международного разделения труда* [*Ibid.*: 69]. Главная ее черта в том, что города или городские регионы, а не государства составляют самые важные географические единицы. Городские регионы можно расположить иерархически в глобальном масштабе в зависимости от того, каким образом они интегрированы в мировую экономику. Идеи Фридмана были развиты британским географом Энтони Кингом, написавшим книгу «Глобальные города: постимпериализм и интернационализация Лондона» [см.: *King*, 1990].

Если Фридман и Кинг строили свои исследования на эмпирическом анализе городов стран «третьего мира», то американский экономист и социолог Саския Сассен сосредоточивается на городах стран развитого капитализма. Неизменная и повсеместная притягательность Нью-Йорка, Лондона и Токио как мест, в которых происходит все самое главное, усилила популярность ее исследований. В книге «Города в мировой экономике» она дает такое определение глобальных городов: «Стратегические места, из которых ведется управление городской экономикой и в которых сложились самые продвинутые варианты сервиса и финансовых операций... телекоммуникаций, необходимые для осуществления и управления глобальными экономическими операциями... это места, в которых концентрируются штаб-квартиры компаний, в особенности глобальных компаний» [Sassen, 1994: 21].

С помощью концепции глобального города Сассен оспаривает один из популярных нарративов глобализации, согласно которому — в силу «сжатия пространства и времени» (Д. Харви) — отдельные место и город больше не имеют значения. Карл Маркс одним из первых стал рассказывать историю современности так, что динамизм развития в ней стоял на первом плане, а пространство считалось не столь важным. Во-первых, развитие транспорта и коммуникаций делает все расстояния относительными, во-вторых, города, как и все остальное при капитализме, включены в универсальные экономические законы, а потому одинаковы. В 1980-е годы популярным стал образ «глобальной деревни» (М. Маклюэн), в которую обитатели земного шара превращены силой массмедиа. По аналогии с «концом истории», о котором толковал Фрэнсис Фукуяма, французский философ Поль Вирильо считает возможным говорить о «конце географии»: расстояния значат сегодня гораздо меньше, чем в прошлом, а идею геофизической границы становится все сложнее отстаивать. Так, становится очевидным, что деление мира на континенты, каждый из которых понимался как замкнутый и недоступный анклав, было функ-

цией расстояний между ними: транспорт был примитивен, а стоимость путешествий огромна. Расстояние, притом что оно, бесспорно, обладает физическими параметрами, есть социальный конструкт. Его величина зависит от скорости, с которой оно может быть преодолено и (в капиталистических культурах) от стоимости его преодоления. Другие пространственные моменты складывания и упрочения коллективных идентичностей — границы между странами или культурные барьеры — являются, по мнению З. Баумана, лишь следствиями того, что современным культурам присуще постоянное совершенствование транспортных средств и увеличение мобильности.

Многие авторы считают, что сокращение расстояний изменяет наше понимание общественной жизни. Автор термина *сжатие пространства-времени* Дэвид Харви уверен в дезориентирующем воздействии описываемой им тенденции как на политико-экономическую жизнь, так и на культуру. Противоположная линия мысли представлена британским (Дейдри Боден) и американским (Харви Молоч) социологами, которые настаивают, что, вопреки всем глобальным влияниям, люди испытывают особое притяжение пространственной близости [см.: *Boden, Molotch*, 1994: 258]. Не получается ли тогда, что влияние сжатия пространства-времени на повседневную жизнь сильно преувеличено? Традиционная коммуникация, ее структуры и ценности (важность разговора лицом к лицу) сохраняют свою силу. Другое дело, что роскошь доверительного разговора могут позволить себе не все: при всем шуме вокруг ИТ-технологий самые рутинные операции, которые вовлечены в их функционирование, достаются низкоквалифицированным рабочим. Пространственно-временной порядок современного города таков, что у разных акторов и социальных групп разная способность включаться в коммуникационные сети и расширять за счет них свое собственное пространство и время. Британский географ и социальный теоретик Найджел

Трифт предлагает сравнить доступность глобального пространства-времени европейским трейдерам, с их широкополосным доступом в Интернет, постоянными перелетами с континента на континент и качественным сервисом в любом глобальном городе (который на них и ориентирован), с «сетевыми гетто», которые есть в любом городе и куда вообще почти никакие коммуникации не доходят, так что «сжатие пространства-времени» означает для живущих там людей необходимость попросту убивать время и обреченность лишь на то пространство, что у тебя есть [см.: *Thrift*, 1995: 31].

С точки зрения С. Сассен, для составляющих глобализацию потоков людей и капитала место как раз имеет центральный характер. Если значение национальной экономики сильно изменяется (как правило, в сторону уменьшения), то особые, укорененные в отдельных местах сочетания политических и экономических возможностей, напротив, становятся все более важными. Глобальные города возникли в 1970-е годы, когда сильно расширилась мировая финансовая система, а капитал стал перемещаться между рынками. В городах это отразилось в создании зданий, в которых размещались «командные пункты», в организации необходимых финансовым компаниям видов сервиса, в усилении социальной поляризации, в зависимости от труда иммигрантов. Второй виток усиления «глобальности» городов приходится на начало 1990-х с последующим повсеместным нарастанием популярности неолиберализма, отзвуки чего проявились и в развитых, и в развивающихся странах. Протекционистская экономическая политика утратила популярность, а мировая торговля интенсифицировалась и ускорилась.

Стремительный рост глобальных городов обусловлен требованиями транснационального капитала (ТНК), циркулирующего в банковском деле, аудите, рекламе, финансовом менеджменте и консалтинге, а также деловом праве. Глобальный контроль капитала возможен только на основе особых мест —

городов с их аггломеративными экономиками, технологически институциональными системами, организацией производства и так далее. Глобальные города представляют собой одновременно: 1) базы для глобальных операций ТНК; 2) места производства и рынки; 3) лидеров иерархии городов, занимающих в ней места в силу своих различающихся ролей в мировой экономике.

По мере того как регионы, в которых располагаются глобальные города, превосходят территориальную экономику государства, умножаются новые формы *неравномерности развития* — в глобальном, национальном и региональных масштабах. Исключительной роли глобальных городов соответствует *исключенность ряда городов* из волнующих глобальных экономических игр. Это и те города и регионы, которым не удалось успешно справиться с последствиями деурбанизации, и так называемая глобальная периферия, в которой проживает большинство населения мира.

Сассен выделяет семь главных характеристик глобальных городов:

1. Рассредоточение деятельности компаний в различных странах. Увеличиваются масштаб и сложность координации их деятельности.

2. Многие компании решают привлечь третьих лиц для выполнения этой работы (*outsourcing*), то есть поручить менеджмент своей деятельности специализирующимся на менеджменте, консалтинге, правовых аспектах финансовой деятельности фирмам. Те же стратегии используются для таких обычно выполняемых силами работников самой компании задач, как расчет зарплаты и коммуникаций.

3. Глобальные компании зависят от аггломеративных экономик (понимаемых не в привычном для нас смысле экономического соединения центрального города и близлежащих к нему), то есть присущей тому или иному глобальному городу особой концентрации высококвалифицированного персонала и специализированного сервиса в «информационном цен-

тре». Прибегнуть к услугам такого центра — значит решить задачу быстрее и эффективнее, чем с опорой лишь на собственный персонал компании.

4. Глобальные компании могут перемещать свои штаб-квартиры, так как у них уже больше нет нужды быть близко к тем, кто их обслуживает, и к поставщикам.

5. Рост специализированного сервиса (когда одна специализированная компания нанята для обслуживания другой специализированной компании) ведет к созданию транснациональных городских систем, так что экономическая ситуация отдельных городов уже не зависит от тех регионов, где они расположены, или даже от национальных экономик.

6. Решения о расположении глобальных компаний принимаются с учетом доступности источников малоквалифицированного труда. Столичные города с постоянным притоком в них иммигрантов — вне конкуренции. Нужды ТНК в мойщиках стекол и курьерах проще удовлетворять с помощью труда иммигрантов, чем местного населения.

7. Космополитизм глобальных городов сопровождается разрывом в доходах их обитателей.

Главный вклад этих теоретиков в понимание глобализации — включение в политический и исследовательский дискурс *перспективы побежденных*, ведь растущая группа проигрывающих от глобализации людей не улавливается обычной сетью политического восприятия. Если глобализация есть политический проект, то каким образом ее участники принимают решения? Учитываются ли при этом минимальные стандарты человечности? Кто попадает в число проигравших от глобализации? Это и бедняки, и служащие, низ среднего класса в развитых странах. Они ощущают себя брошенными как на правом фланге политики (который и работает на глобализацию), так и на левом (они не нуждаются в политических партиях, которые хотят обложить их ненадежный доход более высокими налогами, чтобы помочь безработным).



**Сассен утверждает, что глобальные города
непредставимы без тех, кто выполняет черную работу**

Основные теоретики глобализации

- Роланд Робертсон ввел термин *глокализация*, призванный: 1) подчеркнуть разнообразие проявлений глобализации; 2) преодолеть нивелирование локального своеобразия социальной жизни; он настаивает на различении «настоящей» глобализации и репрезентаций глобализаций, внедряемых в сознание людей с помощью массмедиа: они представляют собой две стороны одного процесса.

- Энтони Гидденс мыслит глобализацию как окончательный захват Западом остального мира; считает, что термин должен стать ключевым в социальных науках.

- Арджун Аппадурай понимает под глобализацией циркуляцию: 1) различающихся людей и мигрирующих групп («этноскейпы»); 2) технологий («техноскейпы»); 3) денег («финанскейпы»); 4) электронных коммуникаций и создаваемых ими образов («медиаскейпы»); 5) идеологий («идеоскейпы»). Подчеркивает, что возникающие «на местах» культуры уже никак не привязаны к определенному месту и времени, насыщены образами, созданными где-то далеко. Отсюда противоречие между собственной жизнью и возможной жизнью, которое чувствует индивид.

- Зигмунт Бауман рассматривает социальные последствия глобализации. Глобализация есть поляризация и стратификация жителей планеты на глобальных богачей и локальных бедняков, для которых нет свободы выбора, а есть обреченность и бесперспективность. Богачи уже не нуждаются в бедняках. Между теми, кто выиграл, и теми, кто проиграл, нет взаимной зависимости. Разрываются связи солидарности.

- Ульрик Бек также сосредоточивается на противоречиях глобализации, подчеркивая, что два «хронических бедняка» — общество и работающие люди — должны

финансировать то, чем пользуются богачи (образование, инфраструктура, охрана природы). Идеология «глобализма» (неолиберализма) проявляется в том, что люди не действуют, но осуществляют законы мирового рынка, которые вынуждают сократить социальное государство и демократию.

Критика теорий глобальных городов

Одна линия критики сложилась в стане специалистов по *постколониальным* городам. Ее представители, в частности Энтони Кинг, оспаривают доминирование экономической логики в описании мировых городов. Кинг считает, что все они описываются на основе понятий и нарративов одной дисциплины — урбанистической политической экономии. В итоге разнообразие политических, географических, культурных, религиозных и так далее обстоятельств в каждом из таких городов оказывается редуцированным к трем феноменам: городские социальные движения, потребление и случаи государственного вмешательства в городскую политику. Кинг считает сами понятия глобального города и мирового города ограниченным плодом мысли американских урбанистов. Гегемония западных форм знания и преобладание англоязычных публикаций обусловили, во-первых, приоритет экономических критериев описания таких городов и, во-вторых, интерес исследователей лишь к тридцати-сорока городам, расположенным либо в Штатах, либо в Европе. Сам по себе этот интерес тоже достаточно узок: что, в самом деле, дает для нашего знания ответ на вопрос применительно к данному городу: «Мировой это город или нет?» Не уподобляются ли исследователи городским чиновникам, которым слава нескольких городов — безусловных лидеров — не дает покоя? Кинг считает, что рассмотрение таких социально сконструированных понятий, как *накопление капитала* и *экономика*, без учета исторических и

культурных обстоятельств оставляет многие вопросы без ответа. Было бы иллюзией полагать, что понятие мирового города универсально приложимо и что оно может помочь понять особые смыслы и специфические истории, сложившиеся во многих городах. В частности, компаративные культурные урбанистические исследования должны больше внимания уделять религиозным движениям. Известны города, пространство и политика которых сложились под влиянием продвижения или защиты какой-то религии. Это Белфаст, Иерусалим, Бейрут, Тегеран, Варанаси, Рим, Стамбул. Кинг считает симптоматичным, что мировые города — феномен христианского мира и возникли по преимуществу в протестантских странах.

Другая линия критики развита английским урбанистом Полом Тейлором, который, не оспаривая значимости парадигмы в целом, считает, что главный изъян исследований мировых городов — слабая эмпирическая база. Дело не в плохой методологической подготовке исследователей, но в природе доступной им статистики. Сбор статистических сведений организован государственными ведомствами, которые нацелены на удовлетворение информационных потребностей правительств. В результате мир измеряется «государствоцентричными» способами не только государствами, но и всемирными организациями, например ООН. Другая особенность статистики — исследование атрибутов, качеств тех или иных феноменов в ущерб *связям* между ними. Например, нужно сравнить характер зарубежных инвестиций в тот или иной город. Если вы составите таблицу, в которой города будут ранжированы по *объему* инвестиций, вы ограничитесь сравнением атрибутов. Но если вы укажете, *откуда* приходят эти инвестиции, ваша таблица отразит реальные связи между городами, то есть станет реляционной. Даже если потоки людей, товаров и информации, то есть связи городов, измеряются статистикой, эти данные оказываются погребены под обилием сведений об атрибутах. Исследования мировых городов должны демонстрировать интенсивность связей между ними. Доступная статисти-

ка не позволяет эти связи продемонстрировать: преобладают сведения о странах, а не о городах.

Как с этой сложностью справляются авторы ключевых текстов о мировых городах? Тейлор сравнивает работу со статистикой, таблицы и иллюстрации в текстах Мануэля Кастельса, Саскии Сассен, специалистов по электронным коммуникациям в городах Стивена Грэхэма, Саймона Марвина и других. Он просматривает эмпирическую базу их работ с точки зрения того, насколько она отражает *связи* между городами, то есть указывает, откуда и куда поступают информация, товары, деньги, люди и так далее. Хотя работы «отца-основателя» всего этого поля исследований Джона Фридмана носили гипотетический характер, последующие тексты носят эмпирический характер, но какой именно? Тейлор замечает, что сведения о государствах и городах занимают в этих книгах почти одинаковое место и что среди сведений о городах встречается просто статистика населения (а что это говорит о характере мировых городов?). Он справедливо добавляет, что, когда мы читаем социологическую литературу, посвященную национальной экономике и политике или государственной истории, мы ведь не ожидаем, что сообщаемые в ней сведения могут быть беспрепятственно распространены на города. Почему же тогда в литературе о мировых городах содержится такое обилие данных о государствах?

Далее, тезис о том, что эти особые, мировые города своей деятельностью превосходят государственные границы, должен быть подтвержден демонстрацией *связей* между ними. Тейлор обнаруживает, что во всем этом массиве литературы о сетях городов и городских иерархиях только 6 % приводимых данных прямо иллюстрируют их наличие! Это лишь информация о полетах, выполняемых из города в город, телекоммуникациях, доставке грузов. Тейлор призывает урбанистов вместе преодолевать этот «кризис доказательности», и посетители созданного им сайта Сети исследований мировых городов и глобализации могут познакомиться с проведенной с тех пор ра-

ботой. В изложении данной темы используются в том числе и иллюстрации с этого сайта (см.: *Website on World Cities and Globalization* (GaWC). URL: <http://www.lboro.ac.uk/gawc/>).

Нил Смит считает, что части литературы по глобальным городам (включая книги С. Сассен) недостает радикального продумывания последствий изменения масштаба протекающих сегодня экономических процессов. Да, города и ТНК стали главными игроками современной экономики, так что торговые связи налаживаются между компаниями, а не между странами. Но какие последствия это имеет для традиционной функции городов — быть местом социального воспроизводства? Сассен просто подчеркивает полярность глобальных городов, то есть тот факт, что их богатство и привлекательность для глобальных трейдеров и менеджеров возможны за счет невидимого и дешевого труда тысяч мигрантов, что они такая же значимая часть глобальных городов, как и офисные небоскребы, элитные дома и бесконечные бутики. Смит рассуждает иначе. Вводя понятия реваншистского города и неолиберального урбанизма, он показывает, как функции и роли городов изменились в результате двух взаимно усиливающих друг друга тенденций: (1) города, а не нации стали главным местом организации производства и (2) правительства отказались от либеральной городской политики. На место американского Среднего Запада или немецкой Рурской области — классических примеров индустриального развития — пришли Шанхай и Мумбай, Сеул и Сан-Паулу, Мехико-Сити и Бангкок. Если традиционные промышленные регионы были «становым хребтом» национальных экономик, то эти мегаполисы — основа экономики глобальной. В то же время современная правительственная политика часто бросает города на произвол судьбы. Американские президенты последних трех десятилетий печально прославились публичными жестами, из которых было ясно: выживание городов и их жителей — их собственная проблема и правительства не будут в этих целях делиться своими ресурсами. От отказа президента Форда поддержать Нью-Йорк во

время финансового кризиса 1970-х годов до закрытия президентом Клинтоном в 1996 году системы *welfare* — все это может быть истолковано как симптомы «переформатирования» государств и правительств — превращения их в самостоятельных экономических игроков. Если сильно огрубить суть дела, получается, что субъектов, ответственных за социальное воспроизводство населения и обладающих достаточными для этого ресурсами, в мире больше не осталось: всех, включая правительства, волнуют только производство и финансы.

Дебаты по поводу «расползания» пригородов в США и Европе, кампании за «возрождение» европейских городов, обсуждение проблем экологической справедливости — все это свидетельствует, что развитие городов сегодня все дальше и дальше отходит от задач социального воспроизводства. Смит предлагает именно в этом контексте рассматривать проблему кризиса ежедневного перемещения работников из дома на работу и обратно. Экономически обусловленное географическое расширение многих городов не позволяет им выполнять одну из главных своих функций — способствовать доставке работников из дома на работу и обратно. Противоречие между экономическими процессами и географической формой городов проявляется повсеместно. Москва в этом отношении давно стала притчей во языцех: то, как выглядят по утрам пригородные электрички, конечные станции метро, не говоря уж о ключевых автомагистралях, — грустные иллюстрации цены, которую люди платят своим проведенным в дороге временем за неразрешимость этого противоречия. Но Смит напоминает, что в Сан-Паулу люди отправляются на работу в 3:30 утра, тратя до четырех часов на дорогу в один конец. Точно так же дела обстоят в зимбабвийском городе Хараре: четыре часа ты едешь на работу, твой рабочий день длится шестнадцать часов, добравшись домой опять через четыре часа, ты «остаток времени» спишь. По требованию Всемирного банка транспорт во многих городах «третьего мира» был приватизирован, так что и в

денежном отношении эта цена возросла так, что в иных случаях люди тратят на дорогу до 45 % недельного заработка!

Смит справедливо утверждает, что сетования на слабую развитость городской инфраструктуры в таких случаях совершенно недостаточны. Здесь проявляется другое географическое противоречие — между чрезвычайно высокой стоимостью земли, сопровождающей централизацию капитала в сердцевине городов, и маргинальными пригородами, где рабочие вынуждены жить на те гроши, что им платят те, кто ответствен за централизацию капитала. Эти гроши, то есть искусственно заниженные заработки тех, кто находится на нижнем конце пищевой цепи неолиберализма, — условие эффективной централизации капитала. Так что, по Смиуту, передним краем неолиберальной трансформации городов являются не европейские столицы, а стремительно растущие метрополисы Латинской Америки, Азии и Африки, где никогда и не было прочной связи между городом и социальным воспроизводством. В этих городах ставятся рекорды производительности труда и человеческой выносливости, и, кажется, никто пока не помышляет о бунте.

Глобальные города и государственная политика

В исследовании глобальных городов, как правило, воспроизводится тезис об уменьшении роли государства в век усиленной глобализации. Современный российский контекст побуждает к критическому рассмотрению противопоставления глобального и локального в российских городах (пусть ни один из них не может в полной мере претендовать на статус глобального города). Государство, как главный экономический агент, играет главную роль в том, каким образом Россия и ее города включены в мировую экономику. Государства и во многих других странах активно переизобретают себя как главное

территориальное, регулирующее и институциональное условие ускорения глобального накопления капитала. Эрик Суингеду [Suyngedouw, 1996] называет эту новую конфигурацию территориальной организации государства «глокальным» государством. Оно невозможно без особых мест в городе, в которых и посредством которых поддерживается территориальная, технологическая, институциональная и социальная инфраструктура глобализации. Поэтому, несмотря на все успехи в дешевой и стремительной передаче информации в любой угол Земли, города — узлы, через которые организована глобальная система производства и обмена. Суингеду подчеркивает, что дихотомии «глобализация — местное развитие» можно избежать, если все время учитывать непрерывное социальное производство пространства, которому присущи разнородность и конфликтность. Самое важное, что глокализация тесно связана с властными отношениями в обществе.

Иными словами, подчеркнем это снова, представление о глобализации как о процессе детерриториализации, который конкретные места делает все менее значимыми, не выдерживает критики. Происходит, наоборот, *ретерриториализация, то есть усиление роли территориальных предпосылок для циркуляции глобального капитала*. Этот процесс происходит в разных пространственных масштабах, в том числе и в масштабе государства. Как показывают американский географ Нил Бреннер и британский политический теоретик Боб Джессоп, в мировой экономике города и государства диалектически объединены: это государства продвигают свои города как привлекательные узлы транснациональных инвестиций, и это города остаются точками координат территориальной организации государства и местным уровнем управления [см.: Brenner, 1998; Jessop, 1990].

Джон Фридман отмечает противоречие между политической подоплекой территориальных интересов государств и глобальным управлением производством [см.: Friedman, 1995: 69]. Нередко отношения между глобальными городами и террито-

риальной политикой государств выливаются в битву между глобально мобильными ТНК и неподвижными государственными территориями. Противоречия между интересами транснационального капитала и национальными интересами сопровождаются самыми разными вариантами социальной и политической борьбы — между ТНК и обитателями городов; между «своим» правительством и обитателями городов; между «глобализованной» и национальной буржуазией; между трудом и капиталом. Управление глобальных городов фрагментировано, что тоже усиливает угрозу конфликтов. Так, интересы глобального капитала состоят в совершенствовании городской инфраструктуры, то есть строительстве все новых дорог, портов, аэропортов, а также в увеличении привлекательности городов для тех, кто управляет его движением. Увеличение притягательности состоит и в том, что «неприглядные» граждане должны удерживаться на расстоянии, быть под наблюдением и полицейским контролем. С другой стороны, глобальный город — магнит для рабочей силы, прежде всего иммигрантов, которые приезжают в него жить. Возникает задача обеспечения социального воспроизводства всех этих людей: строительство жилья, налаживание здравоохранения, образования, общественного транспорта, социальных льгот. Поэтому социальная цена глобального города превышает регулятивные способности государства и муниципалитетов. Не случайно Фридман и Уолф называют местное правительство «главным лузером» в этом сочетании глобально навязываемых ограничений. Нарастание глобальной взаимоувязанности экономики оборачивается сокращением дееспособности региональных и городских правительств. Традиционные структуры социального и политического контроля за развитием, рынком труда и распределением ресурсов искажаются логикой международной экономики, влиятельные игроки сообщаются друг с другом вне сферы государственного регулирования. Уйдя из сферы социальной политики, государство увеличивает свою активность в сфере социального контроля. Эрик Суингеду под-

черкивает, что правительства пытаются насаждать неолиберальную рыночную дисциплину, продвигать ценности эффективности, увеличения собственной востребованности на рынке труда [см.: *Suyngedouw*, 1997b]. Эта пропаганда ведется не без лукавства: есть слои населения, которые не могут на равных участвовать в гонке за призовые места в мировой экономике. Тем самым существенные слои населения оказываются из нее исключенными. Страх социального недовольства побуждает государства наращивать авторитарные меры в своей политике. С другой стороны, новая рабочая сила городов состоит из мигрантов и частично занятых людей. Первые включены в культурные и социальные сети, основанные на иных ценностях. Вторые — в силу частичной занятости — не могут претендовать на связанные с их социальным воспроизводством ресурсы.

Итак, на привычную многим из нас карту мира, образованную территориями государств, сегодня накладывается карта глобальных городов. Но глобальные города остаются и связанными с территориями своих государств, и ограниченными политикой своих правительств. Так что сегодня активно переплетаются и взаимонакладываются самые разные формы территориальной организации: империи и то, что от них остается, центр и периферия, рынки международные, национальные и местные и конечно же города.

Макро/микро, локальное/глобальное

Глобализация — не только макропроцесс, то есть что-то происходящее помимо повседневной жизни людей, не только горизонтальный, но и вертикальный процесс. Она проявляется и на уровне жизненного цикла быстро меняющихся индивидов (например, сокращение общего опыта представителей разных поколений). Локальное производится глобально. Мы становимся более чувствительными к локальному по мере на-

растания глобализации (Аппадурай, Дирлик). Современное индивидуальное «я» поразительно похоже повсюду в мире, но имеет местные особенности (Мейер).

Глобальное и локальное — по поводу их соотношения существуют две позиции. Первая — глобализация делает мир однородным, культуры и институты стандартизируются, происходит «макдоналдизация» (Ритцер) экономик и культур: стандартные способы приготовления фастфуда распространяются повсеместно, в том числе не только на приготовление пищи. Макдоналдизация = американизация.

Вторая позиция — силы, нацеленные на однородность, производят разнородные результаты. Одинаковая продукция потребляется в разных местностях, этнических, гендерных и так далее контекстах. В исследовании Д. Уотсона [Golden Arches East, 1997], посвященном работе макдоналдсов в Восточной Азии, делается вывод: они — двигатели локализации, универсальная модель обязательно используется с местными вариациями. Продукты глобализации могут распространяться только через особые местные «ниши» — через подчеркивание (или создание) местных особенностей. Местное сопротивление глобализации — это рефлексивная глокализация (Робертсон). Люди сознательно стремятся сделать местными процессы гомогенизации.

Джентрификация в России и Москве

...Пожилая учительница географии старейшей екатеринбургской гимназии № 9 любила дразнить снобов-старшеклассников отрезвляющими сентенциями. Она спрашивала, на какой улице тот или иной из них живет, и предавалась воспоминаниям о том, какого рода люди на ней селились прежде: «Улица Жукова (в престижном районе в самом центре города. — *Е.Т.*), говорите? Ну да, как же, в 1950-е годы на ней одни бараки стояли! Никто не знает, где он будет жить через трид-

цать лет и какие люди поселятся в его доме». Для «центровых» школьников, многие из которых с детства сроднились с ощущением привилегированности, напоминание о том, что престижным их район стал совсем недавно, скорее забавно: социальная однородность места, где они живут, достигнута и вряд ли будет в скором времени разрушена. Те же, кто в школу приезжает из спальных районов, понимают, что их родители, если позволят обстоятельства, скорее переедут в пригород, чем в центр, настолько там теперь дорогое жилье.

Эти хорошо всем знакомые наблюдения связаны с более общей тенденцией увеличения роли российских городов в развитии неолиберального капитализма, их функционирования в качестве узлов соединения различных рынков и контроля за капиталовложениями в сферу сервиса, производства товаров, рекламы, транспорта, потребления. Эта тенденция выражается в строительстве и перестройке городской среды. Растущий спрос на офисы и квартиры приводит к энергичному разрушению парков, улиц, зданий и возведению новых строений, которые во всех городах выглядят все более похожими, а сами города превращают в места столкновения самых разных социальных и политических интересов. *Джентрификация* — *вложения в городское пространство для того, чтобы сделать его привлекательным для состоятельных людей*, — самое яркое выражение неолиберального изменения городского пространства. Возведение корпоративных небоскребов, рост коттеджных поселков в городах и за их пределами, огороженные элитные дома и комплексы домов с ограниченным доступом пешеходов и автомобилей и усиленной охраной (*gated communities*), а также сети влиятельных игроков рынка недвижимости, включающие муниципалитеты, девелоперские фирмы и так далее, которые принимают решения о том, в какой район или квартал «прийти», — вот в чем выражается джентрификация. Методологически это понятие соединяет экономические, социальные и культурные процессы: по изменению, к примеру, улицы Жукова за тридцать лет можно проследить, как пе-

ресекаются мировые финансовые и культурные потоки, с одной стороны, и местные идентичности — с другой.

Если говорить о джентрификации в российских городах, то внимание российских и зарубежных исследователей в этом отношении пока более всего привлекает джентрификация московского центра. Неолиберальные тенденции в ней проявляются следующим образом: с одной стороны, государство устранилось от регуляции рынка недвижимости, с другой стороны, социопространственная структура центра регулируется рынком. Отличают московскую джентрификацию две характеристики: во-первых, в Москве чаще, чем в других городах, люди вытесняются из своих квартир не «невидимой рукой» рынка, но авторитарными мерами; во-вторых, к началу приватизации жилья около 80 % обитателей центра жили в коммуналках.

Как обитатели центральных кварталов понимают свою общность по месту жительства, на кого рассчитывают в случае конфликта с девелоперами, что значит для них — жить в центре? В небольшом исследовании, проведенном в 2005—2006 годах, я опросила группу давних обитателей центра, живущих в пределах Садового кольца, — и тех, кто от джентрификации выиграл, переселившись из коммуналки в отдельную квартиру в результате успешного торга с девелоперами, получив возможность сдать свою вторую квартиру за хорошие деньги, и тех, кто, напротив, проиграл и теперь скучает о прошлой жизни в самом центре.

С начала 1990-х Москва воплощает общий урбанистический тезис, что стремление получить максимум прибыли от недвижимости не только отражается в стоимости земли, но и стимулирует те способы ее использования, которые сулят наивысшую коммерческую отдачу. В Москве сложились самые коммерчески успешные способы приобретения и перестройки недвижимости, воплощения полномасштабных строительных проектов и связанной с ними спекулятивной деятельности. Большинство исследований джентрификации в Москве сосредоточилось на так называемой Золотой миле — районе улиц Остоженки и Пречистенки. Написав о ней в разные годы свои

тексты, берлинский урбанист Кордула Гданек, московские урбанисты Ольга Вендина, Анна Бадьина и Олег Голубчиков убедительно показали, что Москва повторяет траекторию городов с быстрорастущими финансовым сектором и сектором обслуживания бизнеса: в ней расширение джентрификации зависит прежде всего от стратегий девелоперов. Ольга Вендина считает главной проблемой городской среды Москвы трудноразрешимое противоречие между ценностью городской территории как «недвижимого имущества» и как «общественного богатства» [см.: *Вендина*, 2008]. Застройка Остоженки воплощает это противоречие. Кордула Гданек показала, как политика городского правительства усугубила «эксклюзивность» этого района [см.: *Gdaniec*, 2006]. Бадьина и Голубчиков ввели различие между неопосредованной и опосредованной фазами джентрификации в этом районе [см.: *Badyina, Golubchikow*, 2005]. Первая началась в 1993 году — тогда отдельные бизнесмены и агентства недвижимости покупали коммуналки и перестраивали их в лофты и офисы. Опосредованная фаза началась в 1998 году, когда в район пришли корпоративные девелоперы, началась агрессивная маркетинговая кампания по продвижению района как элитного, а реконструкция по принципу «квартира за квартирой» сменилась реконструкцией по принципу «квартал за кварталом». Урбанисты описывают специфический «договор об инвестициях», который заключался между девелоперами и городом, в силу которого девелоперы получали в пользование землю и право на строительство в обмен на передачу городу 50 % площадей. Между девелоперами и городскими властями сложились разного рода союзы, и тем, «административный капитал» которых был выше, земля выделялась гораздо быстрее. Старые дома модернизировались, отражая и процессы выгодного вложения капитала, и культурные ценности класса профессионалов, которые покупали переоборудованные квартиры. Возводились и новые здания.

Классические принципы городского управления: зонирование, архитектурные нормативы, разрешения, инспекции, пе-



**Сообщество за воротами — в районе
Золотой мили Москвы**

переговоры с жильцами — все это использовалось по мере перестройки района. «Бустеризм», бум на рынке недвижимости сопровождался и подковерными переговорами, и открытыми конфликтами. Если, описывая джентрификацию в некоторых районах Лондона, исследователи (Тим Батлер, в частности) утверждают, что тех, кто въезжает в переоборудованные дома, отличает прежде всего высокий уровень культурного капитала, то в Москве картина сложнее. Обладателями культурного капитала оказываются давние обитатели центра. Они ценят район, в котором живут, за архитектурные сокровища, что неподалеку, за историю, которой дышит каждый поворот. Те же, кто недавно поселился, рассматривают свое место жительства прежде всего как выгодное вложение средств и как выражение высокого статуса. Настроения и действия задетых джентрификацией людей, с которыми мне удалось провести интервью, можно поделить на три группы.

Первая группа грустит о переменах, полна ностальгии по тому, как родные кварталы выглядели в прошлом, и отдает себе отчет в масштабе и скорости, с какой исчезают старые здания и культурно значимые места. Исчезнувшие церковь, школа, детский сад, скверик, памятник архитектуры упоминаются этими людьми с горечью и грустью. Одним примером публичного выражения таких настроений является деятельность группы энтузиастов, работающих при Музее архитектуры им. Щусева, которые создали несколько веб-сайтов в целях увековечивания Москвы, которой нет (см.: moskva.kotoryu.net/), где не только собираются фотографии, истории о ценных зданиях, но и обсуждается происходящее.

Вторая группа — недовольные. Степень их организованности может различаться. Территориальные сообщества возникают по конкретным поводам, большинство которых — действия девелоперов, их сговор с властями, обман. Так, группа активистов общества «Оставьте нас в покое!» организовала пикет в сентябре 2006 году на углу Пречистенки и Остоженки. Обыч-

но вытеснение людей строится по одному и тому же сценарию: городские власти принимают решение о том, что здание находится в аварийном состоянии и нуждается либо в сносе, либо в перестройке, на жителей оказывают давление и власти и девелоперы, а дальше события развиваются по-разному. Интервью показывают, что в общественную активность по месту жительства люди не очень верят, часто ограничиваясь единовременным выражением недовольства на митинге или участием в пикете, написанием письма президенту и ожиданием ответа.

Третья группа реакций может быть названа «примирившиеся и удовлетворенные». Многие бывшие жильцы перестраиваемых домов улучшают свои жилищные условия. Те, для кого жизнь в «центре центра» — значимая часть идентичности, ценят не только «стратегическое» расположение своих новых жилищ, близость к метро и прочие житейски значимые вещи, но и ауру традиции и истории. «Когда ты здесь живешь, ты знаешь, что происходит в мире и Москве, просто пройдясь по улице», — говорит один обитатель. Они остались там, где жили всю жизнь, они избавились от необходимости считаться с соседями по коммуналке — все это к лучшему. Другое дело, что здания, в которые они переезжают, были построены в разное время, и нередко случаются грустные открытия. Если здание было возведено, скажем, в 1930-е годы, то не исключено, что строители использовали для заполнения перекрытия между квартирами... соломой: в то время лучше было не жаловаться на нерегулярные поставки стройматериалов. В этих обстоятельствах неизвестно, удастся ли владельцам этих квартир передать свою собственность внукам.

Все три группы респондентов соглашаются, что между московским правительством с его собственными деловыми интересами и девелоперами существует масштабный договор (некоторые используют слово «заговор»). Игра с «элитарными» притязаниями покупателей, подчеркивание, что этот рай-

он «всегда» был элитным — только часть их маркетинговых стратегий. Напротив, те, кто джентрификацией оказывается задет, не хотят забывать, что, вообще-то, на Пречистенке—Остоженке обитал довольно пестрый люд. Классовая подоплека джентрификации, то есть то, что люди со средствами поселяются там, где другие ходили в школу и в церковь, огорчает одних и встречает циничные оценки других. Двусмысленность настроений связана с общей сложностью определения морального измерения капитализма. Люди понимают, что социальные и политические изменения неизбежны, они согласны с тем, что капитализм безжалостен, но главное, что они чувствуют в отношении этих центральных улиц: «Мы тоже здесь живем».

Джентрификация: как «новая аристократия» преобразила кварталы бедноты

Термин *джентрификация* (*gentrification*) был введен в 1960-е годы британским социологом Рут Глас. Отсылка к дворянству — *gentry* — использована в нем не без иронии для обозначения переделки бедных и рабочих городских кварталов для вкусов и нужд более состоятельных людей. Начавшись с лондонского района Айлингтон (*Islington*), по словам Глас, «один за другим во многие рабочие кварталы Лондона вторгся средний класс — высший и низший. Поизносившиеся, скромные клетушки и домики — две комнаты вверх и две вниз, — когда срок их аренды закончился, поменяли хозяев и стали элегантными дорогими жилищами. Большие викторианские дома, давно или недавно оказались переделаны в меблированные комнаты или дома на несколько семей. «Этот процесс “джентрификации”, начавшись в данном районе, продолжается до тех пор, пока все первоначальные жильцы-рабочие не вытеснены и его социальный характер не изменяется» [Glass, 1964].

Джентрификация как глобальная стратегия

Процесс, который начался в 1960-е годы в отдельных районах Лондона, Нью-Йорка, Парижа и Торонто, распространяется сегодня, во-первых, по всем уровням иерархии городов. Он замечен и в промышленных, и в небольших городах, в Бристоле и Глазго, Детройте и Галифаксе. Во-вторых, он все глубже захватывает те города, в которых начался: если джентрификация 1970-х обошла стороной Бруклин и Бронкс, то сегодня она идет там полным ходом. В-третьих, процесс приобрел глобальный характер еще и потому, что наблюдается теперь повсюду — от Южной Африки до Швеции. Ведущий теоретик джентрификации Нил Смит считает, что сегодня она повсеместно используется как стратегия, вытесняющая *либеральную городскую политику*. Происходит переход от *политики социального воспроизводства*, которая была приоритетом последней, к *политике производства капитала*, стоящей в центре неolibерального урбанизма. *Неolibеральное государство становится агентом, а не регулятором (как раньше) капитализма. В итоге из места социального воспроизводства город превращается в место инвестиций капитала.*

Идут дискуссии относительно того, стоит ли считать проявлением джентрификации то, что в России называют коттеджными поселками, то есть переселение среднего класса в пригороды, а также считается ли джентрификацией возведение нового жилья в центре города. Отрицать это — придерживаться того значения джентрификации, что было введено Рут Глас. Утверждать это — допускать, вместе с ведущим теоретиком джентрификации Нилом Смитом, что различие между реабилитацией существующего жилого фонда, новым строительством и перedelкой заброшенных зданий более не существенно, что термин сегодня относится к гораздо более широкому кругу явлений [см.: *Smith*, 1996: 39]. По его словам: «Как, в широком контексте меняющейся социальной географии, мы можем адекватно провести различие между реабилитацией жилищно-

го фонда XIX века, возведением новых жилых башен-кондоминиумов, открытием рынков во время фестивалей для привлечения местных и неместных туристов, умножением винных баров и бутиков, торгующих всем что пожелаешь, строительством современных и постсовременных офисных зданий, в которых работают тысячи работников, ищущих жилье... Джентрификация — более не узкая и донкихотская странность на рынке жилья, но передний край куда более мощной тенденции — классовой переделки центрального городского ландшафта» [см.: *Smith*, 1996: 39].

Классовое измерение джентрификации неразрывно связано с вытеснением людей со скромными средствами из прежних мест обитания. Давление со стороны состоятельных людей поднимает цены до такой степени, что прежние обитатели районов и кварталов либо сами предпочитают продать или сдать свое подорожавшее жилье, либо оказываются вытесненными. Так, обитателей перестраиваемого дома на Плющихе может посетить нанятый девелоперами юрист и в зависимости от того, какие речи он услышит в ответ на свое предложение рассмотреть варианты переезда (то есть в зависимости от того, ориентируются люди в ситуации или нет, способны они защитить свои интересы или нет), они могут оказаться либо в хрущевке в Выхине, либо в доходном доме начала XX века рядом с Третьяковкой.

Пишущий о джентрификации в Лондоне экономист Крис Хамнет убежден, что вытеснением прежних жителей как самостоятельной проблемой можно пренебречь, так как размер рабочего класса в любом случае сокращается. Его заменяет, а не вытесняет средний класс. Другие авторы, особенно те, кто пишет по заказу городских администраций, предпочитают говорить не о джентрификации, а о «регенерации городов», «городском ренессансе», «устойчивом развитии городов». Эти выражения и понятия удобны тем, что выводят соответствующие экономические процессы из-под социальной критики. Между тем именно классовая природа джентрификации значима для

критически настроенных урбанистов, которые понимают, что изменение классовой конфигурации того или иного квартала неразрывно связано с вытеснением тех, кто жил здесь раньше.

Джентрификация — производство городского пространства для состоятельных жильцов. Этот процесс, имея классовую подоплеку, неразрывно связан с несправедливостью. Для исследователя этот процесс представляет собой дилемму: описывать (и таких исследований большинство) вкусы и пристрастия новых обитателей этих кварталов и районов — среднего класса — или пытаться включить в обсуждение мнения пострадавших. Первые изучены досконально, но последствия джентрификации для старых жителей, выбор которых не столь уж и велик в условиях бума на рынке недвижимости, обусловленного неолиберальной регуляцией, представляют серьезные трудности для исследователей. Тех, кого побудили переехать, или тех, кто живет под угрозой переселения или выселения, не так-то легко найти или разговорить. А девелоперы тоже не рвутся откровенничать с исследователями. В этом смысле выделяется небольшая группа исследователей, которую уже не очень интересуют практики среднего класса, а больше — институциональные и структурные механизмы, которые создают для них пространства. В манифестах планировщиков, заявлениях городских властей, новых проектах девелоперов классовая суть джентрификации надежно спрятана за обтекаемыми словами, как в следующем высказывании мэра Лондона: «Высотные здания — очень эффективный способ использования земли и важный вклад в создание образцового устойчивого мирового города. В Центральном Лондоне они обеспечивают необходимое число помещений, отвечающих нуждам глобальных компаний — в особенности финансовых и занятых обслуживанием бизнеса. Вообще говоря, они отвечают стратегии создания высочайшего уровня активности в местах, вмещающих наибольший объем транспорта. Хорошо спроектированные высотные здания могут стать и архитектурными достопримечательностями, по которым будут узнавать районы, где они

возведены, а также внести важный вклад в регенерацию» [см.: *Mayor of London*, 2002: 249].

Тем самым увеличивается значимость исследований, в которых отражены интересы всех обитателей того или иного подвергаемого джентрификации района. Так, чикагские урбанисты Дэвид Уилсон, Джаред Уоутерс и Дэнис Грамменос рассматривают ситуацию в районе Пилсен, который претерпевает джентрификацию с середины 1980-х. Авторы, во-первых, помещают этот случай в контекст общего брендинга Чикаго как постиндустриального города, его, так сказать, продажи мировому капиталу; во-вторых, они реконструируют три конкурирующих между собой дискурса по поводу джентрификации: 1) девелоперский — в пользу джентрификации; 2) местного сообщества, которое хотело бы сохранить район для тех, кто уже в нем живет; 3) коалиционный (то есть группы бизнесменов и активистов, которые за джентрификацию, но так, чтобы она была проведена с учетом этнического и культурного наследия района). Соответственно, те истории, которые помещают Пилсен в нарратив упадка или, наоборот, возрождения, используются разными социальными силами. Удивительно, но это мексиканские рабочие района преподносятся СМИ как преданные своей территории, тогда как те, кто хочет извлечь из него максимум прибыли, изображены в виде предателей района. Авторы показывают, каким образом репрезентации обретают материальную силу, буквально воплощаясь в сегодняшнем статусе района.

Том Слейтер, один из самых заметных левых критиков джентрификации, предпринял сравнительное исследование джентрификации в Торонто и Нью-Йорке и того, как она отражена в академических статьях [см.: *Slater*, 2004]. Если канадская джентрификация изображается учеными и СМИ как процесс, у которого есть освободительный потенциал, то нью-йоркская — «реваншистская», мстящая рабочему классу, крадущая у него городские кварталы и районы. Джентрификация в Торонто потому эмансипаторская, что она соединяет разные классы,

способствует взаимопониманию и толерантности (для канадского городского планирования вообще очень характерна увлеченность идеями социального смешения — *social mix*). Слейтер, однако, демонстрирует, что внимательный анализ почти любого случая джентрификации вскрывает более сложную картину, нежели изображаемая учеными и СМИ. Так, квартал Саут-Паркдейл (*South Parkdale*) обрел печальную славу после того, как жившие дома психические больные были выселены из своих квартир в процессе перестройки квартала для среднего класса. Альянс региональных и городских властей, а также мобилизованная полиция подавили попытки оспорить происходящее. В Нью-Йорке Слейтер рассматривает район Лоуэр Парк-Слоуп в Бруклине. Финансовые рынки и рынки недвижимости повсеместно стали международными, и понятно, что в Нью-Йорке эта тенденция проявляется сильнее, чем где-либо. За 1997—2004 годы средние цены на дома для одной семьи удвоились, что нашло отражение в таких терминах, как *суперджентрификация* и *корпоративная джентрификация*. Парк-Слоуп — элитный район Бруклина — в итоге этих тенденций превратился в один из самых популярных районов всего Нью-Йорка, символ его бурного экономического роста конца 1990-х (сейчас прекратившегося). В 1997 году в городе было принято постановление, согласно которому владельцы домов, где стоимость аренды квартир превышает 2 тыс. долл. в месяц, не подпадают под какие-то ограничения стоимости аренды. Это значило, что цена за аренду квартир могла подниматься бесконечно, и в итоге большие отряды высокооплачиваемой публики (молодые биржевые брокеры, издатели, интернет-антрепренеры, часть юристов и докторов) были вытеснены из Манхэттена на окраины Бруклина, Квинса и Бронкса, которые в свою очередь стали стремительно джентрифицироваться. Что же случилось с теми людьми, которые прежде жили в перестраиваемых домах? Большинство из них — испаноязычные малооплачиваемые рабочие и служащие — вначале получили уведомления от владельцев квартир

о том, что аренда их квартиры возросла в два раза, а затем и уведомления о выселении. Можно ли, однако, считать, что их ситуация — результат «кражи» средним классом обиталищ бедных людей? Вряд ли: в условиях, когда все больше нью-йоркских районов остаются доступными только для корпоративной элиты, выбор жилья для среднего класса тоже сужается.

Итог: какие бы нарративы джентрификации ни предлагали урбанисты, всегда есть смысл исследовать, как конкретно она проявляется в том или ином районе и какое отношение к себе вызывает.

Брендинг городов

Глобализация усилила необходимость продажи отличий городов друг от друга. Те или иные достопримечательности, знатные горожане либо продукты от века составляли предмет гордости городов. Городские власти издавна пытались придать городам исключительность. Однако только в последние двадцать лет продвижение имиджа города на международном рынке стало целенаправленной стратегией правительств. Одни пытаются позиционировать себя как лидеры IT-индустрии. Другие — как привлекательные для туристов. Старые промышленные города пытаются приспособить городскую среду к новому международному порядку, не претендуя на ведущие места в обслуживании бизнеса, но либо сохраняя высокоспециализированные отрасли промышленности, либо соглашаясь на те функции, которые возможны для них в новом международном разделении труда (к примеру, быть логистическими центрами).

Тема маркетинга и брендинга городов популярна среди городских властей. Интеллектуалы пытаются выполнить социальный заказ, периодически занимаясь «брейнстормингом». Одно такое собрание прошло весной 2008 года в Екатеринбурге. После лекции столичного социолога Ю. Согомонова о теории вопроса участники городского Философского кафе пыта-

лись предложить многообещающий образ города. Предлагались следующие варианты: 1) город, расположенный на границе Европы и Азии; 2) город, где убили царя, но хранят теперь память о нем; 3) рабочий город; 4) город примирения (версия Ю. Согомонова). Негативность одних (удел царской семьи) и потрепанность других (граница Европы и Азии), неактуальность третьих (рабочий город) и абстрактность четвертых (город примирения) предложений вызвали лишь всеобщую фрустрацию.

Создатель теории маркетинга Филипп Котлер со своими соавторами по книге о маркетинге мест [см.: *Котлер и др.*, 2005: 214] формулирует *пять критериев эффективности имиджа* города: 1) *соответствие действительности* (по этому критерию «город примирения» не выдерживает критики: кто, когда, с чем примирился — что можно ответить на эти вопросы? Неизвестно); 2) *правдоподобие* (Котлер и соавторы особенно предостерегают против формулировок «лучший в...»); 3) *простота* (плохо, когда рекламируется несколько рядоположенных образов); 4) *притягательность* (из имиджа должно явствовать, почему людям стоит жить, работать, инвестировать, приезжать в качестве туристов в данный город. Правда, в качестве примера приводится Зальцбург с его поднадоевшим Моцартом — особенно после юбилея последнего в 2006 году. Почему Моцарт делает Зальцбург неотразимым, скажем, для работы местом — не совсем ясно); 5) *оригинальность* (авторы книги упрекают за неизобретательность тех маркетологов городов, которые злоупотребляют выражениями «в центре Европы» или «дружественная атмосфера»).

Маркетинг городов и в целом мест был стимулирован складыванием и популярностью маркетинга как экономической дисциплины. Многое, что пишется применительно к городам, — экстраполяции теории маркетинга на такой специфический «продукт», как город. Именно так написана книга британских авторов Эшворта и Воогда «Продавая город». Авторы

определяют маркетинг городов как процесс, которым городская деятельность как можно теснее увязывается с требованиями значимых покупателей — так, чтобы довести до максимума экономическую и социальную эффективность функционирования города [см.: *Asbworth, Voogd*, 1990: 11].

Сдвиг к *брендингу* городов произошел в конце 1990-х годов в силу успеха и широкого применения стратегий брендинга, а также появления понятия корпоративного брендинга. Наделение продукта особой идентичностью, лежащее в основе брендинга, — деятельность, которой издавна отдавали дань городские власти. Город должен получить уникальную идентичность, чтобы, во-первых, люди знали о его существовании (кто знал о городе Мышкин Ярославской области до его успешной маркетинговой кампании?), во-вторых, чтобы он воспринимался жителями и посетителями как обладающий такими качествами, каких больше ни у кого нет (где еще в мире есть Музей мыши, кроме как в Мышкине?), и, в-третьих, чтобы преобладающие варианты его «потребления» отвечали целям властей и населения (в Мышкин стало приезжать гораздо больше туристов, что устраивает и жителей и власти, которые добиваются включения Мышкина в Золотое кольцо). В более же общем виде у города тогда есть шанс стать брендом, когда, во-первых, хорошо понятны и известны его «продаваемые» отличия и, во-вторых, разработана совокупность маркетинговых мер, которые эти отличия используют.

Вендина О. Реквием по общественным пространствам Москвы // Архитектур. вестн. 2008. № 2.

Игрицкий Ю. Рец. на кн.: Сассен С. Потеря контроля?: Суверенитет в век глобализации. Нью-Йорк, 1996 // Pro et contra. 1999. Т. 4. С. 222—227.

Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.

Левченко Э. Россия — часть глобальной истории [Интервью с С. Сассен] // Экономика и время. 2003. № 21.

Сассен С. Приведение глобальной экономики в действие: роль национальных государств и частных факторов // *Международ. журн. социал. наук.* 2000. № 28. С. 167—175.

Сассен С. Утрата контроля? // *Гендер и глобализация: теория и практика международного женского движения* / Под общ. ред. Е. Балаевой. М.: МЦГИ—ИСЭПН РАН, 2003.

Сассен С. Когда города значат больше, чем государства // *Новое время.* 2003. № 43.

Сассен С. Обманчивый лик европейской миграции // *Деловая неделя.* Киев, 2004. № 51.

Слука Н.А. Градоцентрическая модель мирового хозяйства. М.: Пресс-Соло, 2005.

Albrow M. Travelling beyond Local Cultures. Sociospaces in a Global City // *Living the Global City* / Ed. J. Eade. L.; N.Y.: Routledge, 1997.

Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy // *Modernity at Large — Cultural Dimension of Globalization.* Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.

Ashworth G.J., Voogd H. Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning. L.: Belhaven Press, 1990.

Badyina A., Golubchikow O. Gentrification in Central Moscow — a Market Process or a Deliberate Policy? Money, Power and People in Housing Regeneration in Ostozhenka // *Geografiska Annaler.* 2005. № 87. P. 113—129.

Boden D., Molotch H. The Compulsion of Proximity // *Now Here: Space, Time and Modernity* / Ed. R. Friedland, D. Boden. Berkeley: University of California, 1994. P. 101—105.

Brenner N. State Territorial Restructuring and the Production of Spatial Scale: Urban and Regional Planning in the FRG, 1960—1990 // *Political Geography.* 1997a. № 16(4). P. 273—306.

Brenner N. Global, Fragmented, Hierarchical: Henri Lefebvre's Geographies of Globalization // *Public Culture.* 1997b. № 10(1). P. 137—169.

Brenner N. Global Cities, Global States. Global City Formation and State Territorial Restructuring in Contemporary Europe // *Review of International Political Economy.* 1998. № 52. P. 1—37.

Cvetkovich A., Kellner D. Introduction: Thinking Global and Local // *Articulating the Global and the Local — Globalization and Cultural Studies.* Boulder: Westview Press. 1997. P. 1—32.

Eade J. Living the Global City: Globalization as a Local Process. L.; N.Y.: Routledge, 1997.

Friedman J. The World-City Hypothesis // *World Cities in a World-System* / Ed. P.L. Knox, P.J. Taylor. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P. 317—331.

Gdaniec C. Kommunalka und Penthouse. Stadt und Stadtgesellschaft im postsowjetischen Moskau. Münster: Lit Verlag, 2006.

Gentrification of the City / Ed. N. Smith, P. Williams. L.: Allen and Unwin, 1986.

Glass R. London: Aspects of Change. L.: Macgibbon a Kee, 1964.

Global Networks, Linked Cities. London / Ed. S.L. Sassen. L.; N.Y.: Routledge, 2002.

Golden Arches East: McDonald's in East Asia // Ed. J.L. Watson. Stanford University Press, 1997.

East Asia, (Stanford University Press, 1997

Hall P. The World Cities. L.: Heinemann, 1996.

Hammerz U. Transnational Connections — Culture, People, Places. L.; N.Y.: Routledge, 1996.

Hiebert D. Cosmopolitanism at the Local Level. The Development of Transnational Neighborhoods // Conceiving Cosmopolitanism. Theory, Context, and Practice / Ed. S. Vertovic, R. Cohen. Oxford. Oxford University Press, 2002.

Jessop B. State Theory: Putting Capitalist States in their Place. University Park: Pennsylvania State University Press, 1990.

Jessop B. Fordism and Post-Fordism: a Critical Reformulation // Pathways to Industrialization and Regional Development / Ed. M. Storper, A.J. Scott. N.Y.: Routledge, 1992. P. 46—69.

Jessop B. Post-Fordism and the State // Post-Fordism: A Reader / Ed. A. Amin. Cambridge: Blackwell, 1994. P. 251—279.

Kavaratzis M. City Marketing: The Past, the Present and Some Unresolved Issues // Geography Compass. 2007. № 1(3). P. 695—712.

King A. Global Cities: Post-Imperialism and the Internationalization of London. L.; N.Y.: Routledge, 1990.

King A. Culture, Globalization and the World-System — Contemporary Conditions for the Representation of Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

Mayor of London. The Draft London Plan. Draft Spatial Development Strategy for Greater London. L.: Greater London Authority, 2002.

Patteeuw V. City Branding: Image Building and Building Images. Rotterdam: NAI Publishers, 2002.

Robertson R. Globalization — Social Theory and Global Culture. L.: Sage Publication, 1996.

Sassen S. Cities in a World Economy. Pine Forge Press, 1994.

Sassen S. The Global City. New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press, 2001.

Slater T. North American Gentrification? Revanchist and Emancipatory Perspectives Explored // *Environment and Planning A*. 2004. Vol. 36. P 1191—1213.

Smith N. Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space. Oxford. Blackwell, 1990.

Smith N. Blind Man's Buff, or Hamnett's Philosophical Individualism in Search of Gentrification? // *Transactions of the Institute of British Geographers. New Series*. 1992. № 17. P. 110—115.

Smith N. The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. N.Y.: Routledge, 1996.

Smith N. New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy // *Antipode*. 2002. № 34. P. 427—450.

Smith N., Filippis J. de. The Reassertion of Economics: 1990s Gentrification in the Lower East Side // *International Journal of Urban and Regional Research*. 1999. № 23. P. 638—653.

Swyngedouw E. Reconstructing Citizenship, the Re-scaling of the State and the New Authoritarianism: Closing the Belgian Mines // *Urban Studies*. 1996. № 33(8). P. 1499—1521.

Swyngedouw E. Neither Global nor Local: 'Glocalisation' and the Politics of Scale // *Spaces of Globalization* / Ed. K. Cox. N.Y.: Guilford Press, 1997a. P. 137—166.

Swyngedouw E. Excluding the Other: the Production of Scale and Scaled Politics // *Geographies of Economies* / Ed. R. Lee, J. Wills. L.: Arnold, 1997b. P. 167—177.

Thrift N. A Hyperactive World // *Geographies of Global Change* / Ed. R. Johnston, P. Taylor, M. Watts. Oxford: Blackwell, 1995. P. 18—35.

Turner B.S. Cosmopolitan Virtue. Loyalty and the City // *Democracy, Citizenship and the Global City* / Ed. E.F. Isin. L.; N.Y.: Routledge, 2000.

Wilson D., Wouters J., Grammenos D. Successful Protect-Community Discourse: Spatiality and Politics in Chicago's Pilsen Neighborhood // *Environment and Planning A*. 2004. № 36(7). P. 1173—1190.

World City In A World System / Ed. P. Knox, P. Taylor. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

ГЛАВА 7

Городская политика и управление городом

Город — обсуждаем ли мы организацию его пространства или надежды его обитателей — зависит от того, как организована в нем власть. Управление городом и участие в его управлении горожан — два полюса исследований городской политики. Эти исследования обращаются как к хитросплетениям современного менеджмента, так и к политическому участию населения. В городах рождались радикальные политические идеи, в них проходили демонстрации, в них угнетенные люди одерживали свои скромные победы. В городах рабочие, этнические меньшинства и женщины боролись за свои права и частично победили: за последнее столетие условия их жизни заметно улучшились.

Чем отличается городская политика от «просто» политики? Это сложный вопрос, учитывая, что границу между городским и негородским становится все более сложно провести и что в городах живет большинство населения любой страны. Чтобы различить обсуждение национальной и городской политики, для обозначения последней используют термины *местный*, *региональный*. Это не способствует ясности, потому что различие «в центре — на местах» — это политическое различие, связанное с тем, как работает современное государство. «Городское» — это и пространственная и политическая категория. Городское или местное, как его ни определяй, тесно связано с национальными экономикой и политическими процессами, а также государственными структурами.

«Укрепление властной вертикали» — стратегия российского правительства при президенте Путине — повлияло на политику городских правительств в России. Настойчивые разговоры о поощрении местного самоуправления сочетаются с сокращением автономии городов, с нарастанием их зависимости от государственного финансирования. История ряда других стран (например, Англии) тоже отмечена сравнительной слабостью городских правительств, как и слабостью городских политических движений и сильной центральной системой управления. Местные правительства имели в своей компетенции вверенные им территории, но еще до ослабления их власти в 1970-е годы они должны были считаться с национальными стандартами и процедурами управления. Городское управление будет понято нами тем точнее, чем полнее мы примем во внимание, что вся государственная политика имеет последствия на местах, что любое решение центрального правительства отзывается в городах. Управление городами — дело отнюдь не только самих городов. Тем не менее история той или другой страны обуславливает разные варианты взаимодействия центральной и городской власти. Так, в США городским властям автономия гарантирована Конституцией. Еще французский историк Алексис де Токвиль описал городские правительства как органичную черту американской демократии. Не удивительно, что самые влиятельные теории городской политики сложились в этой стране. Это, разумеется, не значит, что они обладают универсальной применимостью.

Изучение городской политики включает институты городского управления, их политические функции, их традиционные виды и современные модификации, а также социальные и политические последствия их ослабления. Роль общественности, частного сектора, общественных институтов в городской политике также составляет значимый компонент этого исследовательского поля. Наконец, интересному анализу подвергается в последнее время сама риторика изменений и инноваций в городском управлении. Мы рассмотрим вначале элитарные,

плюралистские теории и теории «машин роста», кратко обратимся к концепциям городских режимов и институтов, подытожим дискуссию об отличии городского правительства и городского управления, коснемся влияния глобализации на городскую политику и разберем ситуацию с городскими политическими движениями «снизу».

Элитарные и плюралистские модели

Какие модели лидерства «отцов» города сложились в истории городов и какие следствия они имеют для политики, в особенности для экономического развития? Какие стратегии способствуют, а какие препятствуют экономическому развитию? В каких городах лидеры следовали особым стратегиям управления и к каким результатам это привело? Какие сдвиги в городском политическом климате (или культуре) сопровождали разные варианты городской политики? Первая группа теорий городской политики стремилась ответить на два главных вопроса: у кого есть власть в городе и как властвующие этой властью распоряжаются.

Элита, городская верхушка — таков был исторически первый ответ на вопрос, кто властвует в городе. Учитывая, что в классической политической теории город был моделью политического устройства, немудрено, что к городу приложима общая линия мысли, развитая Платоном и Аристотелем в эпоху Античности, Макиавелли в период Возрождения, Вильфредо Парето и Гаэтано Моска в XIX столетии. Правят избранные — силой своей мудрости, хитрости и интриги, а также находящихся в их распоряжении материальных ресурсов.

Исторические исследования вариантов организации городского управления показывают, что это правило распространяется и на американские города. Американские социологи Роберт и Хелен Линд, одними из первых применившие к городу методы социальной антропологии, исследовали в 1920—

1930-е годы типичный город Среднего Запада — Мунси (штат Индиана). Чтобы подчеркнуть его типичность, они дали ему название Миддлтаун и написали о нем две книги, которые впоследствии стали социологической классикой. Исследуя религиозные верования обитателей города, а также предрассудки, бедность, проституцию, алкоголизм, они заметили огромное влияние на городские дела одной семьи — семьи Болл, основавшей в этом городе университет и владевшей стекольной фабрикой.

К аналогичным выводам (о том, что властвуют элиты) пришел американский социолог Флойд Хантер на примере Атланты 1940—1950-х годов [см.: *Hunter*, 1953]. Он тоже вывел Атланту под условным названием «региональный город». «Структура власти» (Хантер ввел этот термин в язык социальной теории) была исследована им с помощью не только включенного наблюдения, но и «репутационного метода». Хантер составил список из 175 гражданских лидеров, бизнесменов, политиков и показал его экспертам — профессионалам и уважаемым в городе людям (тем, кто лучше всего владел ситуацией). Почти со всеми сорока, кто набрал наибольшее количество голосов, он провел интервью, спрашивая их опять о том, кого они считают самыми главными в городе и каковы две самые главные городские проблемы. Он также опросил лидеров сообщества афроамериканцев, планировщиков, социальных работников. Полученные им выводы гласили, что на верхушке городской властной пирамиды — самые крупные бизнесмены, корпоративные топ-менеджеры и юристы, живущие в одном районе и хорошо друг с другом связанные (чаще всего упоминался магнат «Кока-Колы» Роберт Вудраф). Это в их деловых разговорах рождались инициативы, которые затем обсуждались в более широких кругах («Клуб 49» и «Клуб 101»). Кстати, аналогичные группы были позднее описаны в других городах, к примеру такая группа, как «Комитет 25-ти» в Лос-Анджелесе. Затем, если идея получала одобрение, формировался комитет, обсуждалось, какие именно люди будут общаться с прессой, и, лишь

когда все было решено и распределено, идея становилась предметом формального публичного обсуждения. Но «политика», в смысле конкретного направления действия, уже была определена в ходе неформальных дискуссий среди обладающих экономической властью людей. Хантер затем опробовал этот метод еще и в Сейлеме (штат Массачусетс).

Многие посвященные городам неакадемические тексты воспроизводят одно из самых распространенных «видений» городов — как творений обладающих значительной властью индивидов. Приведем один из недавних примеров: «В результате усилий Юрия Лужкова Москва решительно преобразилась. Теперь она не похожа ни на уютный город, где “стаи галок на крестах”, ни на цветаевский “нерукотворный град”, ни на оплот державной гордости, в который ее превратила харизматическая сталинская архитектура. Москва теперь, собственно, ни на что не похожа. Поскольку обрела непоправимую и неповторимую индивидуальность. В том смысле, что являет собой теперь на редкость стройный и пунктуально реализованный индивидуальный проект» [*Артишкин, Перестройка*, 2006].

Понимание городской среды как воплощения индивидуальной воли властителей имеет давнюю историю. Архитектурные причуды монархов и технократические иллюзии относительно социальной инженерии, мегаломания и инструментализм часто сливаются в амбициях мэров и президентов до неразличимости. Систематическое и рационально упорядоченное видение мира, выражаемое в личной «философии» правителей, сочетается с их верой в эффективное управление теми, кто создает городское пространство, — архитекторами и бизнесменами, застройщиками и политиками. То, что многих из нас в городах волнует — грандиозные архитектурные проекты, появление на пустом месте целых кварталов и, увы, разрушение «отслужившего свое», — связано с громкими именами архитекторов и их заказчиков. «Париж Миттерана» или «Москва Лужкова», «Лондон Блэра» или «Нью-Йорк Джулиани», не говоря уж о «Берлине Гитлера» или «Риме Муссолини», — эти словосоче-

тания тем для нас привычнее, чем более активно пропускается наше восприятие городов сквозь призму массмедиа, которым присуще персонифицировать любые социально-политические и культурные процессы. Для историков и эстетически чувствительных комментаторов это открывает громадное поле рефлексии, в рамках которого можно до бесконечности комбинировать анализ идиосинкразий правителей, вкусов и мастерства архитекторов и конечного результата. Политический спектр такой рефлексии тоже достаточно широк: от либерального обличения равнодушия властей к нуждам жителей до консервативного прославления единоличного принятия решений. Такая стратегия позволяет решить и главную задачу нормативного анализа, давая вроде бы очевидный ответ на пресловутый вопрос об адресате ответственности. Между тем, как бы ни был привлекателен этот ход мысли и как бы каждому из нас ни было очевидно, что те, кто обладает ресурсами и властью, продолжают формировать городскую среду по своему разумению, важно попробовать занять более диалектическую позицию в отношении того, кто и что создает городскую среду, какие «творческие силы» (и только ли человеческие) оказываются вовлеченными в создание совокупного продукта.

Противоположная по смыслу, то есть *плюралистская* теория была сформулирована американским политическим теоретиком Робертом Далем в книге «Кто правит?». Свое исследование он провел в Нью-Хейвене (штат Коннектикут). Он был согласен с тем, что в прошлом (в XVIII и XIX веках) городская политика действительно была элитистской, но был убежден, что в XX веке ее характер изменился [см.: *Dahl*, 1961]. Идет ли речь о развитии города, об образовании, о партийных номинациях, в решения оказываются вовлечены самые разные люди и группы давления. Нет замкнутой группы, которая решала бы все. Иначе говоря, на поставленный вопрос «Кто правит?» Даль отвечает: «Не одна группа, а несколько». Это означало, что ни одна группа не могла монополизировать власть, потому что власть оказывается распределенной среди большого числа

носителей противоположных интересов. Впрочем, противоположных только до определенной степени, так как конкурирующие за власть группы состоят из бизнесменов и представителей среднего и высшего среднего класса. Даль сосредоточился не на репутациях, а на спектре интересов людей, вовлеченных в принятие конкретных решений, используя подробные опросники и глубинные интервью. Теоретик признавал, что социальное неравенство неустранимо и что оно сказывается на возможностях политического участия. В то же время он был убежден, что групповая мобилизация, приводящая к соревнованию между властными коалициями, пусть опосредованно, но сокращает последствия неравенства.

Эдвард Банфилд в книге «Политическое влияние» рассмотрел, каким образом мэру Чикаго удалось создать властную коалицию под его, «босса», руководством [см.: *Banfield*, 1961]. Нельсон Полсби во «Власти сообщества и политической теории» рассмотрел, как решения, принимаемые коалициями элиты, были обусловлены и социальной стратификацией, и политическими тенденциями [см.: *Polsby*, 1980].

Дебаты между плюралистами и элитистами (позднее неоэлитистами) помогли понять, что власть в городе заключается не только в занятии формальных постов, но и в способности определять, какие темы вообще станут предметом политического обсуждения. Так, неоэлитисты — политические исследователи Питер Бахрах и Мортон Баратц (также проведя эмпирическое исследование в Балтиморе) — в работе «Два лица власти» показали, что интересы местной элиты могут быть настолько превалирующими, что интересы иных горожан просто не становятся предметом обсуждения [см.: *Babrach, Baratz*, 1962]. Мэтью Кренсон утверждал, что до 1970-х годов загрязнение воздуха в большинстве американских городов не обсуждалось как отдельная проблема [см.: *Crenson*, 1971]. Способствовавшим загрязнению большим промышленным компаниям удавалось — через массмедиа — убедить население в том, что этот процесс неразрывно связан с экономическим ростом и появлением новых рабочих мест.

Теория машины городского роста

Как видно из предыдущего обсуждения, те работы существенно влияли на складывание теории городской политики, которые строились на конкретных случаях, исходили из местного контекста. Этот подход получил название «новой городской политики», и с ним связаны теории, возникшие после 1970-х годов. В их центре уже не вопрос «Кто управляет?», а вопрос «Для чего?» (формулировка Логана и Молоча). Понятно, что городом управляют сообщества бизнесменов, но с какой целью? Опираясь на уроки политической экономии, теории обращают внимание на явление *бустеризма* (от англ. *boost* — расширять, проталкивать, рекламировать) — продвижения стратегии быстрого развития города любой ценой. В этой деятельности объединялись амбициозные мэры, предприниматели, владельцы недвижимости и узлов транспорта.

В 1970-е годы Харви Молоч — американский городской социолог и автор метафоры «город — машина роста» — добавил к названию своей (сегодня классической) статьи подзаголовок «политическая экономия места». Молоч не первым привлек образ машины для описания функционирования капиталистической экономики в городах. У Маркса «машинная» метафора была вплетена в его разбор капиталистического отчуждения, в демонстрацию того, что труд человека при капитализме становится чуждой ему силой, что выражается в том, что человек поработен трудом (вместо того, чтобы самому его контролировать). Если инструмент служит мастеру, то в случае машинного производства рабочий служит машине. Другой знаменитый марксистский урбанист — Анри Лефевр — это тоже отмечает: «Город — это действительно машина, но это и нечто большее и нечто лучшее: машина, приспособленная к определенному использованию — использованию социальной группой» [Lefebvre, 1991: 345]. Машина не рассчитана на благополучие всех своих «винтиков», если воспользоваться популярной советской метафорой, — и с помощью этой метафоры

Молоч проблематизирует популярную идею о том, что выгодные для элиты процессы городского развития в конечном счете выгодны для всех горожан. Популяризации этой идеи способствовали прежде всего городские власти. Но были и теоретики, достаточно отчетливо сформулировавшие эту идею. Американский политический теоретик Пауль Питерсон в книге «Пределы города» настаивает: «Интересы городов — это не сумма индивидуальных интересов жителей и не стремление иметь оптимальный размер. Напротив, политика и программы тогда осуществляются в интересах городов, когда они поддерживают или усиливают экономическое положение, социальный престиж или политическую власть города в целом» [Peterson, 1981: 20].

Молоч и ряд других авторов были настроены более критически и предположили, что экономический рост городов отнюдь не всегда тождествен увеличению суммы общественных благ. «Машина роста» — это не город как таковой, а коалиция элит, нацеленная на извлечение прибыли из городской земли и всего, что на ней возведено. Молоч был первым, кто столь отчетливо описал доминирование в послевоенной американской городской политике идеологии роста: «Рост — это экономическая и политическая сущность практически любой данной местности... стремление к росту составляет ключевую действующую мотивацию консенсуса местных политических элит, сколь бы расколоты они ни были в отношении других проблем» [Molotch, 1976: 310].

Молоч показал, что даже сильные города (Нью-Йорк, к примеру) должны участвовать в кампаниях роста, продавая себя международному и национальному бизнесу, но отстаивая при этом свои политические интересы. И он был первым, кто, опираясь на обширный фактический материал, показал, что, вопреки оптимистической риторике властей предрежащих, масштабные строительные проекты и иные стратегии роста далеко не всегда оборачиваются новыми рабочими местами и сопровождаются адекватной социальной политикой. Его кон-

цепция машины роста состоит из трех компонентов: 1) коалиция элит; 2) лоббирование элитами момента роста как отвечающего их долговременным экономическим интересам; 3) диспропорции в выгодах от роста.

В книге «Городские состояния», написанной вместе с Джоном Логаном, теория города — машины роста противопоставлена экологическому подходу чикагской школы (о нем рассказывается в главе «Классические теории города») и марксистскому подходу [см.: *Logan, Molotch*, 1987]. Недостаток первого — в допущении «невидимой руки рынка», устанавливающей равновесие в расселении горожан. В действительности свободное соревнование горожан за свободное пространство невозможно. Высокий спрос на жилье невозможно удовлетворять до бесконечности. Дома обладают качествами, которые либо увеличивают, либо уменьшают их стоимость; кроме того, люди часто привязаны к вполне определенным частям города, что чикагская модель не в состоянии описать. Недостаток второго подхода — в сведении города к месту эксплуатации, к «печальному последствию логики капиталистического накопления» [*Ibid.*: 10]. Марксизм считает, что те, кто снимает жилье, — просто работники, а собственники жилья — капиталисты. Получается, что целый ряд важных для города игроков марксистский подход просто не способен инкорпорировать, в силу чего картина городского развития получается чрезмерно упрощенной. Авторы считают, что развитие города лучше объясняется напряжением, во-первых, между владельцами городской недвижимости (они могут использовать меновую стоимость своих владений) и жителями (использующими потребительную стоимость) и, во-вторых, между противоборствующими группами бизнес-элит. Элиты, политики, массмедиа и коммунальные предприятия составляют коалицию роста. Вспомогательные участники коалиции — это университеты, профсоюзы, учреждения культуры, владельцы малого бизнеса.

Каждая группа преследует при этом свои цели, но убеждает население в том, что от роста и вложений в него выиграют

в конечном счете все: «Совокупный рост изображается как общее благо; считается, что увеличение экономической активности поможет всему городскому сообществу» [Logan, Molotch, 1987: 33]. Между тем авторы убеждены, что в действительности, «за редкими исключениями, консенсус между городскими группами элиты возникает по поводу одного вопроса. Этот же вопрос разделяет элиты и тех, кто использует город для жизни и работы. Это вопрос роста» [Ibid.: 50]. Члены коалиции позитивно расценивают любой вариант роста, это и позволяет им эффективно работать вместе, независимо от различных целей. Но результаты роста распределяются неравномерно: природа машины роста такова, что потребительная стоимость большинства обменивается на меновую стоимость нескольких.

Каким образом это происходит? Как те или другие места города циркулируют на рынке недвижимости? Авторы вводят понятие специальной потребительной стоимости для того, чтобы зафиксировать субъективную ценность того или иного места для жителей. Специальная потребительная стоимость отличает место от других товаров. Другое качество места состоит в том, что оно открывает доступ к другим благам и людям, но этот доступ прекращается, если человек меняет место жительства. Таким образом «переживания и мотивы фокусируются на определенном месте» [Ibid.: 18]. Люди, покупающие дома в особо значимых для них местах, вносят вклад в развитие всего жилого района. Его качество (ресурсы, которые он предоставляет, его привлекательность и связанная с ней способность мобилизовать людей на какие-то действия) определяет жизненные шансы его жителей. Владельцы же устанавливают специальную меновую стоимость своей недвижимости. У каждого владельца — монополия на свой сегмент рынка недвижимости. Часто стоимость их владений зафиксирована. Владельцы стараются ее поднять, но есть препятствия их экономической активности, к примеру разная стоимость квартир на нижних и верхних этажах высотного дома. Недвижимость отличается от других товаров тем, что не может создаваться

только частным образом: любое строительство или реконструкция предполагает переговоры с правительством и другими внешними инстанциями.

Логан и Молоч предлагают социальную типологию предпринимателей рынка недвижимости. Первый тип — «везучие», то есть те, кто унаследовал собственность либо владеет ею в результате счастливого стечения обстоятельств; второй тип — «активные», то есть те, кто ищет удачные места и участки для вложений; третий — «структурные спекулянты», то есть те, кто не только способен предсказать, как изменится стоимость конкретной недвижимости, но и обладает ресурсами, чтобы ускорить этот процесс в устраивающем их направлении. Последний тип — самый важный в модели роста. Конкурирующие группы элиты, сотрудничающие с правительством, объединяются под прикрытием доктрины ценностно нейтрального развития города, то есть идеи, что только свободный рынок определяет использование земли. В действительности рынок социально конструируется в том смысле, что те, кто его контролирует, делают это к своей собственной выгоде. Авторы описывают разнообразные махинации городского истеблишмента, указывая, в частности, на «бесконечное лоббирование, манипулирование и задабривание» как на ключевые ресурсы получения и поддержания власти в больших городах [см.: *Logan, Molotch*, 1987: 293]. При этом активисты местных сообществ, по мнению Молоча и Логана, играют достаточно двусмысленную роль. Они выступают от имени жителей, пытаясь побудить городское правительство, к примеру, использовать ограничения по зонированию земли в пользу жителей. Но нередко их активность лишь способствует успеху предпринимателей в неустанной борьбе за повышение ренты.

Что разительно отличает типичную картину политических аспектов развития постсоветского города и, к примеру, американского — это степень и характер оспаривания интересов коалиции бизнесменов и политиков активистами местных сообществ и прогрессивными политиками. В компаративном

исследовании двух городов, Чикаго и Питсбурга, изложенном в книге «Бросая вызов машине роста», Барбара Ферман показывает, как местные сообщества в Питсбурге, действуя в благоприятном политическом климате широкой гражданской поддержки, смогли отстоять свое прогрессивное видение строительства жилья и экономического развития в целом [см.: *Ferman*, 1996]. В Чикаго, напротив, вызов стратегиям развития был брошен на электоральной арене, где преобладали делегированные от районов политики, видевшие угрозу в любой независимой политической активности по месту жительства. Что бы ни исходило от местных сообществ, пряталось под ковер, и в итоге чикагская машина роста не встретила никаких препятствий. Российские машины роста городов следуют скорее чикагскому сценарию. Если в Америке каждый случай нужно рассматривать отдельно, потому что иногда местные сообщества все же одерживают верх, то в России последнего десятилетия, хотя местные детали интересны, исход дела удручающе предсказуем.

Теории городских режимов

Интерес к неформальной стороне действий городских властей, к тому, что происходит по ту сторону выступлений мэров и разрезаний красных ленточек, воплотился в дискуссиях по поводу различных типов городских режимов. Понятие городского режима фиксирует неформальные управляющие коалиции, реально принимающие решения и определяющие городскую политику. Вот определение *городского режима*, данное Кларенсом Стоуном: «*Формальные и неформальные соглашения, на основе которых общественные органы и частные интересы действуют вместе для принятия и исполнения решений*» [Stone, 1989: 6]. Кстати, свое исследование городской политики Стоун вел опять-таки на примере Атланты (он рассмотрел четыре десятилетия, 1946—1988 годы), и понятие го-

родского режима возникло в ходе его попыток описать неформальное партнерство между городским правительством и бизнес-элитой. Городское правительство озабочено сохранением власти, расширением поддержки со стороны общественности. Бизнес-элита, понятно, думает об увеличении прибыли. Городской режим складывается из конфликта между экономической и политической логиками в рамках правящей коалиции. Когда коалиция становится правящей коалицией? В центре коалиции — члены городского правительства. Но их голосования и принятых ими решений недостаточно: для управления городом обычно нужны куда более значительные ресурсы. Вот почему решающими для коалиции являются ресурсы, находящиеся во владении частных лиц, и сотрудничество их владельцев с властями. Взаимные обязательства формальных и неформальных участников коалиции (чиновников, политиков и заинтересованных лиц) — органическая часть реальных соглашений, посредством которых ведется управление. Так, в Атланте сложился сильный режим, основанный на межрасовой коалиции между белой элитой города и черным средним классом. Стоун подчеркивает, что понятие правящей коалиции указывает на ключевых акторов, осознающих свою ведущую роль и лояльных соглашениям, гарантирующим им их позиции. Но управленческие соглашения выходят за пределы круга «инсайдеров». Какие-то жители города могут знать тех, кто их принимает, и пассивно поддерживать принятые решения. Другие могут и не знать, и не поддерживать, придерживаясь таких общих принципов, как «нет смысла бороться с городским правительством». Третьи могут сознательно быть в оппозиции, а четвертые — прагматически придерживаться взгляда, что поддерживать «лузеров» и «гнать волну» просто неумно. Так что в понятии режима учитываются не только «инсайдеры», но и разная степень приверженности горожан принимаемым решениям, и то, как именно с ними консультируются. Соглашения нечетко зафиксированы, а их понимание акторами может меняться, так что, предупреждает Стоун, понятие городского ре-

жима не надо реифицировать. Это тем более важно, что типы режимов могут различаться даже в одной стране — они могут быть включающими и исключающими, расширяться до пределов агломерации городов либо, напротив, сужаться до центрального района.

Деннис Джад и Пол Кантор [см.: *Enduring...*, 1992] продолжают дифференциацию городских режимов, выделив четыре цикла их развития в США. До 1870-х годов в *городах-антрепренерах* все было под контролем купеческой элиты. До 1930-х годов, когда бурная индустриализация сопровождалась волнами иммиграции и иммигранты быстро создавали политические организации, бизнес должен был работать с политическими представителями иммигрантов. Это была политика *города машин*. Период 1930—1970-х годов — время наибольшего государственного вмешательства. В *коалиции Нового курса* экономическое развитие городов стимулировалось федеральным правительством, и правительство же следило за расширением базы Демократической партии. Когда этнические меньшинства набрали достаточный вес, этот режим уступил место последнему, который на современном цикле развития способствует *экономическому росту и политическому включению*. В любом случае теория городского режима позволяет исследовать степень участия бизнеса в городской политике и учитывать его мотивацию.

Институциональные теории

В теории города как машины роста, как и в теории городских режимов, правительство — национальное и в особенности городское — не обладает достаточными ресурсами, чтобы быть сильным, независимым субъектом власти. Есть, однако, группа теорий, в которых отстаивается тезис о том, что в центре городской политики — формальные политические институты города. У них есть власть, источником легитимности ко-

торой является суверенность национальных государств. В основе этой группы теорий лежат идеи Макса Вебера о неразрывной связи модерных обществ и административных систем и о власти как о способности личности навязать другим свою волю (личности, изменяющей характер действия в зависимости от типа общества). Традиционное доминирование предполагало установление легитимности правления на основе унаследованной позиции в социальной иерархии и апелляции к прошлому. Харизматическое доминирование вытекало из особых качеств и достижений личности. Наконец, рационально-правовое доминирование основывало свою легитимность на бюрократических навыках и рациональных правилах администрирования. Образованные управленцы мыслились Вебером как ключевые деятели общества модерности. Не случайно те английские теоретики, которые именно городское правительство помещают в центр городской политики, называют себя неовеберийцами. Их американские коллеги относят себя к «правительственному» или «городскому» менеджеризму.

Теорию *городского менеджизма* в 1960—1970-е годы разработал английский городской социолог Рэй Пол. Он понимал город как организованную систему распределения ресурсов, проявляющуюся в идентифицируемых способах организации городского пространства и неизбежно приводящую к систематическому воспроизводству социального неравенства [см.: *Pahl*, 1975]. Ресурсы — земля, разнообразные виды капитала, здания (коммерческие, промышленные, жилые) и социальные ресурсы (инфраструктура, места отдыха, медицина и образование). Пол предположил, что путь к пониманию логики способов организации городского пространства лежит на пути изучения мотивации и идеологии «городских менеджеров» — работников муниципалитетов, планировщиков, застройщиков, инвесторов, банкиров, риелторов, иными словами и государственных служащих, и владельцев частного капитала. Это они решают, что строить и где, это их вкусы находят воплощение в новых проектах, это они дают разрешение на застройку но-

вых и перестройку старых территорий. Контролируя доступ к часто скудным ресурсам (жилью, образованию), они определяют социопространственное распределение населения. Однако Пол посвящает свою книгу демонстрации не их всемогущества, а, напротив, того, что эти люди в свою очередь подвержены воздействию разнообразных факторов или сил, находящихся вне их контроля. Во-первых, это политические факторы (к примеру, влияние на решения муниципалитетов национальных правительств, в свою очередь зависящих от международной циркуляции капитала). Во-вторых, это экономические факторы, так сказать логика рынка, которую не всегда можно учесть и предвидеть в менеджерских решениях. В-третьих, это пространственные факторы. Три из них особенно интересны. Первый можно назвать «упрямством расстояния». Оно проявляется в том, что если одно место в пространстве занято, то поселиться или расположиться можно только по соседству, и так до бесконечности, что делает неизбежной «тиранию расстояния»: пространственное неравенство людей в отношении наиболее привлекательных для жизни мест вытекает из самой логики пространства. Два человека или два коллектива не могут одновременно занимать одно место в пространстве. Второй — «инерция использования»: стихийно сложившийся вариант использования данного места или совокупности мест предопределяет то, как они будут использоваться в будущем. Третий — «конформизм соседства»: то, как будет использоваться данный участок земли, определяется тем, как уже используется земля вокруг него. Три эти группы «сил» значительно ограничивают возможности и амбиции городских игроков, что побудило Пола описывать их деятельность не в терминах ничем не ограниченного влияния, но лишь «вмешательства» или «посредничества» в процессах, которые, по большому счету, никто не контролирует (и за которые никто в конечном счете не отвечает). Этот ход мысли независимо от Пола развивают некоторые сегодняшние политические философы, говоря о невозможности беспроblemного приписывания ответствен-

ности за происходящее какому-то одному правителю или властной инстанции: слишком сложным стал мир, слишком тесно переплетены происходящие в нем процессы.

Уже упомянутый в этой главе Мэтью Кренсон рисует, как городское правительство и политические партии сплоченно действуют, чтобы вести политику, не обращаясь к городской общественности и поэтому не принимая в расчет социальные интересы [см.: *Crenson*, 1971]. Английский исследователь Синтия Кокберн также показывает, что слабая или разобщенная городская общественность становится главной причиной, почему городским властям столь легко преследовать лишь свои собственные политические задачи [см.: *Cocburn*, 1977].

Эта группа теорий убедительно показывает те моменты разворачивания городской политики, которые особенно ярко проявляются в России. В чем они состоят? Городское правительство совмещает в своей деятельности и экономическую и политическую логику. Экономическая проявляется в том, что правительство является главным «стейкхолдером» в городской экономике, предоставляя рабочие места и потребляя сервис и товары. Политическая проявляется в изобретательном использовании политических и правовых привилегий. Повсеместно, а не только в России, у правительства их гораздо больше, чем у частного бизнеса. Среди них — право контролировать и ограничивать движение городского транспорта, избирательное зонирование городской земли, право экспроприировать частную собственность для общественных нужд (это фиксируется в понятии *eminent domain* в США и *compulsory purchase* в Англии).

В действия городского правительства существенную сложность привносит тот факт, что центральное правительство, изымая из крупных городов налоги, перекладывает на них ответственность за затраты, в особенности на социальные нужды. Бремя налогового кризиса перекладывается на города, и урбанисты показывают, что самым тяжелым образом оно сказывается на бедных городах, где особенно остра нужда в социальных выплатах.

Налоговые кризисы, которые время от времени захватывают города, зависят от общего состояния экономики. В главе о глобализации уже упоминался налоговый кризис 1970-х годов в Нью-Йорке. В период с 1930-х по 1970-е годы городское правительство тратило значительные средства на социальные нужды, серьезно вкладываясь в здравоохранение, образование и так далее, увеличивая расходы на 4—5 % каждый год начиная с 1945 года. Между тем городская налоговая база за это время сокращалась с переездом большого числа людей в пригороды. Правительство под давлением политиков занимало деньги у банков, чтобы сохранить рабочие места и бизнесы, все увеличивая долг города, пока Нью-Йорк в 1974—1975 годах полностью не лишился права брать в долг. Управление городскими финансами перешло в руки центрального правительства, 40 тыс. рабочих были уволены, и этот период стал поворотным пунктом в политике большинства западных городских правительств. Уже никогда столь значительные средства не будут направлены на социальные нужды. А зависимость городов от банковских кредитов (так как налоговая база продолжает сокращаться) приводит к тому, что их политика начинает определяться скорее консервативными кредитующими инстанциями, нежели нуждами населения.

Городское правительство и городское управление

В англоязычных дискуссиях о городской политике различают *городское правительство* (*urban government*) и *городское управление* (*urban governance*). Первый термин — городское правительство — подчеркивает, что традиционно управление городом велось из единого центра, который сам был встроен в иерархию вышестоящих правительств и воплощал вертикальный принцип управления. Второй термин куда более сложен, им обозначают *процесс управления городам*, в который

вовлечены разнообразные *партнерства*. Он относится к «сетям», вовлеченным в принятие решений и достижение консенсуса. Если управление городской жизнью, ведущееся городским правительством, исходит из одного центра, иерархично и предполагает директивный стиль, то управление городской жизнью со стороны партнерств полицентрично и горизонтально. Другое отличие, которое фиксируют эти термины, заключается в том, что городское правительство более или менее одинаково повсюду, тогда как в рамках городского управления конкретное сочетание институтов, которые городское правительство привлекает к принятию решений и от которых просто зависит, может меняться. В любом случае тенденция, которую маркирует само это терминологическое различие, заключается в *расширении числа инстанций, участвующих в управлении городом*: бизнеса, некоммерческих организаций, массмедиа, наднациональных институтов (например, Европейского союза) и так далее. Эти инстанции действуют в целом спектре масштабов. С одной стороны, среди них могут быть внутригородские организации, например добровольные организации и школы, а также вузы с элементами самоуправления. С другой стороны, транснациональные корпорации могут обсуждать с городским правительством организацию обучения или получения концессий при оговоренном объеме их инвестиций. Показателен пример взаимодействия властей испанского города Толедо и корпорации «Даймлер-Крайслер». Корпорация была освобождена от налога на недвижимость, а 16 местных компаний и 87 семей были переселены, чтобы образовалось пространство, достаточное для ее расширения.

Теоретики городского управления — британские географы Марк Гудвин и Джо Пэйнтер — считают, что у истоков этой тенденции целый ряд масштабных экономических и политических процессов, которые можно проанализировать с помощью теории регуляции, разработанной группой парижских экономистов в 1970—1980-е годы [см.: *Goodwin, Painter, 1996*]. В фокусе этой теории — социальные и институциональные

попытки справиться с противоречиями и кризисными тенденциями, связанными с накоплением капитала. *Тип регуляции* — центральное понятие этой теории, пытающейся понять, как развитие капитала можно сделать стабильным. Тип регуляции — это, во-первых, сложное сочетание социальных норм, условностей, традиций и законов, помогающих «нормализовать» процесс накопления капитала; во-вторых, институты и практики местного управления. Выделяют фордистский и постфордистский типы регуляции.

В рамках фордистского типа (который в Англии был распространен в течение 1950—1970-х годов) местное правительство, во-первых, строило большие жилые массивы для рабочих, что давало им возможность участвовать в массовом потреблении товаров и тем самым поддерживать рост производства; во-вторых, выделяло масштабные социальные льготы. Экономический кризис, происшедший в 1970-е годы в Англии (как и в США), обусловил серьезные перемены в управлении городами. Национальное правительство в поиске причин кризиса возложило вину именно на городские правительства (см. также раздел «Институциональные теории»), что обусловило утрату ими автономии. Если прежде они сами регулировали городское развитие, то отныне стали объектами государственного регулирования. Государство изменило характер городского управления: отныне оно не исходило уже из единого центра. Необходимость предоставлять горожанам услуги, льготы, жилье — все, что прежде составляло ответственность городского правительства, — теперь была распределена между государственными, частными и некоммерческими организациями. Избираемое городское правительство как главный агент управления перестало существовать, уступив место множеству инстанций городского управления.

Привлекательность разработанной Гудвином и Пэйнтером теоретической рамки в том, что они склонны в каждом конкретном случае исследовать, произошел ли действительно сдвиг к принципиально иному (постфордистскому) типу регуляции,

а также необратим ли сам переход от городского правительства к городскому управлению. Английские городские географы Роб Имри и Майк Рако на примере городов Кардифф и Шеффилд показывают, что между традиционным правительством и новым управлением гораздо больше преемственности, чем хочется думать сторонникам «тотально» децентрализованного горизонтального городского управления [см.: *Imrie, Raco, 1999*]. К примеру, недостаток прозрачности столь же присущ новым формам управления, сколь он был присущ и прежним.

Приведем таблицы из работы Гудвина и Пэйнтера. В первой (см. таблицу 2) использованы идеи и тезисы как из выступлений управленцев, так и из академических статей. Гудвин и Пэйнтер с ее помощью пытаются оценить размер и характер воздействия на города, вызванного разрушением фордистского типа регуляции. В таблице 3 они конкретизируют эту задачу, формулируя исследовательские вопросы для изучения городского управления. Особенно существенно, что вопросы сформулированы так, чтобы оценить степень, в какой протекающие изменения взаимодействуют друг с другом и друг друга усиливают. Вместо абстрактного постулирования «идеального» постфордистского типа регуляции географы призывают к глубокому качественному и каузальному анализу ситуации в каждом городе.

Как видно из таблиц 2 и 3, исчезновение фордистского типа регуляции не единственный фактор, приводящий к поиску других принципов городского управления. Невозможность продолжения фордистского управления, в свою очередь, вызывается глобализацией. Правительства часто сами всячески поощряют соревнование между городами за ресурсы, вызывая тем самым явление «нового локализма», когда местные власти готовы как угодно продвигать свои территории на национальном и глобальном рынках. Если в рамках фордистского типа регуляции социальные льготы были связаны с правом каждого индивида на минимальные жизненные стандарты, то при «постфордизме» они увязаны с успешностью экономического

Таблица 2

Новые тенденции в управлении городами в Англии

Объект регулирования	Фордистское управление городами	Новые тенденции
Финансовый режим	Кейнсианский	Монетаристский
Организационная структура городского управления	Централизованная Руководство осуществляет формально избранное городское правительство	Широкий спектр поставщиков услуг Множество инстанций местного управления
Менеджмент	Иерархический Централизованный Бюрократический	Развитый «Плоские» иерархии Ориентированный на результат
Местный рынок труда	Регулируемый Сегментированный на основе умений	Дерегулированный Рынок дуального труда*
Процесс труда	Низкотехнологический	Высокотехнологический (основанный на информации)

* Теория рынка дуального труда основана на разделении экономики на первичный и вторичный секторы, то есть секторы с высоко- и низкооплачиваемыми профессиями, что близко различению формальной и неформальной экономики. Занятые во вторичном секторе — обычно временно нанятые люди, не имеющие перспектив карьерного роста, их зарплата определяется рыночной ситуацией. Сюда входят низкоквалифицированные работники, вне зависимости от того, заняты они физическим трудом, офисной работой или сервисом. Низкая квалификация, низкий заработок, отсутствие какой-либо связи с опытом или образованием работника, временность работы — это то, что их всех объединяет.

Продолжение табл. 2

Объект регулирования	Фордистское управление городами	Новые тенденции
Трудовые отношения	Трудозатратный Низкая производительность Коллективистские Переговоры с работодателями на национальном уровне Регулируемые	Капиталозатратный Возможно повышение производительности труда Индивидуализированные Переговоры с работодателями на уровне города и индивидуальные
Форма потребления	Универсальное Коллективные права	«Гибкие» Конкретные группы покупателей Индивидуализированные «контракты»
Природа предоставляемых услуг	Обусловлена городскими нуждами Их спектр можно расширить	Обусловлена установленными законодательством нормативами Ограниченный спектр
Идеология	Социальнодемократическая	Неолиберальная
Ключевой дискурс	Технократический/ менеджериалистский	Антрепренерский/ дающий возможности
Политическая форма	Корпоратистская	Неокорпоратистская (исключены профсоюзы и другие организа-

Продолжение табл. 2

Объект регулирования	Фордистское управление городами	Новые тенденции
Экономические цели	Обеспечение полной занятости Экономическая модернизация, основанная на техническом прогрессе и государственных капиталовложениях	ции, отстаивающие права трудящихся Обеспечение частной выгоды Экономическая модернизация, основанная на «гибкой» экономике, предусматривающей наем большого количества низкоквалифицированных работников за низкую зарплату
Социальные цели	Прогрессивное перераспределение/ социальная справедливость	Частное потребление/ активное население

Таблица 3

**Новые тенденции в управлении городами в Англии
и связанные с ними исследовательские вопросы**

Объект регулирования	Новые тенденции	Исследовательские вопросы для каждого города
Организационная структура городского управления	Широкий спектр поставщиков услуг Множество инстанций местного управления	Какие организации вовлечены в производство и распределение и каких городских общественных нужд (услуг)? Например, частные компании, городские власти, волонтерские организации
Менеджмент	Развитый «Плоские» иерархии Ориентированный на результат	Какие новые формы менеджмента вводятся? Удалось ли децентрализовать бюрократические иерархии?
Местный рынок труда	Дерегулированный Рынок дуального труда	Как изменилась регуляция рынка труда? В какой степени рынок труда разделен на ядро и периферию?
Процесс труда	Высокотехнологический (основанный на информации) Капиталозатратный	Какие вводятся формы технических изменений и инноваций? Как именно выросла производительность труда?

Продолжение табл. 3

Объект регулирования	Новые тенденции	Исследовательские вопросы для каждого города
Трудовые отношения	<p>Возможно повышение производительности труда</p> <p>Индивидуализированные</p> <p>Переговоры с работодателями на уровне города и индивидуальные</p> <p>Гибкие</p>	<p>Сменились ли переговоры с работодателями на национальном уровне переговорами с работодателями на уровне города и индивидуальными переговорами? Введены ли новые структуры оплаты и формы компенсации?</p>
Форма потребления	<p>Конкретные группы покупателей</p> <p>Индивидуализированные «контракты»</p>	<p>Изменились ли связанные с услугами льготы? Введена ли ориентация на обслуживание покупателей?</p>
Природа предоставляемых услуг	<p>Обусловлена установленными законодательством нормативами</p> <p>Ограниченный спектр</p>	<p>Сокращены ли предоставляемые услуги и изменен ли их характер?</p>
Идеология	Неолиберальная	<p>Каковы политические взгляды и мотивы лиц, принимающих решения в городах?</p>

Продолжение табл. 3

Объект регулирования	Новые тенденции	Исследовательские вопросы для каждого города
Ключевой дискурс	Антрепренерский/ дающий возможности	Каковы ключевые дискурсы, определяющие принятие решений в городах?
Политическая форма	Неокорпоратистская (исключены профсоюзы и другие организации, отстаивающие права трудящихся)	Какие классовые и иные альянсы характерны для городской политики?
Экономические цели	Обеспечение частной выгоды Экономическая модернизация, основанная на «гибкой» экономике, предусматривающей наем большого количества низкоквалифицированных работников за низкую зарплату	Каковы главные цели стратегического планирования и городского развития инстанций городского управления?
Социальные цели	Частное потребление/ активное население	Каковы принципиальные социальные цели инстанций городского управления?

развития страны в целом и данного города в частности. Так что в разных городах складываются разные системы предоставления льгот: в городах, которым «повезло», то есть экономические ресурсы которых востребованы мировой экономикой, у населения больше шансов не страдать от дерегуляции. И наоборот: власти «депрессивных» городов часто оставлены на произвол судьбы центральными правительствами, потому что им нечего предложить национальной и тем более мировой экономике. В то же время механизмы регуляции городского развития, осуществляемые центральным правительством, по-разному воспринимаются и используются на местах. Неравномерность развития городов возрастает еще и по этой причине.

В рамках фордистского типа регуляции государство было озабочено сокращением неравномерности развития: возводились новые города, утверждались стратегии развития городов и инфраструктуры, ресурсы перераспределялись между регионами. Ему на смену приходит иной подход: устранением наихудших последствий неравномерного развития сегодня никто всерьез не озабочен. Города, повторим, должны соревноваться за получение центральных ресурсов. А «центр» побуждает города самостоятельно привлекать инвестиции, создавать рабочие места — нередко за счет уровня жизни людей. В итоге система регулирования отличается крайней географической неравномерностью.

Городская политика и глобализация

Изменения, привнесенные в городскую политику глобализацией, заключаются в усилении соревнования между городами. На первый план поэтому выходит тот тип городского режима, что выделил еще один ключевой теоретик городских режимов — Стюарт Элкин, — *предпринимательский* [см.: *Elkin*, 1987]. Другие два выделенные им типа — федеральный и плюралистский (см. отличный разбор типологии Элкина в статье

В.Г. Ледяева [Ледяев, 2006: 6—8]). Возможности установления прочных связей с глобальной экономикой лежат на пути усиления неолиберальной линии политики, и прежде всего — резкого сокращения социальной политики и ускорения приватизации. Национальные и местные особенности охоты за глобальным капиталом могут различаться, значит, будет отличаться и характер влияния глобализации на тот или иной город.

Степень участия российских городов в соревновании за международные и федеральные ресурсы, понятно, разная, но в любом случае экономическое пространство, в котором они сегодня обитают, сильно изменилось. Когда решается, в каком городе пройдет следующая встреча, скажем, Шанхайской организации сотрудничества, когда менеджмент еще одного автомобильного гиганта прикидывает, где именно в России возвести завод, когда очередной европейский банк затевает открытие здесь своих филиалов, когда ведутся переговоры между агентами совершающей мировой тур поп-звезды и российскими организаторами гастролей — в подобных и множестве других ситуаций такие метафоры, как *соревнование городов* или поиск ими своей *ниши на международном рынке*, весьма насущны. Капитал может прийти в этот город, а может прийти и совсем в другой: каждый знает, что если уж что сегодня и отличается безграничной мобильностью, так это именно капитал. Чтобы его взор остановился на этом, а не на другом городе, недостаточно усилий только городских властей. Они могут понимать, что без развитой инфраструктуры, налоговых послаблений, проработанного законодательства деньги в город не придут, но понимают и другое: для увеличения собственной привлекательности нужны, как у нас говорят, дополнительные средства, которые городская экономика сгенерировать не может. Помимо изощренного лоббирования наверху, которое можно также понимать как соревнование за выгодное положение в пространственном разделении труда в рамках страны, идет еще пресловутая борьба за потребителя. Зарубежные инвесторы, во-первых, свое правительство с федеральными ре-

сурсами, во-вторых, и потребители, в-третьих, — вот три источника и составные части состоятельной городской экономики, за которые постоянно приходится конкурировать. Значимость символической составляющей мирового капитала проявляется на уровне городов в том, что средства, добытые в сражениях на всех трех фронтах, нередко направляются на проекты, призванные «поднять престиж». Чей престиж реально поднимают разнообразные высотные здания, фестивали, чемпионаты, конференции политических партий — остается для многих большим вопросом. Гигантизм, которым были одержимы управленцы и идеологи советских времен, — проклятие времен постсоветских.

Иной глава города сегодня перечисляет строящиеся отели, консульства и представительства западных компаний с теми же интонациями и гордостью, с какими его предшественник (а подчас и он сам) рапортовал о тоннах стали и проката. Но понятийная рамка, в которой его речи циркулируют, существенно поменялась: речь уже не идет о народном хозяйстве великой страны. Речь идет о мировом рынке, в котором город обоснованно надеется занять подходящую нишу. Город — в лице городских властей — поэтому занимается «маркетингом» самого себя как товара, на который стоит потратиться, вложив в него средства (см. об этом главу «Город и глобализация»). Рассуждения о городе как компании и бренде сегодня весьма и весьма многочисленны: «Каждый город можно сравнить с компанией, которая более или менее успешно продвигает свои услуги потребителям. По мнению бизнесменов, принявших участие в Экономическом совете Новосибирска, город пока не вполне преуспел в разработке и внедрении маркетинговой стратегии. Это приводит к отставанию в сфере девелопмента и привлечения инвестиций» [Ермолаева, 2006].

Воздействие глобализации на развитие городов имеет серьезные социальные последствия. Привычные нам по теоретическим работам выражения «утверждение демократии на местах», «местное самоуправление» и так далее сами по себе сего-

дня становятся проблематичными. Английский специалист по гражданскому участию в городской политике Вивьен Лаундис говорит, что традиционно именно «на местах» люди вступали в контакт с политиками или служащими муниципалитетов, получали льготы и являлись членами сообществ [см.: *Lowndes, 1995*]. Само понятие гражданства (по крайней мере, в западных странах) было тесно связано с членством человека в местном сообществе и его идентификацией с ним. Политическое участие тоже осуществлялось на местном уровне. Что же меняется сегодня? Понятие местного используется разными политическими (часто неместными) силами с противоречивыми целями. О местном самоуправлении и необходимости его развития говорят сегодня представители Всемирного банка, ООН, Государственного агентства США по международному развитию. Это понятие используется для легитимации центральной власти и оправдания неолиберальной политики, для оправдания статус-кво и кооптации «гибких» местных лидеров. Городской режим должен потому стать двусторонним управляющим органом — посредником между государством, национальными и международными организациями, с одной стороны, и местными жителями и организациями — с другой. И это городской режим может определять степень и характер взаимодействия горожан с «глобальным обществом», тем более что пока еще не ясно, способствует ли глобализация распространению демократических ценностей или, напротив, поощряет более жесткую регуляцию жизни людей правительствами.

Реакция городских правительств на процессы глобализации описана рядом исследователей (Эрик Суингеду, Боб Джессоп) как *новый локализм*.

Предпринимательский городской режим, как явствует из его названия, выводит предпринимательскую деятельность городских партнерств на первый план, подчиняя себе остальные стороны их политики: экономическая логика подчиняет себе политическую логику. Создание и увеличение городских активов мыслится как самый надежный путь включения горо-

да в международное разделение труда. Растут альянсы мэров, муниципалитетов, владельцев недвижимости и иного динамичного бизнеса, представляя собой коалиции роста. При этом и элитистские теории, и теории городских режимов, кажется, одинаково хорошо описывают происходящее: часто одновременно действуют и харизматичный мэр или политик, собравший под своим руководством сплоченную команду, и несколько «кластеров власти», контролирующих различные сферы городской жизни. Кооперация официальных и неофициальных властителей оказывается жизненно необходимой, для того чтобы развитие города было динамичным и чтобы было можно продвигать город как создающий благоприятный климат для бизнеса и торговли. «Новый локализм» проявляется в том, что почти каждый город хочет занимать заметное место на карте глобализации, а потому печатает рекламные брошюры и постеры, создает веб-сайты, пестрящие фотографиями гостиниц, конференционных центров, аэропортов. На эти фотографии никогда не попадают промзоны и спальные районы, районные больницы и старые автобусы.

Городские власти избирательно манипулируют символическими ресурсами, занимаясь *имиджинингом* (*imageering*). Этот термин придумал американский географ Чарльз Рутгейзер в книге о том, как городские власти Атланты «продавали» город в канун и во время Олимпийских игр 1996 года [см.: *Rutheiser*, 1996]. Городской Олимпийский комитет и ряд частных компаний провозгласили Атланту «городом мирового класса», «мировой столицей прав человека» и «городом, который слишком занят, чтобы поощрять ненависть» [*ibid.*: 227—231]. Критики участия Атланты в соревновании за право стать городом Олимпиады обвинялись в недостатке духа кооперации. Мэр города обвинял критиков в том, что они хотят слишком многого, настаивая на продуманной социальной политике властей. Рутгейзер показал, что проведение Олимпиады в Атланте усилило социальные проблемы, углубило существующий разрыв между белыми и черными, богатыми и бедными.

Городские активисты пытались убедить власти «показать человеческое лицо города» во время Олимпиады, построив достаточное число приютов для бездомных и придумав, куда деть людей из перестраиваемых районов. О социальной цене проведенного в городе события говорят такие цифры: 15 тыс. человек были выселены из жилых районов, 9,5 тыс. доступных квартир было потеряно, 350 млн долл. из городского бюджета вместо социальных нужд были направлены на нужды Олимпиады. Так что понятия олимпийского духа, космополитизма, нового слова в строительстве городов и так далее, которыми авторы пропагандистских брошюр объясняли, почему Олимпиада столь важна для городского развития, только закрывали от глаз мира реальные городские проблемы.

Маркетинг мест городскими властями сопровождается строительством новых городских кварталов и зданий — эмблем, свидетельствующих о передовых взглядах властей и инновационном потенциале городов. Названия этих кварталов и зданий синекдохически становятся воплощением глобальных амбиций властей, будь это парижский Ла-Дефанс, лондонский Кэнери-Уорф или Бэттери-Парк в Нью-Йорке.

Городские социальные движения

Обсуждая городскую политику «снизу», мы опять сталкиваемся с вопросом, как отделить именно городские движения от тех, что носят более широкий смысл. К примеру, многим памятно движение за гражданские права 1960-х годов в США и Европе. Этнические и сексуальные меньшинства, женщины и иммигранты — многие, прежде слабо представленные в публичной сфере социальные группы именно тогда заговорили в полный голос. Как связаны эти движения и города? Тогда городские *улицы и общественное пространство* городов стали местом *массовых протестов*. Улицы европейских и американских городов и прежде были свидетелями протестов, но 1960-е годы

вывели на арену общественного внимания новых субъектов политики. Ими стали сквоттеры, занимавшие заброшенные дома, участники союзов жильцов и забастовок против повышения арендной платы, «отвоевывавшие улицы» феминистки, боровшиеся против расовой сегрегации афроамериканцы.

Вдохновение и надежда людей в ту пору были настолько велики, что это не могло не отразиться и в урбанистических книгах. Французский неомарксист Анри Лефевр провозгласил *право на город*. Каждая социальная группа имеет право включиться в процесс принятия решений, связанных с организацией социального пространства. Право на город — это право не быть исключенным из общественного пространства городского центра либо жилых районов. Лефевр протестует против способов, какими профессионалы-планировщики и городские бюрократы создают городское пространство с тем, чтобы свести к минимуму спонтанные политические действия и нейтрализовать возможное сопротивление (см.: *Lefebvre*, 1996, 1-е фр. изд. — 1968). Испано-американский социолог Мануэль Кастельс, сам принимавший участие во французских волнениях 1968 года и высланный за это из страны, написал книгу «Город и массовое движение». Он попытался сконструировать теорию городских социальных движений как часть теории изменения города [см.: *Castells*, 1983]. Город складывается и изменяется в силу конфликта различных социальных групп (классовых, этнических, гендерных). Кастельс понимал городские социальные движения как сильные межклассовые союзы, возникшие вокруг проблем коллективного потребления городских ресурсов. Они всегда, считает Кастельс, являлись источником складывания формы и структуры города, но во второй половине XX века это влияние стало особенно значимым. Основываясь на вторичных источниках, Кастельс рассматривает многочисленные случаи городской социальной борьбы — от роли городов в кризисе Испанского государства в XVI веке до городских волнений 1960-х годов в США. Кастельс описывает борьбу за доступное жилье и деятельность профсоюзов в Па-

риже, движения сквоттеров в Перу, Мексике и Чили, местные сообщества Испании. Как он пишет, его целью была не разработка какой-то универсальной теоретической рамки, но «нахождение источников исторических структур и городских смыслов... чтобы вскрыть сложные механизмы взаимодействия между различными и конфликтующими источниками воспроизводства и изменения города» [Castells, 1983: 835]. Ценность этой книги, на мой взгляд, в демонстрации сложных взаимосвязей между сознательными действиями людей, стихийными проявлениями недовольства и ограничениями, которые на них накладывают существующие структуры, а также в невозможности создания универсальной теории, которая подытожила бы причинные связи урбанизации.

Книга Кастельса важна еще и тем, что существенно корректирует *героические* образы городского активизма — от Гавроша В. Пюго и Стены коммунаров до кадров телевизионных новостей, показывающих многолюдные демонстрации на улицах европейских городов. Кастельс говорит, что ни разу, несмотря на некоторый успех, участникам движений не удалось добиться своих целей. Дело в том, считает он, что битва низов тогда выиграна, когда задеты интересы правящего класса. Что же, как правило, происходит в истории? Забастовка в Глазго 1915 года, когда рабочие протестовали против низких зарплат и высоких цен на жилье, закончилась тем, что государство объявило о жилищной реформе. Трудящиеся массы вроде бы выиграли, но и правящий класс не пострадал [см.: *Ibid.*: 37]. Подобным же образом итогом волнений в США в 1960-е годы стала разработка редистрибутивных федеральных программ, увеличение социальных льгот. С другой стороны, в лексикон полиции вошло выражение «максимально возможное число участников», обозначающее степень активности местного сообщества в ответ на призывы движения борьбы за гражданские права. Кастельс отмечает, что социальные реформы были эпизодическими, часто ограничиваясь теми регионами, где волнения были особенно сильными, что в итоге этих волнений политический

климат Америки стал еще более консервативным, чем до них. В других случаях, как, например, волнения в Сан-Франциско, в Мишн-Дистрикт, неуспех движения был обусловлен неспособностью его главных участников — геев, латиноамериканских иммигрантов и бездомных — договориться об общих целях.

Английский урбанист Кристофер Пикванс разработал *типологию городских социальных движений*, основанную на предмете борьбы горожан [см.: *Pickvance*, 1985]. Он выделил четыре таких предмета оспаривания: 1) выделение жилья и услуг; 2) доступ к жилью и услугам; 3) контроль и управление городской средой; 4) социальные и экологические угрозы. Понятно, что участники соответствующих движений могут пересекаться. Он предупреждает о возможности манипуляции идеями социальной справедливости со стороны различных политических сил и допускает возможность альянса между активистами низовых движений и политическими партиями. Пикванс также предлагает свою версию ответа на приведенный выше вопрос о том, когда же социальные движения делаются именно городскими. С его точки зрения, должны, во-первых, иметь место именно местные политические движения; во-вторых, участники движений должны жить недалеко друг от друга; в-третьих (этот критерий сформулировал Кастельс), должен подниматься вопрос коллективного потребления благ городской жизни (транспорта, жилья, здравоохранения и так далее). Вряд ли это удовлетворительные критерии. Другая имеющаяся на этот счет литература убеждает, что здесь, как и в других вопросах, которыми задается урбанистика, нужен анализ конкретных случаев, объясняющий, почему именно в этих местах с такой-то конфигурацией политических и экономических тенденций возникли конфликты. Часто происходят конфликты между планировщиками и девелоперами, с одной стороны, и активистами местных сообществ, которые выступают против новых масштабных проектов, — с другой. Не менее часты конфликты между владельцами квартирных комплексов и их жильцами по поводу повышения арендной платы.

Однако все чаще и чаще приходится задумываться о том, как в сегодняшнем разобщенном мире, где не осталось, кажется, никаких коллективов — ни на работе, ни по месту жительства, — можно вообще помыслить целенаправленную деятельность местных сообществ?

Американо-канадские социальные теоретики и городские политические активисты (они называют себя организаторами местных сообществ) Кэтрин Черч и Эрик Шрагге описывают различные коалиции политиков, групп интересов и местных сообществ, сложившиеся в Канаде и Америке начиная с 1960-х годов [см.: Learning..., 2008]. В частности, они рассматривают партнерства, практикующие так называемый социальный маркетинг, то есть использование частного сектора для продвижения деятельности местных сообществ. Они демонстрируют ту тенденцию, что само функционирование организаций по месту жительства нередко зависит от государственной поддержки. Так, в 1993 году американское правительство создало программу «Зона возможностей» (*Empowerment Zone*), нацеленную на развитие ресурсов местных сообществ и сокращение бедности. У программы четыре элемента: 1) географически определенная цель — сообщество; 2) основанное на данном сообществе стратегическое планирование; 3) участие сообщества в управлении программой; 4) всестороннее развитие сообщества (то есть развитие физической инфраструктуры района, экономики и человеческих ресурсов). Таким образом было частично компенсировано исчезновение масштабных социальных программ из повестки дня федерального правительства (таких, как жилищная реформа или реформа здравоохранения). Вместо этого сообщество, как ожидается, само должно нести ответственность за собственное возрождение — с помощью осуществляемых на местах программ центрального правительства. Так, развернута кампания по экономическому развитию местных сообществ (*CED — community economic development*). Ее цель — сократить уровень бедности через обучение, переобучение и создание рабочих мест, поддержку мелкого бизнеса, на-

нимающего долгое время остающихся без работы жителей, кредиты на поддержание местных инициатив. Опыт ее участников показывает, что в конечном счете инвестиции определяются интересами рынка, по нарастающей становящегося международным, а потому тех, кто принимает соответствующие решения о развитии территории данного города или района, мало заботит то, как эти решения отзовутся «на местах». «Идеологическая» же сложность состоит в том, что участники кампании понимают: государство, по сути, перекладывает ответственность за социальное обеспечение не вписавшихся в новую экономику людей на их же плечи, призывая обитателей бедных кварталов стать предпринимателями и обеспечить себя пристойным жильем и всем прочим. Но ряд инициатив, предполагающих партнерство работодателей, правительства и обездоленных людей, все же выглядят очень вдохновляющими.

Они были исследованы канадской сетью исследователей и активистов местных сообществ (NALL), вместе работающих в рамках сорока проектов по неформальному обучению людей, вытесненных с рынка труда, в организациях местных сообществ (к примеру, людей, прошедших лечение в психиатрических лечебницах, или людей, работающих на дому). Кэтрин Черч выделяет три вида такого обучения. Первое обучение — «организационное», то есть знакомство со способами, какими местные организации позиционируют себя в рамках предпринимательской культуры, придумывают программы, одновременно способные получить финансовую поддержку и нацеленные на социальную и экономическую справедливость. Проходящие такое обучение активисты учатся специфическому жаргону, используемому в современных спонсорских организациях, где вместо старого выражения «защита интересов обездоленных через обучение» предпочитают слышать «общественное образование» и так далее. Второе — «обучение солидарности». Все подобные организации обучают участников тому, как найти свою нишу на рынке труда или создать для себя альтернативный рынок. Солидарность проявляется на встре-

чах, где время от времени собирают (обычно изолированных) участников программ: те сами делятся друг с другом опытом, как более эффективно вести переговоры с работодателями. Третий вид обучения — «самопереопределение», связанное с овладением новыми навыками, а значит, и возможностями, которые оно открывает на рынке труда. Черч анализирует новые возможности местных организаций по посредничеству между правительством и мелким бизнесом и показывает, насколько эти организации уязвимы в силу их зависимости от правительственного финансирования и в целом включенности в сложную и противоречивую систему зависимостей: финансовой (от правительства) и социально-моральной (от членов местных сообществ).

Этот анализ позволяет нам сформулировать главный итог рассмотрения современной городской политики и управления: они имеют место, но испытывают беспрецедентное влияние внешних сил.

Артишкин Ю., Перестройка В. Лужков. Семьдесят лет. Культурный герой Москвы и ее властитель // Моск. новости. 2006. № 35 [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.mn.ru/print.php?2006—35—3>

Глазьев ВЛ. Провинциальная Россия. М.: Нов. изд-во, 2003.

Ермолаева Е. Город как компания // Газета «Континент Сибирь». 2006. 5 мая [Электрон. ресурс]. URL: <http://com.sibpress.ru/05.05.2006/realty/76611/>

Ледяев ВГ. Кто правит? Дискуссия вокруг концепции власти Роберта Даля // Социол. журн. 2002. № 3. С. 31—68.

Ледяев ВГ. Модели эмпирического исследования власти: западный опыт // Власть и элиты в российской трансформации: Сб. науч. ст. / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2005. С. 65—79.

Ледяев ВГ. Эмпирическая социология власти: теория «машин роста» // Власть, государство и элиты в современном обществе / Под ред. А.В. Дуки и В.П. Мохова. Пермь: Перм. гос. технол. ун-т, 2005. С. 5—23.

Ледяев ВГ. Социология власти: теория городских политических режимов // Социол. журн. 2006. № 3—4. С. 46—68.

Ледяев ВГ, Ледяева ОМ. Позиционный метод в эмпирических исследованиях власти в городских общностях // Элитизм в России: за и

против / Под общ. ред. В.П. Мохова. Пермь: Перм. гос. технол. ун-т, 2002. С. 134—140.

Ледяев В.Г., Ледяева О.М. Репутационный метод в эмпирических исследованиях власти в городских общностях // Журн. социологии и социальной антропологии. 2002. № 4. С. 164—177.

Babrach P., Baratz M. Two Faces of Power // American Political Science Review. 1962. № 56. P. 947—952.

Banfield E. Political Influence. Glencoe: Free Press, 1961.

Castells M. The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley: University of California Press, 1983.

Cockburn C. The Local State. L.: Pluto Press, 1977.

Crenson M.A. The Unpolitics of Air Pollution: a Study of Non-Decision Making in the Cities. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971.

Dahl R. Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press, 1961.

Elkin S. City and Regime in the American Republic. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

Enduring Tensions in Urban Politics / Ed. D. Judd, P. Kantor. N.Y.: Macmillan Publishing Company, 1992.

Ferman B. Challenging the Growth Machine: Neighborhood Politics in Chicago and Pittsburgh. Lawrence: University Press of Kansas, 1996.

Goodwin M., Painter J. Local Governance, the Crises of Fordism, and the Changing Geographies of Regulation // Transactions of the Institute of British Geographers. 1996. Vol. 21, № 4. P. 635—648.

Hunter F. Community Power Structure: A Study of Decision Makers. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1953.

Imrie R., Raco M. How New is the New Local Governance? Lessons from the United Kingdom // Transactions of the Institute of British Geographers. New Series. 1999. № 24. P. 45—64.

Lawrence B.F. Challenging the Growth Machine: Neighborhood Politics in Chicago and Pittsburgh. Lawrence: University Press of Kansas, 1996.

Learning Through Community: Exploring Participatory Practices / Ed. K. Church, N. Bascia, E. Shragge. Dordrecht: Springer, 2008.

Lefebvre H. The Production of Space / Trans. D. Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.

Lefebvre H. Writing on Cities. Cambridge: Blackwell, 1996.

Logan J.R., Molotch H.R. Urban Fortunes: The Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press, 1987.

Lounides V. Citizenship and Urban Politics // Theories of Urban Politics / Ed. by D. Judge, G. Stoker, H. Wolman. L.: Sage, 1995. P. 160—180.

Lynd R., Lynd H. Middletown: A Study in Contemporary American Culture. N.Y.: Harcourt, Brace, and Company, 1929.

Lynd R, Lynd H. Middletown in Transition. A Study in Cultural Conflicts. N.Y.: Harcourt, Brace, and Company, 1937.

Molotch H.R. The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place // American Journal of Sociology. 1976. Vol. 82, № 2. P. 309—355.

Pahl R. Whose City? Harmondsworth: Penguin, 1975.

Peterson P. City Limits. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

Pickvance C. The Rise and Fall of Urban Movements and the Role of Comparative Analysis // Environment and Planning D. Society and Space. 1985. № 3. P. 31—53.

Polksby N.W. Community Power and Political Theory. 2nd ed. New Haven: Yale University Press, 1980.

Rutheiser Ch. Imagineering Atlanta. The Politics of Place in the City of Dreams. L.; N.Y.: Verso, 1996.

Stone C. Regime Politics: Governing Atlanta 1946—1988. Lawrence: University Press of Kansas, 1989.

ГЛАВА 8

Социальные и культурные различия в городе

Ключевая идея теорий, имеющих дело с городскими различиями, в том, что различия не только создают городскую жизнь, но и сами создают город. Отсюда многочисленные характеристики города как места встречи с «другими», как места, где городской обитатель всегда — в присутствии тех, кто на него не похож. Не случайно метрополисы в США и Европе издавна сравниваются с гигантскими машинами либо обслуживающими механизмами, плавильными тиглями и системами очистки, тюрьмами и убежищами. Во всех этих случаях город воображается в качестве микрокосма всего общества, содержащего все его разнообразные элементы и удерживающего их вместе в динамическом равновесии. С XVIII века городу приписывалась магия, особая химия его функционирования, когда различные социальные элементы (классы и этнические группы) превращаются в новую городскую публику и когда создается общая космополитическая культура. Переживание города его обитателем включает опыт столкновения, пусть мимолетного, с людьми, отличающимися от него расово, этнически, классово и так далее. Интенсивность городской жизни образует и то, что люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, люди различных сексуальных ориентаций — словом, все «отличающиеся» люди не только резонно считают город своим, но и хотят, чтобы с их нуждами считались. Вопрос о том, «что делать» с го-

родским разнообразием, издавна входил в число забот планировщиков, политиков, интеллектуалов.

Разнообразие мыслится как такая характеристика города, которая увеличивает его функциональность. Многосторонность обитателей города — предпосылка наивысших человеческих достижений, не случайно теоретики ратуют за приоритет разнообразия в планировании городов, настаивая на том, чтобы проектируемое городское пространство поощряло ежедневное смешение людей, социальных групп, практик.

Мы вначале рассмотрим издавна сложившиеся взгляды на различия, затем подытожим литературу о городском разнообразии, вышедшую в период массового переезда в пригороды, обратимся к обсуждению миграции в города и разберем литературу о социальном неравенстве.

Чарльз Бут — один из первых исследователей городских различий

В работе «Жизнь и труд жителей Лондона» Бут выделил части города, населенные разными социальными слоями [см.: Booth, 1969: 3]. Чтобы сделать свои выкладки наглядными, он создал карту Лондона, в которой использовал семицветный код. Черным обозначались люди, находящиеся на социальном дне. «Очень бедные» были обозначены синим. «Смешанное население» — темно-красным, «весьма благополучные» — розовым, «средний класс» — красным и «богатый высший класс» — желтым. Главная переменная, которую Бут использовал для выделения районов, — процент бедных. Бут не чурался и моральной стигматизации низших классов, именуя закрашенные черным районы «порочными и склонными к преступлениям». Картографирование, к которому он прибег, воспроизводило практику создания карт колоний Англии в Азии и Африке, создававшихся для эффективного управления этими пространствами.

Реформаторы начала XX века питали иллюзию, что с быстрым ростом и социальным расслоением европейских городов можно справиться, если точно представлять себе, кто и где живет. Картографирование социальных и культурных различий с тех пор стало постоянной практикой урбанистов.

Многочисленное разнообразие: Луис Уирт и Аристотель

Как разнообразие понималось в классических теориях? Для них, напомним, было характерно стремление построить универсальную модель города. Классик чикагской школы Луис Уирт предложил для такой модели три переменные: а) размер населения; б) плотность заселения; в) разнородность обитателей и групп. Таким образом, сосуществование в городе различных людей и социальных групп — это константа урбанизма. Тезис о непрерывности генеалогии городов, заметим, воспроизводится и в послевоенной урбанистике вплоть до сегодняшнего дня. Любой город, стало быть, подпадает под сформулированное Уиртом «минимальное» определение: *относительно большое, постоянное и плотно заселенное поселение социально разнородных индивидов*.

Свою теорию урбанизма Луис Уирт начинает с отсылки к античному мыслителю: «Со времен “Политики” Аристотеля признано, что увеличение числа обитателей поселения свыше определенного предела повлияет на отношения между ними и на характер города. Большие числа предполагают, как подчеркивается, больший размах индивидуальных вариаций. Далее, чем больше число индивидов, участвующих в процессе взаимодействия, тем значительнее потенциальные различия между ними» [Wirth, 1996: 99].

Апелляция к Аристотелю не случайна: социолог нацелен на удержание универсального смысла города, как он сложился во времена расцвета Афин. Полис — город-государство — особая



Карта Лондона Чарльза Бута

форма социально-экономической и политической организации общества, по видимости, привлекал Уирта нерасторжимостью социального порядка и географического пространства.

Остановимся на «Политике» Аристотеля и вкратце сравним универсалистское видение города, присущее тому и другому мыслителю. Логика, которую инициировал Аристотель, состоит в том, что город создается правителями в соответствии с рядом параметров. Государственный деятель сравнивается с ткачом или кораблестроителем: лучше материал — достойнее результат. Поскольку материал законодателя — «совокупность граждан», то вопросы о том, «как велико должно быть их количество и какие они должны иметь природные качества» [Аристотель, 1984: Pol., VII, 4, 1326a, 5], приобретают первостепенную важность. «Мера» — вот чем руководствуется Аристотель, отвергая крайности малочисленности и перенаселенности. Идеальный размер проектируемого сообщества задан критериями *слышимости* (голос глашатая должны слышать все) и *знания* гражданами друг друга (чтобы должности доставались достойным).

Что же получается, если городское население разрастается сверх этой меры? Ничего хорошего. Город оказывается не в состоянии выполнять свои функции, а права гражданства *присваиваются* «иноземцами и метеками», затерявшимися в избыточном населении. Вообще, современного читателя по мере чтения Аристотеля по нарастающей преследует призрак фукельдианского Паноптикума — «легкую обозримость» населения вводит мыслитель в качестве предела для разрастания государства, простодушно поясняя: «Пребывание на глазах у должностных лиц особенно внушает истинный стыд и страх, свойственный свободным людям» [*Ibid.*: Pol., VII, 11, 1331a, 40]. Городское пространство организовано строго иерархически. Пространственную и ценностную вершину иерархии образуют «удобно объединенные» здания «для культа и здания для сисситий главнейших должностных лиц». Эти здания должны иметь подобающий, соответствующий их назначению вид и

быть «более укрепленными сравнительно с соседними частями города» (Аристотель, 1984: VII, 11, 1331a, 35). Ниже следует «свободная площадь», свободная в том смысле, что торговля на ней запрещена и «ни ремесленники, ни землепашцы, ни кто-либо иной из подобного рода людей не имеет права ступать на нее, если его не вызывают должностные лица».

«Политика» — *locus classicus* аргумента о том, что полис, который «по природе предшествует каждому человеку» (Pol., I, 9, 1253a, 25), — воплощение и условие совокупного усилия по созданию всего, в чем нуждаются люди. Полис представлял, во-первых, единую политическую систему, энергия которой концентрировалась в пределах городских стен, и, во-вторых, экономическую конструкцию, позволяющую соединять ресурсы, необходимые для поддержания и улучшения жизни. Существовая как часть сложной международной системы городов-государств, полис должен был отражать угрозу как извне, так и изнутри. В «Политике» Аристотель делает набросок своей геополитики, согласно которой великая Греция призвана властвовать над негреческими народами, и формулирует расистское оправдание рабства: по природе для греков плохо быть поработченными, и по природе же греки могут поработать кого угодно: «...одни люди повсюду рабы, другие нигде таковыми не бывают» (Pol., I, 18, 1255a, 30). В то же время «Политика» написана в полной уверенности в существовании того, что Макс Вебер называл нравственно ориентированным космосом — миром, воплощающим или по крайней мере стремящимся к воплощению блага. В «Политике» сквозит также уверенность в том, что если в материальной форме античного полиса целостно сконцентрировано все ценное, произведенное и придуманное людьми, то как таковой он существует «ради достижения благой жизни» (Pol., I, 8, 1253a, 30).

Уирт, следуя «системному» видению Аристотеля, когда обсуждается возможность равновесия между ключевыми компонентами города, далек как от аристотелевского натурализма, так и от этической уверенности античного мыслителя в прин-

ципиальной ориентированности социальной реальности на добро. Классик чикагской школы, стремясь к систематическому представлению имеющегося знания о городе как социальном образовании, прагматически интересовался тем, что лежит в основе экономики и культуры города, «элементами урбанизма, отличающими его как тип коллективной жизни». Аристотель активно соединял только первую и третью характеристики города — размер и разнородность: «...в состав государства не только входят отдельные многочисленные люди, но они еще и различаются между собой по своим качествам (*eidei*), ведь элементы, образующие государство, не могут быть одинаковы» (Pol., II, 4, 1261a, 25). Противопоставляя полис союзам — военному и племенному, — мыслитель убежден: «То, из чего составляется единство, заключает в себе различие по качеству» (Pol., II, 4, 1261a, 30). И в другом месте: «Невозможно всем гражданам быть одинаковыми» (Pol., III, 2, 1277a, 40).

Различия горожан, значимые для Аристотеля, носят прежде всего экономический характер («отличия, обусловливаемые богатством»): «...одни семьи, конечно, бывают состоятельными, другие — бедными, третьи имеют средний достаток» (Pol., III, 1, 1289b, 30—35), «знатные в свою очередь различаются по богатству, благородству происхождения, добродетели, образованию и тому подобным отличительным признакам» (Pol., IV, 1, 1291b, 30). Различия, на которых концентрируется Уирт, — те, что, напротив, ломают жесткие кастовые деления, усложняют имеющуюся классовую структуру, порождая в итоге куда более сложную систему социальной стратификации, нежели та, что имелаась в ранних типах общества.

«Упорядоченная и связанная теоретическая рамка, с которой могло бы начаться исследование» — это то, чем озабочен Уирт. Стратегия ее создания — дать исследователю возможность анализировать многосторонность урбанизма сквозь призму небольшого числа аналитических категорий.

Аристотель тоже отдает себе отчет в теоретической природе своего анализа, упоминая о «проектируемом» им государ-

стве (см.: Pol., VII, 8, 1329a, 40). Этому, на первый взгляд, противоречит детальнейшее перечисление в VII книге «нормативов», выполнение которых необходимо для жизни «здорового» города — от центрального положения города по отношению к окружающей его территории и его близости к морю, от обращенности города к востоку и налаживания водоснабжения так, чтобы питьевая вода была отделена от прочей, до совмещения в планировке города прямого (полезного для жителей) расположения улиц с запутанным (дезориентирующим врага) и заботы о городских стенах. В то же время Аристотель, кажется, осведомлен о специфической природе нормативности как таковой, заключая свой перечень требований таким образом: «Все это нетрудно придумать, но труднее выполнить на деле: слова — результат благих пожеланий, их осуществление — дело удачи» (Pol., VII, 9, 1331b, 20).

Социальные различия мыслятся Аристотелем как помеха нормальному развитию полиса: «Разноплеменность населения, пока она не сгладится, также служит источником неурядиц: государство ведь образуется не из случайной массы людей, а потому для его образования нужно известное время. Поэтому в большей части случаев те, кто принял к себе чужих при основании государства или позднее, испытывали внутренние распри» (Pol., V, 2, 1303a, 30).

Перечисляя и территориальные препятствия единству государства, он все же именно экономические различия считает причиной «распрей»: «И подобно тому, как на войне переправы через рвы, хотя бы и очень небольшие, расстраивают фаланги, так, по-видимому, и всякого рода различие влечет за собой раздоры. Быть может, сильнее всего раздоры эти обуславливаются различием между добродетелью и порочностью, затем между богатством и бедностью» (Pol., V, 2, 1303b, 15).

Если мы вспомним, что «масса, состоящая из ремесленников, торговцев, поденщиков, не имеет ничего общего с добродетелью» (Pol., VI, 2, 1318a), то немудрено, что полис зарезервирован мыслителем для «порядочных и знатных». Каким же

образом три параметра урбанизма — плотность, величина населения и разнообразие — переосмысляются Луисом Уиртом? Если Аристотель противопоставляет свой идеальный город другим городам — Кирену, Сикиону, Коринфу, Сиракузам, то Уирт строит другое противопоставление: город — деревня. Это различие было одним из основных для многих социальных теоретиков XIX и XX веков при конкретизации более общей оппозиции модерность — домодерность. Знаменитое различие Фердинанда Тённиса «общества» и «сообщества» получило развитие в трех оппозициях: во-первых, в различении особых типов человеческих отношений: межличностных и внеличных; во-вторых, в различении типов поселений: деревенское и городское и, в-третьих, в различении типов общества: традиционное и модерное. Уирт следует концептуальной стратегии Тённиса, состоящей в том, чтобы сделать эти различия максимально свободными от каких-либо эмпирических коррелятов, и рисует картину отношений людей, характерных для *любого* города в их противопоставленности деревне: «Социальное взаимодействие столь разных типов личности в городском окружении ломает жесткость кастовых линий и усложняет классовую структуру, создавая более разветвленную и измененную сеть социальной стратификации, нежели та, что присуща более сплоченным обществам. Повышенная мобильность индивида, увеличивающая диапазон стимулов со стороны большого числа разных людей и подвергающая его статус колебаниям в разных социальных группах, образующих социальную структуру города, ведет к приятию им нестабильности и небезопасности в мире в качестве нормы. Этот факт также объясняет искушенность и космополитизм городского обитателя. Он не привержен всецело ни одной группе. Группы, с которыми он связан, организованы отнюдь не иерархически. Различные интересы, обусловленные различными аспектами социальной жизни, делают индивида членом сильно различающихся групп, каждая из которых может претендовать лишь

на какую-то одну сторону его личности. Эти группы сложно расположить в виде концентрических кругов так, чтобы узкие группы были бы окружены более широкими, как в деревенских сообществах или в примитивных обществах. Скорее, эти группы расположены по касательной или пересекаются самыми разными способами» [Wirth, 1996: 101].

Уирт, следуя линиям мысли, намеченным до него Зиммелем и Парком, настаивает на деперсонализации и частичности городского индивидуального существования, что сопровождается поверхностностью большинства социальных интеракций, их соединенностью с какой-то одной частью жизни индивида.

Отмеченный им космополитизм горожанина, проявляющийся в его практиках и многоуровневости его идентичности, только возрос за те годы, что прошли после опубликования текста. Сегодня его часто связывают с явлениями транснационализма или говорят о смене национальных идентичностей космополитическими. Одними из форм «нестабильности мира», которую как данность принимает горожанин, стали относительность культурных ценностей и возрастающее ощущение их произвольности. Космополитизм же эволюционировал не в направлении какого-то мифологического «мирового гражданства», но в сторону усиления рефлексии людьми характера своей принадлежности и идентичности. Отмеченное Уиртом пересечение векторов идентичности выражается в том, что люди склонны проблематизировать и пересматривать, каким образом в их жизни соотносятся персональная, национальная и ряд других идентичностей.

Послевоенная городская этнография о городских различиях и отношении к ним

Эмпирическое изучение различных образов жизни городских обитателей было продолжено после Второй мировой войны рядом городских социологов и этнографов. Многие

авторы критически рассматривали рост пригородов, на разные лады обличая «пригородный образ жизни». Герберт Ганс, методологически продолжая традиции чикагской школы, предложил скорее сочувственный взгляд на небогатых обитателей пригородов в книге «Обитатели Левиттауна». Он показал, что в пригородах возникли различные, отличные от «чисто» городских социальные группы [см.: *Gans*, 1967]. Ганс замечательно использовал методологию включенного наблюдения и в другой своей знаменитой книге «Городские селяне», первое издание которой вышло в 1962 году, показав, как американо-итальянские жители Норт-Энда в Бостоне, замкнуто живущие в своей городской деревне, со всеми их тесными родственными и прочими связями, не смогли противостоять аппетитам девелоперов, облюбовавших их район для перестройки в соответствии с нуждами богатых жильцов [см.: *Idem*, 1982].

В «Обитателях Левиттауна» Ганс рассматривает новый тип городского поселения, разработанный девелопером Уильямом Левиттом и воплощающий послевоенную версию американской мечты. Возвращающимся с войны солдатам и их семьям нужно было жилье, они располагали для этого субсидиями, выданными американским правительством, но не всегда могли найти дома по душе среди имеющегося жилого фонда. Левитт использовал технологии массового производства для создания в пригородах кварталов, имитирующих дома, построенные в колониальном стиле и преобладавшие на Кейп Коде — в популярной курортной зоне штата Массачусетс. Ганс оспорил поспешные критические обобщения относительно «пригородного образа жизни», показав, что те, кто там живет, скорее воспроизводят повсеместно присущие среднему классу стратегии приспособления своих нужд к новому окружению и социальным обстоятельствам. Левиттаун — это, конечно, не утопия, показывает Ганс, но и рисовать его как средоточие бездуховности тоже не стоит.

Его книга была направлена против эксплуатации критиками «пригородного образа жизни» идей географического де-

терминизма. Они считали, что гомогенность и спланированность пригородов обязательно приведут к социальной изоляции и культурной стагнации живущих там семей. Ганс, во-первых, показал, что окружающая среда не столь непосредственно поощряет те или другие модели поведения и, во-вторых, что поведение если и формируется, то не сверху — планированием, а снизу — реальными взаимодействиями с окружающими. В пригородах живут не конформисты, а самые разнообразные сообщества, в частности сообщества рабочих, нижнего и высшего среднего класса. Они по-разному смотрят на вещи и свое место в мире и по-разному справляются с вызовами повседневности. Так, нижний средний класс «стремится примирить возможности американской мечты с реальностью того, что жизнь им может предложить» [Gans, 1967: 145]. Этот взгляд на вещи проявляется, во-первых, в стратегии «поддерживать видимость» и жить прилично и, во-вторых, в отношении к «ним» как источнику проблем. «Они» — это правительство, интеллектуалы, иностранцы, люди, живущие на пособие. Они усиливают и без того неотступный страх, что относительно безопасная жизнь в хорошо устроенном доме может внезапно кончиться. Та сфера, которую обитатели могут контролировать, весьма ограничена. Это — их домашняя жизнь. Это — приватность их существования. Вот чем объясняется тот факт, что ничего, кроме их собственного дома и его обустройства, обитателей Левиттауна всерьез не волнует: «Большой контроль дает большую безопасность, а с достаточной безопасностью люди могут ослабить нежелательные социальные связи и делать больше собственных жизненных выборов. Даже удобство и комфорт преследуются затем, чтобы усилить это чувство контроля, ибо достижение этих по видимости материалистических целей также дает обитателям Средней Америки чуть больше оснований надеяться, что они никогда не потеряют достигнутого или вернутся к жизни на уровне выживания» [Ibid.: 2].

По Гансу, главное, что тревожит этих людей, — это те, кто ниже их по социальной лестнице, представляя собой и досадное напоминание о том, откуда они сами начинали, и конкурентов на рынке труда.

Он говорит о трех главных недостатках всех обитателей Левиттауна, то есть представителей рабочего, нижнего среднего и высшего среднего класса. Первый недостаток — сложности в совладании с конфликтом, классовым (между всеми перечисленными группами) или поколенческим. Каждая группа предполагает, что это другие должны подчиниться ее ценностям и разделить ее приоритеты. Второй недостаток — неспособность иметь дело с плюрализмом. Разнообразие американского общества обитатели Левиттауна не признают, другие стили жизни не принимают. Взрослые не принимают подростков (и наоборот), те, кто побогаче, — тех, кто победнее (и наоборот). Причина — в особой социальной композиции такого поселения: по большей части это молодые семьи с маленькими детьми. Одержимость семейными ценностями, желание воспитать детей в соответствии со своим пониманием мира приводит к враждебности — к одноклассникам детей, соседям, добровольным ассоциациям. Все они — поле борьбы за защиту семейных ценностей, которые, однако, не надо понимать чересчур идеалистически. Семейные ценности — это прежде всего доход семьи. Даже благополучные люди не чувствуют себя настолько благополучными, чтобы позволить другим решать, как его потратить. Отсюда битвы между семьями и сообществом по поводу того, как именно должны быть потрачены деньги, внесенные на нужды сообщества. Только в отношении собственного дома возможен абсолютный консенсус. Но взгляды на то, каким должен быть совершенный дом, у разных людей отличаются. Вот почему, отвергая плюрализм, эти люди отвергают прежде всего возможные сомнения других в абсолютности их образа жизни. Жить среди себе подобных и отвергать отличающихся — естественно вытекающая отсюда позиция.

Генераторы разнообразия: Джейн Джекобс

Американо-канадский урбанист и политический активист Джейн Джекобс в книге «Смерть и жизнь больших американских городов» (1966) увязала разнообразие (она его еще называла «организованной сложностью»), которое способна производить городская жизнь, с физической формой города.

Предысторией появления ее книги было послевоенное «обновление городов» (*urban renewal*). Правительственные программы по строительству жилья идеологически сопровождались критикой традиционного устройства и довоенного развития городов. Так, Е. Петерсон, редактор книги, выразительно названной «Города ненормальны», обличает перенаселенность американских городов, заявляя, что с любой точки зрения только децентрализация городов улучшит ситуацию в здравоохранении, экономике, инфраструктуре, нравственном климате [см.: *Peterson*, 1946: 11].

Джекобс резко критиковала традицию модернистского планирования городов, согласно которой идеальный город состоял из открытых пространств, высотных зданий, низкой плотности заселения и пригородов. Ее возмущала скорость, с какой пустели города, когда началось великое переселение американцев в пригороды. Вместе с людьми города покидала надежда. Расчистка городских трущоб, строительство кварталов муниципального жилья (как правило, состоящих из высотных домов) — при всей социальной полезности — смущали ее тем, что угрожали разрушить естественную ткань городской жизни, внести эрозию в жизнь городских сообществ. С точки зрения Джекобс, этот процесс усиливала политика федерального правительства, введшего «евклидовы стандарты зонирования», согласно которым города разделялись на стандартные районы, с тем чтобы снизить плотность населения и отделить друг от друга разные способы использования земли (отделение промзон от жилых кварталов и так далее). Она одной из первых провозгласила, что модернистская традиция планирования не

принесла желаемых результатов. Вместо разрыва с традицией, предложила она, есть смысл к ней присмотреться. Тогда станет понятно, что улица, а не «блок» пригородных домов — залог витальности города.

Джекобс считала, что традиционный («европейский») тип моноцентричного города потому столь привлекателен, что плотно заселен и социально и культурно разнороден. Она предлагает четыре главных способа усиления городского разнообразия: 1) короткие улицы и кварталы; 2) сочетание разных функций внутри одной улицы или района; 3) здания должны различаться по возрасту, степени изношенности, характеру использования и составу жильцов; 4) плотность заселения [см.: *Jacobs*, 1966: 301, 318]. Прототипом такого идеального квартала была Хадсон-стрит, улица в Гринич-Вилледж, на которой Джекобс жила, когда писала свою книгу. Выглядывая из окна и наблюдая за обитателями квартала, она использовала что-то вроде «индуктивного метода», обобщая паттерны поведения соседей до идеальной модели городского соседства: лавочки и магазинчики вместо супермаркетов, знание соседей по именам, у каждого есть своя экологическая ниша в том смысле, что такой район способен обеспечить занятость почти всех разнообразных своих обитателей. Джекобс считала, что самые разные проявления разнообразия — физического, социального, культурного, экономического, временного — должны быть взаимосвязаны между собой, создавая разные варианты использования места и разные типы его пользователей. «Витальность» города виделась ей как максимально разнообразное и полное использование городского пространства сутки напролет.

Поскольку книга Джекобс задевала как интересы архитектурно-планировочного истеблишмента, так и коллег — авторов книг о городах, ее взгляды встретили острую критику. Льюис Мамфорд оспорил ее мысль, что именно улица должна являться местом разнообразных практик и социально благотворной интеракции различных по происхождению и заняти-

ям людей [см.: *Mumford*, 1962]. Это в деревне все всех знают, напомнил он, так не получается ли, что идеальный квартал оптимален лишь с точки зрения предотвращения преступности? Он упрекнул Джекобс в приверженности ностальгически-романтической версии прошлого американских городов и в пренебрежении более масштабными социальными силами, сокращающими пространство городской свободы. Похожая линия критики была развита Гербертом Гансом [см.: *Gans*, 1994: 35]. Адресованные Джекобс упреки в романтизме связаны со знанием им типичных потребностей представителей среднего класса, которых не привлекает перспектива поселиться в богемном либо рабочем квартале: они хотят растить своих детей в безопасном окружении. Поэтому не социальная пестрота, скажем, района Норт-Энд в Бостоне (там, где он провел свое исследование) привлекает их, но либо высотные жилые дома с консьержами, либо социально однородные пригороды.

Улицы Джейн Джекобс

Джейн Джекобс жила на Хадсон-стрит, 55, в Гринич-Вилледж, в небольшой квартире в старом доме, над магазином сладостей. Она боролась (и победила в этой борьбе) с Робертом Мозесом, который собирался построить экспрессвей в Нижнем Манхэттене, — по первоначальному его плану эта дорога должна была пройти через четырнадцать кварталов Хадсон-стрит. Ее мысли по поводу городского разнообразия можно найти в тексте раздела, а фотографии позволяют увидеть, как любимая Джекобс Гринич-Вилледж выглядит сегодня. Иных магазинчиков уж нет, и люди поменялись (это сегодня очень дорогой район), но все-таки сохранилось немало деталей, объясняющих, почему именно этот вариант городской жизни (включающий улицы, по которым тянет пройти, кафе, в которых хочется посидеть, цветы, которые хочется посадить) был и остается дорог многим людям.



Улицы Джейн Джекобс

Город иммигрантов

Восемь утра. Метро «Парк культуры». С трудом протиснувшись через холл к нужному входу на эскалатор, ты слышишь голос «наблюдающей за порядком» женщины. Воплощение патерналистской государственной политики, она с упорством автомата напоминает пассажирам о том, как нужно пользоваться правой и левой сторонами «лестницы-чудесницы». Но иногда она позволяет себе импровизацию: «Улыбнитесь друг другу: ничего не поделаешь, нас тут очень, очень много в Москве». Один из настенных стендов тоже шлет примиряющее послание: аристотелевское «Город — единство непохожих» проиллюстрировано аккуратно — в виде решетки — расположенными цветами. Изображения розы и вербены, пожалуй, годятся в качестве аналогии того, что ты видишь вокруг, когда дело доходит до различий. Выросши, как сегодня бы сказали, в расово однородном окружении, ты фиксируешь прежде всего этнические различия. Отмечаешь красивую девушку-корсянку, тщательно одетого азербайджанского дженгльмена, усталых рабочих-молдаван, группку вьетнамок. Кто-то из этих людей свою этничность умело обыгрывает, тогда как для повседневных забот других она значения не имеет. Есть, конечно, и такие представители «мультикультурной» Москвы, кого ты почти никогда в метро не видишь: таджикские рабочие, к примеру. И есть немало таких, для кого повседневные маршруты чреваты неприятностями. Перенаселенный город, привлекая многих, а потому становясь все более и более разнообразным, входит в современную фазу развития, которая может быть выражена словами того же Аристотеля: «Совершенно справедливо, что не должно считать гражданами всех тех, без кого не может обойтись государство» (Pol., III, 3, 1278a, 5).

Зависимость городов от миграции (прежде всего из деревень) обозначилась в начале XIX века. Если нужда городов во все новых деревенских жителях объяснялась высокой смерт-



Сколько лет должно пройти, чтобы в России стали возможны аналогичные плакаты, изображающие вьетнамцев и таджиков?

ностью среди рабочих на заводах, то самим деревенским жителям город сулил иную степень свободы. Комментаторов второй половины XIX века эта свобода в особый восторг не приводила: они опасались волнений, ибо уж слишком пестра была новая городская публика. Метафоры искры, спички, ящика с динамитом, парового котла переходили из памфлета в памфлет. Поведение низших классов мыслилось как заведомо патологическое, чреватое вспышками преступности.

Настороженностью и реформаторским оптимизмом в отношении к иммигрантам отличались исследования авторов чикагской школы (см. об этом подробнее в главе «Классические теории города»). Роберт Парк искал пути увеличения эффективности социального контроля и ассимиляции иммигрантов, прослеживая, как все новые их волны меняют город, создавая в нем новые зоны жизни. Энтони Берджес отразил в своих книгах, как с укоренением иммигрантов меняются их обиталища — от дешевых ночлежек городского центра до отдельных домов в благополучных пригородах. При всей настороженности чикагские авторы видели, что иммиграция — мотор городской жизни и что новый городской порядок связан с трансформацией традиционных линий привязанности и идентичности людей.

Массовое переселение американцев в пригороды в начале 1960-х годов привлекло внимание социологов Натана Глезера и Дэниэла Патрика Мойнихэна. Не там ли, в пригородах, размещался теперь настоящий «плавильный котел» американской нации, когда стандарты американской мечты оказались одинаково привлекательными (с разной степенью доступности) для представителей различных этнических и расовых групп? Назвав свою книгу «По ту сторону плавильного котла», авторы показывают на примере этнических групп Нью-Йорка, что если смешение и произошло, то отнюдь не в направлении всеобщей гомогенизации [см.: *Glazer, Moynihan*, 1970]. Они polemизируют и с банальным пониманием этого понятия, и с марксистским тезисом, что в промышленных городах этничес-

кие различия уступают место классовым. Исследовав пять этнических групп: афроамериканцев, пуэрториканцев, евреев, выходцев из Италии и Ирландии, они показали, что этнические идентичности успешно воспроизводятся от поколения к поколению иммигрантов. Впоследствии их выкладки были подтверждены социологическими опросами. Так, когда в опросник национальной переписи 1980 года был включен вопрос, из какой группы предков люди происходят, лишь 6 % опрошенных сказали, что они только американцы, тогда как 83 % указали как минимум еще одну группу, из которой происходили. Авторы не обошли стороной и источники межрасового напряжения, указав, в частности, непропорционально высокий процент афроамериканцев и пуэрториканцев, получающих социальные льготы.

Новым феноменом стали этнически гомогенные пригороды. Социолог Тимоти Фонг описывает «первый пригородный чайнатаун» — Монтерей-Парк под Лос-Анджелесом в Калифорнии, прожив в нем больше года и используя материалы устной истории [см.: *Fong*, 1994]. Лицо китайской миграции в Америку сильно изменилось: часто превосходящие белых образованием и амбициями, современные выходцы из Китая и других стран Юго-Восточной Азии очень не похожи на своих предшественников, потевших с середины XIX века в китайских прачечных. Фонг рисует Монтерей-Парк как пересечение классовых, этнических и расовых конфликтов, отражающих, с одной стороны, нарастание антикитайских настроений во всей стране, а с другой стороны, сложности в жизни стремительно растущего города, преобразенного китайцами за считанные десятилетия. Они покупали дома и кондоминиумы, с усмешкой слыша за спиной мифы о своем невероятном богатстве, но в итоге сделали этот город самым желанным местом жительства для китайцев, приезжающих в Калифорнию.

В течение 1990-х годов в исследованиях миграции, принимаемых городскими географами, социологами, этнографами, изменились теоретические основания. Раса, этничность,

СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ГОРОДЕ

гендер и другие категории, фиксирующие различия, стали рассматриваться как *социально сконструированные*. Соответственно, в фокус внимания вошли процессы конструирования расы и этничности социальными процессами и культурными репрезентациями. Городские географы Лаура Пулидо, Стив Сидави и Роберт Вос осмысливают расизм как процесс, прослеживая, как в двух сообществах Лос-Анджелеса — Торрансе и Верноне — городское планирование, основанные на расе разделение труда и дискриминация на рынке жилья вплетаются в то, что они называют проявлениями экологического расизма [см.: *Pulido, Sidawi, Vos, 1996*]. Белым легче обезопасить себя от выбросов токсичных веществ, а работа на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях — удел латиноамериканцев. Авторы обращаются к анализу «расистской политико-экономической истории», чтобы показать, как современные проявления расизма укоренены в почти вековой истории этих городов и как бессмысленно говорить о каком-то одном всеобъемлющем расизме. Рассуждая о том, какая методология была бы оптимальной для исследования этих сложных тенденций, авторы упрекают сторонников количественного анализа в том, что те придают слишком много значения скорее самим расовым категориям, нежели расизму как процессу. Разнообразие проявлений расизма во времени не свести к отдельным и измеримым актам дискриминации, вот почему необходимо «археологическое», то есть принимающее во внимание эволюцию расизма вкупе с обуславливающими его социальными, экономическими и культурными факторами, изучение конкретных случаев с применением качественных методов.

Напряжением между конструктивистами и «эссенциалистами» отмечено и изучение городской этничности *российскими исследователями*. Укорененности у нас эссенциализма как теоретической установки способствовал тот факт, что долгое время велись по преимуществу этнографические исследования этничности, нацеленные на описание культурных характери-

стик этносов, в том числе и городских [см.: Будина, Шмелева, 1989]. С другой стороны, с формированием в 1970-е годы такой специфической дисциплины, как этносоциология, изучение культурного и социального разнообразия в России отмечено фундаментальной двусмысленностью: отводя этнографии изучение «традиционно-бытового слоя», этносоциологи претендуют на то, чтобы освещать «социальные параметры культурной деятельности» нации, оценивая соотношение в ней «современного» и «традиционного» по шкале, включающей «уровень урбанизированности» и «втянутости» именно в «современные экономические, социальные, политические и т.д. процессы» [Арутюнян, 1992: 4]. Этнограф и политический деятель Галина Старовойтова книгу «Этническая группа в современном городе» [см.: Старовойтова, 1987] посвятила татарам, армянам и эстонцам доперестроечного Санкт-Петербурга. Молодому читателю будет полезен небольшой историко-научный экскурс, чтобы представить себе атмосферу, в которой проходила подобного рода работа. Коллега Старовойтовой свидетельствует: «Диссертационная тема (“Психологическая адаптация нерусских групп в современном русском городе”), в книжном издании получившая название “Этническая группа в современном советском городе” (Л., 1987. 174 стр.), была поддержана ученым советом института, однако отдел науки горкома отказался дать разрешение на массовый опрос, как того требовала тема, аргументируя это, кроме всего прочего, тем, что Старовойтова не была членом КПСС. Кроме того, руководству отдела представлялось, что оно само все знает, что нужно знать в сфере межнациональных отношений, и опрос мог, якобы, только привлечь внимание к несуществующей теме» [Чистов, 1999].

Старовойтова рассматривала так называемые этнодисперсные группы, фиксируя развитые в них пути этнической идентификации, воплощающиеся в бытовых практиках и ценностных установках.

В исследовании «Русские: Этносоциологические очерки», проведенном сотрудниками Института этнологии и антропологии, русская нация характеризуется «высоким уровнем урбанизированности» [Русские, 1992: 42], что, по мнению авторов, объясняет стабильный приток русского населения в крупные города СССР. Социологические исследования миграции этнических групп включают «статусные» и «поведенческие» характеристики мигрантов, обитающих в различных «этнических средах». Эти среды видятся объективными «регуляторами миграционного поведения», тогда как субъективные регуляторы образованы этническими ценностями, например ориентацией индивида на «однонациональный» или «многонациональный» состав среды. Тем самым «объективное» и «субъективное» определяют друг друга. Первое ограничено трудовым коллективом и кругом друзей, второе зависит от удовлетворенности жизнью. Города, в особенности столичные, «вызывают большую психологическую напряженность, неудовлетворенность», от которых могут пострадать межнациональные отношения [Там же: 73]. Масштабность подобного рода анализа и его объективизм, позволяющие вообще не обращаться к критике существующего социального порядка, привлекли за последние тридцать лет множество исследователей и легли в основу процветающей и поныне этносоциологической индустрии.

Приведем в качестве еще одного примера социологическое исследование межэтнических отношений в городе Пермь — «Национальный вопрос в городском сообществе» [см.: Лейбович и др., 2003]. Его авторы, отмечая, что национальные мифы «становятся интегральной частью всех форм общественного сознания» [Там же: 13], подробно разбирают местные проявления этничности в контексте новых тенденций социальной стратификации. Однако методология, избранная авторами, скорее социально-психологическая, так как они нацелены на реконструкцию «этнических образов» друг друга, которые есть у представителей пермских этнических групп. Среди «инонационалов» выделяются «продвинутые», то есть успешно осво-

ившие русскую культуру, и русским, утверждают авторы, контакты с ними полезны, так как это помогает найти свою собственную идентичность. Исследования такого рода исходят из существования неизменных стабильных культур, представители которых могут быть более или менее «урбанизованы» или «продвинуты», то есть размещены по некоторой, очевидной для социологов этой школы, шкале социального развития.

Неслучайно представители противоположной, конструктивистской социологической школы (большинство которых работает в Санкт-Петербургском центре независимых социологических исследований) подвергают такой эссенциализм резкой критике, подчеркивая, что его представители недооценивают вероятность своего негативного влияния на горожан: «Социолог, ничтоже сумняшеся, предлагает людям (которые, возможно, до его появления даже не задумывались о столь волнующих исследователя вещах) оценить уровень интеллекта тех или иных “национальностей”, степень их чуждости, указать, какой национальности не должен быть кандидат в мэры Перми, высказать свое мнение о том, с человеком какой национальности он не одобрил бы брак своей дочери, и так далее и тому подобное. Вам не кажется, что сам факт использования авторами расистских инструментов измерения (мало чем, впрочем, отличающихся от аналогичных инструментов других “этносоциологов” и “этнопсихологов”) оказывает сильное влияние на респондентов? Я не сомневаюсь при этом, что, укрепляя такими исследованиями расизм и ксенофобию в обществе, исследователи искренне считают себя борцами с расизмом» [Воронков, 2004].

Допуская, что автор рецензии погорячился, возлагая на пермских социологов вину за пробуждение в горожанах темных страстей, отметим задетый им интересный методологический аспект возможности влияния социальной мысли на общественные нравы. Отыскивание расистских предрассудков в текстах коллег рано или поздно приводит энтузиастов этого дела к пониманию того, что ригидность и инертность соци-

альных и культурных стереотипов и предрассудков, проглядывающих в иных ученых штудиях, фактически неизменяемы. Как бы проблематичны ни были чьи-то «политики идентичности», они могут никакого влияния на социальные изменения не оказывать. Влияние академических текстов сегодня весьма и весьма ограничено.

Пытаясь сократить «расистское» влияние текстов коллег, Санкт-Петербургские социологи Виктор Воронков, Олег Паченков, Ольга Бредникова, Оксана Карпенко, Сергей Дамберг [см.: Этничность..., 2000; Карпенко, 2002; Бредникова, Паченков, 2001] исследовали этнические сообщества Санкт-Петербурга, с тем чтобы продемонстрировать меру социальной сконструированности самого понятия *этничность*. Так, например, Оксана Карпенко борется за политически корректное (иное, нежели «гости нашего города») именование новых обитателей общего городского пространства. Установление связи между бытующими метафорами и определяющими их когнитивными и прагматическими факторами тем более необходимо, что, когда используется метафорическое понятие, читатель или говорящий может «не считать» его метафоричность и понять сказанное буквально (либо он может сознательно играть на смешении буквального и фигурального смыслов слова). Кроме того, метафоры могут пониматься буквально, когда говорящие и слушатели не обращают более внимания на метафорический характер выражений, буквально используя идиоматические фразы. Отсюда необходимость «критического анализа метафор», в традицию которого, как мне кажется, вписывается текст Карпенко.

Проведя дискурсивный анализ свыше трехсот газетных статей, питерский социолог попыталась проблематизировать классический риторический ход, использующийся националистами, «регионалистами» и многими другими, в чьи политические и практические задачи входит проведение и охрана границ между своей и чужой территориями. Этот ход состоит в распространении на масштабные пространства идеализиро-

ванного паттерна отношений в семье и мышления о стране, городе и иной территории в терминах родного дома. Социализация людей как членов территориальной группы непременно включает усвоение ребенком этого хода, начиная с нотаций школьной уборщицы («Ты же у себя дома не соришь!»), урока истории с плакатом «Родина-мать зовет!» и кончая неизбежностью столкновения с разными вариантами недовольства местных жителей «понаехавшими тут». Помню, как поразила меня фраза сокурсницы, вышедшей замуж «в Москву» в 1980-е годы и к моменту моего визита наслаждавшейся новыми возможностями всего полгода: «Ты не представляешь, как это здорово, когда город закрывают. Чувствуешь себя совершенно как дома: никого лишнего, так спокойно, да и все, что хочешь купить, можешь быть уверена, тебе достанется!»

Фиксируя раздражение, с которым жители столиц встречают превращение их общего дома в «проходной двор», Карпенко изобретательно демонстрирует, как бессознательное следование жителей и властей популярной метафоре дома проявляется в описании ими отношений между приехавшими в город давно и мигрантами. Чересчур уверенное поведение тех, кто должен бы помнить о том, кто тут на самом деле хозяин, мыслится как результат небрежности в охране границ дома, а конкуренция мигрантов со старожилами на рынке труда и за социальные блага — как покушение на и без того ограниченные ресурсы хозяев. Исследовательница резонно говорит, что дихотомия местные — гости упрощает сложную картину миграционных процессов, позиционируя как конфликт групп те конфликты, которые часто имеют индивидуальную природу, делая все более отдаленной перспективу правового закрепления прав мигрантов и решения спорных случаев.

Радикальный вариант социально-конструктивистской методологии реализуют Ольга Бредникова и Олег Паченков, исследуя повседневные практики питерских торговцев — выходцев из Азербайджана, с тем чтобы показать, что само членение



Гордость, а не предубеждение — измененное название романа Джейн Остен может стать личной кампанией против предрассудков, нацеленных на других

на этносы — это навязываемая интеллектуалами категоризация, мало значимая для самих ее объектов.

Но какой бы произвольной ни казалась «этничность» с точки зрения социально-конструктивистской парадигмы, все же настаивать и на ее практической иррелевантности — слишком сильный ход: она давно стала «категорией практики», если воспользоваться термином Дж. Брубейкера. Двусмысленность полученных коллегами результатов хорошо разбирает санкт-петербургский социолог Михаил Соколов, в целом скептически оценивающий итоги разработки социально-конструктивистской парадигмы в России: «Даже то единственное исследование (исследование Бредниковой и Паченкова. — *Е. Т.*), которое цитировалось, чтобы доказать несостоятельность эссенциалистской позиции, в действительности содержит в себе массу доводов, которые могут быть интерпретированы в ее пользу <...> То, что у неэссенциалистских подходов есть преимущества в интерпретации современной российской реальности, надо еще доказать» [Соколов, 2005].

Ирония состоит в том, что «эссенциалисты» и «конструктивисты», занимая крайние полюса методологического спектра, приходят к похожим результатам, в которых единственным объектом критики оказываются коллеги-интеллектуалы. Этносоциологи фиксируют в Москве «надэтническое» столичное самосознание «с очевидной доминантой гражданского образа» [Арутюнян, 2007]. Представители социального конструктивизма также склонны скорее искать «надэтнические», то есть объединяющие людей, моменты. Теоретическая необходимость отстоять произвольность, а потому иррелевантность этничности как маркера различий, приводит Владимира Малахова в статье «Этничность в большом городе», во-первых, к апелляции к общему советскому прошлому представителей всех этнических групп в современной России и, во-вторых, к утверждению, что этничность задействуется сегодня лишь в политических (представителями национальных движений) и

коммерческих (запрос культурного рынка на «разнообразие») целях [см.: *Малахов*, 2007].

Исследования же, основанные на разного рода статистике и социологических опросах, убедительно демонстрируют воплощение этнических и иных различий в социальном пространстве крупного города. Опираясь на данные двух переписей населения, архивы префектур, отделов ЗАГСов и МУВД, динамику цен на жилье, результаты социологических опросов, московский географ Ольга Вендина не только картографировала «этнический ландшафт» Москвы, но и вычленила следующие факторы, затрудняющие интеграцию мигрантов в московскую жизнь [см.: *Вендина*, 2004; 2005]. Во-первых, это внутренняя поляризация этнических групп («боссы» и «пролетарии»), а также внутри- и межгрупповая дискриминация. Во-вторых, это произвол, вымогательства и дискриминация со стороны властей и правоохранительных органов. В-третьих, это сильный рост экономической миграции, представители которой населяют окраинные районы столицы и в силу слабых перспектив вертикальной мобильности и нарастающего «окукливания» социальных групп, скорее всего, так и останутся в изоляции. В-четвертых, это проблематичный статус принимающего сообщества: низкий уровень общественной солидарности, сильное и нарастающее социальное расслоение, сочетание прагматической эксплуатации и негативных стереотипов.

Продуктивными кажутся результаты рефлексии слабости либерального дискурса о миграции и попыток его популяризовать в России рядом других экспертов. Реалистична оценка Дениса Драгунского: «Мигранты — как любые чужаки — дегуманизированы в глазах большинства коренных жителей. Их воспринимают не как полноправных граждан и, разумеется, не как ближних в христианском смысле слова, а как средство производства или источник повышенной опасности (часто и то, и другое одновременно). В Москве названия одних этносов стали синонимами дешевой, безотказной и практически бесправной рабочей силы, названия других — синонимами неправед-

но нажитого богатства. Названия третьих обозначают угрозу жизни и собственности местных жителей» [Драгунский, 2003].

Эту позицию подкрепляет результатами социологических исследований Лев Гудков: «Считают, что нужно ограничить проживание на территории России выходцев с Кавказа в 2004 году — 46 %, в 2005 — 50 % — это в самом общем виде. Если брать по отдельным пунктам, скажем, установить запрет на приобретение собственности, на проживание, на занятие должностей, в том числе и для граждан России, то там порог запретительного рефлекса поднимается до 60—70 % и даже выше. Резко отрицательно относятся к тому, чтобы мигранты покупали квартиры и дома — 58 %, чтобы образовывали собственный бизнес (открывали кафе, магазины, автосервис) — 64 %, покупали бы земли для бизнеса или жилья — 65 %, заводили крупные предприятия — 74 % и т.д. Запреты касаются и работы по найму, хотя, казалось бы, здесь явная ощутимая польза, выигрывают все. Тем не менее против того, чтобы мигранты работали в частном бизнесе, — 53 %, на государственной муниципальной службе — 69 %, в правоохранительных органах — 74 %. То есть три четверти населения отличаются вполне выраженным запретительным рефлексом» [Гудков, 2006].

Иркутский специалист по миграции историк Виктор Дятлов настаивает на необходимости создания институтов адаптации и интеграции мигрантов, перспективы полной ассимиляции которых крайне осложнены тем, что эти люди иначе социализованы и настроены на иные механизмы социального контроля. Контакты нередко ведут к выяснению отношений, что чревато конфликтами. Ученый ведет исследования диаспор как нового элемента жизни сибирских городов [см.: Дятлов, 1995; 1999а; 1999б; 1999в; 2000; 2004], в том числе описывая усложнение социальной организации этнических сообществ на рынках, в пригородах, общежитиях как предпосылку вероятного формирования в России чайнатаунов — постоянных китайских общностей. Так, в исследовании иркутского рынка «Шанхай» Дятлов и его соавтор Кузнецов, вызывая ассо-

циации с работами авторов чикагской школы, воссоздают — на основе проведенных интервью, включенного наблюдения и анализа прессы — «экологию» китайского рынка и его функционирование в качестве «социального организма» [см.: Дятлов, Кузнецов, 2004]. «Экологические» исследования городов стали первыми проводить именно чикагские авторы (см. о них в главе «Классические теории города»), предложив рассматривать социальную жизнь городов как воплощенную в географической и материальной среде.

Впечатляющие итоги анализа социальной жизни рынка Дятловым и Кузнецовым еще раз показывают, что если использование «передовой» исследовательской парадигмы (социальный конструктивизм) в эмпирических исследованиях не всегда приводит к успеху, то обращение к оправдавшей себя методологии не подводит. Не случайно, несмотря на очевидную устарелость ряда концепций чикагцев, отработанная ими методология социологического картографирования отдельного города продолжает активно использоваться повсеместно.

Дятлов и Кузнецов описывают эволюцию китайского рынка Иркутска с начала 1990-х годов как места встречи цивилизаций, олицетворения «желтой опасности», специфического инфраструктурного узла, источника поступлений в городской бюджет, места заработка иркутчан и демократичного шопинга, центра снабжения всего региона, источника криминала и милицейского вымогательства, места встречи нелегальной миграции и коррумпированного государственного аппарата. Статья хороша еще и совмещением двух видов исследовательской оптики — извне и изнутри: того, как город видит «Шанхайку», и того, как организована на рынке социальная жизнь. Так, один из интересных аспектов динамики сосуществования рынка и города — в том, что социальный статус горожан определяется в том числе и тем, покупают или не покупают они вещи на «Шанхайке». Мне кажется, исследователи здесь нащупали универсальную характеристику сложной жизни постсоветского российского города. Главный оптовый или мелкооп-

товый рынок существует везде, китайцы заправляют на большинстве таких рынков, а горожане могут оценивать свой социальный рост по тому, совершают ли они ответственные покупки по-прежнему на таком рынке или уже могут позволить себе поход в крупный торговый центр с его бесчисленными бутиками европейских брендов. Взгляд на рынок «изнутри» позволяет вычленить структурирование его социальной жизни по принципу национальных блоков, в которых продаются определенные виды товаров, что определяется «капитанами», «патронами» — лидерами китайской общины, бизнесменами с опытом и образованием.

Исследование социальных сетей китайских торговцев в Иркутске перекликается с тем, что провел американский социолог Роджер Уэлдингер [Waldinger, 2001], один из создателей понятия *этническое предпринимательство*. Изучив пять регионов США, он показал, как функционируют аналогичные социальные сети среди мексиканцев, китайцев, филиппинцев, корейцев, кубинцев и вьетнамцев. Хорошо образованные и обладающие предпринимательской жилкой корейцы собираются в группы, что присуще и низкоквалифицированным мексиканцам. Повсеместно проявляется и тот принцип, что со «дна» рынка труда начинают недавно приехавшие, тогда как давно осевшие в этом месте монополизируют стратегические посты и решения.

Выкладки, наблюдения и исследования Вендиной, Гудкова, Драгунского, Дятлова, Карпенко и ряда других авторов перекликаются с рассуждениями их западных коллег о необходимости дополнить «розовое» представление о глобализации как сулящей рост космополитического сознания горожан более реалистическим анализом взлета фундаментализма, «нативизма», ксенофобии, консерватизма, новых форм адаптации во многих мировых городах — магнитах миграции. Теоретическое осмысление миграции в города в последние годы характеризуется акцентом на двойственности этого феномена: миграция, с одной стороны, решает проблемы занятости и даже

усиливает «креативность» городов, но, с другой стороны, углубляет социальную поляризацию. «Город как контекст», в рамках которого нужно продолжить изучение миграции, — на таком подходе справедливо настаивает в одноименной статье американский антрополог Каролин Бретель. Конкретный город представляет особое социальное поле, где сочетание его собственной истории, сегодняшнего дня («депрессивный» или нет) и разного уровня сил и тенденций определит, каково в нем будет мигрантам. На этом скажется и то, какова продолжительность местного опыта взаимодействия с «понаехавшими», и то, одна или несколько групп мигрантов в нем доминируют, и то, поощряют ли делом интеграцию мигрантов местные и центральные власти.

Социальная сегрегация и поляризация

Социальная сегрегация и поляризация сопровождали жизнь городов, наверное, с момента их возникновения. В Древнем Риме и Афинах существовали кварталы, где селили рабов, в Средние века возникли гетто и кварталы для представителей тех или иных гильдий ремесленников и купцов. О том, как эта тенденция усилилась в XIX и XX веках, мы рассуждали в главе «Город как место экономической деятельности». Определение в городах различных, нередко социально противоположных зон — предмет давнего интереса урбанистов.

Публикация работы Дэвида Харви «Социальная справедливость и город» и его исследования вместе с Латой Чаттерджи рынка недвижимости в Балтиморе обусловили поворот от количественных исследований жилищной дифференциации городов в сторону внимания к экономическим и социальным процессам, структурирующим рынок жилья, которые соединялись с классовыми и этническими различиями. От индивидуальных и групповых предпочтений ученые перешли к изучению социальных ограничений, выражающихся в про-

странственной и социальной сегрегации [см.: *Harvey*, 1973; *Harvey, Chatterjee*, 1974].

В 1980-е годы эти исследования были поглощены более общими по характеру рассуждениями о социальной поляризации в глобальных городах, когда вначале Джон Фридман и Гетц Вулф заявили о том, что для мирового города характерна «поляризация социально-классовых различий» [см.: *Friedman, Wolff*, 1982: 332], а затем Саския Сассен заговорила о новой классовой структуре глобальных городов (см. об этом подробнее в главе «Город и глобализация»), в частности о поляризованной структуре занятости, приводящей к существованию страт с высокими и низкими доходами, что связано с постоянным притоком мигрантов в эти города. Интересной стороной социальной поляризации в глобальных городах является неясный статус «социальной середины» (мы вернемся к этому ниже, разбирая взгляды Питера Маркузе). Мануэль Кастельс в своих работах связал поляризацию и «информационный город», подчеркнув, что информационные способности и возможности различных социальных групп крайне неодинаковы.

Среди тех, кому идея «дуального», поляризованного города кажется излишне одномерной, — американский теоретик городского планирования Питер Маркузе [см.: *Marcuse*, 1989; 1997; 2000]. Он, во-первых, возражает против того, чтобы считать «разделенный» город чем-то новым, указывая, что тенденция поляризации сложилась знакомым нам всем образом еще на заре промышленной революции. Во-вторых, он призывает не упускать из виду процессуальность поляризации: модели расселения в соответствии с разделением труда и расовыми и гендерными различиями существуют, но они проявляются не столь жестко и определенно, как это казалось чикагским социологам Берджесу и Парку. Приведем «процессуальное» определение поляризации: «Похоже, лучше представлять ее с помощью яйца и песочных часов. Обычное распределение населения города напоминает яйцо: самое широкое посередине и сужающееся к концам. В ходе поляризации середина сдавлива-

ется, а концы расширяются — пока все это не становится похожим на песочные часы. Середину яйца можно определить как “опосредующую социальную страту”. <...> Или, если поляризация — между богатыми и бедными, середина относится к группе людей со средними доходами <...> Это метафора не структурных разделяющих линий, но континуума вокруг одного измерения, распределение которого становится по нарастающей бимодальным» [Marcuse, 1989: 699].

Но как быть, если поляризация идет одновременно по ряду измерений? На такую возможность указывают Молленкопф и Кастельс, подчеркивая, что сочетание культурной, экономической, политической поляризации в Нью-Йорке приводит к тому, что если в городском ядре, образованном профессионалами корпоративного мира, пусть и разными по происхождению, прослеживается подобие единства, то на периферии города имеет место дезорганизация: население здесь фрагментировано по расовому, половому, этническому, профессиональному признаку, что только усиливается разнородностью мест, в которых оно проживает [см.: Dual City, 1991: 402].

Выдвигая метафору «города кварталов», Маркузе строит следующую классификацию того, что он называет «отдельными городами» внутри современных городов. В «жилых» городах он выделяет: 1) «роскошные зоны», для которых характерна специфическая инфраструктура торговых центров, мест развлечения и отдыха и так далее; 2) «джентрифицированные» кварталы, предназначенные для профессионалов, менеджеров, яппи (он добавляет к числу их обитателей и университетских профессоров), иронически замечая, что «фрустрированная псевдокреативность их занятий ведет к поиску удовлетворения в иных сферах, находимых в потреблении и специфических формах культуры, в “городской жизни”, лишенной ее первоначального исторического содержания и более связанной с потреблением, чем с интеллектуальной продуктивностью или политической свободой» [Marcuse, 2000: 273]; 3) пригороды — место обитания хорошо оплачиваемых рабочих и мелкой бур-



Вечный расклад даунтауна: не хватает ресурсов — становись экзотическим зрелищем для других

жуазии, для которых дом — залог финансовой безопасности, наследство и место обитания; 4) город снимаемых квартир и муниципального жилья, обитатели которого могут быть оттуда вытеснены в случае, если этот квартал облюбуют девелоперы; 5) покинутый город — место очень бедных, тех, кто либо никогда не работал, либо работает очень редко, место расовой и этнической дискриминации и сегрегации.

«Города бизнеса» разделяются на следующие группы: 1. Контролирующие места, то есть места больших решений, которые принимают владельцы яхт и лимузинов, хотя и избегающие ярко выраженной пространственной укорененности, но все же чаще всего обитающие на верхних этажах корпоративных небоскребов. Маркузе называет «цитаделями» образцы последнего поколения таких зданий, «умных» зданий, в которых и живут и работают капитаны корпоративного мира. Бэттери-Парк в Нью-Йорке, Доклэндс в Лондоне, Ла-Дефанс в Париже, Беринни в Сан-Паулу, Луджиазуи в Шанхае — примеры таких кварталов. 2. Города бизнеса — города улучшенного сервиса, то есть кварталы офисных зданий, «стратегически» группирующиеся в центре города (но они могут быть расположены и на окраине или вообще рассеяны по городу). Работающие здесь живут в джентрифицированных районах. 3. Город прямого производства, концентрирующий не только управление промышленностью и некоторые ее виды, но и сервис, правительственные здания, офисы ведущих фирм. 4. Город неквалифицированной работы и неформальной экономики, иммигрантских предприятий и небольших фабрик и мастерских. Чайнатаун в Нью-Йорке и кубинский квартал в Майами — примеры таких городов. 5. Безработный город — город тех вариантов неформальной экономики, которые вне закона, город, где сосредоточены самые вредные производства и свалки, очистные сооружения, гаражи, тюрьмы. Маркузе, известный своей резкой критикой политики нью-йоркских властей, описывает такой хорошо знакомый русским читателям ее компонент, как очистку центра города от «нежелательных элементов» (улицы

центра должны служить обитателям «цитаделей» и джентрифицированных кварталов), а также изобретательное занавешивание фасадов пустующих или перестраиваемых домов (он их называет потемкинскими деревнями для богатых). Если уж и говорить о новых моментах процесса поляризации, включает Маркузе, так это то, что «лишние» люди, в частности безработные, поселились в городах навсегда и количество их будет только расти. Будут расти и процессы джентрификации, а вместе с ними — вытеснения прежних обитателей обустриваемых для богатых кварталов с помощью правительственной регуляции.

«Геттоизация» и бедность

Как городская этнография и социология описывают положение «невписавшихся» людей, перебивающихся от одной временной работы к другой или вообще не работающих? Оценки и используемые понятия, объяснительные стратегии и мера радикализма выводов здесь очень зависят от политической позиции авторов. История последних трех-четырёх десятилетий свидетельствует, что некоторые понятия, которые их авторы предложили в чисто описательных целях, были подняты на щит представителями радикальных правых взглядов на социальную политику. Так случилось с понятием *underclass*, введенным Гуннером Мердэлом, которое стали использовать для фиксации «сущностных» и не поддающихся реформированию характеристик городской бедноты, особенно афроамериканской, а поэтому — для критики политики *welfare*. Схожую траекторию проделало понятие *культуры бедности*, введенное американским антропологом Оскаром Льюисом. Антисоциальное поведение крайне бедных людей мыслилось в течение 1960—1980-х годов как неизбежное следствие того положения, которое они занимают в социальном пространстве городов.

В конце 1990-х вышло несколько работ городских этнографов, осмысливающих процессы городской маргинализации и «геттоизации». Митчелл Данейе в работе «Тротуар» воссоздал жизнь чернокожих обитателей нижнего — наводненного туристами — Манхэттена, зарабатывающих на жизнь, предлагая прохожим книги и журналы [см.: *Duneier*, 1999]. Элайя Андерсон в книге «Код улицы» описал гетто Филадельфии, отмеченное борьбой между «приличными» и «пропадающими» семьями [см.: *Anderson*, 1999]. Кэтрин Ньюман в книге «Стыдной работы не бывает» сосредоточилась на работающих бедняках Гарлема и способах, которыми они стремятся сохранить свое достоинство [см.: *Newman*, 1999].

«Достоинство» — не случайное здесь слово. Всякий занимавшийся качественными исследованиями среди непрощающих слоев населения знаком с этим гуманистическим соблазном — так описать жизнь информантов, чтобы они были не просто жертвами реструктуризации экономики. Но так ли беспроблемно стремление описать повседневную жизнь этих людей, чтобы вызвать сочувствие к их положению? Ломая голову над интервью, что мне дали в конце 1990-х годов екатеринбургские учителя, я отчетливо помню, как все прочитанное об «униженных и оскорбленных» стучало в голову, обернувшись несколькими забракованными главами, которые казались то излишне пафосно обличающими власти, то лицемерно жалующими моих героинь. О результате судить читателям [см.: *Трубина*, 2002], но проблема интерпретации жизни тех, кто сам о ней говорит как о выживании, и в частности проблема того, что делать с упомянутыми гуманистическими клише и позывами к морализированию, — вызов для исследователей, работающих по обе стороны Атлантики. Скажу попутно, что у нас есть не только свободные от этих слабостей, но и вызывающие огромное уважение работы Евгении Долгиновой, опубликованные в журнале «Русская жизнь», описывающие ситуацию в небольших городах России. В частности, Долгинова написала о двух городах Свердловской области, в которых работники

шахт и заводов с помощью голодовки пытались добиться выплаты зарплаты.

Вернемся к трем упомянутым выше книгам. В их центре — бедный американский чернокожий пролетариат и «люмпен»-пролетариат. К примеру, Данейе изображает бездомных обитателей Гринич-Вилледж не как зависимых от наркотиков и не брезгующих преступными актами объектов расовой дискриминации, но как людей, сознательно выбравших жизнь на улице, попрошайничество и прикрывающую его торговлю журналами в поиске способов установить контроль над собственной жизнью. Не только их столики становятся «местом социального взаимодействия, ослабляющим социальные барьеры между людьми, существенно разделенными социальным и экономическим неравенством» [Duneier, 1999: 71], не только их уличная торговля оказывает цивилизующее воздействие на всех к ней причастных, но и сами эти люди своим постоянным видимым присутствием на улицах, оказываются, способствуют усилению социального единства. Подобным образом Кэтрин Ньюман в своей книге настаивает, что подростки Гарлема свободны в своем выборе между пособием и зарплатой, легальной работой и торговлей наркотиками, зависимостью от государства или работой в низкооплачиваемых, но «нестыдных» местах предприятий сервиса. Понятно, что скептически настроенный читатель рано или поздно не вынесет такого розового портрета нью-йоркских отверженных. Между тем эти книги, рассказывающие о ежедневном мужестве представителей социального дна крупных городов, пользуются большим успехом у американской читающей публики. Они, однако, встретили достаточно сдержанную реакцию в академических кругах, где с тревогой наблюдают размывание границ между исследовательским журнализмом и полевой работой и снижение стандартов научной состоятельности, вызванных, повторим, ориентацией издательств на прибыль, а потому на продаваемость социологических книг. Продаваемость увеличивают такие приемы, как отделение до-

стойных бедных от недостойных, истории успеха достойных, социальный оптимизм, сопровождающийся замалчиванием вопроса о том, «кто правит». Прочтет читатель такую книгу и сможет дальше предаваться иллюзии о том, что он живет в справедливом и демократическом обществе, где стоящие люди, пусть даже им не везет, обязательно «пробьются».

Социолог Лоик Вакант, подробно разобрав недостатки каждой из этих книг, приходит вот к каким существенным выводам. Во-первых, нарастающая коммерциализация деятельности академических издательств увеличивает озабоченность авторов и редакторов перспективами продаж книг, что приводит к активному использованию давно оправдавшей себя романтизации отверженных. Другое дело, что на дворе неолиберальные времена, так что социальные исследователи подключаются к пропаганде новой государственной политики «менеджмента» бедных, в центре которой — возлагание на них самих ответственности за собственный удел. Если нарисовать ту их часть, что «выбирает честный труд», то о тех, кто все-таки «выбирает» иное, легче сказать, как это делалось в 1960—1970-е годы, «сами виноваты». Во-вторых, Вакант констатирует отсутствие фундированной теории, которую можно было бы положить в основу подобных исследований. Вакант скептически оценивает перспективы основанной на эмпирических наблюдениях теории (*grounded theory*), называя индуктивистской установку на то, чтобы начать с вещей, увиденных и услышанных на улице, и закончить теоретической для них рамкой, «эпистемологической сказкой» [Wacquant, 2002: 1481]. В-третьих, он в существующей организации обучения и карьерного роста в высшей школе Америки видит главную причину двух распространенных заблуждений: того, что проведение полевой работы дает ученому индульгенцию на «теоретическую рассеянность», и того, что «социальные теоретики» не должны марать руки об эмпирическое исследование, поскольку к ним потом не будут относиться серьезно» [ibid.: 1523]. В-четвертых, он находит недостаточным часто выдвигаемый городскими

этнографами аргумент, что, хотя с теоретической точки зрения их работы могут вызывать вопросы, они преследуют лишь скромные цели описания повседневных практик своих информантов. Микромир субъектов исследования тесно связан с макромиром масштабных материальных и символических отношений: «...в каждый синхронный срез наблюдаемой реальности встроено двойное “оседание” исторических сил в форме институтов и обладающих телами агентов, наделенными особыми способностями, желаниями и предрасположенностями» [Wacquant, 2002: 1523], каждый фрагмент, избранный для изображения, связан с интуицией или несформулированными гипотезами, определяющими, какие именно сведения будут избраны из обилия эмпирического материала, так что городская этнография и сильная теория взаимодополняемы.

В своем сравнительном исследовании городской маргинальности в городах Америки и Франции «Городские отверженные» Вакант использует метод систематического картографирования социальной дифференциации в гетто той и другой страны [см.: Wacquant, 2006]. Это позволяет ему выявить внутренний социальный антагонизм между теми, кто понимает неизбежность приспособления к структурам общества, где доминируют белые, и деморализованными агентами неформальной экономики. Эти «позициональные» различия открываются исследователю только в результате длительного наблюдения, связаны с различиями в предрасположенностях людей, что живут по разные стороны этой невидимой границы внутри гетто, и при посредстве накапливаемой динамики социального и морального дистанцирования определяют, насколько разные судьбы уготованы людям, вроде бы происходящим из одного места. Вакант также вводит понятие сломанного габитуса, созданного из противоречащих друг другу когнитивных и эмоциональных схем, возникшего в результате длительного существования в условиях социальной нестабильности и порождающего противоречащие друг другу поступки, оконча-

тельно лишаящие их носителя шанса эффективно приспособиться. Разруху в районах муниципального жилья в США и упадок пригородов вокруг крупных французских городов объединяют безработица, плохие жилищные условия, насилие, социальная изоляция и преобладание мигрантов — все это включает в себя, как он выражается, «фантастический» трансатлантический дискурс «геттоизации». Экономические и символические силы соединяются в том, что, например, разложение французского рабочего класса усугубляется его стигматизацией со стороны тех, кто «символически доминирует». Три десятилетия назад в «Различениях» Пьер Бурдьё, знаменитый коллега Ваканта, допускал, что солидарность с другими помогает рабочим противостоять символическому насилию настолько успешно, что искусство жить им совсем не чуждо, а жизненные испытания научили их мудрости.

Конец 1990-х годов отмечен окончательным исчезновением классовой солидарности. Исключенность из общества уже ничем не прикрыта и не украшена. Как и аристотелевские правители, современные городские власти успешно приучают городских обитателей к социальному порядку, оставляя без минимальной социальной защиты «неподдающихся».

Аристотель. Политика // Сочинения: В 4 т. М., 1984. Т. 4.

Арутюнян Ю.В. Введение // Русские: Этносоциол. очерки. М.: Наука, 1992.

Арутюнян Ю.В. О симптомах межэтнической интеграции в постсоветском обществе (по материалам этносоциологического исследования Москвы) // Социс. 2007. № 7 [Электрон. ресурс]. URL: <http://2008.isras.ru/files/File/Socis/2007—07/Arutyunyan.pdf>

Байкальская Сибирь: из чего складывается стабильность / Под ред. В.И. Дятлова и др. Москва; Иркутск: Наталис, 2005.

Бредникова О., Паченков О. Азербайджанские торговцы в Петербурге: Между «воображаемым сообществом» и «первичными группами» // Диаспоры. 2001. № 1. С. 132—147.

Будина О.Р., Шмелева М.Н. Город и народные традиции русских: По материалам Центрального района РСФСР. М.: Наука, 1989.

Вендина О. Могут ли в Москве возникнуть этнические кварталы? // Вестн. общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. № 3 (71). С. 52—64.

Вендина О. Мигранты в Москве: грозит ли российской столице этническая сегрегация? // Миграционная ситуация в регионах России. Вып. 3. М.: Центр миграцион. исслед. Ин-та географии РАН, 2005.

Воронков В. Рец. на кн.: «Национальный вопрос в городском сообществе...» // Неприкосновенный запас. 2004. № 6.

Гудков Л. Выступление на научном семинаре Евгения Ясина в Фонде «Либеральная миссия». 20.09.2006 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.liberal.ru/sitan_print.asp?Rel=168

Драгуцкий Д. Демографический туман и национальные перспективы // Космополис. 2003. № 3 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: demoscope.ru/weekly/2003/0137/analit06.php

Дятлов В. «Кавказцы» в российской провинции: криминальный эпизод как индикатор уровня межэтнической напряженности // Вестн. Евразии. 1995. № 1. С. 46—63. (В соавт.).

Дятлов В. Кавказцы в Иркутске: конфликтогенная диаспора // Нетерпимость в России: старые и новые фобии. М.: Моск. Центр Карнеги, 1999а. С. 113—135.

Дятлов В. Торговые меньшинства как источник этнополитической напряженности в российской провинции (на примере Иркутска) // В движении добровольном и вынужденном. Постсоветские миграции в Евразии. М.: Наталис, 1999б. С. 240—265.

Дятлов В. Диаспора: попытка определиться в понятиях // Диаспоры. 1999в. № 1. С. 8—23.

Дятлов В. Современные торговые меньшинства: фактор стабильности или конфликта? (Китайцы и кавказцы в Иркутске). М.: Наталис, 2000.

Дятлов В. Диаспора: экспансия термина в общественную практику современной России // Диаспоры. 2004. № 3. С. 126—138.

Дятлов В., Кузнецов Р. «Шанхай» в центре Иркутска. Экология китайского рынка // Эконом. социология. 2004. Т. 5. № 4. С. 56—71.

Карпенко О. «...И гости нашего города...» // Отечественные записки. 2002. № 6.

Лейбович ОЛ., Стегний ВН., Кабацков АН, Лысенко ОВ, Шушкова НВ. Национальный вопрос в городском сообществе. Социокультурные характеристики межнациональных отношений в большом уральском городе на исходе XX века. Пермь: Перм. гос. техн. ун-т, 2003.

Малахов В. Этничность в большом городе // Неприкосновенный запас. 2007. № 1.

Миграция китайцев и дискуссия о «желтой опасности» в дореволюционной России // Вестн. Евразии. 2000. № 1 (8). С. 63—89.

Русские: Этносоциол. очерки. М.: Наука, 1992.

Соколов М. Социологический солипсизм: анализ одной научной позиции // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Т. 8, № 1. С. 198—210.

Старовойтова Г. В. Этническая группа в современном советском городе. Л.: Наука, 1987.

Трубина Е. Рассказанное Я: Отпечатки голоса. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2002.

Чистов К. В. Послесловие // Старовойтова Г. Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев. СПб.: Лимбус Пресс, 1999. С. 196—203.

Этничность и экономика в постсоциалистическом пространстве: Сб. ст.: По материалам междунаро. семинара (Санкт-Петербург, 9—12 сентября 1999) / Под ред. О. Бредниковой и др. СПб.: Центр независимых социологических исследований, 2000.

Anderson E. Code of the Street. Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City. N.Y.: W.W. Norton a Company, 1999.

Booth Ch. Life and Labour of the People in London. 3d ed. (1902—1903): Reprint. N.Y.: Augustus V. Kelley, 1969. Vol. 17.

Brettell C. The City as Context: Approaches To Immigrants and Cities // Proceedings, Metropolis International Workshop, Lisbon, Sept. 28—29, 1999. Luso-American Development Foundation.

Dual City: Restructuring New York / Ed. J.H. Mollenkopf, M. Castells. N.Y.: Russell Sage Foundation, 1991.

Duneier M. Sidewalk. N.Y.: Farrar, Straus, and Giroux, 1999.

Fong T.P. The First Suburban Chinatown: The Remaking of Monterey Park, California. Philadelphia: Temple University Press, 1994.

Friedman J., Wolff G. World City Formation, an Agenda for Research and Action // International Journal of Urban and Regional Research. 1982. № 6. P. 309—344.

Gans H.J. The Levittowners: Ways of Life and Politics in a New Suburban Community. N.Y.: Columbia University Press, 1967.

Gans H.J. Urban Villagers: Group and Class in the Life of Italian-Americans. N.Y.: Free Press, 1982.

Gans H.J. Urban Vitality and the Fallacy of Physical Determinism (Review of Jane Jacobs' book) // People, Plans and Policies: Essays on Poverty, Racism, and Other National Urban Problems. N.Y.: Columbia University Press, 1994. P. 30—40.

Glazer N., Moynihan D.P. Beyond the Melting Pot. Cambridge: MIT Press, 1970.

Harvey D. Social Justice and City. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1973.

Harvey D., Chatterjee L. Absolute Rent and the Structuring of Space by Governmental and Financial Institutions // *Antipode*. 1974. Vol. 6, № 1. P. 22—36.

Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. N.Y.: Random House and Vintage Books, 1966.

Marcuse P. «Dual City»: a Muddy Metaphor for a Quartered City // *International Journal of Urban and Regional Research*. 1989. Vol. 13, № 4. P. 697—708.

Marcuse P. The Enclave, the Citadel, and the Ghetto: What Has Changed in the Post-Fordist U. S. City // *Urban Affairs Review*. 1997. Vol. 33, № 2. P. 228—264.

Marcuse P. Cities in Quarters // *A Companion to the City* / Ed. S. Watson, G. Bridge. Oxford: Blackwell Publishers. 2000. P. 270—281.

Mumford L. Mother Jacobs' Home Remedies for Urban Cancer // *The New Yorker*. 1962. Dec. 1.

Newman K.S. No Shame in My Game: The Working Poor in the Inner City. N.Y.: Knopf, 1999.

Of States and Cities: The Partitioning of Urban Space / Ed. P. Marcuse, R. van Kempen. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Peterson E. Cities are Abnormal // *Cities Are Abnormal* / Ed. E. Peterson. Norman: University of Oklahoma Press, 1946. P. 3—26.

Pulido L., Sidawi S., Vos B. An Archaeology of Environmental Racism in Los Angeles // *Urban Geography*. 1996. Vol. 17, № 5. P. 419—439.

Wacquant L. Scrutinizing the Street: Poverty, Morality, and the Pitfalls of Urban Ethnography // *American Journal of Sociology*. 2002. Vol. 107, № 6. P. 1468—1532.

Wacquant L. Urban Outcasts: Toward a Sociology of Advanced Marginality. Cambridge: Polity, 2006.

Waldinger R. Strangers at the Gates: New Immigrants in Urban America. Berkeley: University of California Press, 2001.

Wirth L. Urbanism as a Way of Life // *The City Reader* / Ed. R.T. LeGates, F. Stout. L.: Routledge, 1996. P. 97—106.

ГЛАВА 9

Город и повседневность

Не является ли само противопоставление видимого и невидимого, присутствующего и отсутствующего проявлением особой культурной логики? Эта логика сложилась и упрочилась в модерности, побуждая за поверхностью искать глубину, за сказанным — подразумеваемое, за привычным — необычное. Не эта ли логика надолго сделала повседневность — поверхностную, говорливую и привычную — либо фоном для социальных исследований, либо тем, чему они себя противопоставляли, культивируя дистанцию от ежедневных забот? В XX веке интерес к повседневности воплотил своеобразный этический импульс: ключевым для модерности должен был быть опыт повседневности, лежащий в основе культуры большинства, а не элиты. Для этого его надо было увидеть, сменив исследовательскую оптику, нацелив ее теперь на раскрытие скрытого значения практик и техник городской повседневности, ее пространств и предметов. И вот уже собственно в повседневности ищут диалектику видимого и невидимого, прошлого и настоящего, ординарного и сверхординарного. При этом осознается, что поиск невидимого, скрытого и глубокого смысла в потоке событий не единственная возможная цель. Городская жизнь сама по себе, как она протекает сегодня и завтра, тоже очень важна. Но какую стратегию «обрамления» того, что открывается твоему взору, выбрать, какой фокус избрать? Остановиться ли на отдель-

ном индивиде в его отличии от всех других или попытаться схватить само течение времени в повседневности? Можно ли ограничить пространство повседневности либо стоит говорить об особом месте, в котором ее только и можно наблюдать и проживать? Этим и другим вопросам посвящена сегодня обширная литература. В этой главе я попытаюсь проследить основные линии анализа повседневности, не упуская из виду тот факт, что все посвященные повседневности тексты описывают повседневность городскую.

Город как место и время повседневности

Как соотносятся теоретическое обсуждение повседневности «вообще» и городской повседневности?

Немецкий феноменолог Бернхард Вальденфельс, обсуждая типы понимания повседневности, о городе рассуждает в следующем контексте. Различные формы деятельности, включенные в разные сферы жизни, подчиняются несопоставимым правилам и существуют автономно. Повседневность же — это пространство для соединения разделенного и встречи всего и вся. В этом смысле она противостоит нарастающей фрагментации нашей жизни и несопоставимости логик, определяющих общение с близкими или чужими людьми. Повседневность представляет собой «место обмена и обмен мнениями». Город и есть такое место. Он проявляет суть таким образом понимаемой повседневности. Он, однако, может стать «плавильной печью» для обособленных ценностей и стилей жизни при двух условиях. Во-первых, если «ему удастся противостоять тотальной функционализации». Приходят на ум многочисленные в нашей стране города, в центре которых — «градообразующие предприятия». Города, возникавшие для выполнения единственной функции — беспроblemного воспроизводства промышленной рабочей силы для заводов, имеют небольшие шан-

сы стать «местом обмена». Во-вторых, если это большой город. Тогда город может быть «чем-то большим, нежели собранием памятников культуры, построек специального назначения и линий движения транспорта» [Вальденфельс, 1991: 48—49].

И действительно, это жизнь больших городов легла в основу всех известных нам теоретических подходов к повседневности «как таковой». Британский географ Найджел Трифт не без иронии замечает: «Трудно представить ситуационистов¹ в Стивенэйдже, де Серто в Катфорде или Лефевра в Льюисхэме» [Thrift, 2000: 399]. Льюисхэм, к примеру, депрессивный лондонский жилой массив, часто именуемый «городом крэка». Ничего не говорящие нам названия призваны продемонстрировать неизбежность, с какой предметом классических описаний городской повседневности становились не просто большие города, часто столицы, но центры этих городов — Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Вес уже написанного об этих особых пространствах таков, что, кажется, любой сиюминутный жест, а тем более взгляд исследователя из своего окна, расположенного в средоточии цивилизованного мира, приобретает в них особую значительность. Это города с аурой, словно приглашающие зарыться в «чудесных складках изношенного каменного пальто», как некогда написал Беньямин о Париже. Они — сладкая, не отпускающая от себя отравка. Они ошеломляют. Многое из того, что Беньямин пишет об ауре произведений искусства, приложимо и к ним: эффект ауры состоит, вероятно, в соединении качества нашего переживания и собственно культурной среды, которая это переживание делает возможным. Здесь индивид переживает особые игры пространства и

¹ Ситуационисты (Situationists International) — члены революционного, антибуржуазного, анархо-марксистского политического и художественного движения, оформившегося в Европе в 1960-е годы. Город воплощал для ситуационистов кульминацию капиталистического отчуждения и «колыбель революции», то есть место, в котором могут зародиться революционные движения, нацеленные на создание альтернативного капитализму общественного устройства.

времени, сам становясь местом встречи с миром, встречи мимолетного мгновения и вечности, мифа и рациональности, частного и публичного, экстерьера и интерьера.

Если место городской повседневности — это именно большие города, то как дело обстоит с ее временем? Велик соблазн вычленив в повседневности ее сиюминутные проявления и другое, «длинное» время и проследить одновременное протекание разных длительностей или темпоральностей повседневности. Тогда возникает проблема соединения в повседневности моментов новизны, которой бомбардирует нас город (новые здания, моды, нравы), и более «медленного», «геологического» ее измерения. В литературе о повседневности я бы выделила как минимум три варианта такого соединения.

Это, во-первых, соединение повседневности и, так сказать, повсеночности. Желание и страх — невидимая эмоциональная инфраструктура городов. Зигмунд Фрейд [см.: *Фрейд*, 1997], Вальтер Бенджамин [см.: *Benjamin*, 1999], автор замечательной книги «Незримые города» итальянский прозаик Итало Кальвино [см.: *Кальвино*, 1997], британский географ Стив Пайл [см.: *Pile*, 1996] описали парадоксальные соединения между городскими фантазмагориями и реальностями. Города — переплетение ассоциаций, соединение парадоксов и двусмысленностей, образов, представляющих желания и скрывающих страхи.

Во-вторых, это воспроизводство «структур повседневности». В трудах Фернана Броделя была всесторонне развита мысль о том, что пестрота новизны не должна заслонять от нас степень, в какой каждый из нас безотчетно воспроизводит целый ряд рутинных действий, уходящих во времена, когда отношения людей с местами их обитания только становились [см.: *Бродель*, 2007]. Бродель, как и Вальденфельс, считает, что повседневность (и прежде всего вещи, которые являются ее опорой, — еда, одежда, жилище) проявляет суть общества. Но вот незадача — эти мелочи обычно ускользают от внимания. Вот почему их нужно тщательно рассмотреть, так сказать прочесть, а затем очистить от этой корки мелочей спрятанную под



**Вездесущность повседневности обыграна
в оформлении Музея человека в Париже**

ней структуру. Но чтение повседневности — задача поистине безбрежная: начав с одного, переходишь к другому, а заканчиваешь «взвешиванием» мира, то есть пониманием того огромного места, которое занимает в нем материальная жизнь. Немного облегчает дело то, что у материальной жизни — медленные ритмы, которые поддаются описанию на языках демографии, пищи, одежды, жилища, технологии, денег, городов. Обычно эти истории пишутся отдельно друг от друга и остаются на периферии общепринятой истории. Таким образом, повседневность проявляется через потребляемые вещи и людей, вовлеченных в практики их использования, через незначительные повторяющиеся обыденные детали. Просеивая эту «пыль истории», ученый способен за видимым беспорядком усмотреть порядок, к обычной истории добавить историю повседневности и тем самым увековечить повседневность как основу материальной жизни, почти неподвижную в своей рутинности под бременем более динамичного течения экономической жизни, то есть рыночной экономики, и «реального капитализма». Незаметные, никому не известные жизни, страдающие от неравенства и несправедливости, составили (и продолжают составлять) фундамент капиталистической динамики.

Бродель настаивал на нашей бессознательной вовлеченности в повседневность, структуры которой — мотивы, импульсы, стереотипы, способы действия — многое за нас решают. Это «длинное» время описано наиболее подробно литераторами и историками в историях больших городов, позволяя нам сравнивать с ними ритмы труда и отдыха и меру свободы нравов в своем городе. Питер Акройд в «Биографии Лондона» [см.: *Акройд*, 2005] воссоздает эволюцию лондонских толп с XVI по XX век, сопровождающуюся нарастанием их безличности и безразличия: «...это исполинское месиво безымянных и неразличимых особей, это великое стечение неведомых душ воплощало как энергию города, так и его бессмысленность» [*Там же*, 455]. Он тщательно реконструирует жизнь лондонских детей

и пьяниц, женщин разных сословий и городских оригиналов, давая читателю возможность насладиться фактурой вроде бы исчезнувшей жизни. Однако же концентрация на нынешних лондонских улицах мужчин с сизоватыми носами и количество «фриков» убеждают, что, по меньшей мере, «длинное» время эксцентричности и излишеств каким-то образом в лондонской современности воспроизводится.

В-третьих, это «геология» собственно вещного мира повседневности. Опять-таки, при всей стремительности заполнения нашей жизни все новыми предметами (некоторые из них способны создавать новые практики или видоизменять традиционные практики повседневности) [см.: *Гладарев*, 2006], целый спектр необходимых для жизни вещей укореняет нас в истории. Как подчеркивает Ирвинг Гофман: «Мы не можем сказать, что миры создаются здесь и сейчас, потому что независимо от того, говорим ли мы об игре в карты или о взаимодействии в ходе хирургической операции, речь идет об использовании некоторого традиционного реквизита, обладающего собственной историей в большом обществе» [*Goffman*, 1967: 27—28]. Пьем ли мы кофе [см.: *Алябьева*, 2006], обретаем ли особый опыт жизни в коммунальной квартире [см.: *Утехин*, 2004], отмечаем ли праздники [см.: *Дубин*, 2004], вещный мир сообщает социальной жизни устойчивость.

Но все же как можно помыслить город как место (и время) повседневности? Одна линия исследования городской повседневности связана с поиском сути социальности и того, как она, собственно, дана человеческому восприятию. Если мы хотим мыслить повседневность в ее связи с нашим отношением к социальному миру, то мы должны проблематизировать наше внимание к повседневности, увидеть, так сказать, его место и характер.

Эксперты по повседневности единодушно замечают, что наше внимание фрагментарно и мимолетно. Во-первых, в городе слишком многое происходит одновременно, и мы спасаемся от эмоциональных перегрузок поверхностностью внима-

ния. Во-вторых, повседневность складывается из того, что мы и не настроены замечать. Невидимая инфраструктура городской жизни, делающая эту жизнь достаточно упорядоченной и предсказуемой, принимается нами как должное. В-третьих, наше внимание связано с переживанием городской жизни: с обменом мимолетными взглядами, подслушанными разговорами, визуальным пиром летнего города, с легкостью и изобретательностью одеяний его обитателей или депрессивностью затянувшейся зимы. Оно также связано с опытом городской жизни и обусловленными им предрасположенностями. И действительно, совершая рутинные действия и передвижения, что мы замечаем? На что на минуту отвлекаемся? Привлекут ли наше внимание выплески спонтанности — скажем, громко кричащие подростки? Остолбеем ли мы от смелого наряда прохожей? Хмыкаем ли мы заинтригованно, увидев пожилого незнакомца с молодой спутницей? Вглядимся ли тайком в детали жизни обитателей благополучного квартала? Настроены ли мы блюсти приличия или скорее, удовлетворяя любопытство, «шпионить» за жизнью других? Обличители мы недостатков или замотанные рабочие лошади? В повседневности для всех есть место, но сама эта область жизни содержит противоположные потоки интересов. Во-первых, в ней, если это публичная повседневность, ты не один, а потому должен считаться с приличиями. Во-вторых, ты не можешь оставить дома самое главное свое содержание — опыт и желания, а потому они, так или иначе, прорываются и делаются явными для других. Отсюда осмысление повседневности как области конфликта. Одна сторона конфликта — те силы, что принуждают, подсматривают, журят, напоминают, регулируют, штрафуют. Другая — все мы, дорожащие свободой и самовыражением. Эту линию осмысления повседневности создали Зигмунд Фрейд, Анри Лефевр, Ирвинг Гофман, Мишель де Серто.

Именно в повседневности проявляются следы нашего подчинения и нашего сопротивления социальному порядку. Но, может быть, повседневность сама и является сферой домини-

рования каких-то социальных сил? Именно так ее рассматривают феминисты и другие исследователи, для которых важнее всего политическая задача критики повседневности как сферы угнетения. В этой работе соединяют усилия философы и исследователи, работающие в области *cultural studies*. Итальянский философ Джорджо Агамбен, исследовавший те пространства, в которых воплощается в европейской истории чрезвычайное положение, не выполняются права человека, а его жизнь сведена к животной, пишет: «Сегодня нам следует ожидать не только появления новых лагерей, но и всегда новых психиатрических регулирующих определений и категорий жизни в городе. Лагерь, который сегодня надежно утнезвился внутри города, — это новый биополитический *номос* планеты» [см.: *Agamben*, 1998: 176]. Он призывает не только урбанистов, но и социальных теоретиков, социологов, архитекторов пересмотреть в этом свете модели понимания и организации общественных мест мировых городов [см.: *Ibid.*: 181].

Итальянский мыслитель в своей работе «*Homo Sacer*» проводит интересные параллели между некоторыми установлениями античного римского права и современной демократической политикой. Фигура, вынесенная в название работы, относилась к представителям некоторых социальных групп, которых общество не могло интегрировать, а потому они были вытеснены из правового пространства, они просто жили, являясь, как выражается Агамбен, носителями *нагой жизни*. При этом о них нельзя сказать, что они были *вне закона*: они оставались ни вне, ни «внутри» закона. Почему Агамбен считает эти тонкости римского права значимыми сегодня? Демократическая политика, утверждает он, содержит в себе обещание соединить биологическую и политическую жизнь индивидов. Но это обещание она не выполняет: и сегодня есть группы людей, которые биологически существуют, но их жизнь не имеет экономического или политического значения. К таким группам относятся прежде всего беженцы. Начиная с 1915 года одни европейские государства начали их вытеснять, а другие — ви-

деть в них угрозу собственной целостности. Легитимировать создание этих групп позволяла риторика «чрезвычайного положения», «исключительной ситуации», «особой опасности». Пространством чрезвычайного положения стал лагерь — для перемещенных лиц, концентрационный, для беженцев. Агамбен называет лагерь «матрицей современной политической жизни», подчеркивая, что часто он расположен гораздо ближе к пространствам повседневности, чем этого бы хотелось их обитателям.

Объявленная правительствами многих городов война против наркотиков, преступности, терроризма и бедности выражается не только в повышенных мерах безопасности в аэропортах, на стадионах и в концертных залах, но и в кампаниях «нулевой толерантности», сопровождающихся жестким обращением с проблемными группами населения — «цветной» молодежью, безработными, уличными торговцами и так далее. Нарушение «дресс-кода» может стать поводом к надеванию наручников, а «неформальное» поведение — предметом пристального внимания милиции.

Спокойствие, необходимое для повседневной жизни городского обитателя, сочетается со страхом: что, если именно тот магазин, куда ты ходишь за покупками, та ветка метро, которой ты пользуешься, тот аквапарк, куда в кои-то веки выбрался, станут роковыми для тебя — из-за чьей-то небрежности или злой воли? Амбивалентность повседневности — это характеристика, которую выдвигают на первый план исследователи города. Настроенность городского обитателя на возможность неожиданной встречи и разъедающая его тревога о будущем и безопасности близких, повседневность как объект неустанного регулирования и пространство для выплесков жизненной энергии, сочетание в ней инерции и традиции с одной стороны, и неустанных изменений — с другой, — только некоторые проявления этой амбивалентности. Рассмотрим, каким образом развивалась теоретическая традиция понимания городской повседневности как сочетающей статус-кво и его оспаривание.

Улицы как места обитания коллектива: Вальтер Беньямин

В той индустрии, что сложилась в философии и *cultural studies* вокруг имени и идей Вальтера Беньямина, доминирует специфический субъект современного города — фланер [см.: Беньямин, 2000]. Беньямин обнаружил фигуру фланера в текстах Бодлера. У последнего это горожанин, любопытство и героическое отстаивание собственной самобытности которого делали его эмблемой современности. Фланерство предполагало такую форму созерцания городской жизни, в которой отстраненность и погруженность в ритмы города были нераздельны, вот почему Бодлер говорит о «страстном зрителе». Беньямин в первой версии своего эссе о Бодлере и городской современности пишет, что фланер — это старик, лишний, отставший от жизни городской обитатель, жизнь города слишком стремительна для него, он сам скоро исчезнет вместе с теми местами, что ему дороги: базары сменятся более организованными формами торговли, и старик сам не подозревает, что подобен в своей неподвижности товару, обтекаемому потоком покупателей. Позднее Беньямин приходит к более знакомому нам описанию «гуляки праздного», который не спешит по делам, в отличие от тех, с кем его сталкивает улица. Фланера описывали и как привилегированного буржуа, царившего в публичных местах, и как потерянного индивида, раздавленного грузом городского опыта, и как прототипа детектива, знающего город как свои пять пальцев, и просто как покупателя, с радостью осваивавшего демократичную массовую культуру XIX века. Но чаще всего фланер наделяется особой эстетической чувствительностью, для него город — источник нескончаемого визуального удовольствия. Аркады торговых рядов соединяют для него ночь и день, улицу и дом, публичное и приватное, уютное и волнующе-небезопасное. Фланер — воплощение нового типа субъекта, балансирующего между героическим утверждением собственной независимости и соблазном раствориться в толпе.

Причина беспрецедентной популярности этой фигуры — в скандальности ее ничегонеделанья, бесцельных прогулок, остановок около витрин, *глазения*, неожиданных столкновений. Другие-то в это время демонстрируют свою продуктивность, добросовестно трудясь либо проводя время с семьей. «Левых» исследователей образ фланера привлекал потенциалом сопротивления преобладающим моделям поведения, героизмом противостояния бюргерству и негативным диагнозом капитализма. Этот образ вызвал также прилив интереса исследователей к публичным пространствам, в частности центральным улицам, гуляя по которым люди становились объектами взглядов друг друга.

Между тем в «Пассажах» Беньямин подробно описывает другого городского субъекта — «коллектив», который постоянно и неустанно «живет, переживает, распознает и изобретает» [Benjamin, 1999: 423]. Если буржуа живет в четырех стенах собственного дома, то стены, меж которыми обитает коллектив, образованы зданиями улиц. Коллективное обитание — активная практика, в ходе которой мир «интериоризируется», присваивается в ходе бесконечных интерпретаций так, что на окружающей среде запечатлеваются следы случайных изобретений, иногда меняющих ее социальную функцию. Беньямин остроумно играет аналогиями между жилищем буржуа и обиталищем коллектива, выискивая на улицах Парижа и Берлина своеобразные эквиваленты буржуазного интерьера. Вместо картины маслом в рисовальной комнате — блестящая эмалированная магазинная вывеска. Вместо письменного стола — стены фасадов с предупреждениями «Объявления не вывешивать». Вместо библиотеки — газетные витрины. Вместо бронзовых бюстов — почтовые ящики. Вместо спальни — скамьи в парках. Вместо балкона — терраса кафе. Вместо вестибюля — участок трамвайных путей. Вместо коридора — проходной двор. Вместо рисовальной комнаты — торговые пассажи. Дело, как мне кажется, не в попытке мыслителя подобными анало-

гиями сообщить достоинство жизни тех, у кого никогда не будет «настоящих» рисовальной и библиотеки. Его скорее восхищает способность парижан делать улицу интерьером в смысле ее обживания и приспособления для своих нужд. Он цитирует впечатление одного наблюдателя середины XIX века о том, что даже на вывороченных для ремонта из мостовой бульжниках немедленно пристраиваются уличные торговцы, предлагая ножи и записные книжки, вышитые воротнички и старый хлам.

Беньямин, однако, подчеркивает, что эта среда обитания коллектива принадлежит не только ему. Она может стать объектом радикального переустройства, как это произошло в Париже во время реформ барона Османа. Проведенная Османом радикальная перестройка Парижа отражала увеличение стоимости земли в центральных районах города. Извлечению максимума прибыли мешало то, что здесь издавна жили рабочие (об этом также шла речь в главе «Город как место экономической деятельности»). Их обиталища сносились, а на их месте возводились магазины и общественные здания. Вместо улиц с плохой репутацией возникали добропорядочные кварталы и бульвары. Но опять-таки «османизация», которой посвящено немало страниц «Пассажей», описывается Беньямином вместе с теми возможностями, которые преобразованная материальная среда города открывает для присвоения ее беднотой. Широкие проспекты не просто навсегда овеществленные притяжения буржуазии на господство: они открыты для формирования и кристаллизации культурного творчества пролетарских коллективов. Прежде беднота могла найти для себя убежище в узких улицах и неосвещенных переулках. Осман положил этому конец, провозгласив, что наступило время культуры открытых пространств, широких проспектов, электрического света, запрета на проституцию. Но Беньямин убежден, что уж если улицы стали местом коллективного обитания, то их расширение и благоустройство не помеха для тех, кому они издавна

были домом родным. Рационалистическое планирование, конечно, мощная, неумолимая сила, претендующая на такую организацию городской среды, которая и прибыль бы гарантировала, и гражданскому миру способствовала. Власти извлекли урок из уличной борьбы рабочих: на мостовых были устроены деревянные настилы, улицы расширены, в том числе и потому, что возвести баррикаду на широких улицах гораздо сложнее, к тому же по новым проспектам жандармы могли вмиг доскакать до рабочих кварталов. Барон Осман победил: Париж подчинился его преобразованиям. Но баррикады выросли и в новом Париже.

Одну часть работы Беньямин посвящает смыслу возведения баррикад на новых, благоустроенных улицах: пусть ненадолго, но они воплотили потенциал коллективного изменения городского пространства. В XX веке, когда память о революционных потрясениях, что легла в основу новых праздников, стерлась, только проникательный наблюдатель может почувствовать связь между массовым праздником и массовым восстанием: «Для глубокого бессознательного существования массы радостные праздники и фейерверки — это всего лишь игра, в которой они готовятся к моменту совершеннолетия, к тому часу, когда паника и страх после долгих лет разлуки признают друг друга как братья и обнимутся в революционном восстании» [Беньямин, 2000: 276].

Тем временем власти и коммерсанты разработали другие стратегии взаимодействия с городскими «коллективами». Разнообразные блага цивилизации становились все более доступными в складывающемся обществе потребления: активно, в качестве именно «народных праздников» проводились всемирные промышленные выставки, во время которых «рабочий человек как клиент находится на переднем плане» [Там же: 158]. Так складывались основы индустрии развлечений. Вторым значимым средством эмансипации городских обитателей стал кинематограф, как нельзя лучше отвечавший тем сдвигам в механизмах восприятия горожан, которые пришлось на ру-



**Проблематизация границы между интерьером
и экстерьером по-питерски**

беж XIX и XX столетий. О массовом предназначении нового искусства свидетельствует не только тот факт, что первые кинотеатры возникли в рабочих кварталах и иммигрантских гетто, но и то, что в 1910—1930-х годы их строительство активно шло параллельно в центре городов и в пригородах.

В «Произведении искусства в век механической воспроизводимости» читаем: «Наши пивные и городские улицы, наши конторы и меблированные комнаты, наши вокзалы и фабрики, казалось, безнадежно замкнули нас в своем пространстве. Но тут пришло кино и взорвало этот каземат динамитом десятых долей секунд, и вот мы спокойно отправляемся в увлекательное путешествие по грудам его обломков» [Беньямин, 2000: 145]. Выставки и кинотеатры, а еще универмаги — места фантазмагии, места, куда люди приходят, чтобы отвлечься и развлечься. Фантазмагия — эффект волшебного фонаря, создающего оптическую иллюзию. Фантазмагия возникает, когда умелые мерчендайзеры раскладывают вещи так, что люди погружаются в коллективную иллюзию, в мечты о доступном богатстве и изобилии. В опыте потребления, главным образом воображаемого, они обретают равенство, забывая себя, становясь частью массы и объектом пропаганды. «Храмы товарного фетишизма» обещают прогресс без революции: ходи меж витрин и мечтай, что все это станет твоим. Кинотеатры помогут избавиться от чувства одиночества.

Эстетическое и повседневное

В городах повседневная жизнь подверглась *коммодификации* (или *товаризации* — встречается и такой вариант перевода слова *commodification*). Начало эстетизации как мира товаров, так и мира повседневности было положено, согласно Беньямину, в XIX веке, с созданием первых универсальных магазинов, в которых отрабатывались стратегии привлекательной раскладки новинок, с нарастанием ценности балконов, с которых можно было обозревать толпу в безопасном отдале-

нии от запахов и столкновений. Производство вещей и социальное воспроизводство, массовое потребление и политическая мобилизация в представлении Беньямина — все это соединяется в городском пространстве. Знаменитый фланер интересен мыслителю и его замороженностью изящными мелочами, умело расположенными в витрине и на прилавке. Мечты фланера — и о деньгах, на которые все это можно купить. Описывая в эссе «Париж, столица девятнадцатого столетия» места, в которых индустрия предметов роскоши нашла возможность показать свои достижения — пассажи и торговые выставки, — Беньямин демонстрирует истоки большинства используемых сегодня способов рекламы товаров и соблазнения покупателей. Так, говоря о том, что при отделке пассажей «искусство поступает на службу к продавцу», Беньямин предвосхищает размах, с каким большинство сложившихся в рамках искусства стратегий организации зрительного восприятия транслируется и используется визуальной культурой с коммерческими целями. Частью этого процесса становится то, что «фотография, в свою очередь, резко расширяет, начиная с середины века, сферу своего товарного применения» [Беньямин, 2000: 157]. Этим достигается «утонченность в изображении мертвых объектов», что кладется в основу рекламы, и придается необходимый ореол «“specialite” — эксклюзивной товарной марке, появляющейся в это время в индустрии предметов роскоши» [Там же: 159]. «Эксклюзивность», «элитарность», «стильность» — слова, которыми с середины позапрошлого века и до сих пор пестрят билборды и рекламные проспекты. «Эксклюзивность» девальвировалась от неумеренного употребления, и вот уже в рекламе возводимого жилого дома мы читаем «исключительный». Слова все же второстепенны по отношению к качественному изображению, способствующему, как выразился Беньямин, «интронизации товара»: сегодняшняя журнальная индустрия является плотью от плоти культуриндустрии, опора которой на клише и повторения уже знакомых потребителям сюжетов и ходов была описана другими представителями критической теории — Адорно и Хоркхаймером. Еще в 1940-е го-

ды ими была отчеканена формула, хорошо, как мне кажется, описывающая суть и постсоциалистического культурного потребления: «Градация жизненных стандартов находится в отношении точного соответствия со степенью связанности тех или иных слоев и индивидов с системой» [Адорно, Хоркхаймер, 1997: 188].

Эстетизация охватывает такие тенденции, как театрализация политики, повсеместная стилизация и «брендинг», а самое главное — рост значимости видимости субъектов и тенденций в публичном пространстве и нарастание общей зависимости от тех, кто определяет, кто, что и на каких условиях может быть показано. Согласимся, сегодня именно эстетическое измерение происходящего выходит на передний план, как если бы эстетические ценности настолько поднялись в общей иерархии ценностей, что их преследование искупает многочисленные жертвы. Проблема не в том, какой стиль и где продвигается, но скорее в том, что стиль используется — открыто и скрыто — даже в тех областях, где прежде царила голая функциональность. Эстетизация облика людей, объектов повседневности, городского пространства и политики в качестве доминирующей тенденции фигурирует в наши дни в самого разного рода текстах в качестве само собой разумеющегося аргумента. Эстетика — в виде дизайна — проникает сегодня повсюду, не будучи уже достоянием только общественной, финансовой или культурной элиты: «В некотором смысле эстетическим, убийственно эстетическим, оказывается все» [Бодрийяр, 2006: 106]. Продвижение приятных для наших чувств (и прежде всего зрения) субъектов, предметов и интерьеров становится поистине повсеместным. Способы, какими красота и чувственность, совершенство и роскошь сегодня востребованы, весьма разнообразны, а пути, какими люди побуждаются платить за них, достаточно изощренны. Однако в их основе, по мнению критиков эстетизации, — универсальный механизм «низведения <...> до степени всего только объектов администрирования, которым заранее формируется любой из под-

разделов современной жизни вплоть до языка и восприятия» [Адорно, Хоркхаймер, 1997: 56]. Не этим ли механизмом сегодня равно определяются и манипулирование электоратом, и «мерчандайзинг», когда единственный путь к нужному товару в магазине предполагает знакомство со всем ассортиментом, а запах кофе или корицы с яблоками в магазине побуждает к импульсивным покупкам? Задача создания эстетической атмосферы стоит перед стилистами и дизайнерами, политтехнологами и косметологами, осветителями и экспертами, бухгалтерами и рекламщиками, PR-специалистами и оформителями — всеми теми, кто включен в значимый для позднего капитализма процесс делания из вещей чего-то большего, нежели просто полезные и осязаемые предметы. Эстетизация наращивает как прибавочную стоимость товаров (без подобающей наружности сегодня не будет продан ни один продукт, а эпитет «дизайнерский» часто означает лишь «более дорогой»), так и их потребительную стоимость: пользование и любование вещами сегодня нерасторжимы. «Стильность» и понимание того, как ее найти, подчеркнуть, продать, продвинуть, навязать, составляют одно из определений того различия, которое «новые культурные посредники», как их называл П. Бурдьё, настойчиво проводят между собой и своими клиентами. Порождать желание и стимулировать новые и новые круги потребления — вот их задача. В итоге практики повседневности, включая и «контркультурные», профессионализируются и коммодифицируются.

Повседневность как пространство спонтанности и сопротивления: Анри Лефевр и Мишель де Серто

Французский неомарксистский философ Анри Лефевр говорит о «бюрократии контролируемого потребления», об объединении сил рынка и правительственной власти. Он исследует потенциал повседневной спонтанности: способна ли

она противостоять как структурам угнетения, так и рутине обыденности? Повседневность, когда она свободна от рутины и близка по смыслу содержательному досугу, «предполагает самобытный поиск — и неважно, умелый или неуклюжий — стиля жизни, а возможно, и искусства жизни, своего рода счастья» [Lefebvre, 1992: 58].

Лефевр считал повседневность главным углом зрения, под каким следует рассматривать город. Он полемизировал с той традицией осмысления повседневности, которая сложилась в европейской философии во второй половине XIX — начале XX века. Она задана трудами С. Кьеркегора, Ф. Ницше, Г. Зиммеля, М. Шелера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра. В ее основе — дихотомия подлинности индивидуального самопревзойдения и неподлинности повседневного существования с оглядкой на других [см.: Трубина, 2004а; 2004б]. Находясь под влиянием Хайдеггера, Лефевр все же возражает против тезиса о неподлинности повседневности. Повседневность — это «реальная жизнь», происходящая «здесь и сейчас», это место встречи человека и истории. У философии есть долг: начав с анализа повседневности, обрести интеллектуальные орудия понимания современности и ее изменения. «Конкретность» повседневности и ее творческая энергия должны лечь в основу соединения интеллектуальных и материальных аспектов жизни.

Время повседневности — одновременно кумулятивно и некумулятивно, непрерывно и прерывно. Кумулятивность в нем связана с пронизанностью повседневности языком, который историзирует опыт и включает людей в процессы труда и потребления, что оборачивается реификацией и отчуждением [см.: Lefebvre, 1990: 324]. «Длинное» время повседневности проявляется в архаических временных циклах, связанных с ритуалами, ритмами жизни тела, традиционными символами. Связь в нем прерывности и непрерывности в том, что, с одной стороны, оно образовано следующими друг за другом событиями, с другой стороны, в нем всегда возможны кризис, разрыв, обновление. Это значит, что от своих носителей — людей — по-

вседневность требует не только способности к постоянной адаптации, но и способности к соприкосновению с различными историческими длительностями и пространственными образованиями. Эти последние помогают различить в повседневности противоречия, сформировать адекватное социальное сознание, а тем самым увеличить шансы на индивидуальное и коллективное освобождение. Отчуждение, которым чревата повседневность, может быть преодолено с помощью тех ресурсов, которые она в себе содержит. У понятия повседневности тем самым выдвигается на первый план политическое измерение: призывы к изменению жизни, утверждает Лефевр, ничто без создания подходящих пространств. Урок советского конструктивизма, считает он, в демонстрации взаимосвязи между новыми социальными отношениями и новым типом пространства [см.: *Lefebvre*, 1991: 59]. Пространства повседневности как раз такие пространства: они годятся для изменения, идет ли речь о рутинных практиках или материальных компонентах. Как и все городское пространство, они соединяют «близкий порядок» и «отдаленный порядок», то есть, с одной стороны, практики индивидов и групп, а с другой — институциональные практики [см.: *Lefebvre*, 1990].

Как Лефевр объясняет необходимость изменения повседневности? С его точки зрения, капитализм создает, «производит» для себя особое, «абстрактное» пространство за счет наложения ограничений на ритмы повседневности. В итоге образуются три типа пространства: 1) пространственные практики (они создают повседневность); 2) репрезентации пространства (упорядочивающие пространство виды знания, репрезентаций и дискурсов); 3) пространства репрезентации (создаваемые материально и телесно).

О первом типе он рассуждает так. Если ты знаешь, что такое «торговый центр», «на углу», «рынок», то ты владеешь соответствующей пространственной практикой — ориентации среди городских улиц или шопинга. Второй тип — карты, чертежи, модели, расчеты, используемые экспертами-профессиона-

лами, создающими и преобразующими пространство. Третий тип включает эмоционально нагруженные образы, символы и смыслы, мифы и легенды (все это можно было бы назвать культурными пространствами, но Лефевр считает, что использование этого слова не только ничего не проясняет, но и запутывает дело). Святые и проклятые, мужские и женские, прозаические и фантазмагорические места — их объединяет укорененность в истории — и общей и индивидуальной.

Большинство профессионалов, с грустью констатирует Лефевр, заняты репрезентациями пространства. Лишь некоторые — на стороне пространства репрезентации. Так, он противопоставляет Ле Корбюзье, технократическая суть архитектуры которого у него не вызывала сомнений, и Фрэнка Ллойда Райха, создавшего «коммунитарное пространство репрезентации, восходящее к библейской и протестантской традиции» [Lefebvre, 1991: 43]. Для последовательного марксиста творчество Райха отнюдь не бесспорно, в том хотя бы смысле, что дома стиля «прерия», конечно, составили эпоху в архитектуре, но предназначались-то для элиты. А вот были ли когда-то созданы пространства репрезентации, предназначенные для коллективного проживания? Вряд ли. Лефевр прослеживает два параллельных процесса: нарастание абстрактности представлений о пространстве и подверстывание человеческих телесности и чувственности под идеологические и теоретические нужды. Города в итоге «обестелесниваются», а тела опустошаются: технократам-планировщикам интересны только их полезные функции и предсказуемые движения.

Планы архитекторов, замыслы планировщиков, амбиции властей (репрезентации пространства) и воспринимаемый мир пространственных практик, как правило, находятся в конфликте. Репрезентации побеждают гораздо чаще, так что можно говорить о своеобразной «колонизации» повседневности теми, кто сначала на бумаге воплощает свои, специфические о ней представления, а затем принимается за переустройство жизни. Репрезентации пространства представляют собой

«смесь понимания и идеологии — всегда относительную и находящуюся в процессе изменения» [Lefebvre, 1991: 41]. Вопреки своей абстрактности, они вовлечены в социальную и политическую практику: «...отношения, установившиеся между объектами и людьми в репрезентируемом пространстве, подчинены логике, которая рано или поздно их ломает в силу недостатка у них последовательности» [*Ibid.*]. Сами же эти репрезентации, насыщенные плодами человеческого воображения и символизации, свободны от выполнения требований связности и последовательности. Лефевр упрекает этнологов, антропологов, психоаналитиков в том, что те слишком заиклены на «своих» репрезентациях, описывая, к примеру, сны и детские воспоминания, лабиринты и проходы как образы и символы материнской утробы, игнорируя те варианты репрезентаций, порождаемые социальной практикой, что с ними сосуществуют или им противоречат: «Поскольку повседневная жизнь остается в рабстве у абстрактного пространства (с его очень конкретными ограничениями); поскольку единственные совершаемые улучшения — техническое усовершенствование деталей (например, частота и скорость транспортировки или частично улучшенные удобства); короче говоря, поскольку единственная связь между рабочими пространствами, пространствами свободного времени и жилыми пространствами задается инстанциями политической власти и их механизмами контроля, постольку проект “изменения жизни” должен оставаться не более чем политическим призывом, выдвигаемым или оставляемым в соответствии с нуждами момента» [*Ibid.*: 59—60].

Но творческие проявления телесности («жизнь без теорий», как выражается Лефевр) могут сломать этот грустный расклад, так что тела погруженных в повседневность людей не только опосредуют взаимодействие практик и репрезентаций, но и могут его изменить. Главный вектор этих позитивных изменений — расширение спектра желаний, которые в городах можно удовлетворить так, чтобы их населяли не только работники, но и не чуждые разнообразных страстей субъекты. По-

вседневная жизнь обладает праздничным потенциалом, его только нужно высвободить.

Рассуждения Лефевра трогают своим идеализмом и огорчают допущением, что разрыв между повседневностью и властными структурами — это в конечном счете классовый разрыв. Его возмущает молчание «пользователей» городского пространства, смирившихся с тем, что оно преобразуется в соответствии с планами и представлениями властвующих: «Почему они позволяют манипулировать собой так, что это наносит ущерб их пространствам и их повседневной жизни, не отвечая на это массовым восстанием?.. Скорее всего, такое странное равнодушие достигается посредством отвлечения внимания и интересов пользователей, бросания подачек в ответ на их требования и предложения или поставки суррогатов для удовлетворения их жизненных потребностей» [Lefebvre, 1991: 51—52].

Мишель де Серто не уверен, что горожане могут проявить свою креативность лишь в массовом восстании. Его объединяет с Бенямином (и ситуационистами) допущение, что городские обитатели могут ежедневно оспаривать рациональность капиталистического города и даже сопротивляться ей. Ему интереснее те повседневные изобретения и приспособления, которыми люди отвечают на подавление здесь и сегодня. Пространства повседневности таковы, что в них проявляется культурная логика, считает де Серто. Иногда, правда, «неясные переплетения повседневного поведения» препятствуют ее раскрытию. Для этого приходится занять по отношению к ним дистанцию — подняться, к примеру, на смотровую площадку знаменитого нью-йоркского небоскреба. До неба так близко, что небоскребы кажутся гигантскими буквами, на нем начертанными, а город раскрывается всевидящему взору как огромный текст. Где-то далеко внизу желтеют бесконечные такси, и можно только догадываться о том огромном множестве тел, что пишут городской текст, не читая его. «Обычные практики» города, как называет пешеходов де Серто (в том смысле, в каком мы говорим «врач-практик»), обитают в пространствах,

которых не осознают, обладают их «слепым знанием» и вместе — своими телами — создают пространственные сети, или поэмы. Процессы, организующие обитаемый город, совершаются вслепую, никто их не создает и никто их не наблюдает. Как далеки они от «геометрических» или «географических» пространств, создаваемых, например, теоретическими конструкциями, и от единообразной упорядоченности пересечений улиц, которая открывается взгляду с высоты. «Постоянно взрывающаяся вселенная» [Certeau, 1984: 91] — вот как де Серто называет то, что происходит внизу, у подножия небоскребов. Разнообразие практик реальных людей и пестрота историй, которые эти практики образуют, взрывает единообразие и ясность панорамного традиционного представления о городе.

Де Серто противопоставляет этой абстрактной, спланированной, читаемой пространственности «другую», включающую антропологическое и поэтическое освоение города. Безымянный прохожий — господин повседневности, он ее проживает и создает ему присущими формами обитания в городе, не пытаясь их интерпретировать или переводить на научный язык. Нечитаемость и невидимость — вот что создает повседневность. Так что ошибаются те, кто считает, что повседневность можно представить, составляя, к примеру, перечни вещей. Пространственные практики обитателей города оплели его весь невидимой сетью. Какие-то из них можно снять на камеру, описать, заморозить во времени, но самонадеянно считать, что их можно прочесть и осмыслить. Это все равно что считать карту тождественной территории. Затрудняет их прочтение и то, что они не рутинное повторение раз и навсегда отработанных приемов, но постоянное приспособление к тому, что навязано, обходные маневры и уловки тех, кто «тоже тут живет» и кто, как может, сопротивляется попыткам регулирования. Де Серто называет такие практики *тактиками* — «искусством слабых». Пространство, где применяются тактики, — «чужое», подчиняющееся правилам чуждой людям власти. Так что тактики — это

маневры «в поле зрения врага», это использование углов, скрытых от наблюдения [см.: *Certeau*, 1984: 37]. Серто считал, что эти сферы автономного действия, объединенные в «сети антидисциплины», противостоят монотонности несвободной повседневности. Тактики используются «непризнанными создателями, поэтами своих собственных дел», прокладывая свои проходы в «джунглях функционалистской рациональности» [*ibid.*: 34]. Тактики — неформальное использование городских пространств, их присвоение через занятия, не предусмотренные создателями. Сегодня не столько тактики пешеходов, сколько тактики водителей могут служить тому иллюстрацией. Шоссе и дороги предусмотрены для «стратегического» перемещения из одного пункта в другой. Каким, однако, тактическим разнообразием отмечено поведение людей на дорогах: они флиртуют, выпендриваются, играют с детьми, говорят по телефону (опять-таки тактики такого говорения могут быть различными), слушают музыку, смотрят фильмы и так далее. Создатели пространств используют «стратегии». Их пользователи — «тактики». Но де Серто допускает и менее дихотомичное толкование: и то и другое сочетается в деятельности людей: первое — систематическая целенаправленная деятельность, связанная с достижением долговременных целей, второе — непосредственные действия, связанные с конкретными и кратковременными задачами.

Де Серто использует термин *пространственные истории*, чтобы подчеркнуть взаимозависимость текстовых повествований и пространственных практик. По мере того как люди прокладывают себе путь от одной точки города к другой, они создают личные маршруты, насыщенные смыслом. Познакомить других с этим смыслом можно посредством письма. Личные маршруты («пространственные практики») «тайно структурируют определяющие условия социальной жизни» [*ibid.*: 96]. Создатели текстов о городах, выбирая метафоры, создавая противопоставления, выделяя одно и опуская другое,

создают истории, которые впоследствии становятся легендами или суевериями, что добавляет описываемым в них пространствам глубину и значимость [см.: *Certeau*, 1984: 106—107]. Передвигаясь в рамках физического и социального пространств, каждый из нас несет с собой воспоминания, предчувствия, прихотливые ассоциации. Рано или поздно та часть города, в которой мы обитаем ежедневно (у большинства это маршрут «работа — дом»), становится аналогом нашего личного биографа: в ней материально зафиксированы значимые для нас места. Аналогия с такими текстами, как альбом фотографий (или папка с фотографиями в компьютере) или дневник (или опять же блог), здесь очень сильная. Есть места (страницы, снимки), которых мы избегаем. Есть места, которые мы помним другими. Как раз об этом, о том, что наша память и городские места перформативно соединяются каждый раз, когда мы в них оказываемся, де Серто пишет следующим образом: «Память — это лишь странствующий Прекрасный Принц, кому случилось пробудить Спящую Красавицу — истории без слов. “Здесь *была* булочная”. “А вот здесь *жила* старая миссис Дюпюи”. Нас удивляет факт, что места, в которых жили, наполнены присутствием отсутствий. То, что мы видим, означает то, чего уж нет: “*Посмотри*: здесь было...”, но больше этого не увидеть... Каждое место преследуют бесчисленные призраки, затаившиеся в молчании, чтобы быть или не быть “вызванными”. Человек *населяет* только призрачные места — в противоположность тому, что подчеркнуто в *Паноптикуме*» [*Ibid.*: 143—144].

«Призрачные» места оживляют призраки людей, мест и событий, из которых состоят наши биографии и взаимодействие с освоенной частью города. Воспоминания и предвосхищения вплетены в пространственный опыт и повседневные практики, делая каждого из нас носителем «длинного» времени повседневности и сообщая нам чувство укорененности в обжитом пространстве.



**Одно из призрачных мест — Еврейское гетто
в Венеции — существует только на картинах**

Музей наизнанку: «призраки» исчезнувшей повседневности посреди повседневности настоящей

Задача сообщения городским участкам и местам значительности стоит перед работниками культурной индустрии города. Она часто решается возведением скульптур, установкой мемориальных досок, придумыванием новых экскурсий и выставок, проведением художественных акций. Как правило, все эти меры связаны с реально существовавшими персонажами и эпизодами, о которых создаются истории. Этот процесс редко бывает свободен от мифологизирования. Ряд представителей культурной индустрии Екатеринбурга решили «обнажить прием», организовав выставку-мистификацию.

В ноябре — декабре 2004 года, пока шла реконструкция здания Музея истории Екатеринбурга, художница Елена Гладышева и куратор проекта, сотрудник музея Раиса Зорина на временном деревянном заборе, окружавшем стройку, разместили «брутально» оформленные, в грубых деревянных рамках экспонаты, воплощающие невозможность расчленения были и легенды в наших отношениях с прошлым, в том числе с той его материальной «пылью», как выражается Бродель, для всего объема которой просто не найдется места в музеях.

Не получается ли, что именно эта «пыль», то есть вещи случайные и эфемерные, соединяются в современном социальном воображении с обсуждаемыми де Серто «призраками» городской повседневности? Авторы выставки исходили, кажется, именно из этой идеи. Музейными экспонатами стали «призраки прошлого», которые редко находят последний приют в музеях настоящих: слезы, пена от выпитого шампанского, запахи, даже отражение света «красного фонаря». Подчеркнутая материальность экспонатов импровизированного музея — кошмы, кожи, кирпичей, цемента — была тоже симитирована, чтобы усилить эффект мистификации.

То, что выставка и забор располагались на одной из самых оживленных улиц Екатеринбурга, придало этой акции дополнительную объемность: повседневность сегодняшняя была, так сказать, поставлена лицом к лицу с повседневностью ушедшей. «Призраки» напомнили о себе материально, но не навязчиво. Вот примеры музейных экспонатов: «Образец железной руды из шахты, изображенной на первом гербе города. 1781 год», «Фрагмент трубы первого городского водопровода. Декабрь 1925 год», «Отпечаток уха, слышавшего голос И.С. Козловского в Свердловском театре оперы и балета в 1925 году», «Заколка для галстука, оброненная В.В. Маяковским во время выступления в Свердловске. 1928 год», «Рукавица первостроителя Уралмашзавода. 1930 год», «Чулоч М. Плисецкой, оставленный в репетиционном зале. 1942 год», «Недокуренная сигара, забытая Ф. Кастро во время пребывания в нашем городе. 1963 год», «Каркас погремушки миллионного жителя (23 января 1967 года) города Свердловска», «Струна от дежурной гитары свердловского рок-клуба, на которой играли группы “Урфин Джус”, “Трек”, “Наутилус Помпилиус”, “Чайф”, “Настя”, “Агата Кристи”. Публика не осталась равнодушной: случайные ошибки в пояснениях энергично исправлялись чернилами, редко когда тротуар перед забором пустовал. Характеристикой *нашей* повседневности явилось и то, что некоторые экспонаты исчезли...

Репрезентируемое и нерепрезентируемое в повседневности

Картина повседневности, нарисованная де Серто, несет на себе отчетливый отпечаток «поворота к языку»: не только городская реальность всегда уже истолкована, представляя перед нами в тех или иных вариантах языковой репрезентации, но и чтение и речь выступают фундаментальными операциями городского существования: «Рассказы о путешествиях одновременно воспроизводят топографию действий и порядок общих мест. Они являются не только “приложением” к непритязатель-



Музей наизнанку

ным “пешим” высказываниям и риторике. Они не просто замещают эти последние и переводят их в область языка. Они фактически организуют наши перемещения. Повествования слагают путь прежде всего или по мере того, как ноги его проходят» [см.: Серто, 2004: 78].

В речи прогулок пешеходы непредсказуемо проговаривают город — в противоположность зафиксированности созданного планировщиками городского языка — его инфраструктуры, расположения улиц и так далее. Однако обитатели города «говорят», не вполне понимая, что делают, обладая, повторим, «слепым знанием» и образуя с другими горожанами «неясные переплетения». Только тем, кто создает повествования, дано восстановить «читаемость» тех или иных мест, расправить складки сложенных в них веков и вернуть прошлое этих мест тем, у кого оно было украдено. Не получается ли тогда, что де Серто (вместе с Беньямином и Лефевром) создал влиятельное урбанистическое метаповествование, в рамках которого власти и обитатели города замкнуты друг на друга в бесконечном противостоянии: первые регулируют и организуют, вторые, импровизируя, сопротивляются, не вполне себе в этом отдавая отчет, а потому находясь в ожидании рассказчика о своем уделе?

Австралийский исследователь в области *cultural studies* Меган Моррис упрекает де Серто в том, что тот, при всем безусловном вкладе в исследования повседневности, предложил слишком универсальный взгляд и обусловил возникновение специфического, неизбежно банального дискурса о повседневности: «...обычное — более не объект анализа, но место, из которого производится дискурс» [Morris, 1990: 35]. Исследования повседневности, намеревавшиеся противостоять капиталистической рациональности, все же сами от нее не свободны. Мы уже вели в главе о разнообразии речь о том, что инерция и интересы издательского рынка приводят к возникновению потока однотипных продаваемых урбанистических сочинений. Ирония в том, что описания повседневности сами риску-

ют стать частью повседневного пейзажа, воспроизводя одни и те же мыслительные ходы об удовольствии, импровизации и сопротивлении. Если же говорить не о социологии городских исследований, но собственно о содержании теории де Серто, то Моррис полагает, что сама ее основанность на ряде оппозиций обнаруживает ее чрезмерную абстрактность. «Верх» и «низ», система и процесс, планирование и жизнь, теория и практика, синхрония и история, структура и история, теория и история (*story*) — в каких конкретно пространствах воплощаются первые и вторые члены этих оппозиций? Не получается ли, что чем дальше «вниз», в гущу городской повседневности, тем сложнее обнаружить в ней царство пешеходов, нарисованное де Серто? Исследовательница сомневается в том, что «пространственное распределение функций», таких как «смотрение/движение, наблюдение/действие, картографирование/функционирование», осуществленное де Серто в его теории городской повседневности, можно продуктивно приложить к конкретным городским пространствам, таким как австралийские пригород или торговый центр. При всей похожести друг на друга каждое из этих мест обладает специфическими историями и функциями. Мужчины и женщины развивают отличающиеся эмоциональные связи с этими местами, которые вряд ли сможет прочесть «гуляющий грамматик, считавающий сходства между местами» [Morris, 1998: 67].

Еще более масштабно несогласие с идеями де Серто, которое выражает Найджел Трифт. В главе о неклассических теориях города уже шла речь о том, что активные исследования культурных репрезентаций, проведенные в ходе «культурного» поворота в городской географии и других дисциплинах, вызвали озабоченность тех авторов, которым все же более значимыми кажутся «нерепрезентируемые» измерения городской жизни, то есть ее материальная среда, инфраструктура и те аспекты человеческого существования, которые ускользают и от осознания, и от воплощения в языке. Главная претензия Трифта к де Серто состоит в том, что тот именно язык считает

основным ресурсом социальной жизни. Автор так называемой нерепрезентативной теории, Трифт намерен избежать ловушек традиционного репрезентационного мышления, то есть, к примеру, поиска все новых многочисленных случаев культурного маркирования городского пространства. Что же он предлагает? Рассматривать город как поле действия множественных сил, человеческих и нечеловеческих, как совокупность самых разнообразных компонентов, среди которых человеческое и социальное отнюдь не всегда лидируют: «Урбанизм повседневности должен проникнуть в смешение плоти и камня, человеческого и нечеловеческого, недвижимого и текучего, эмоций и действий» [Amin, Thrift, 2002: 21]. Соответственно, взгляд на город де Серто и других кажется Трифту чересчур «гуманистическим», то есть чересчур человекоцентристским. Поиск проявлений человеческого и человечности в гуще повседневности слишком подчинен господствующим повествовательным рамкам, которые приводят к тому, что исследователь (сам де Серто и те, кто работает в его традиции) определенным образом рисует «маленького», простого человека. Вспомним еще раз: тактики — это практики слабых. Увидеть в жизни «слабых» человеческое — значит воссоздать поэзию повседневности, проявляющуюся не столько в практиках, сколько в легендах и памяти о тех или иных местах. Но и люди, и практики, и легенды видятся в этой традиции стиснутыми системой, зарегулированными директивами, надзираемыми полицией и так далее. Трифт же, как и создатель теории акторов-сетей Брюно Латур, вообще не расположен воссоздавать логику той или иной системы, будь то город или общество в целом. Как они с Ашем Амином пишут в недавней книге, «нам неинтересны системы: это слишком часто предполагает, что у городской жизни есть какая-то имманентная логика» [*Ibid.*: 2]. Вместо этого — фокус на «многочисленных систематизирующих сетях», лишь предварительно упорядочивающих теоретическое видение города. Различение же между большим и малым, практиками и системой, мобильностью и инфраструк-

турой, на котором основаны идеи де Серто, слишком жестко и метафизично. Другое дело, что пока еще не ясно, сколько и каких исследователей может привлечь идея о том, что «большую часть жизни в городе составляет, скорее, механическая циркуляция тел, объектов и звуков речи, равно как и наличие и регуляция в ее недрах трансчеловеческой и неорганической жизни (от крыс до канализации)» [Amin, Thrift, 2002: 228].

Более конкретное исследование, которое Трифт предпринимает в полемике с де Серто, нацелено продемонстрировать, что тот неправ еще и в том, что именно прогулки сделал архетипической городской практикой в век, когда люди не столько ходят, сколько добираются от места к месту на машине [см.: Thrift, 2008: 75—88]. «Поворот к материальности» как главный фокус исследования города сегодня (и Трифт, безусловно, один из ключевых его участников) — это внимание к материальным аспектам городской среды, их активной роли в повседневности. Автомобиль конечно же может считаться здесь ключевым агентом. Это автомобилизация определяет то, как город освещается и размечается. Это автомобилисты выработали свой особый язык, который невозможно свести к основным культурным кодам. Но, возможно, еще более интересен в этом контексте своеобразный симбиоз человека и машины, в котором идентичности того и другого участника нерасторжимо переплетены, что порождает разнообразные эмоции, связанные с тем, что машина становится проекцией тела водителя. Там, где вождению способствуют бортовой компьютер и GPS-навигатор, агентоподобные качества машины становятся еще более выражены, их уже бессмысленно рассматривать — в духе *cultural studies* 1970-х годов — только как культурную проекцию сексуальных фантазий или статусных амбиций. Машина тем самым превращается в вариант тех городских мест с историями и богатыми функциями, о которых увлеченно писал де Серто. С музыкальной системой (иногда и видео), контролем климата, совершенством эргономики интерьера, коммуникатором и прочим автомобиль, с одной стороны, делает его обладате-

ля автономным, а с другой стороны, помещает, вместе с другими, его на карту, делая видимым и прослеживаемым издали — родными, полицией, другими автомобилистами. Что тогда остается невидимым в повседневности? Трифт предлагает, скорее, говорить, во-первых, о разных типах видимости, во-вторых, о том, что повседневное поведение отнюдь не всегда неторопливо и отнюдь не всегда находится «по месту жительства», и, в-третьих, что автомобилизация, при всех сложностях, приносимых ею в жизнь города, несомненно, открывает новые возможности осуществления свободы.

Здесь, однако, неизбежно возникает вопрос о цене этой свободы в век непрерывно растущих цен на бензин и других проявлений глобальной взаимозависимости земных обитателей. Воспроизводит ли метанарратив повседневности, стиснутой меж тисками власти, британский социолог Зигмунд Бауман, рассуждая о повседневной жизни, когда он говорит о том, что все мы «заложники» экспертных знаний и технологий, потребность в которых поддерживается рыночной экономикой [см.: *Бауман*, 1996: 214—215]? Тогда недостатки городской среды становятся проблемами улучшения нашей собственной жизни: «...невыносимый шум уличного движения превращается в необходимость вставить двойные рамы. Загрязненный городской воздух связывается с необходимостью покупки глазных капель... То, что общественный транспорт приходит в негодность, наводит на мысль о покупке автомобиля, а вместе с тем и об увеличении шума, еще большем загрязнении воздуха и усилении болезненного нервного напряжения, равно как и о еще большем расстройстве общественного транспорта» [*Там же*]. На даче или в путешествии, за чтением или во время волнующего производственного совещания горожане на время снимают с себя «вес» города, только чтобы, импровизируя и приспособляясь, возмущаясь и мечтая, вновь ощутить его тяжесть.

Взгляд исследователя на повседневность нередко обусловлен как его более общими теоретическими задачами, так и социально-культурным контекстом. Дух 1960-х воплотился в

критичности и утопизме, присущих позиции Анри Лефевра, а в поисках Мишелем де Серто следов сопротивления капиталистической рациональности парадоксально проявились и влияние структурализма, и стремление видеть в горожанах способных к деятельности субъектов. Романтическая увлеченность де Серто и его многочисленных последователей проявлениями неожиданного и непредсказуемого в повседневности сменилась более трезвыми описаниями «микровласти» повседневности, из которых следовало, что повседневность вряд ли стоит поэтизировать и наделять аутентичностью, делая из нее абсолютную противоположность системе власти. Конец XX столетия отмечен стремлением оспорить уверенность в возможности описать общие механизмы городской повседневности в рамках одной теории (это проявилось в критике идей де Серто со стороны Меган Моррис) и доказать социально-культурную специфичность той или другой повседневности. С другой стороны, в идеях Найджела Трифта можно увидеть стремление построить достаточно масштабную теорию. То, насколько это осуществимо в отношении доязыковых, нерепрезентируемых, эмоциональных аспектов повседневной жизни, и задает, мне кажется, одну из современных «интриг» постижения повседневности.

Адорно Т., Хоркхаймер М. Дialeктика просвещения. М.; СПб.: Медиум-Ювента, 1997.

Акройд П. Биография Лондона. М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2005.

Алябьева Л. Кофе и город, или «Какую радость ежедневно дарит нам кофейня!» // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2006. Вып. 1. Осень.

Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект-Пресс, 1996.

Беньямин В. Озарения. М.: Мартис, 2000.

Бодрийяр Ж. Пароли. Екатеринбург: У-Фактория, 2006.

Бродель Ф. Структуры повседневности. М.: Мой мир, 2007.

Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социологос. Вып. 1. Общество и сферы смысла / Сост. В.В. Винокуров, А.Ф. Филиппов. М.: Прогресс, 1991. С. 39—50.

Гладарев Б. Женщина, мужчина и мобильный телефон // Социс. 2006. № 4. С. 68—76.

Дубин Б. Будни и праздники // Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы. М.: Нов. изд-во, 2004. С. 232—251.

Кальвино И. Незримые города. Киев: Лабиринт, 1997.

Серто М. де. Рассказанное пространством // Объять обыкновенное: Повседневность как текст по-американски и по-русски / Ред. Т.Д. Венедиктова. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2004. С. 75—95.

Трубина Е. Признавая обычное: повседневность в философии Стэнли Кавелла // Объять обыкновенное: Повседневность как текст по-американски и по-русски / Ред. Т.Д. Венедиктова. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2004а. С. 35—47.

Трубина Е. Аутентичность // Современный философский словарь / Ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. М.: Академ. проект, 2004б. С. 66—74.

Утехин И. Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2004.

Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. СПб.: Алетея, 1997.

Agamben G. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford University Press, 1998.

Amin A, Thrift N. Cities: Reimagining the Urban. Cambridge: Polity, 2002.

Benjamin W. The Arcades Project. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Certeau M. de. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, 1984.

Goffman E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behaviour. N.Y.: Anchor, 1967. (Цит. по: *Вахштайн В.* Социология вещей и «поворот к материальному» в социальной теории // Социология вещей. М.: Территория будущего, 2006.)

Lefebvre H. Everyday Life in the Modern World. New Brunswick: Transaction Publishers, 1990.

Lefebvre H. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991.

Lefebvre H. Critique of Everyday Life. L.; N.Y.: Verso, 1992. Vol. 1.

Morris M. Banality for Cultural Studies // Logics of Television / Ed. P. Mellencamp. Bloomington: Indiana University Press, 1990. P. 14—43.

Morris M. Too Soon Too Late: History in Popular Culture. Bloomington: Indiana University Press, 1998.

Pile S. The Body and the City: Psychoanalysis, Subjectivity and Space. L.: Routledge, 1996.

Thrift N. With Child to See any Strange Thing: Everyday Life in the City // A Companion to the City / Ed. S. Watson, G. Bridge. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. P. 398—409.

Thrift N. Non-Representational Theory. Space, Politics, Affect. Oxon: Routledge, 2008.

ГЛАВА 10

Город и метафоры

«Скорее метафоры, а не утверждения определяют большинство наших убеждений», — заметил американский философ Ричард Рорти. Насколько этот довод значим для рассуждений о городе? В данной главе пойдет речь о тропах (прежде всего метафорах), которые используются в урбанистической теории и «сопредельных» дискурсах, к числу которых, с одной стороны, относится философское и социально-гуманитарное знание, а с другой стороны, языки повседневности. Я остановлюсь вначале на универсальных предпосылках использования пространственных метафор, затем рассмотрю ключевые классические метафоры города, а также особенности их использования сегодня.

Пространство как означаемое и означающее

Пространство как таковое и его самое знакомое большинству из нас воплощение — пространство городское — представляют собой как *источник* интерпретаций, так и их *объект*, играя «попеременно роли означаемого и означающего», «пространства-содержания и пространства-фигуры», «денотируемого и коннотируемого пространства», «высказываемого и высказывающего» [Женетт, 1998: 127—128]. Эта сложность в начале 1960-х стала предметом анализа французского лекси-

колога Жоржа Маторе, а в начале 1970-х — французского же философа Анри Лефевра.

Жорж Маторе в книге, посвященной «современному пространству» [*Matoré*, 1962. См. пересказ и разбор этой книги в эссе Ж. Женетта «Пространство и язык» в его книге «Фигуры»], рассматривает, с одной стороны, многочисленные пространственные метафоры, когда в терминах пространства описывается что-то иное, а с другой — теоретические описания пространства учеными и философами и его изображения в литературе и искусстве. Ж. Женетт обращает внимание на явную асимметрию между тем и другим, которой отмечена эта книга. Она проявляется в том, что о пространстве как таковом, видимом, сказать можно не так уж много. Не случайно, говорит он, в той части книги, где речь должна была идти о *содержании* репрезентаций пространства, ученый предпочитает обсуждать их *форму*: каким образом такие выразительные приемы, как перспектива в живописи, монтаж в кино или описание в литературе, позволяют «справиться» с пространством. Более того, исследователь настаивает, что «наше пространство, являющееся коллективным пространством, значительно более рационализировано, чем пространство индивидуальной грезы и поэтического воображения [*Ibid.*: 173. Цит. по: *Женетт*, 1998: 128]. Женетт заключает на этом основании, что в книге идет речь скорее о *социальной риторике пространства*, а разбираемые метафоры близки журналистским или интеллектуальным *клише* (этот момент будет очевиден ниже, когда пойдет речь об использовании метафор города в российском общественном дискурсе).

Если Маторе был достаточно равнодушен к поэтическим тайнам пространства, то Анри Лефевру не давали покоя идеологические завесы, скрывающие его социальную суть. Он ставит цель демистифицировать работу капитализма в пространстве, а для этого также призывает к «внимательному исследованию связи между пространством и языком» [*Lefebvre*, 1991: 99] и настаивает на радикальном переосмыслении социально-

го пространства с помощью своей теории *производства* пространства. Если пространство производится, то и вещи (которые прежде мыслились как размещающиеся в пустом пространстве) и дискурс способны предоставить «ключи и свидетельства этого продуктивного процесса» [Lefebure, 1991: 37]. Тем самым на место пространства *как вместилница* приходит *пространство как процесс* — «процесс, который включает процессы означения, не будучи к ним сводимым» [Ibid.].

Значимость метафор для осмысления пространства состоит, по Лефевру, в том, что они часто становятся препятствием для понимания пространственных практик. Репрезентации пространства представляют собой «смесь понимания и идеологии — всегда относительную и находящуюся в процессе изменения» [Ibid.: 41]. Вопреки своей абстрактности, они вовлечены в социальную и политическую практику: «...отношения, установившиеся между объектами и людьми в репрезентируемом пространстве, подчинены логике, которая рано или поздно их ломает в силу недостатка у них последовательности» [Ibid.].

Тем самым можно заметить существенное сходство в отношении двух французских авторов к пространству и его репрезентациям: и тот и другой, допуская значимость индивидуально найденных интеллектуальных или художественных репрезентаций пространства, настаивают на «коллективной» природе пространства, проявляющейся «рационально» (Маторе) и обладающей жесткой логикой (Лефевр). Но если первый, по крайней мере косвенно, признавал невозможность отделения «пространства-содержания» от «пространства-фигуры», то второго удручала степень, в какой преобладающие репрезентации пространства деформируют и маскируют его социальную и процессуальную суть.

Одной из главных предпосылок продуктивного осмысления пространства Анри Лефевр считает отказ от тех представлений о теле, что отстаивались в «предавшей тело» классической философии, и охват современной теоретической мыслью

«тела вместе с пространством, тела в пространстве и тела как прародителя (или создателя) пространства» [Lefebvre, 1991: 407]. Философы от Декарта до Гегеля были вовлечены в «великий процесс метафоризации, который тело отбросил и подверг отрицанию» [Ibid.]. Имеется в виду свойственное философии расщепление пространства на постижимое (суть духовного абсолюта) и непостижимое (естественное, не облагороженное духовностью и, возможно, являющее собой упадок абсолюта). Пространство как форма и пространство как субстанция, величественное пространство Космоса и сумрачное пространство Земли были в ходе классической метафоризации разделены, как были разделены выразительное и осмысленное, означающее и означаемое, содержание сознания и реальность, психическое и социальное, проживаемое и осознаваемое. Живое тело, представляющее собой «и субъект и объект одновременно», такими понятийными оппозициями не ухватывалось, чем и объясняется страсть, с какой Лефевр обрушивается на классическую философию и отказывается следовать ее метафорам. Классические метафоры строились на *сведении внешнего к внутреннему, социального к психическому*. Мыслитель видит в их связи с «бессодержательными абстракциями» возможность власти над реальными пространством и материей: «Логика редукции/экстраполяции прилагается к классной доске как доске рисовальной, к чистому листу бумаги как схематизму во всех его формах, к письму как бессодержательной абстракции. Последствия этого *modus operandi* даже более тяжелые, поскольку пространство математиков, как и любая абстракция, есть могущественное средство действия, доминирования над материей — а потому и разрушения» [Ibid.: 298—299].

Переход от *пространства тела* (восходящего к картезианскому представлению о теле как протяженной вещи) к осмыслению «*тела в пространстве*» осуществляется Лефевром генеалогически. Он прослеживает два параллельных процесса: нарастание абстрактности представлений о пространстве и подверстывание человеческих телесности и чувственности

под идеологические и теоретические нужды (по удачному выражению одного из комментаторов, «декорпореализацию» [см.: *Gregory*, 1994]). В процессе редукции социального и физического пространства к пространству эпистемологическому (оно же психическое, дискурсивное, картезианское) «свойства пространства как такового эффективно переносятся на уровень дискурса, и в особенности на уровень дискурса о пространстве» [*Lefebvre*, 1991: 61]. «Тело» в ходе такой мысленной работы также мобилизуется, но скорее инструментально, как посредник между психическим и социальным. Понятно, что трудно представить, как связаны между собой абстрактное «тело» философской теории, «понятое просто как опосредование между «субъектом и объектом», и «живое и плотское тело», у которого есть и специфические пространственные качества (симметрия и асимметрия) и особая энергия (процессы обмена, выделения, отходы) [*Ibid.*].

Онтологическое у Лefевра нередко соединяется с историческим, вот почему свой анализ связи телесности и пространства он реализует, с одной стороны, толкуя о «скотомизации» и «деспиритуализации» тела в ходе европейской истории (что он связывает с усилением роли визуальности и языка), а с другой стороны, сочувственно излагает взгляды Лакана, показывая, в какой мере социальное пространство есть пространство *запрета*. Примеры такого пространства — *необсуждаемое* в ходе коммуникации членов общества, разрыв между телами и сознанием людей, трудности социального взаимодействия, влияние социального воздействия на самые непосредственные отношения (ребенка с матерью), невозможность полноценных отношений в окружающей среде, созданной из «совокупностей зон ограничений и запретов» [*Ibid.*: 35]. Да, этот взгляд на вещи отстаивает «логическую, эпистемологическую и антропологическую первичность языка по отношению к пространству» [*Ibid.*: 36], но бессознательное существует, и кто знает, может быть, именно исследование различных проявлений городской «подпольной» жизни вдохнет в психоанализ новую

жизнь¹. *Пространственный* же анализ должен «объяснить генезис и построить критику тех институций и подмен, перестановок и метафоризаций, анафоризаций и так далее, которые изменили рассматриваемое нами пространство» [Lefebvre, 1991: 404], ведь «знаку присуща сила деструкции, ибо ему присуща сила абстракции» [Ibid.: 135]. Процессы метафоризации и визуализации мыслятся Лефевром как параллельные, усиливающие и «работающие» на модернистскую троицу: читаемость—видимость—постижимость. Они связаны с целым рядом социальных практик, которые вроде бы способны ухватить истину пространства, но в действительности только его дробят, производя множество «обманчивых фрагментов» [Ibid.: 96]. Метафоризация проявляется в том, что тела захвачены не только фрагментами раздробленного пространства, но и сетью того, что философы называют «аналогами» — образами, знаками и символами: «Эти тела вынесены из себя, перенесены и опустошены, так сказать, посредством глаз: мобилизованы каждое мыслимое притяжение, волнение и соблазн, чтобы очаровать тела их двойниками в приукрашенных, улыбающихся и счастливых позах; и эта кампания по опустошению тел оказывается эффективной в той именно степени, в какой предложенные образы отвечают тем “потребностям”, что они же и помогли сформировать» [Ibid.: 98].

К метафоризации добавляется метонимизация, предназначенная с помощью части показать целое (это техника, убежден Лефевр, которую с легкостью можно использовать неверно). Ее «ошибочное» использование усугубляет процесс фрагментации пространства. Этот процесс также «ошибочный», ибо, по глобальной логике истории, целостное пространство должно принадлежать целостному человеку. Этот процесс происходит в реальности, в «целом». Способны ли «части» — к примеру, фильмы, реклама, фотографии — что-то в этом отношении

¹ Лефевр здесь выступил пророком: в течение последних двух десятилетий сложилась интересная традиция психоаналитической урбанистики. См., например, [Pile, 1996; Vidler, 1992].

сделать? Способны они обнажить исторические «ошибки» в отношении пространства? Вряд ли, ибо «ни один образ не способен исправить эту ошибку», поскольку сами образы дробят пространство, они сами — его фрагменты [Lefebvre, 1991: 96—97]. *Декупаж и монтаж* — разрезание вещей и перестановка полученных частей в сочетании с ошибкой и иллюзией, уже содержащимися во взгляде художников и карандаше чертежников, — все это вовлечено в историческую работу абстракции, все это участвует в фетишизации абстракции и навязывании ее людям в качестве нормы. «Чистая» форма отделяется от «нечистого» содержания — от проживаемого людьми времени и от их осязаемых, весомых, теплых тел. Метафоры поэтому работают как идеологическая и художественная завеса, неизбежная и часто влекущая обманчивой точностью и ясностью, но драматически отчуждающая людей от пространства и собственных тел.

«О, узнаю этот лабиринт!» и чувство пространства как вместилища

Перейдем теперь к идеям, почерпнутым в тех дисциплинах, что создают, по выражению Лефевра, «антропологическую сцену» социального пространства. То, что осмысление и репрезентация реальности людьми зависят от их предрасположенности к определенным метафорам, — один из главных выводов когнитивной лингвистики и символической и когнитивной антропологии. Сразу же подчеркнем, что сама пространственная природа терминов, используемых для описания метафорической активности, таких как приводимые ниже «картографирование», «рамка» и т.д., является одним из многочисленных проявлений повсеместности именно пространственных метафор. Согласно когнитивной антропологии, в ходе эволюции люди приобрели способность перекрестного картографирования, применяя навыки, приобретенные в од-

ной области, для другой. Эта когнитивная способность положила начало антропоморфизму и тотемизму и выявила масштабный сдвиг в человеческом познавательном опыте: «В ходе развития и эволюции человеческий ум претерпевает трансформацию: от заданного сериями относительно независимых когнитивных областей к такому, в котором идеи, способы мышления и знания свободно перемещаются между этими областями» [Mitthen, 1999: 154].

Выводы когнитивной лингвистики достигнуты с опорой на исследования искусственного интеллекта, в ходе которых было выявлено существование психологических рамок, которые люди используют, чтобы контекстуализовать новую информацию. Мы осмысливаем новое, структурируя его на основе уже известного. Новые сферы знания осмысляются через сложившиеся когнитивные схемы. Это понимание мышления как картографирования нового на основе имеющегося опыта объясняет, почему процессы интерпретации и понимания ассоциируются прежде всего с метафорой. Универсализм этого подхода проявляется в уверенности его сторонников в том, что все носители данной культуры имеют более или менее идентичный набор базисных метафор. Однако его нацеленность на выявление прежде всего базисных метафор как инвариантов постижения мира и демонстрацию их предсказательной силы не всегда согласуется с очевидной необходимостью сохранять «открытость» результатов интерпретации. Проиллюстрирую это вот на каком примере.

«О, узнаю этот лабиринт, и вот этот угол я тоже хорошо помню!» — эту фразу могла бы произнести крыса, умея она говорить, когда ее второй раз помещают в лабиринт, из которого надо найти выход. Джефф Хокинс приводит этот пример для демонстрации значимости системы памяти для функционирования мозга: крыса помнит, как она выбралась в прошлый раз из исследованного ею помещения, что помогает ей делать нужные повороты на перекрестках [Хокинс, Блейкли, 2007: 102—103]. Крыса использует карту местности, что у нее сложи-

лась с помощью проб и ошибок в первый раз, для того чтобы увереннее ориентироваться в лабиринте во второй раз.

Интересно сопоставить этот образ крысы-исследователя, эффективно извлекающей уроки из прошлого опыта освоения пространства, с образом человека, упорно экстраполирующего собственный телесный опыт на окружающий мир, который лежит в основе влиятельной теории метафорических понятий, развиваемой когнитивными лингвистами Джорджем Лакоффом и Марком Джонсоном. Наше чувство пространства, с их точки зрения, инстинктивно и основано на том биологически всеобщем физиологическом факте, что «каждый из нас есть вместилище, ограниченное поверхностью тела и наделенное способностью ориентации типа “внутри — вовне”» [Лакофф, Джонсон, 2004: 54]. Неврологические истоки метафор выдвигаются в этой теории на первый план, а осмысление их социальной динамики, а также взаимодействия дискурсивного и социального в их функционировании практически отсутствует. С другой стороны, трудно что-то возразить, когда читаешь, что вместилище содержит в себе пространство и отграничено от внешнего мира. Эта «онтологическая», как ее называют исследователи, метафора — действительно повсеместна: она успешно применяется независимо от масштаба описываемого феномена, от комнаты до окружающей среды в целом, с помощью сопутствующих метафор, таких прежде всего, как «граница».

Исследователи ничего не пишут о том, как связаны между собой вместилища, но опять-таки опыт обращения со своим собственным телом, в которое что-то время от времени «входит», и опыт нахождения тела в пространстве позволяет построить простую цепочку: тело—комната—дом—улица—район—город—местность—край—страна. Одно вместилище вмещает другое вместилище, которое в свою очередь образует часть большего вместилища. Традиционный обыденный взгляд на вещи гармонично сосуществует с географическим. Географ от века смотрел на мир так, чтобы земное пространство разбивалось на единицы, удобные для анализа и понима-

ния. Понимания... и управления, как ясно нам сегодня. Структурирование территории на основе ограниченных пространств, точки входа в которые (и выхода из них) людей, вещей и информации контролируются, — это и условие нормальной жизни, и предпосылка политики, и главный принцип профессионального картографирования. Именно этим объясняется сосуществование в географической литературе района, города, местности, региона, национального государства и континента. Представления об их соотношении, сложившиеся в период модерности, — *иерархические*: одно *входит* в другое по принципу матрешки. Когнитивные лингвисты добавили бы, что это не специфический завоевательный и дисциплинарный характер модерности обусловил доминирование такого представления, но, повторим, фундаментальный телесный опыт человека. Между тем умница крыса, о которой я упомянула выше, напоминает нам о возможности мыслить в центре метафорической активности не столько *уже заданного своим телом* субъекта, сколько субъекта, способного приспособиться к новому окружению, формируя с ним новые (но тоже определяющие его) отношения.

Статичность метафоры пространства как вместилища (и такого рода объяснения базисных пространственных метафор), насколько мне известно, не подвергалась критике в контексте когнитивной лингвистики и проблематизируется сегодня только в рамках масштабных социальных теорий (см. об этом главы, посвященные глобализации и мобильности). Между тем с момента публикации классической книги Лакоффа и Джонсона («Метафоры, которыми мы живем», 1990), где развивается идея вместилища как одной из самых распространенных онтологических метафор, прошло двадцать лет, и в последующих работах исследователи развили более динамичный взгляд на ключевые метафоры, учтя уже не только телесный, но и социальный опыт человека как ставящего цели существа, что неразрывно связано с его разнообразным передвижением в пространстве.



**Памятник границе между двумя мирами,
разделявшей Берлин: Чек-Пойнт Чарли**

Исследователи повторяют в своей последней книге принципиальную для них «нейробиологическую» мысль, что у людей есть «воплощенное» (*embodied*), то есть проистекающее из их телесного опыта, чувство пространственной ориентации (расположение по вертикали, горизонтали и промежуточное); их положения в пространстве по отношению к другим людям и вещам (впереди, позади, рядом, выше, ниже); связи между различными частями их тел и между ними и другими (соединенный, разъединенный, поглощенный); воздействия мира на них и их воздействия на мир (сопротивление, сила, движение). Эти варианты чувства пространства выражаются в таких образных схемах, как вместилище, часть—целое, центр—периферия, цикл, соединение, повторение, контакт, соседство, вынужденное движение, поддержка, равновесие, прямой—извилистый, близко—далеко [Lakoff, Johnson, 1999]. Физические образы, привлекаемые для фиксации пространственного чувства человека, входят в его интерпретативный потенциал, но предполагают специфическую логику использования, налагая ограничения на возможные варианты высказываний и описаний. Так, вместилища можно наполнить, опустошить, разрезать, разломать. У этих ограничений есть в свою очередь другие ограничения, связанные с природой вещей: в разогретом вместилище нарастает давление.

Лакофф и Джонсон говорят о «системе метафорического картографирования» [*ibid.*: 179], частью которой является такое «единое сложное картографирование», которое они называют «метафора места и события-структуры». Метафоры места и вместилища (в оригинале — *location and container*) и события-структуры именуются ими «фундаментальными». Разница между ними в том, что одна позволяет осмысливать события как места, а другая — как объекты, а вместе они составляют один из базисных механизмов осмысления событий и их причин. «Метафора места и события-структуры» включает в себя ряд составляющих. Приведем этот перечень (в оригинале все эти метафоры приведены с большой буквы): состояния — это ме-

ста (внутренние пространства ограниченных регионов); изменения — это движения (в ограниченные регионы или из них); причины — это силы; причинение — это вынужденное движение (из одного места в другое); действия — это самонаправляемые движения; цели — это направления движения; средства — это пути движения в нужном направлении; трудности — это препятствия движению; свобода действия — это отсутствие препятствий движению; внешние события — это большие движущиеся объекты (обладающие силой); долговременные целенаправленные виды деятельности — это путешествия [Lakoff, Johnson, 1999].

Такого рода метафорическое картографирование позволяет «концептуализировать» события и все их аспекты — от действий и изменений до состояний и целей. Связь между собой этих метафор подобна связи между центром и радиусом, когда боковые ответвления сохраняют только некоторые свойства центральной метафоры.

Что люди делают с метафорами

Эта картина метафорической активности человека была бы еще более убедительной, если бы позволяла ответить на такой вопрос: если метафора вместилища, естественно вытекающая из телесного опыта человека, может быть распространена на сколь угодно большие пространства, то почему такие усилия требуются для того, чтобы внедрить и поддерживать в сознании людей образ нерушимой границы их государства с другими государствами? На это могут возразить, что метафорические выражения как риторический прием и понятийные метафоры — разные вещи. О первых говорит критическая теория дискурса, о вторых, как уже говорилось, когнитивная теория. Доминирующие метафоры позволяют сконструировать такие дискурсивные поля, которые успешно исключают альтернативные способы выражения, принадлежащие противоборствующим группам [Fairclough, 1995: 71—72].

С другой стороны, мобилизация пространственных метафор для социальной борьбы происходит повсеместно, но она, как кажется, тем эффективнее, чем точнее социальная риторика задействует понятийные метафоры.

С какими социальными и культурными препятствиями сталкивается порождение сложных метафор? Насколько свободны в своем использовании метафор носители культуры? Насколько эффективны навязываемые людям дискурсы и чем, то есть какими вариантами принадлежности к какому территориальному образованию, люди на эти дискурсы отвечают? Если значимость проведения границ для нациестроительства описана уже многократно, то еще ждет своих исследователей масштабный и противоречивый процесс, так сказать, *регионо-*строительства, в котором соединяются, с одной стороны, чувство малой родины, а с другой — дискурсивного конструирования *региональных* идентичностей амбициозными губернаторами и работающими на них массмедиа. Так, рефлексирующая девушка с Урала может обидеться, если москвичи или зарубежные друзья назовут ее сибирячкой, но попытки местных властей ее политически мобилизовать на том основании, что Урал — ее малая родина, будут, скорее всего, обречены на поражение. Однако проведение символических границ *внутри* края или региона может быть и весьма успешным, если оно опирается как раз на городские идентичности.

Открытие того, что на «нашей» улице дела делаются так, а на «их» — по-другому, может быть весьма болезненным и неминуемо приведет к осознанию того грустного факта, что далеко не все границы проводятся индивидом самостоятельно и что пересечение некоторых границ — при всей их невидимости — может тебе дорого стоить. Если когнитивные психологи способность людей проводить искусственные границы с помощью воображаемых линий выводят в конечном счете из инстинктивного чувства пространства, а некоторые географы — из онтологической первичности необходимости «разграфления» земной поверхности на дискретные единицы, каждая из которых независима и равна с другими [см.: O'Tuathail, 1996], то

социальные теоретики — из политической необходимости социального конструирования наций, регионов и других географических сущностей [Paasi, 2003; Андерсон, 2001]. Один из влиятельных политических географов так описывает последний процесс: «Границы пронизывают общество через многочисленные практики и дискурсы, при помощи которых границы существуют и институционализуются. Поэтому территория создается политическими, экономическими, правительственными, культурными и другими практиками и сопутствующими им значениями, соответственно эти практики территориализуют повседневную жизнь. Эти элементы становятся частью повседневности посредством пространственной социализации — процесса, с помощью которого люди социализуются как члены территориальной группы» [Paasi, 1991: 240].

Как сочетаются, в частности, правительственные практики «территориализации» повседневной жизни с процессами «стихийной» пространственной социализации людей? Временами, как мы знаем, это происходит весьма драматично, когда, к примеру, отсутствие прописки или регистрации в столичном городе препятствует реализации жизненных планов, а иногда и ставит на грань выживания. В случае серьезной болезни, например, когда на бесплатную помощь рассчитывать не приходится, а решить проблему с помощью денег тоже сложно: их надо вначале в достаточном количестве заработать, а как это сделать, если в высокооплачиваемой работе отказывают по причине отсутствия регистрации — все это похоже на вариант хеллеровской «ловушки-22».

Экономические практики создания территорий приводят к тому, что сегодня все больше молодых обитателей столиц все-речь продумывают для себя перспективу пожизненной аренды жилья, а значит, обреченности на неоднократное обживание чужой территории и сжимание собственной территории до очень скромных размеров. Замечательное описание такого «территориально-экзистенциального» опыта находим у Лидии Масловой, которая говорит о «парадоксальном кайфе», что сулит квартиросъемщику «обживание территории, на которой еще не остыли следы враждебного, в общем-то, присутствия

посторонних людей: еще вчера на этой бельевой веревке сохли заштопанные носки маляра-таджика, а эта вытяжка над плитой еще хранит ароматы пирожков с котятами, которые жарила на машинном масле неопрятная толстуха в бигудях. И вот все эти следы прежних обитателей, осквернивших место, которое ты теперь облюбовал для себя, предстоит стереть и нанести вместо них свои — застолбить, пометить свой участок, выместить в дальний угол сознания, как оставленный прежними жильцами мусор, мысль, что никакой этот участок на самом деле не твой и твоим никогда не будет» [Маслова, 2007: 36].

Если Лидия Маслова говорит о естественной враждебности нового обитателя приватного пространства по отношению к его прежним обитателям, то Оксана Карпенко борется за политически корректное (иное, нежели «гости нашего города») именование новых обитателей общего городского пространства (см. об этом подробнее в главе о культурном разнообразии) [Карпенко, 2002]. Ее исследование хорошо иллюстрирует тот тезис, что метафоры выделяют и придают целостность только некоторым сторонам нашего опыта. Иными словами, они способны конструировать социальную реальность, способствуя выбору людьми специфических действий, которые в свою очередь становятся подспорьем способности метафор делать опыт целостным. Эта выборочность метафорической репрезентации связана прежде всего с властными отношениями: «послания» доминирующей метафорической модели настолько убедительны, что люди не видят смысла им противостоять.

Метафоры и риторические основания науки

Когнитивные структуры, разделяемые членами тех или иных групп, постоянно пересоздаются в ходе коммуникации, в том числе между академическим и публичным дискурсами. Это пересоздание опирается на интертекстуальные цепи, в

которых те или другие репрезентации «реконтекстуализируются». Социальные репрезентации задают общую рамку коммуникации и имеют тенденцию «замерзать», «натурализоваться», «реифицироваться», то есть мыслиться как само собой разумеющиеся варианты понимания происходящего. Ментальные модели, структурирующие идеологии, воспроизводятся через дискурсивные практики. Их цель — обеспечивать сплоченность той или иной социальной группы. В идеале должно существовать множество (по крайней мере, несколько) метафорических моделей, описывающих специфический опыт, но часто дело сводится к одной, «оправдавшей» себя исторически или особенно убедительной [Van Dijk, 1996: 85].

Выделение одних и затушевание других семантических характеристик реальности позволяет проследить идеологическую природу выборов в производстве и использовании сложных метафор. «Интуитивная привлекательность научной теории связана с тем, насколько хорошо ее метафоры отражают наш опыт», — пишут Лакофф и Джонсон [Лакофф, Джонсон, 1990: 402]. Это, конечно, так, но верно и другое: использованные авторами с разными риторическими целями, метафоры популярных социальных теорий становятся частью опыта, организуя его и выступая своеобразной линзой, сквозь которую его носители смотрят на происходящее. От «базиса» и «надстройки» Маркса до «капиталов» Бурдьё, от «механизма» «органической солидарности» и «структуры» до «Паноптикума» Фуко, от «публичной сферы» Хабермаса до «пузырей» Слотердайка — само это обилие востребованных сегодня метафор свидетельствует о многом. О том, в частности, что старое к ним отношение, подчеркивающее их «служебность» (дескать, метафоры нужны лишь на первых порах концептуальной работы, чтобы зафиксировать важную интуицию, а впоследствии уступают место аналитически выверенным понятиям), непродуктивно. Напротив, понимание их центральности не только для гуманитарных, но и для социологических текстов позволит осознать характер их своеобразного доминирования. К приме-

ру, рассматривая, как складывалась тематика креативности в социологии, немецкий социолог Ханс Ионас говорит о значении «характеристики важнейших форм, в которых возникала и приобретала влияние идея...» [Ионас, 2005: 81]. От креативности как выражения через креативность как производство к креативности как революции — так он суммирует несколько веков осмысления этого феномена европейской мыслью. Этим формам, настаивает он, не хватает ясности, «зачастую они остаются образными и описательными, иносказательными». Эти формы, понятно, метафоры, оперирование которыми предполагает опору на специфические навыки, к числу которых Ионас относит «готовность считать феномены, описанные лишь в первом приближении, действительно доступными опытному познанию» [*Ibid.*].

Урбанисты прибегают к тропам в силу множества причин. Одна из них в том, что другого способа создать у читателя впечатление реалистичности, объективности, научности изложения европейская культура (а наука — ее ключевая часть), по сути, не знает¹. Тропы — метафора и метонимия, синекдоха и ирония — способны порождать смысл, связывая незнакомый опыт со знакомым. Удерживая в поле рефлексии риторические основы своего научного предприятия, мы точнее понимаем,

¹ Существует влиятельная традиция изучения риторических оснований науки. В частности, Х. Уайт посвятил этому много своих работ, показывая, среди прочего, как широко используются тропы историками и социальными теоретиками. Один из его примеров — классическая работа историка Томсона, посвященная рабочему классу Англии. Томсон атакует социологов Смелзера и Дарендорфа за ошибочный объективизм, за уверенность в том, что можно найти законы, определяющие формирование социальных классов, и настаивает на конкретно-историческом изучении рабочего класса, определяя свою методологию как создание «биографии английского рабочего класса от отрочества до ранней зрелости» [Thomson, 1963: 11]. Уайт справедливо подчеркивает, что эта метафора ничуть не менее культурно ограничена и условна, нежели понятие объективных законов, которыми оперируют теоретики-позитивисты [White, 1978: 16—17].

чем, собственно, занимаемся. Мы не столько фиксируем существующую независимо от нас реальность, сколько продуцируем на ее основе что-то новое, пусть наша «продукция», скажем, новое (или сравнительно новое, что сегодня, увы, неизбежно) прочтение городского ритуала. Это может помочь тем, кому не по душе строгая социологическая наука, избавиться от комплексов, испытываемых в компании экспертов по репрезентативным выборкам. Как пишет Х. Уайт, «Дискурс неустраним, поскольку он *создает* почву, на которой решают, что должно считаться фактом в рассматриваемых вопросах, и определяет, какой способ более подходит для понимания таким образом созданных фактов» (курсив автора) [White, 1978: 3].

Однако мало зафиксировать насыщенность социологического письма метафорами. Важно проследить закономерности их рецепции, передачи и использования в социальном мире за пределами теории. Составляя своеобразный арсенал выражений, они напоминают о неразрывной связи истории ключевых идей той или другой дисциплины и социально-гуманитарного знания в целом, их текущей практики и общего набора культурных репертуаров. Они побуждают задуматься и о синтетичности мысли и опыта, мысли и «видения как», на которые обращает внимание Людвиг Витгенштейн. Разбирая рисунки-обманки, в которых можно увидеть и кролика и утку(или и ветви дерева и человеческую фигуру), и резонно замечая, что «голова, увиденная *так*, не имеет ведь ни малейшего сходства с головой, увиденной *этак*, — хотя они и совпадают», мыслитель толкует об «изменении аспекта» или «уяснении аспекта» (то есть новом восприятии картины, которое надстраивается над старым), в котором совмещаются визуальный опыт и мысль [Витгенштейн, 1994: 278—286]. Мыслитель спрашивает: «Но как возможно, что человек *видит* вещь сообразно некоторой интерпретации? — В свете данного вопроса это предстает как весьма странный факт; словно бы нечто насильственно втискивалось в форму, совершенно не соответствующую ему. Одна-

ко здесь не наблюдается никакого давления или принуждения» [Витгенштейн, 1994: 286].

В то же время, как подчеркивалось выше, при ближайшем рассмотрении работа метафор оказывается не свободна от момента хотя бы некоторой принудительности. По меньшей мере, эта принудительность проявляется в *смене* метафор, в их зависимости от интеллектуальной и, шире, культурной моды, либо, напротив, — в *инерции*, с какой они воспроизводятся, будучи упорно прилагаемыми к контекстам, сильно отличающимся от тех, в которых они возникли. Для демонстрации этого тезиса я обращусь к четырем классическим метафорам города и рассмотрю, как меняется характер их использования в современных российских профессиональном и массовом дискурсах.

Базар, джунгли, организм и машина: классические метафоры города в русскоязычной Сети

В классической социальной теории, в посвященной городу литературе сложилось как минимум четыре метафоры городского «организованного разнообразия», а именно город как базар, город как джунгли, город как организм и город как машина [Langer, 1984]. Типология Питера Лангера возникает на пересечении двух характерных для социологического знания тенденций. Первая связана с масштабом анализа, который может быть «макроскопическим», то есть нацеленным на группы или институты, и «микроскопическим», то есть ограничивающимся представлениями и действиями индивидов. Вторая связана с нормативной оценкой города, которая в самом простом случае может представлять собой либо позитивное, либо негативное к нему отношение. В первом случае это обернется разговорами о культуре, витальности, возможностях, разнообразии, выборе. Во втором случае — о грязи и бо-

лезнях, скученности и преступности. Тогда упомянутые четыре метафоры можно, в свою очередь, использовать как эмблемы преобладавших в прошлом социологических подходов к городу, где среди «микроскопических» «позитивной» будет метафора города как базара, а «негативной» — как джунглей, а среди «макроскопических» «позитивным» будет «город как организм», а «негативным» — как «машина». Лангер здесь, скорее, подытоживает итоги развития классического социологического знания, и его типология выглядит упрощенной, но поскольку систематических попыток проанализировать богатство городской метафорики известно совсем немного, рассмотрим его идеи подробнее.

Метафора города как *базара* схватывает, по Лангеру, не столько экономическую подоплеку существования города, сколько *богатство предоставляемых им возможностей и осуществляемой в нем активности*. Для иллюстрации этой идеи Лангер использует работы Г. Зиммеля, особо подчеркивая следующий ход мысли немецкого теоретика. Модерный город задает широкий спектр возможных видов занятий индивиду, отныне не связанному со своей «первичной» группой (откуда он традиционно был обречен черпать ресурсы), но освобожденному социально-экономическим развитием для формирования своих собственных ресурсов. Зиммель, правда, обходится в своих текстах, посвященных множественной принадлежности современного индивида, без этой метафоры, и Лангер признает, что уж если какую метафору тот в своих текстах о накладывающихся друг на друга социальных кругах предвосхитил, так это метафору сети.

Что касается города как *джунглей*, эта метафора фиксирует такие черты города, как опять-таки его разнообразие, но также его плотную заселенность, таящуюся в нем опасность и экологическую хрупкость. Разные виды существ в джунглях города борются за место под солнцем, за свою территорию. В кажущемся хаосе есть свой невидимый глазу порядок — соревнование за ресурсы. Использование экологической образ-

ности позволяет социологам осмыслить различные варианты борьбы, ведущейся индивидами в городе. Лангер иллюстрирует свои доводы с помощью Зиммеля, а также Ирвина Гофмана: что такое, не без основания считает последний, есть различные способы «презентации себя в повседневной жизни», если не приспособление к жизни в городских джунглях?

Появление метафоры «город как *организм*» связано с эволюционизмом Герберта Спенсера, который провел аналогию между специализированными социальными институтами и частями человеческого тела. Нормальное функционирование частей организма как предпосылка его выживания и благополучия предполагает наличие контролирующих органов — «сердца» общества и его «мозга», которые, в свою очередь, зависят от тела в целом и вместе с ним работают на общее благо. Время от времени организм атакуют разного рода инфекции и болезни, но его здоровые силы помогают справиться с ними. Организм, наконец, — целостность, обладающая качествами, которые несводимы к тем, которыми обладают составляющие его части. Это прежде всего общество-организм, и на город эта метафора распространяется автоматически.

Наконец, город потому работает как *машина*, что все его части функционируют без помех и в точности так, как их спроектировали создатели — группа людей, которая предназначила город для извлечения прибыли.

Типология Лангера, повторюсь, не охватывает всего богатства городской метафорики и своим теоретическим простодушием резко контрастирует с сегодняшними штудиями, в которых проблематизируются и противопоставление макро- и микросоциологии, и нормативная подоплека описаний города. С другой стороны, само соединение в ходе его анализа, так сказать, векторов метафорической активности и их нормативного наполнения («за» или «против» города) столь редко проводится в чисто социологической литературе, что было бы грустно, если бы его идеи остались лишь достоянием истории социологии и урбанистики. Ведь зафиксированные им мета-

форы продолжают работать в определении задач муниципальной политики в архитектуре и градостроительстве, маркетинге и журналистике как в России, так и за рубежом. Эти дискурсивные поля никогда не бывают совершенно свободны от нормативных «обертонов». Рассмотрим, как упомянутые метафоры эволюционируют в некоторых вариантах западного дискурса и с какими целями используются у нас.

Базар при метро

Базар, по Лангеру, это позитивная метафора городского многоцветья и разнообразия. С его точки зрения, «социологи базара» — это те, кто городское разнообразие мыслит прежде всего как многочисленные варианты столкновений множества людей-индивидов, широчайший спектр обмениваемых благ и дифференциацию потребностей. Мне кажется, что это слово, избранное им для наименования одного варианта метафорического осмысления города, наименее удачное. Как я уже сказала, Лангер усматривает истоки «базарной социологии» у Зиммеля, хотя тот нигде, кажется, о базаре в отмеченном смысле не говорит. Более того, непонятно, чем эта метафора (не говоря уж о реальном опыте посещения городского базара) может соответствовать главной характеристике столкновений индивидов в городе — показному равнодушию друг к другу, о котором Зиммель говорит в «Духовной жизни больших городов». С другой стороны, если перечесть эту классическую работу в недоуменных поисках именно «базара», то и выразительно описанная «тесная сутолока больших городов» [Зиммель, 2002: 30], и зафиксированное «одновременное скопление людей и их борьба за покупателя» [Там же: 32] как-то объясняют ход мысли Лангера. Ему было важно показать значимость продуцируемых культурой образов городов и их важность, сопоставимую с экономической составляющей городской жизни. Поэтому, вероятно, он проигнорировал отчеканенное Зиммелем

суждение: «Большой город настоящего времени живет почти исключительно производством для рынка, т.е. для совершенно неизвестных, самым производителем никогда не виденных покупателей» [Зиммель, 2002: 25].

С «базаром» и в России дело обстоит достаточно сложно, если оценивать его метафорический потенциал. С одной стороны, это слово исторически нагружено негативными коннотациями, что, в частности, выражается в «сексистской» поговорке «Где баба, там рынок; где две, там базар». Возможно, как раз этой исторической традицией словоупотребления объясняются неудачи прежних попыток власти использовать его в позитивном смысле. К примеру, известна попытка Н.С. Хрущева популяризовать различие между теми, «кто едет на базар», то есть полноценными работниками, и теми, «кто едет с базара», то есть теми, кому пора на покой [Яницкий, 2005].

Тем не менее о базаре как метафоре городского разнообразия речь у нас иногда идет, но чаще всего в качестве реакции на западные тенденции. Так, один Всемирный конгресс Международного союза архитекторов носил название «Базар архитектур», и в своем отчете об участии в нем российский архитектор сетует на то, что отечественный опыт на конгрессе был представлен слабо, хотя некоторые замыслы и проекты российских архитекторов по своему разнообразию и охвату вполне «тянут» на то, чтобы тоже называться «базаром архитектур» [Младковская, 2005].

Пусть базар — синоним многоцветья и разнообразия, но в повседневной реальности западного города есть блошинные и фермерские *рынки*, а название «базар» закрепилось кое-где за рождественскими ярмарками на центральных площадях. В последнее время так называют бутики и магазинчики, торгующие всякой всячиной, в первом случае играя с экзотическими восточными коннотациями, во втором — оправдывая пестрый ассортимент.

У нас же базар скорее ассоциируется с восточной дикостью, приезжими торговцами и «неорганизованной торговлей».

Проблематичное единодушие, с каким и простые жители, и интеллектуалы, и власти прибегают к так понимаемой метафоре базара, выражается во множестве сетований и суждений. Так, жители одного из пригородов Санкт-Петербурга жалуются журналистам на разгул уличной торговли дешевым ширпотребом, которые ведут «выходцы из южных республик, наверняка находясь на территории Российской Федерации на незаконных основаниях». Авторы жалобы, ничтоже сумняшеся, сваливают на приезжих участвовавшие в пригороде кражи и даже именно их считают причиной «бытового экстремизма» местных жителей. Они прибегают к такому цветистому противопоставлению: «Неоднократные просьбы к администрации Пушкинского района и милиции пресечь незаконную уличную торговлю, которая превращает “город муз” в город-базар и городскую помойку, остались неслышанными» [*Сайт ГТРК Санкт-Петербург*, 2007].

Связь базара и дикости, причем не только «привозной», как в первом примере, но и «родной», связанной с периодом первоначального накопления капитала, а теперь, предполагается, победно превзойденной, эксплуатируют и официальные лица в целях обоснования политики «регулирования» уличной торговли: «Разномастные ларьки и палатки не украшают наши улицы и дворы, и зачем нам превращать город в базар, мы прошли эти дикие 90-е годы. Сегодня Москва — одна из самых динамично развивающихся и красивых столиц мира, и все мы, ее жители, должны делать все возможное для ее дальнейшего процветания» [*Саламова*, 2007].

Противопоставление успешно преодоленного наследия прошлого и замечательного настоящего — риторический прием, сложившийся в советские времена, многократно опробованный и себя оправдавший. Так, в одной из книг о социалистических городах, выпущенных в 1930-е, читаем: «Старая Москва — такая, как она есть — неминуемо и очень скоро станет серьезным тормозом в нашем движении вперед. Социализм не втиснешь в старые, негодные, отжившие свой век оболочки»

[Строгова, 1930]. Сегодня в отжившие оболочки уличных ларьков не вписывается уже государственный капитализм.

«Базар» в высказывании столичного чиновника отсылает к периоду ельцинского президенства, от которого сегодня принято отмежевываться. Период относительной свободы малого бизнеса, часть которого только в «ларьках и палатках» и возможна, уступает сегодня место его нарастающему вытеснению, а степень государственного и муниципального регулирования торговли нарастает настолько, что нуждается для своего оправдания в сильных риторических ходах. «Базарная дикость» подается как проблематичная и эстетически («не украшающая») и социально (препятствующая «динамике» и «процветанию»). Однако если в представлении одних она (по крайней мере, в столице) успешно преодолевается с помощью эффективного менеджмента городского пространства, то, по мнению других, она как раз повсеместно торжествует в результате неправильных реформ: «Вестернизация России приводит к обратным результатам — если считать, что ожидаемым результатом должно было стать превращение *homo sovieticus* в *homo capitalisticus*. Вместо цивилизованного западного “рынка” в России образовался “восточный базар”... Таким образом, в расплату за антипатриотическую вестернизацию мы получили истернизацию и архаизацию жизненных реалий» [Малинкин, 1999: 70—72].

В последнем фрагменте игнорируется неизбежность разрыва между замыслами реформаторов и полученными результатами. Нежелательные тенденции морализаторски поданы как «расплата» за корыстно («антипатриотически») задуманные и воплощенные реформы. Негативность итогов репрезентируется темпорально — возврат к вроде бы уже преодоленному далекому прошлому («архаизация») и пространственно — воцарение якобы неорганичных нам социальных реалий («истернизация»). «Базар» как метафора изобилия возможностей и влекущего многоцветья трансформируется в эмблему чужого и чуждого, которое подстерегает всех, кто не заботится «патриотически» о границах своей общности.

Организм города: хрупкость стабильности

Уподобление функционирования городов жизни тел сложилось гораздо раньше, нежели стали широко циркулировать метафоры общества как организма. Функциональная аналогия между различными городскими пространствами и различными системами организма была наглядной, а ее риторический потенциал казался просто безграничным.

Сравнение улиц с артериями (если остановиться на самой, пожалуй, важной конкретизации масштабной метафоры города как организма) стало возможным в силу беспрецедентной популярности, какую получили идеи Уильяма Гарвея — медика, открывшего систему кровообращения. Возникнув в начале XVII века, они проникли вначале в литературу, а к началу века XVIII-го — в городское планирование. Так, Лондон времен Великой чумы 1665 года в «Дневнике чумного года» Даниеля Дефо — существо, страдающее от «лихорадки», «лик» которого отмечен «странной переменой», а улицы подобны потокам зараженной крови [Акройд, 2005: 238]. Питер Акройд замечает по этому поводу, что «неясно, то ли Лондон как единый организм болеет оттого, что болеют его обитатели, то ли наоборот» [*Там же*], и на многих страницах своей книги играет с этой двусмысленностью. То он ведет речь о том, как «смятение объединило... лондонцев в единый организм» [*Там же*: 458], то с гордостью пишет: «Нередко удивлялись тому, что город, при всем его многообразии и ошеломляющей сложности, способен действовать как единый и стабильный организм» [*Там же*: 460]. Нестесненному движению индивидов по свободным от заторов улицам должно было способствовать создание бульваров, проспектов и площадей, чем и озаботились планировщики Лондона и других европейских городов. Напротив скопление, «коагуляция» людей посреди тесных кварталов мыслились как угрожающие здоровью города.

Если тело — это система вен и артерий, объединенных большим и малым кругами кровообращения, то город — это

система улиц, под которыми пролегают трубы канализации. Если тело нуждается в постоянном притоке воды, чтобы смыть с него пот и удалить из него ненужное, то город также нуждается в надежном водоснабжении: скорость, с которой он производит нечистоты, поистине устрашающа. Как образование полостей, в которых скапливается не получающая выхода жидкость, не сулит телу ничего хорошего, так и город должен избавляться от резервуаров со стоячей водой. Литература и публицистика XIX столетия дают немало примеров выразительной разработки этой метафоры: английские архитекторы воздавали дань уважения «бессмертному Гарвею», британские изобретатели Чэдвак и Уорд и их коллеги, «создав канализацию, изобрели город в качестве места, постоянно нуждающегося в очистке» [Иллич, 2000], а выразители антипромышленных настроений о необходимости очистки городского организма говорили метафорически, указывая на вредные привычки населения, морально заразные районы и события, а также источающих опасность приезжих.

Урбанист Ричард Сеннет подробно рассматривает складывание базирующейся на метафоре тела образной системы, каталогизируя городские легкие и сердца, клоаки и лица [Sennet, 1994]. Ее суть в том, что властвующая часть городского общества опасалась заразы или загрязнения, проистекающих из разного рода гетто. Скорее всего, медицинские истоки организационной идеи города довольно скоро соединились с экономическими, ведь представлениям о городе как месте беспроблемной циркуляции товаров и благ отдавали дань и Адам Смит, и Риккардо, и многие другие экономисты, так что опасность городских беспорядков виделась прежде всего в том препятствии циркуляции труда и товаров, которое они могли составить.

Буквальное (необходимость санитарного контроля, сокращения вероятности эпидемий, проистекающих из-за бесконтрольного распространения болезнетворных организмов) и *фигуральное* (уподобление бедняков и нищих, а позднее иммигрантов эпидемии или болезни, распространение которой

надо ограничивать, пока не заражен еще здоровый городской организм) часто сплетались до неразличимости, а «органическая» образность эффективно использовалась для реализации практик социальной селекции, сегрегации, исключения. Неоспоримость необходимости санитарного контроля в отношении проблемных городских мест (к примеру, отвода под землю чрезмерно загрязненных рек) умело распространялась и на расчистку трущоб, расположенных по берегам этих рек [Gand, 1999]. Холера и желтая лихорадка не знали классовых границ, но в коллективном воображении именно трущобы были местом их зарождения. Одни группы горожан расширяли территорию обитания, колонизуя городское пространство под предлогом его очищения. Другие до конца своих дней были обречены носить стигму заразы.

В утопиях, порожденных индустриальной урбанизацией, особые надежды возлагались на «легкие» города — сады и парки, которые мыслились как временный приют для сотен тысяч горожан, ежедневно вдыхающих угольную пыль, обитающих в жилищах без воздуха и света и подолгу работающих на заводах.

Во второй половине XIX века и далее в XX веке понимание города на основе образа тела как места циркуляции был оттеснено образом организма как самовосстанавливающегося и растущего начала. Эта тенденция была связана, с одной стороны, с нарастающим разочарованием пишущих о городах в последствиях промышленной урбанизации, с другой стороны, с потребностью в метафорах, смягчающих существо процессов управления городами. Апелляция к самопроизвольному росту города открывала широкие возможности оправдания как неудач муниципальных властей, так и претензий тех групп, которые не обладали полнотой власти, но считали себя вправе влиять на происходящее. Но все-таки, как справедливо отмечает Фил Козн, метафора организма чаще использовалась для репрезентации противоположных росту процессов упадка и распада, вызванных тем, что некоторые части городского организма перестали функционировать нормально, заболели либо

стали паразитировать на тех, что еще держатся и угрожают благополучию целого [Cohen, 2003: 320].

Так, парадоксалист Ф.М. Достоевского, рисуя свою краткую историю городов мира, подчеркивает беспрецедентность «страшных» городов позапрошлого столетия, превосходящих все, что мог вообразить человек: «Это города с хрустальными дворцами, с всемирными выставками, с всемирными отелями, с банками, бюджетами, с зараженными реками, с дебаркадерами, со всевозможными ассоциациями, а крутом них фабриками и заводами» [Достоевский, 1981: 36]. Связь окружающих города фабрик и заводов и «зараженных рек» была очевидной, но антиурбанистически настроенный писатель толковал, как и его европейские единомышленники, и о другой заразе — о «фабричном разврате, которого не знал Содом».

Воображение людей в России на протяжении XX века должно было прочертить нешуточную параболу, чтобы фабрики и заводы мыслились образованными людьми уже не как источник заразы, но как сердце города: «Металлургический завод, он — сердце города родного» [Булыкин, 2007]. Грохочущий завод — сердце города, обеспечивающее все его существование, — часть изощренной метафорической системы советской официальной идеологии, одушевлявшей неорганическое в многочисленных «цементях», «гидроцентралях» и «железных потоках», а «органическую» образность приберегая для воспевания страны и партии, вскрывавшей нарывы, вырезавшей прогнившее, вдыхавшей жизнь и назначавшей героями города.

В тексте журнала «Огонек» за 1947 год идет речь о советской Риге. Пока она была «оторванной от великой Советской страны», она была в «агонии». Оживление города намертво связано в воображении автора текста с фабриками и заводами: пока они стояли, город умирал. Но все изменилось: более «вы не увидите ни одного омертвевшего завода или фабрики. Все ожило! Нет, не только ожило, все поднялось ввысь, раздалось вширь, все расцвело, наполнилось новыми жизненными соками» [Мещеряков, 2007].

Послеперестроечные перемены «перекрыли кислород» многим заводам и фабрикам: государство приостановило инвестиции в промышленность, начался передел собственности, время требовало продукции иного качества. Целесообразность существования многих заводов и фабрик была поставлена под вопрос, но сколь бы резонным это ни было по экономическим меркам, существование городов на протяжении столетий или десятилетий представляло собой симбиоз промышленного и городского. Государство, заимствуя неолиберальные технологии управления, сбросило с плеч и социальную политику, и неприбыльные отрасли экономики, предоставив и городам и заводам самим справляться с разнообразными сложностями. Это объясняет, почему еще одна распространенная «органическая» метафора перестроечных лет — «выживание» — с готовностью относилась людьми не только к самим себе, но и к промышленным предприятиям и к городам: «В сложный период безвременья девяностых у кого-то даже появилась мысль — город не выживет. Но пришел новый век, новые люди, и жизнь в Усинске опять закипела» [Усинск-Инфо, 2007]. «Борьба за выживание» завода нередко представляла собой всего лишь сдачу заводских площадей в аренду. Если «выживание города» Москвы еще в 1999 году депутатом Московской думы увязывалось со сбалансированностью городского бюджета [Сайт депутата Катаева, 2007], то теперь наблюдателю все больше приходит на ум иной смысл слова — выживание *из* Москвы тех, кто угрожает ее новому облику. Зато в многочисленных Усинсках те, кому ехать особо некуда, продолжают думать о происходящем с их городами в терминах жизни и смерти: «...закрыв шахты Гремячинска, мы обрекли этот городок на медленную смерть. И когда нашелся хоть кто-то, кто заговорил не о прошлом, а о будущем Гремячинска, — нет ему поддержки. <...> А каким он будет, если выживет, город, рожденный в годы Великой Отечественной войны и начавший умирать уже через 50 лет?» [Виноградов, 2004].

К метафоре города-организма прибегают, вызывая к справедливости, возмущаясь конфликтами мэров и губернаторов, сетуя на разорение в прошлом процветавших городов и безнадёжность их настоящего. К примеру, в материале, красноречиво названном «Город с остановленным сердцем», живописуется деиндустриализация Воронежа, его «развал», разоренные заводы: одни бесконечно перепродаются, другие перепрофилированы [Ленцев, 2005]. Резюме автора, нарисовавшего выразительную картину дележа городских ресурсов московскими бизнесменами и ее бесстыдного приукрашивания политтехнологами, неутешительно: «В это время и город и область, весь потенциал которых когда-то составляли “оборонка” и растениеводство, сдыхают».

Для описания городских проблем используются все вариации «корпоральной» метафоры. Вот известный урбанист изящно обозначает сложности развития городской инфраструктуры: «...точки соприкосновения города и дороги остаются невралгическими пунктами градостроительства» [Глазычев, 1990]. А вот что говорится о городе в Карелии, зависимом от своего целлюлозного завода: «Завод всегда был главным кормильцем города, поставщиком тепла и воды. Полторы тысячи горожан работают на предприятии, а это значит, что благополучие их семей непосредственно зависит от состояния дел на заводе. Образно говоря, ЦЗ “Питкяранта” — это сердце города, его основной жизненно важный орган. Года три назад сердечко наше стало “пошаливать”. В нынешнем году предприятие простояло 130 дней, установив своеобразный “рекорд” по длительности простоев» [Куртякова, 1998].

Индустриальная «заточенность» многих российских городов действительно мешает нам представить, каким еще образом, в отсутствие заводов, они могут «органически» существовать. Нужды больших заводов определяли и форму городов (чего стоит один Волгоград, растянувшийся почти на сто километров, когда городская среда была вынуждена заполнять промежутки между примыкающими к реке заводами), и их жи-

Sergei Miturich, * 1946, Grafiker, Moskau / Yuzha
 Savva Miturich, * 1949, Grafiker, Moskau / Yuzha
 Alexander Sverdlov, * 1971, Architekt, Rotterdam
 Moskau; Boris Spiridonov, * 1948, Künstler und
 Grafiker, Moskau

SURVIVAL MANUAL / ÜBERLEBENS- HANDBUCH, 100 / 2004

Format: 110, 10 Seiten, A3, Querformat

Die örtlichen Hausbesitzer vermieten an die Moskower und sind so in der Lage, in Apartment oder Haus in Yuzha zu mieten und ein zusätzliches Einkommen zu haben

6. Exchange

type of work
 place/season
 tools/equipment
 investment
 earnings in Euro

1 Moscow, 2 Yuzha; 3. Village

Elder Muscovites rent out their Moscow apartments. They rent a village house with a garden. The price difference and the lower cost of living in the village allow them to have a better standard of life. The local inhabitants, by renting out their houses to Muscovites, are able to rent an apartment or a house in Yuzha and to have an additional income

exchanging and leasing the property
 Moscow, Yuzha, village close to Yuzha
 none
 moving costs
 € 40,- to € 90,- per month

6. Обмен

1 М

Обмен и сдача в аренду



«Выживание» как компонент органической метафоры легло в основу ряда арт-проектов, документировавших повседневность 1990-х. Сергей Митурич, Савва Митурич, Александр Сverdлов и Борис Спиридонов для организованной в Германии в 2002—2008 годах масштабной выставки «Убывающие города» (Shrinking Cities, 2006) подготовили «раскладушку», демонстрирующую конкретные практики выживания, в частности сдачу людьми внаем доставшегося им в собственность жилья

лищный фонд. Мэр южноуральского города Златоуста объединяет в своей оптимистической тираде и «организм», и традиционные советские «засучив рукава» и «отбросив перекосы»: «И только сейчас, когда пройден самый сложный этап, когда мы все вместе уже работаем над программой социально-экономического развития города, к специалистам и первым руководителям пришло осознание того, что город — это единый организм, что без предприятий Златоуст не сможет жить. Как, впрочем, и предприятия без города. Это как сообщающиеся сосуды. Все окончательно поняли, что надо работать, засучив рукава, отбросив все ненужные пересуды, перекосы, и успех придет» [Челябинская пресса, 2007].

Однако двусмысленность сегодняшней ситуации, когда всем ясно, что далеко не все «градообразующие» заводы продолжают функционирование хотя бы в какой-то форме, отражается в противоречивом использовании «органической» образности. Вот пример использования той же самой метафоры для фиксации диаметрально противоположной картины происходящего: «Мы продолжаем жить в старой инфраструктуре: старые дороги, старые заводы, старая система образования, университеты, которые как-то поддерживаются старыми преподавателями, — это то, что мы имеем. Не становление новой системы, но финальный этап разложения старого. Современная политэкономия России — это политэкономия червей, которые живут в трупе и пытаются из этого трупа что-то для себя организовать, какой-то активный организм. Это не муравьи, которые могут построить, а черви, они могут лишь продолжать потреблять эту разлагающуюся плоть» [Кагарлицкий, 2007].

Другой пример амбивалентной мобилизации метафоры организма находим в высказываниях архитекторов. Одни из них не лишены лукавства, когда, к примеру, выздоровление города ассоциируется с возможностью пренебречь историческим наследием во имя новой застройки. Слова липецкого архитектора переданы журналистом так: «По мнению градостроителей, все волнения равнодушных горожан о том, что

уничтожается исторический облик города, архитектура — необоснованны. Главный архитектор уверена, город — живой организм, и он должен постоянно обновляться, “подлечиваться”, “создавать комфортные условия горожанам» [Город 48]. Самарский архитектор формулирует свою позицию куда тоньше, настаивая, что «город, с одной стороны, рукотворный объект, построенный людьми с использованием планов и норм, а с другой стороны, это слишком большой и сложный организм, чтобы целиком зависеть от людей. Это система, которая сама себя выкладывает в пространстве. Поэтому мы его считаем как бы живым организмом, развивающимся по своим законам и имеющим свои интересы» [Сергушкин, 2007].

В данном и подобных многочисленных суждениях метафора организма используется для того, чтобы указать на пределы городской политики — они формулируются людьми, претендующими на понимание законов существования города, для чего и нужен образ организма как саморазвивающегося и растущего начала

Радиоактивные джунгли и инспекторы-лемуры

Распространенность «джунглей» как метафоры капиталистического мегаполиса восходит к одноименному роману Эптона Синклера, опубликованному в 1905 году. Роман был написан в итоге «творческой командировки» писателя в Чикаго — город, в начале XX века ставший «родиной» урбанистической теории. Если ее основателей интересовали возможности объективного изучения и управления стремительно прибавляющимся населением, то Синклер историю семьи литовского эмигранта Юргиса кладет в основу масштабного литературного повествования. В нем он с марксистской страстью запечатлевает цену, которую простые люди платят за свершения индустриальной революции. Город плавлен и скотобоев, Чикаго

притягивал к себе все новые и новые семьи иммигрантов, обрекая их на бесконечную борьбу за существование. «Выживает сильнейший» — этот закон джунглей царит в Чикаго, и Синклер показывает механику «негативной селекции» недавних приезжих, когда ни добродетель, ни прилежание, ни жажда справедливости не помогают Юргису и его семье в борьбе с домогательствами надсмотрщиков на заводе, хозяев квартир, полицейских и судей.

В течение XX века дарвиновские обертоны метафоры сохранились, но нередко она используется и просто для фиксации скученности, переполненности городского пространства людьми и вещами. У философа Б. Вальденфельса читаем, что, «когда речь заходит о большом городе, перед нашим внутренним взором снова и снова всплывает образ необозримой и непроходимой чащи или джунглей» [*Вальденфельс*, 2002: 10—11]. А другой философ, известный своей острой неприязнью к Америке, весьма предсказуемо называет «джунглями даунтауна» одну из самых «неевропейских» черт ее городской среды — скопление небоскребов в деловом центре [*Бодрийяр*, 2000: 184].

Доминирование «негативности» в коннотациях метафоры «город как джунгли» можно проследить на нескольких недавних примерах. «Бензиновые джунгли» — название репортажа о плохом качестве бензина, продаваемого в Москве [*Орлов*, 2005]. «Маугли в джунглях города» — под таким заголовком выходит в августовской (за 2007 год) «Восточно-Сибирской правде» материал о неблагополучных семьях и брошенных, голодных детях, пьющих воду из луж и отправляемых в детские дома. Герой Киплинга помнится авторам заметки, скорее всего, по удачному советскому мультфильму. Обреченность детей на полуживотный образ жизни в силу того, что их родители перестали жить по-людски, — вот что здесь выходит на первый план.

Этот пример перекликается с образом джунглей как пространства, в котором и не начиналась «работа культуры». В кураторском манифесте выставки «Арх-Москва—2007», посвя-



**Арт-стрелка в Москве хоть и не всегда выглядит столь
удручающе, но все же иллюстрирует тезис о том, что
городская среда отстает от громких проектов,
вызывая ассоциации с джунглями**

щенной городскому пространству, редактор архитектурного журнала «Проект Россия» Барт Голдхоорн с помощью этой метафоры фиксирует контраст между достойно выполненными отдельными архитектурными объектами и общим состоянием города: «Но насколько разнится эта картина, если перевести внимание с конкретных, пусть и хорошо построенных зданий на пространство города, которое их окружает. В самых дорогих районах Москвы улицы выглядят не лучше, чем в самых маргинальных: битый асфальт, дворы с контейнерами, доверху заполненными мусором, беспорядочно запаркованные автомобили, чахлая зелень, с трудом выживающая в каменных джунглях. Архитектура здесь касается только самих зданий и их ближайшего окружения. Как правило, различные постройки никак не связаны друг с другом. Несмотря на то что все они являются частью одного генплана, получается только какофония на фоне вышеупомянутого городского “шума”» [Голдхоорн, 2007].

Пространство, которое миновала работа культуры, джунгли — это символический приют «ультраправых и расистов», которым в приличном, то есть цивилизованном городском обществе, места нет, — такой вариант этой метафоры развит популярным критиком [Агеев, 2002]. На призыв коллеги к «территориальной любви», которая может, предполагается, объединить в одном пространстве представителей всех идеологий, критик предупреждает, что «ультраправые» — «это те джунгли, которые тут же готовы поглотить город, в котором прекратилась работа культуры».

Если в приведенных выше примерах «джунгли» олицетворяют нечеловеческое существование и бесчеловечные идеи, то следующий пример добавляет еще и противопоставление природы и города, обыгрывая двусмысленность зрелища буйной зелени посреди городских улиц. На сайте города Припять помещены фотографии пышной растительности под заголовком «Джунгли Чернобыля» [Pripyat.com], а один из журнальных репортажей оттуда отсылает к образу зелени (джунглей) как фик-



Снимок сделан в районе Золотой мили Москвы

сирующему безнадежность «вторичного одичания» городской жизни: «Теперь пустая Припять — самый зеленый город Украины. Деревья растут здесь как хотят и как могут: из пола школьного спортзала на втором этаже — благо окна выбиты, дождь поливает, из канализационного люка, сквозь щели лавочек и сетку футбольных ворот, перед дверями подъездов и на балконах. Были бы у нас джунгли — город бы уже исчез, но березы да осины не справляются с этой задачей. Так что лозунг “Здоровье народа — богатство страны” над больничной крышей пока виден издалека. Но туристы, преимущественно иностранные, все равно довольны: ну где еще куст папоротника растет в гнезде электропроводки?!» [*Старожницкая*, 2007].

Но стремление к «позитивности», преобладающее в сегодняшнем массовом дискурсе, сказывается и на использовании этой метафоры. Журналист «Независимой газеты» кокетливо именует джунглями городские промышленные зоны, разбирая примеры повсеместной конверсии заброшенных промышленных зданий в музеи и культурные центры [*Семенова*, 2007]. Еженедельник «Строительство и недвижимость» повествует о новых принципах эффектного вертикального озеленения под заголовком «Каменные джунгли расцветают» [*Алексеева*, 2007]. Коммерциализация экзотических мест как возможности получить новый опыт проявляется в риторике программирования жизненного стиля, мобилизуемой рекламными агентствами для продвижения на рынке дорогих товаров и услуг:

«Джунгли» в этом случае становятся дополнительным дискурсивным средством позиционирования потенциальных покупателей как вливающих в одну дружную глобальную семью тех, кто предпочел данный продукт. В статье интерьерного журнала воспевается новая линейка керамической плитки, имитирующей шкуру диких животных: «Стены, одетые в “кожу” вепря, слона или крокодила, необычны и вызывающи. Интерьер этой кухни — для настоящего мужчины, ищущего приключений в джунглях современного мегаполиса» [*Овчинникова*, 2007]. В рекламной кампании внедорожника Toyota RAV-4



**Фотография Г. Щукина
«Турагентство “Тропический рай”»,
представленная на конкурс «Городские джунгли»
(URL: <http://foto.rambler.ru/topics/31757209/date/>)**

«джунгли» олицетворяют цепочку приключений, пускаясь в которые герой — владелец машины все же надежно защищен от досадных препятствий вроде бестолковых пешеходов, инспекторов ГИБДД и открытых люков [Индустрия рекламы, 2005].

Наконец, еще один вариант использования образа джунглей состоит в том, что с их помощью сегодняшний автор говорит не столько о населяющих город людях и отношениях между ними, сколько поэтически описывает само городское пространство. Один пример — куплет песни, в котором, хотя и фиксируется плотность, «напичканность» города людьми, событиями, вещами, главное — это меланхолическая точка зрения, в которой видно сходство предметов и строений с обитателями джунглей.

Город — джунгли,
 Дворы — колодцы, из темноты жмурятся окна домов.
 Город — джунгли,
 Заводов с окраин трубы-хвосты, привычный утренний смог.
 Город — джунгли,
 И старой газеты летучая мышь носится по площадям,
 Город — джунгли,
 Здесь так много всего, но только сны остались мне от тебя.

Другой пример взят из архитектурного эссе, посвященного Новосибирску (с той оговоркой, что речь в нем идет не о джунглях, а о лесе — эта подмена кажется мне простительной): «Если бы город был лесом, то новые дома семенами отсеивались и сами вырастали, а старые сгнивали на корню, падали и, разрушаясь, уходили в землю без всякой тебе морочи. Живешь в таком городе-лесе, и все тебе любо и дорого, и все сердце радуется. Пусть иногда и лесок неказистый, и почва мало родит, и холодновато порой, но это природа, создание не рукотворное, критике не подлежит! Но город не лес. По городу, по-

строенному людьми, можно сказать, что за люди здесь живут, какие здесь нравы и какое время на дворе» [*Тайченачева*, 2007].

«Неподсудность» плодов органической эволюции здесь противопоставлена открытости для критики города как результата чьих-то интенций и чьей-то деятельности. Законы природы не оспоришь, другое дело — жить-переживать, понимая, что ты обречен на это в результате чьих-то амбиций или глупости.

Город как машина и город машин

Из всех разбираемых здесь метафор ассоциация города и машины получила, наверное, самое богатое выражение в кинематографе — от «Метрополиса» Фрица Ланга до «Матрицы» братьев Вачовски. И в том и в другом культовом фильме обыгран разрыв между теми, кто создает и планирует, и теми, кто встроен в результаты планирования, нередко против собственной воли. И в том и в другом машины используют людей в своих целях: дьявольская кукла подбивает рабочих на бунт, разрушивший хрупкое равновесие города, а машины, создавшие Матрицу, получают энергию из людей и «зомбируют» обитателей корпоративного мира. Одна из самых предсказуемых и банальных, эта связь сложилась еще в допромышленные времена. Как пишет Анри Лефевр, под напором капиталистической механизации город бы полностью исчез, как исчезли его феодальные черты — крепостные стены, гильдии ремесленников, контролируемые территории, ограниченные рынки, не представляй он собой от века «огромную машину, автомат, захватывающий природные энергии и продуктивно их потребляющий» [*Lefebvre*, 1991: 344—345].

Однако именно промышленный город середины XIX столетия способствовал быстрому утверждению механистических, машинных метафор. От мотора как метафоры производительного труда к машине как метафоре эффективного преобразо-

вания природных веществ и энергии в полезные людям продукты — этот путь использования метафор был пройден социальной теорией XIX века за считанные десятилетия. Полезность продуктов работы машин для всех — этот ход мысли был настолько популяризован «прогрессистской» идеологией, что долгое время автоматически переносился на образ города-машины. Последний, в частности, мыслился как «динамо-машина», вращающаяся для блага всех горожан [*Ganz, O'Brien, 1973*]. Но не происходит ли так, что разговоры властей об общем благе используются для того, чтобы «динамить» горожан, если воспользоваться грубоватым позднесоветским жаргоном, то есть уклоняться от выполнения обещаний? Риторiku роста, используемую городскими властями, разобрал в 1970-е Харви Молоч — американский городской социолог и автор метафоры «город — машина роста» (см. об этом подробнее в главе о городской политике). «Машина роста» — это не город как таковой, а коалиция элит, нацеленная на извлечение прибыли из городской земли и всего, что на ней возведено.

Добавим, что разговоры о том, что город растет и развивается, ведутся сегодня в каждом российском городе, и нередко они ведутся так, чтобы за уподоблением города агенту — соревнующемуся с другими и опять же развивающемуся — скрыть тот факт, что городская жизнь принципиально фрагментарна и сложна, что нет развития без конфликта, что элита и ее интересы — это далеко не весь город. Немаловажно и то, что «машина роста», продвигающая экономический рост, объединяет в коалицию не только административную элиту и масс-медиа, но и местных интеллектуалов.

Не этим ли объясняется отсутствие у нас сколько-нибудь внятной рефлексии последствий стремительного роста дорогой жилой и торговой недвижимости в большинстве российских городов? Политические технологи и эксперты в марксистской риторике, как правило, не нуждаются. Превалирующий сегодня дискурс технократического экономического менеджмента с его двумя главными «кричалками» — «оптими-

зацией» и «эффективностью», а теперь еще и «инновациями» — предопределяет весьма избирательное прочтение марксистского текста Молоча как источника «правильной» риторики. Ее без помех можно включать в процветающее сегодня дискурсивное обслуживание интеллектуалами не столько городских элит, сколько федеральных национальных интересов: «Активная экономическая политика не только предотвратит сползание в рецессию, но и сделает Россию притягательной для стран-партнеров. Превратив Россию в региональную “машину роста”, мы сможем изменить ее восприятие в мире и усилить ее международное влияние» [Магомедов, 2009]. В более поздних своих текстах Молоч и его соавтор Логан еще более определенно описывают махинации городского истеблишмента, указывая, в частности, на «бесконечное лоббирование, манипулирование и задабривание» как на ключевые ресурсы, из которых сделаны большие города [Logan, Molotch, 1987: 293].

Сопоставимую со сквозящей здесь исследовательскую свободу, с какой вещи называются своими именами, в наших экспертизе и аналитике не найти: они нередко мыслятся, увы, как полностью безоценочные. Справедливости ради надо сказать, что, когда речь идет о национальной коалиции элит, в нашей литературе есть достаточно нелицеприятные описания того, какими именно средствами они спланиваются: «Механизмом консолидации элит в России стало исключение несогласных и устрашение колеблющихся, обеспеченное серией показательных процессов над лидерами крупного бизнеса и публичной сферы» [Щербак, Эткинд, 2005].

Большинство российских городов успешно превращены за последние десятилетия в «машины роста», и пока трудно сказать, какое именно метафорическое выражение этот процесс получает.

Сейчас он проявляется в циркулировании метафорических выражений, далеких от «города как машины» лексически, но связанных с дискурсивным выражением именно тех социальных и политических тенденций, что эта метафора фиксирует.



**Пешеходы остановились перед сияющим макетом
Москва-Сити — гордости московской «машины роста»**

Я имею в виду совокупность метафор, связанных с *коммодификацией* городов. Город — в лице городских властей — поэтому занимается «маркетингом» самого себя как товара, на который стоит потратиться, вложив в него средства.

Дискурсивный напор продвигающих свои товары на российском рынке субъектов сегодня столь силен, что метафорическая природа позиционирования города как товара далеко не очевидна. Брендинг городов осложняется сохраняющимся индустриальным и советским обликом большинства из них, что подмечено в метафоре российского города как машины времени. Вот студенты нижегородской «Вышки» совершают образовательную экскурсию, в ходе которой, весьма предсказуемо и типично для почти любого города, «старинные здания сменялись постройками советской эпохи, а последние уже современными громоздкими торговыми центрами и домами. Наверное, поэтому маршрут захотелось бы назвать как Старый Нижний — Город Горький — Нижний Новгород нового поколения» [Архитова, 2008]. «Да, город динамично изменяется, стремительно меняет свой облик», — хорошо знакомыми нам заклинаниями завершает автор свой репортаж, совпадающий по тону с тем, как мэры и девелоперы, отчитываясь о построенном, словно не видят, что их гордость — все новые и новые объекты — одиноко возвышаются над давно сложившейся городской средой, которую не изменишь, по крайней мере «стремительно». А вот на сайте российских командированных та же метафора приходит на ум побывавшему в печально известном северном городе: «Воркута — это город машина времени. Да. Попадете Вы в середину 1980-х годов. Город напичкан советской символикой по самое горло. Что смотрится забавно. Домишки хоть и раскрашены в разные цвета, но все же выглядит все нерадостно. Жил в гостинице “Воркута”. Бронировал номер по телефону за день до приезда, за что пришлось заплатить 50 % от стоимости номера!!! Как мне сказали — северные расценки у них, шутников. Номер нормальный достался, 2500 р., но полчаса из крана будет стекать ржаво-угольная вода <...>

В гостинице не знают что такое Интернет. Гулять в городе негде, поесть тоже туго» [Викинг, 2008].

Скудость, с какой «город как машина» представлен в российской Сети, объясняется, вероятно, весом десятков миллионов реальных машин, что подчинили себе городскую жизнь за последние десятилетия. Картина, нарисованная В. Высоцким в «Песне о двух красивых автомобилях»: «Без запретов и следов, об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов рвутся за город машины, — И громоздкие, как танки, “Форды”, “Линкольны”, “Селены”, Элегантные “мустанги”, “Мерседесы”, “Ситроены”, стала реальностью. Вот и кишит наша Сеть рассказами о «Городе машин» (крупнейшем автомагазине под Москвой), советами, как утилизировать старый автохлам, поэтичными маркетинговыми зарисовками под заголовками «Прелесть маленькой машины». Вот и отмечена она активнейшей коммуникацией автовладельцев, которые и на городских улицах периодически демонстрируют вызывающую сильное уважение сплоченность, противостоя неиссякаемой изобретательности городских и федеральных элит.

Некоторые итоги

Представленные читателю наблюдения и соображения показывают проницаемость границ между социологическим и популярным дискурсами, свидетельствуя о широкой распространенности классической урбанистической метафорики. Сложившиеся более века назад метафоры продолжают управлять пониманием и обрамлять восприятие городов. Если одни метафоры (джунгли прежде всего) употребляются в основном для выражения тех же смыслов и оценок, что сложились во времена классической социологии, то сегодняшнее функционирование других метафор сильно отличается от описанного Лангером прежде всего в том отношении, что они почти не употребляются позитивно — для выражения возможностей,

разнообразия и целостности города. Как это можно объяснить? Хотя классическая социология отдавала себе отчет в сложностях репрезентации социальной (городской) жизни посредством теоретического языка, только в последние десятилетия стала ясной его принципиальная непрозрачность, выражающаяся в том, что его понятия могут жить своей жизнью, все больше отдаляясь от усложняющейся социальной динамики. Возможно, поэтому позитивные смыслы метафор базара и организма применительно к городу больше не подкрепляются противоречивым опытом городского существования. С другой стороны, метафоры реифицируются и конденсируются, особенно в официальном и сориентированных на него дискурсах, не столько репрезентируя, сколько *пряча* реальные процессы. С разговорами о том, что пора прекратить делать из города базар, проще перераспределять собственность, а поэтичными ссылками на растущий город-организм удастся оправдывать деятельность альянсов девелоперов и отцов города. «Своя» жизнь метафор проявляется и в том, что они сталкиваются и сливаются, а иногда и исчезают, и, по-моему, этим можно объяснить судьбу «машинной» метафоры в постсоветском дискурсе: сегодняшний город — это город автомашин, которые, несмотря на сложности перемещения, дают свободу, исключавшуюся индустриальным «городом-машиной».

Агеев А. Голод 76. Практическая гастроэнтерология чтения // Русский Журнал. 2002. 13.06. [Электрон. ресурс]. URL: http://old.russ.ru/krug/20020613_ageev-pr.html

Акройд П. Лондон. Биография. М., Изд-во Ольги Морозовой, 2005.

Алексеева Л. Каменные джунгли расцветают [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.nestor.minsk.by/sn/2007/04/sn70401.html>

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.

Архипова И. На «машине времени» картины города сменяются в режиме диафильма. [Электрон. ресурс]. URL: <http://hse.nnov.ru/news/2008/October%202008/1910.html>

Бодрийяр Ж. Америка. СПб., 2000.

Булыкин А. Стихотворение о заводе города Аши Челябинской области. 2007. [Электрон. ресурс]. URL: www.amet.ru/history.html

Вальденфельс Б. Одновременность неоднородного. Современный порядок в зеркале большого города // Логос. 2002. № 3.

Викинг. Пост на сайте «Командировка». 2008. [Электрон. ресурс]. URL: http://comandirovka.com/cities/detail_otziv.php?ELEMENT_ID=125420aID=1239aSECTION=153

Виноградов И. Второй шанс Гремячинска // Капитал Weekly. 2004. № 10. 31 марта. [Электрон. ресурс]. URL: <http://kapital.perm.ru/number/details/596>

Витгенштейн Л. Философские исследования. Ч. II, § 11 // Витгенштейн Л. Философские труды. М.: Гнозис, 1994.

Глазычев В. Мир архитектуры. 1990. [Электрон. ресурс]. URL: http://www.glazychev.ru/books/mir_architecture/glava_5/glava_05-01.html

Голдхоорн Б. Манифест куратора. 2008. [Электрон. ресурс]. URL: http://www.archi.ru/events/extra/event_current.html?eid=826afl=2

Город 48. Информационный портал Липецка. [Электрон. ресурс]. URL: <http://gorod48.ru/sokolsky/autor-175.html>

Достоевский Ф. Полное собр. соч.: В 30 т. Т. 23. Л., 1981.

Женетт Ж. Пространство и язык // Женетт, Ж. Фигуры. Т. 1. М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. С. 77—80.

Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3—4.

Иллич И. H₂O и воды забвения // Индекс. Досье на цензуру. 2000. № 12. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.index.org.ru/journal/12/illich.html>

Индустрия рекламы. 2005. №5. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.adindustry.ru>

Иоас Х. Креативность действия. СПб.: Алетейя, 2005.

Кагарлицкий Б. Встретились два вырождения // Художественный журнал. 2007. № 64 [Электрон. ресурс]. URL: <http://xz.gif.ru/numbers/64/kagarlitskiy/>.

Карпенко О. И гости нашего города // Отечественные записки. 2002. № 6.

Куртякова Т. Тучи рассеиваются // Карелия. 1998. № 48. 20 ноября 1998 года. [Электрон. ресурс]. URL: http://www.gov.karelia.ru/Karelia/511/t/511_4.html

Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990.

Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: УРСС, 2004.

Ленцев И. Город с остановленным сердцем // Завтра. 2005. № 588. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/05/588/43.html>

Магомедов З. Как завести машину роста // Эксперт. 2009. № 15 (654). 20 апреля 2009 [Электрон.ресурс]. URL: http://www.expert.ru/printissues/expert/2009/15/kak_zavesti_mashinu_rosta/

Малинкин АН. Социальные общности и идея патриотизма // Социологический журнал. 1999. 3/4. [Электрон.ресурс]. URL: <http://www.socjournal.ru/article/261>

Маслова Л. Снимите это немедленно. Арендуя чужое, понимаешь себя // Русская жизнь. 2007. № 13. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.rulife.ru/mode/article/334/>

Мещеряков А. Советский хронотоп: Покорение пространства и времени. [Электрон. ресурс]. URL: http://www.l.u-okyo.ac.jp/zslav/postcom/01meshch_ru.html

Младковская АМ. Город: базар архитектур. Итоги XXII Всемирного конгресса Международного Союза архитекторов // Архитектура и строительство Москвы. 2005. № 5. [Электрон. ресурс]. URL: http://www.asm.rusk.ru/05/asm5/asm5_4.html

Овчинникова Е. Гармония чистоты // Идеи вашего дома. 2007. № 8. [Электрон. ресурс]. URL: www.ivd.ru/document.xgi?id=6439

Орлов П. Бензиновые джунгли // Версия. 2005. № 22 (345).

Сайт ГТРК Санкт-Петербург. [Электрон. ресурс]. URL: http://rtr.spb.ru/People_line/gorod.asp?Page=6

Сайт депутата Катаева. 2007. [Электрон. ресурс]. URL: <http://kataev.mos.ru/nprav/25/stat/byudjet.htm>

Саламова М. Не превращать город в базар // Московская правда — Московское собрание. 2007. 26 сент. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.mpress.ru/vlasti/smi.aspx?id=99350>

Семенова Е. Джунгли города. Колониальная жизнь художников // Независимая газета. 2007. 6 авг. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.ng.ru/saturday/2007-08-06/>

Сергушкин А. Интервью с профессором архитектуры Татьяной Ребайн «Город подобен живому организму, подчиняющемуся собственным законам». [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.samru.ru/riet/gost/20645.html>

Старожницкая М. Заселение Припяти // Огонек. 2007. № 22. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.ogoniok.com/4998/18/>

Строгова В. Музей на вольном воздухе // Города социализма и социалистическая реконструкция быта / Сост. Б. Лунин. М.: Работник

просвещения, 7-я типография Мосполиграф «Искра революции», 1930.

Тайченачева Т. Мыслить городом // Новости российской архитектуры. 2007. 28 июля. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.a3d.ru/architecture/stat21>

Усинск-Инфо. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.usinsk.info/index.php?module=subjects&func=printpage&pageid=34&scope=all> — 5к

Хокинс Д., Елейсли С. Об интеллекте. М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2007.

Челябинская пресса, 2000. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.chelpress.ru/newspapers/ZR/archive/07—07—2000/5/ZR05.DOC.shtml>

Щербак А., Эткинд А. Призраки Майдана бродят по России: превентивная контрреволюция в российской политике // Неприкосновенный запас. 2005. № 43. [Электрон. ресурс]. URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/43/sh6.html>

Яницкий О. О бедности как социальном явлении // Индекс. Досье на цензуру. 2005. № 21. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.index.org.ru/journal/21/yanizki21.html>

Cohen P. Dual Cities, Third Spaces, and the Urban Uncanny // A Companion to the City / Ed. Bridge G. and Watson S. Oxford, UK: Blackwell, 2003. P. 316—330.

Fairclough N. Media Discourse. London: Arnold, 1995.

Gand M. The Paris Sewers and the Rationalization of Urban Space // Transactions of the Institute of British Geographers. 1999. Vol. 24. P. 23—44.

Ganz A., O'Brien T. The City: Sandbox, Reservation, or Dynamo // Public Policy. 1973. № 21. (Winter). P. 107—123. Цит. по: *Langer P.* Sociology — Four Images of Organized Diversity // Cities of the Mind: Images and Themes of the City in the Social Sciences / Eds. Rodwin L., Hollister R.M. N.Y.: Plenum Press, 1984.

Gregory D. Geographical Imaginations. Oxford, UK: Blackwell, 1994.

Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. N.Y.: Basic Books, 1999.

Langer P. Sociology — Four Images of Organized Diversity // Cities of the Mind: Images and Themes of the City in the Social Sciences / Eds. Rodwin L., Hollister R.M. N.Y.: Plenum Press, 1984. P. 97—118.

Lefebvre H. The Production of Space / Trans. Nicholson-Smith D. Oxford, UK: Blackwell, 1991.

Logan J.R., Molotch H.R. Urban Fortunes: The Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press, 1987.

Matoré G. L'espace humain: L'expression de l'espace dans la vie, la pensée et l'art contemporains. Sciences et techniques humaines. P.: La Colombe, 1962.

Mithen S. The Prehistory of the Mind. London: Thames and Hudson, 1999.

O'Tuathail G. Critical Geopolitics. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1996.

Paasi, A. Deconstructing Regions: Notes on the Scale of Spatial Life // Environment and Planning. 1991. A 23. P. 239—254.

Paasi A. Territory // A Companion to Political Geography / Eds. Agnew J., O'Tuathail G. Oxford, UK: Blackwell, 2003. P. 109—122.

Pile S. The Body and the City: Psychoanalysis, Subjectivity and Space. London: Routledge, 1996.

Pripyat.com. [Электрон. ресурс]. URL: http://pripyat.com/ru/internet_photo/zona/2/1321.html

Sennet R. The Flesh and the Stone. The Body and the City in Western Civilization. L: Faber, 1994.

Shrinking Cities / Ed. P. Oswalt et al. Vols.1—2. Berlin: HatjeCantz Publishers, 2006.

Thomson E.P. The Making of English Working Class. L: Victor Gollancz, 1963.

Van Dijk T.A. Discourse, Power and Access // Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis / Eds. Caldas-Coulthard C.R., Coulthard M. L: Routledge, 1996.

Vidler A. The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.

White H. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Будущее городов

Реальность — в том числе и городская реальность — часто открывается нам только как уже интерпретированная. Париж в восприятии худо-бедно образованного человека неотделим от торговых пассажей, описанных Беньямином, от размноженных в миллионах фотографий парочек, целующихся на набережных Сены. Сказав «Монпарнас», ты слышишь в своей собственной голове отклик — «богема». Увидев смуглого человека в парижском метро, перебираешь в голове эссе парижских философов о горящих в пригородах машинах. При слове «Лувр» вспоминается пирамида Пея, преобразившая серо-желтый песчаник королевского двора. А можно не умничать, а вспомнить (снятые где-нибудь в Таллине) стройные ряды мушкетеров в небесно-голубых плащах, столь памятные по советскому фильму.

Но не только восприятие, но и опыт городского существования пронизаны словами, образами и знаками. Физическое в нем — пустая улица ранним утром, глоток относительно свежего воздуха, скованность движений — сплетено с символическим: за десять минут ожидания машины, что отвезет тебя в аэропорт, тебе могут вспомниться и одиночки на картинах Дэнниса Хоппера, и твое первое возвращение домой на рассвете, в сонной голове промелькнет что-то про добродетельность встающего рано человека и утопичность предвосхищения им целого дня. Язык, текст, дискурс повсеместны в том смысле, что

мы не в состоянии избежать отбирающих, фильтрующих и преобразующих реальность эффектов нашей интеллектуальной оснастки, ограничивающего воздействия наших интерпретативных рамок и сетей метафор. Эти рамки и сети не столько ограничивают, сколько пронизывают наш опыт, и без них он был бы плоским и бесцветным. Его бы вообще без них не было. И уж тем более велика их власть, когда речь заходит о будущем: схемы и прожекты, предсказания и сценарии — как еще мы можем заглянуть в завтра?

Кого из нас не преследует опыт прогулки по старому центру европейского города с его уличными кафе и скверами, небольшими площадями и необычными магазинами, вкусно пахнущими рынками и духом истории, которым пропитаны здания, кварталы и, кажется, сами обитатели! Помню громкое восклицание девушки из Сан-Франциско, услышанное перед входом в ресторанчик на Монмартре: «Ах, если бы только я могла здесь поселиться! Вся моя жизнь была бы совершенно иной!» Какая ирония! Я имею в виду то немалое число американцев, что могли бы с энтузиазмом произнести эту фразу как раз о Сан-Франциско. И есть, конечно, немалое число русских, украинцев и их собратьев, которые вообще не столь разборчивы: для них удачно поселиться и вписаться просто где-то «там» было бы неплохой жизненной перспективой. Эта связь между жизнью и местом, между лучшей, возможной жизнью и городом, который даст ей возможность состояться, связь между твоей жизнью и твоим будущим городом обостренно переживается каждым. Сидя в долгих пробках, претерпевая шум улицы во время бессонницы, добывая справки в присутственных местах, сталкиваясь со жлобством, свои огорчения мы резонно связываем с городом, в котором живем. Но будем объективны: мегаполис, с его сумасшедшим ритмом, пестрыми обитателями, манящей новизной продуктов и переживаний, ощущением включенности в происходящее, составляет родную для многих из нас среду. Среду, которая создается веками. В одних случаях это происходит таким фантастически удачным образом, что

город на века становится магнитом воображения. В других, более нам знакомых, вроде бы удалось создать приемлемую для жизни среду, однако и все новые вызовы подстерегают, и не заходимся мы от восторга при виде возводимого и восстанавливаемого. Будущее нашего города вовлечено и в мечты, и в повседневные резоны: что будет с ценами на жилье, бензин и автомашины, «встанут» ли Москва и другие крупные города, с какими детьми будут играть наши внуки.

Мы вряд ли сможем эффективно повлиять на то, как повернется дело. Понимание это сильно отличает наших современников: они часто лишены общей для энтузиастов проекта модерности уверенности в возможности рационального планирования и регулирования совместной жизни людей — в противопоставлении тому, как она налаживается «стихийно». В XX веке практически повсеместно были воплощены идеи модернистского планирования городов, и результаты этого воплощения особенно выразительны на постсоветском пространстве, где до сих пор царит бетонная монотонность спальных районов.

Будущее городов давно составляет предмет увлеченных спекуляций. Начиная с описания Платоном в «Государстве» идеального города-государства прогрессивные реформаторы и визионеры Фредерик Стаут, Ричард Легейтс, Фредерик Ло Олмстед, Эбенезер Ховард, Патрик Геддес, Ле Корбюзье, Николай Милютин и даже принц Чарльз пытались сформулировать теоретические основы рационального городского планирования. Потребовались десятилетия экспериментов с социальным жильем, новой архитектурой и так далее, чтобы стал очевиден чрезмерный радикализм модернистской планировочной традиции. Корбюзье, который уличные кафе считал грибком, разъедающим тротуары Парижа, теперь попал в немилость. Я хочу подчеркнуть, что именно связь между социальным реформаторством и планированием сегодня сходит на нет. Период эффективной социальной политики центральных и городских правительств закончился. Закончилось, по-видимому,

и время, когда архитектура использовалась для стабилизации социальных отношений. Бесчисленные школы, больницы и жилые кварталы, возведенные повсеместно в Европе и Америке в первые десятилетия после Второй мировой войны, хоть и подверглись впоследствии критике, должны быть поняты как выполнявшие очень важную социальную функцию — сообщать человеку чувство принадлежности к кругу равных себе. Человек мог жить в «спальном» районе вместе с десятками тысяч себе подобных, тесниться на тридцати метрах с родителями, и ближайшее будущее его не то чтобы радовало, но у него, как и у многих, все же было ощущение включенности в происходящее.

Сегодня, когда кризис социальной политики приводит к резкой поляризации городов (и в городах), проживание в некоторых районах и городках становится стигмой. «Депрессивные» города у нас, этнические пригороды европейских и американских столиц похожи в том, что их обитатели знают друг о друге много не делающего чести, стыдятся того, кто они сами и где вынуждены жить, лишены достойных способов самоуважения и уважения со стороны других и вместе свидетельствуют о том, что современные общества не знают, что делать с большими группами «невписавшихся» людей. Однако размах городской бедности в Америке шире, чем в Европе, и комментаторы правы, объясняя это своеобразным характером политической системы, которая, предоставив проблемные зоны и целые города самим себе после волнений 1960-х годов, сориентирована на интересы белого и состоятельного большинства. Ждет ли Россию подобное будущее? Станет ли мир в целом «планетой трущоб», как явствует из прогноза Майка Дэвиса, который именно так назвал свою последнюю книгу?

Сколько восторгов и надежд было высказано в предшествующие несколько десятилетий в связи с успехом информационных технологий! Экономическая и культурная жизнь виделась освобожденной от нужды в пространственной близости и концентрации. Горожане, предсказывал, к примеру, Алвин Тоф-

флер в 1980-е годы, смогут переехать за город, в «электронный коттедж», связанный со всем миром совершенными коммуникационными сетями. Высококвалифицированный профессионал, будь это архитектор или финансовый аналитик, переводчик или страховой агент, продавец или программист, то есть обладатели тех профессий, работа которых связана, условно говоря, с обработкой информации, работая не снимая пижамы в пригородном доме, виделись энтузиастам этого сценария избавленными от стрессов офисной работы и городской скученности. Контакты «лицом к лицу» понимались как уступающие по значимости членству индивида в социальных сетях и многочисленным разновидностям виртуального опыта. «Глобальная деревня» Маклюэна тоже была выражением убеждения, что традиционные города исчезнут. Поль Вирильо заявил, что отношения по месту жительства исчезнут в новом технологическом пространстве-времени, где и будет происходить все самое главное. Однако пристальный взгляд на развитие глобальных городов, на экономические социальные сети убеждает в обратном: информационные технологии особенно активно используются для усиления центрального положения лидирующих экономических «узлов». Работа в команде или поблизости друг от друга гарантирует доверие (или его подобие), без которого невозможно представить современную экономическую социальность, так что именно ради контактов «лицом к лицу» люди переезжают в столицы и едут в командировки. С другой стороны, реальность «информационного города» показывает, что соединение развития городов и информационной революции принесло очевидные выгоды прежде всего капиталу. «Кибербустеризм», под обаяние которого мы часто попадаем, скрывает крайнюю неравномерность распределения преимуществ информационной революции. Городские власти на интернет-порталах, конечно, предлагают задавать вопросы и даже вносить предложения, но очевидность использования IT-благ в интересах городских «машин роста» бесспорна.

Серьезные изменения, которые претерпевают сегодня города, только набирают скорость. Подытожим ключевые тенденции, которые эти изменения вызывают (и над которыми специалисты по городам продолжают размышлять).

1. *Глобализация.* От города как достаточно автономного образования через город как компонент национального государства к сети городов, существенно отличающихся по включенности в мировую экономику и по «свободе» от национально-государственных ограничений, — таков главный вектор перемен. Он предполагает осмысление городов на пересечении всемирного, национального и местного масштабов и в контексте роста неравенства между «глобально успешными» городами и всеми остальными.

2. *Деиндустриализация и постиндустриализация (постфордизм).* Город, который был организован вокруг нужд промышленности и восстановления рабочей силы фабрик и заводов, уступает место городу торговых центров, разнообразного сервиса, скоростных дорог, «сообществ за воротами» и других новых вариантов организации жилищ. Большой объем промышленного производства — в соответствии с идеологией «аутсорсинга» — перемещается в страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, но и возникающие там мегагорода далеки от описанных традиционной теорией промышленных городов.

3. *Динамика концентрации и рассредоточения.* «Центральность» крупных городов делает их местами повышенной экономической активности, привлекательными для проживания местами, зонами повышенной креативности и плотных социальных связей. Другие крупные города в то же время развиваются по пути «полицентричности» и рассредоточения предприятий, сервиса, жилых районов. Потоки людей, каждый день устремляющихся на работу и домой, — главное следствие пространственного рассредоточения городов, их «расползания» все дальше и дальше в пригороды. Сотни миль, которые работники всего мира наматывают по транспортным коридорам

между провинциями и штатами, делают современные городские образования очень непохожими на описанные ранними урбанистами. Экономические, технологические, экологические, социальные, эмоциональные проблемы, связанные с исчезновением во многих регионах традиционной городской моноцентричности, только начали описываться урбанистами.

4. Неолиберализация социальной политики. Усиление соревнования между городами в рамках глобальной экономики вызывает переориентацию политики городских правительств. Происходит переход от города, озабоченного социальным воспроизводством жителей, к городу-предпринимателю. Превышение объема вложений в социальную политику не может себе позволить ни одно городское правительство. Результат — нарастание социального напряжения, фрагментации, поляризации.

5. Рост моральной двусмысленности. Умножение связей горожан с тем и теми, что и кто выходит далеко за пределы их города, ставит под вопрос понимание города как места жизни коллектива. Вынужденный переход многих людей от долговременной занятости к кратковременной лишает их способности развивать чувство солидарности с ближними. Либеральные идеи толерантности сосуществуют с враждебностью, страхом, недовольством, которые многие «хронически» испытывают в городах. В то же время «нормативное» измерение городского существования, то есть идеи справедливости, «хорошей жизни», солидарности, почти некому представлять и исследовать.

6. Экологические проблемы. Загрязнение атмосферы и глобальное потепление привлекают внимание к «экологическому отпечатку» крупных городов. Остановить негативные процессы можно, только если пересмотреть способы осуществления городской жизнедеятельности, прежде всего энергоснабжения. С другой стороны, сегодня очевидна уязвимость городов перед лицом природных катаклизмов, так что необходимо комплексное обсуждение глобального изменения климата и процессов урбанизации.

Эд Соджа заявил в своей книге «Постметрополис», что «наше время — и наилучшее и наихудшее для изучения городов: хотя нашего ответа ждут столь много новых и сложных тенденций, сегодня между нами гораздо меньше, чем в прошлом, согласия в том, как наилучшим образом теоретически и практически осмыслить создаваемые новые городские миры». Преодолеть это неблагоприятное стечение обстоятельств можно, если сбавить темп и, оглянувшись на лишь по видимости «сброшенные с корабля современности» теоретические контексты и традиции, попытаться найти в них перспективные стратегии. Одна из них — компаративная урбанистика: необходимо отыскивать различия и помещать непохожие города в общую теоретическую картину, учитывая, что европейский город — только один из множества вариантов городов. Вторая стратегия — материальность и пространственность городов, состоящие из мобильности вещей и людей, потоков, сетей и связей. Третья — «местные», «по месту жительства» исследования городов и отдельных аспектов их функционирования, при условии что опыт других городов и моменты взаимосвязи между городами, даже далеко отстоящими, не будут забыты. Тогда несопоставимость результатов, обусловленная разрывами и расколами современной урбанистики, уступит место интересно описанному разнообразному опыту, в том числе «исключенных» людей и мест. Ведь не секрет, что пока в описаниях «незападного» городского опыта, в том числе российского, преобладают всего два параметра: географический и экономический. Власть, неравенство, расизм, мутирующий капитализм — все это очень важные измерения городской жизни, но рано или поздно наступает очередь сравнения именно городского опыта. И здесь нас подстерегают свои иерархии, проявляющиеся в том, что и «космополитизм», и «витальность», и «креативность» зарезервированы, если судить по литературе, лишь за считанными городами. Даже «повседневность» изучена на примере тех городов, которые сегодня успешно стали глобальными, но и прежде манили к себе весом написанного

и сказанного о них. Универсален ли описанный в этих городах опыт? Или, возможно, правы те авторы, кто, забыв о провинциальной уязвленности, терпеливо описывают различные группы горожан и их практики? Интерес к тому, что делает различным городской опыт для различных категорий обитателей, может основываться на идее «права на город». Одно из ее возможных пониманий состоит в том, что связь городского окружения и идентичности горожанина зависит от степени вовлеченности человека в городскую жизнь. Уют, гармония и «витальность» столиц включают в себя и те очевидные моменты, что здесь кто-то властвует, а кто-то не знает, куда себя деть, не имея работы уже несколько лет подряд. Серьезной победой урбанистов последнего поколения, кто с «запаханным лицом» сам проводит полевые исследования, является убеждение в сохраняющейся возможности критического анализа городского опыта. Хотя не секрет, что певцы урбанистической креативности вроде Ричарда Флориды имеют больше шансов популяризовать свои идеи и самих себя.

Интерпретациями мы живем, и интерпретации мы производим. Они заведомо неполны и субъективны: городская реальность разнообразна и текуча. В этой книге шла речь только о некоторых сторонах практик управления, форм коммуникации, социальных отношений, институтов, которые, взаимодействуя, образуют город — в тесной связи материальных процессов и дискурсов, метафор и повествований, с помощью которых осмысливается современный городской опыт.

Список основных понятий и терминов

Аутсорсинг — политика, проводимая странами «первого мира» по выносу производств в регионы относительно недорогой рабочей силы для того, чтобы компенсировать дефицит дешевого труда у себя дома.

Бесчувственное равнодушие, блазированность — термин, введенный Георгом Зиммелем для обозначения психологических особенностей и даже типа личности горожан, сложившихся в начале XX века. Это особое культурное приспособление, которым индивиды защищают себя, вытекает из постулируемой Зиммелем неспособности взаимодействовать лицом к лицу с тем обилием людей, что они видят каждый день. Эмоциональная энергия слишком легко и напрасно бы исчерпалась, захоти городские обитатели близко к сердцу принимать многочисленные контакты, на которые их обрекает город. Гораздо более психологически экономны игнорирование окружающих, избегание контакта с ними. Средство самозащиты — тип личности, каким субъект становится, усвоив социальную логику, лежащую за этим хаосом: сосредоточенность на своих интересах и равнодушие к социальным процессам.

Биотическая борьба — термин чикагского автора Роберта Парка, введенный для обозначения бессознательного соревнования и приспособления групп людей, приводящего к тому, что различные социальные функции закреплялись за самыми подходящими участками пространства, наблюдаемого им в родном Чикаго 1920-х годов. Те виды активности, которые функционально более всего подходили для данного места,

постепенно в этом месте воцарялись, вытесняя другие активности, которым необходимо было искать для себя другие места.

«Бонавентура» — отель в Лос-Анджелесе, превращенный Фредериком Джеймисоном в эмблему постмодернистской культуры. Новые коммуникационные технологии усиливают мобильность капитала, который словно теряет вес и определенное местонахождение, а его усиливающиеся фрагментация и эфемерность отражаются в новых культурных предпочтениях. Отражаются в том числе и буквально: в зеркальном стекле, которым облицовано здание. Отель «Вестин Бонавентура» останется в истории как место, которое посетило рекордное число звезд-интеллектуалов (Анри Лефевр, Жан Бодрийяр, Майк Дэвис и другие), а также просто любопытствующих (автор этой книги).

Брендинг городов — комплекс мер, предпринимаемых городскими властями для повышения конкурентоспособности города. Понятие, которое используется взаимозаменяемо с маркетингом городов, но с конца 1990-х годов начинает употребляться чаще. У города тогда есть шанс стать брендом, когда, во-первых, хорошо поняты и известны его «продаваемые» отличия и, во-вторых, разработана совокупность маркетинговых мер, которые эти отличия используют.

Бустеризм (от англ. *boost* — расширять, проталкивать, рекламировать) — продвижение стратегии быстрого развития города любой ценой. В этой деятельности объединяются амбициозные мэры, предприниматели, владельцы недвижимости и узлов транспорта.

Гендерные отношения в городе — предмет исследований феминистских урбанистов. Их ранние представители искали в городе проявления патриархального структурирования пространства, а более поздние авторы стремятся разработать менее прямолинейные подходы, сосредоточиваясь на связи материального, социального и символического измерений городской жизни. Город и гендер пересекаются, создавая непохожие сочетания возможностей и закрепощенности для разных групп мужчин и женщин. Городские места, в которых воплощены доминирующие социальные отношения, либо по-

зволяют, либо препятствуют нам увидеть, где именно в социальном пространстве мы помещаемся. Их неотъемлемые характеристики — сексизм, расизм и эйджизм.

Гибридность культурная — термин, сложившийся в постколониальных и культурных исследованиях для обозначения результатов культурных обменов. Культурные гибридности возникают во времена исторических трансформаций и под контролем тех, кто властвует: они поощряют только ту гибридность, которая их удовлетворяет. С другой стороны, возможна такая гибридность, в которой культурные различия взаимодействуют неиерархически.

Глобализация — система социальных отношений производства и воспроизводства, основанных на неравномерном развитии регионов. Мировая капиталистическая экономика обеспечивает присвоение результатов прибавочного труда в такой системе эксплуатации, которая охватывает три ступени: центр, полупериферия, периферийные страны. Глобализация — это процессы, в которых национальные государства и их интересы вплетаются в сеть транснациональных акторов (корпораций, международных организаций) и подчиняются их властным возможностям, их ориентации и идентичности. Глобализация — сконструированный дискурс, что открывает возможность ее различных прочтений, различных реакций на нее. В зависимости от конкретной истории региона или места в нем складывается специфическое «прочтение» глобализации.

Глобальные города — города, в которых сконцентрировано управление мировой экономикой. Главные из них — Лондон, Нью-Йорк и Токио. Стремительный рост глобальных городов начиная с 1970-х годов обусловлен требованиями транснационального капитала, циркулирующего в банковском деле, аудите, рекламе, финансовом менеджменте и консалтинге, а также деловом праве. Глобальный контроль капитала возможен только на основе особых мест — городов с их «агломеративными экономиками», технологически-институциональными системами, организацией производства и так далее. Глобальные города представляют собой одновременно: 1) базы для глобальных операций ТНК; 2) места производства и рын-

ки; 3) лидеров иерархии городов, занимающих в ней места в силу своих различающихся ролей в мировой экономике.

Город — тип поселения, обычно определяемый в соответствии с размером населения или административным статусом. В наши дни город понимается не как статичная категория, но как динамичное образование, связанное с социальными процессами, посредством которых и создаются городские пространства. Географы и урбанисты стремятся мыслить города как часть неравномерных и неравноправных социальных отношений, структурирующих общества. Поэтому в изучении материальных и символических ландшафтов, спорах по поводу идентичностей городов часто на первый план выходят проблемы власти и политики.

Город как экосистема — концепция английского физического географа Иэна Дугласа (1981). В ее основе — простой аргумент: город, вбирая в себя одни вещества, выделяет другие. Поглощая энергию и воду, город порождает шум, изменение климата, загрязнение воздуха, отходы жизнедеятельности людей и мусор. В то же время в городах все природные, «встроенные» стабилизаторы экосистем либо уничтожены, либо разрушены. Чтобы уменьшить непредсказуемость своего существования, люди возвели здания для защиты от стихии, трубы и очистные сооружения для регуляции потоков воды, улицы и транспорт для коммуникации, социальные институты для регулирования «природных» человеческих страстей. Но сегодня обнаруживается, что эти артефакты и организации более не способствуют стабильности. Город как экосистема сам оказывается источником беспорядка в окружающей среде.

Городская природа, социоприрода и социоэкология — понятия, введенные в 1990-е годы для обозначения городов как гибридов природы, технологии и архитектуры, а также социальности природы, ее трансформации в соответствии с представлениями властей предержащих.

Городская экология — так называется подход к изучению городов, сложившийся в рамках чикагской школы (не путать с *экологией городов*, которую тоже часто именуют городской экологией). В нем биологизм сочетался с эволюционизмом, а социальность городской жизни виделась укорененной в мате-

риальной среде. Устойчивые способы воспроизводства социальной жизни в городах понимались этими авторами с отсылкой к естественным *силам*, действующим помимо сознания людей. Социальная организация мыслилась как результат неосознанной эволюции.

Городское правительство (*urban government*), городское управление (*urban governance*). Первый термин — *городское правительство* — подчеркивает, что традиционно управление городом велось из единого центра, который сам был встроен в иерархию вышестоящих правительств и воплощал вертикальный принцип управления. Второй термин куда более сложен, им обозначают *процесс управления городом*, в который вовлечены разнообразные *партнерства*. Он относится к «сетям», вовлеченным в принятие решений и достижение консенсуса. Если управление городской жизнью, ведущееся городским правительством, исходит из одного центра, иерархично и предполагает директивный стиль, то управление городской жизнью со стороны партнерств полицентрично и горизонтально. Другое отличие, которое фиксируют эти термины, заключается в том, что городское правительство более или менее одинаково повсюду, тогда как в рамках городского управления конкретное сочетание институтов, которые городское правительство привлекает к принятию решений и от которых просто зависит, может меняться. В любом случае тенденция, которую маркирует само это терминологическое различие, заключается в *расширении числа инстанций, участвующих в управлении городом*: бизнеса, некоммерческих организаций, массмедиа, наднациональных институтов (например, Европейского союза) и так далее.

Городской режим — понятие, обозначающее неформальные управляющие коалиции, реально принимающие решения и определяющие городскую политику, то есть «формальные и неформальные соглашения, на основе которых общественные органы и частные интересы действуют вместе для принятия и исполнения управляющих решений» (К. Стоун).

Децентрализация городов — процесс, начавшийся в 1980-е годы и активно продолжающийся в настоящее время, выражаясь в росте пригородов, часто по площади сильно

превосходящих первоначальное «ядро», что сопровождается переносом за город компаний и торговых центров, тематических парков развлечений и заводов. Ряд авторов считают, что именно этот процесс существенно проблематизирует представление о городе как моноцентричном образовании. Особенно активны здесь представители лос-анджелесской школы урбанистики, которые на примере «своего» города доказывают, что постмодерный город — это децентрированное и, по сути, слившееся с территорией части штата (Южной Калифорнией) образование.

Джентрификация — «производство» городского пространства для состоятельных жильцов. Этот процесс, имея классовую подоплеку, неразрывно связан с несправедливостью. Для исследователя он представляет собой дилемму: описывать (и таких исследований большинство) вкусы и пристрастия новых обитателей этих кварталов и районов — среднего класса — или пытаться включить в обсуждение мнения пострадавших.

Термин *джентрификация* (*gentrification*) был введен в 1960-е годы британским социологом Рут Глас. Отсылка к дворянству — *gentry* — использована в нем, не без иронии, для обозначения переделки бедных и рабочих городских кварталов для вкусов и нужд более состоятельных людей.

Естественный ареал — термин, введенный членами чикагской школы для обозначения социальных пространств, возникающих в ходе «естественного» экологического развития города в противоположность запланированному развитию.

Имиджиниринг (*imageering*) — термин, введенный американским географом Чарльзом Руттейзером в книге о том, как городские власти Атланты «продавали» город в канун и во время Олимпийских игр 1996 года, и используемый для обозначения избирательной манипуляции символическими ресурсами со стороны городских властей.

Коммодификация пространства — процесс, определяющий существование капиталистического города и связанный прежде всего с превращением городской земли в актив, который может быть продан или куплен.

Концентрических зон теория — теория чикагского автора Эрнеста Берджеса, запечатленная в схеме концентриче-

ских зон роста города и его социальной организации. Берджес выделяет пять зон: 1) центральный деловой округ; 2) передельваемая зона, или «зона транзита», в которой старые частные дома перестраиваются и приобретают иные функции, прежде всего коммерческие и жилые; 3) зона домов «независимых рабочих»; 4) зона «домов получше»; 5) зона ежедневных пассажиров. Поскольку эта схема призвана была проиллюстрировать *социальную и моральную* организацию городского пространства, Берджес уделяет особое внимание «зоне транзита», с ее кварталами богемы, районами «красных фонарей», «миром меблированных комнат», чайнатаунами, как самой проблемной. С его точки зрения, достаточная удаленность зоны от центра города была эквивалентна гарантии социальной нормальности.

Культурные исследования — междисциплинарное поле исследований современной культуры, связанных с такими вопросами, как культурные идентичности и массмедиа, культурные тексты, деятельность культурной власти, потребление культурных продуктов, связь между массовой, национальной и глобальной культурами, циркулирование, воздействие и рецепция культуры в повседневной жизни.

Лос-анджелесская школа — группа калифорнийских исследователей, которая, опираясь на случай Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии, изучает города «последнего поколения», именуемые в литературе постиндустриальными или постмодернистскими.

Марксистская урбанистическая политическая экология — вариант осмысления экологических проблем в городе, развитый британским географом Эриком Суингеду. Ее главный тезис в том, что материальные условия городской природы контролируются и манипулируются в интересах элиты за счет маргинализированных слоев населения. Эти условия, в свою очередь, зависят как от социальных, политических и экономических процессов, так и от культурных конструкций и репрезентаций, определяющих, что понимается под «городским» и «природным».

«Машина роста» — коалиция элит, нацеленная на извлечение прибыли из городской земли и всего, что на ней возведе-

но, с использованием идеологии роста. Термин введен американским социальным теоретиком Харви Молочем, выделившим три компонента «машины роста»: 1) коалиция элит; 2) лоббирование элитами роста как отвечающего их долгосрочным экономическим интересам; 3) диспропорции в выгодах от роста.

Ментальные карты города — результаты практического, а потому неизбежно субъективного картографирования города, имеющиеся у каждого горожанина. В них отмечены самые часто используемые маршруты, памятные для данной личности места, места, в которые хотелось бы перебраться, опасные и безопасные, места работы и места удовольствия. Методологию ментальных карт активно использовал в 1960—1970-е годы бостонский урбанист Кевин Линч, анализируя восприятие горожанами Бостона. Линч интересно пишет, что есть города, предоставляющие замечательный материал для их познания обитателями (и Бостон один из таких городов), а есть «скучные» в этом смысле города.

Мобильность — ключевая характеристика городской жизни, изучаемая транспортной географией и в рамках «парадигмы мобильностей», согласно которой города организованы множественными формами движения, ритма и скорости. Мобильность понимается, во-первых, как эмпирическая данность, которую можно проследить и измерить, во-вторых, как центральная характеристика современного мира, близкая по смыслу в одних случаях свободе и креативности, в других — глобализации, в-третьих, как способ чувственного, практического, воплощенного обитания в мире.

Мультикультурный капитализм — капитализм, основанный на производстве/воспроизводстве культурного разнообразия и на маркетинге экзотических общностей.

Неолиберализм — возникший в 1960-е годы социально-экономический проект (и сопутствующая ему идеология), соединяющий либеральные идеи с акцентом на экономическом росте, то есть выдвигающий экономический либерализм в качестве средства экономического развития. Основан на приоритете соревнования индивидов, городов и регионов, децентрализации, дерегуляции и приватизации промышленности,

земли и системы социальной защиты. Продвигает специфический вариант субъективности, основанный на идее о личной, и только личной ответственности индивида за собственное благополучие и выдвигающий на первый план такие варианты идентичности горожанина, как потребитель и клиент.

Новый локализм — термин, фиксирующий реакцию городских правительств на процессы глобализации. Создание и увеличение городских активов мыслится как самый надежный путь включения города в международное разделение труда. Растут альянсы мэров, муниципалитетов, владельцев недвижимости и иного динамичного бизнеса, представляя собой коалиции роста. «Новый локализм» проявляется в том, что почти каждый город хочет занимать заметное место на карте глобализации, то есть привлекать зарубежные инвестиции, а потому тратит большие средства на свой маркетинг (брендинг).

Поляризация — тенденция развития городов, состоящая в сосуществовании в них групп людей, сильно отличающихся по уровню доходов, участию в разделении труда, расовым и гендерным признакам. В настоящее время это понятие, с одной стороны, подвергается критике как не позволяющее отразить динамику складывания и взаимоналожения социальных и культурных различий, с другой стороны, активно привлекается для описания последствий неолиберальной городской политики.

Постколониальные исследования — часто включают в себя: 1) обсуждение опыта рабства, миграции, угнетения и сопротивления, различия, расы, гендера, места и их материальных последствий; 2) анализ реакции на дискурсы и идеологии имперской Европы (исторический дискурс, антропологический, философский, лингвистический). Они занимаются как анализом условий жизни и культуры в бывших колониях, так и условиями жизни людей в диаспорах.

Постмодерный город — понятие, которым оперировали культурные географы и урбанисты в конце XX века. Одна из немногих попыток дать его основные характеристики принадлежит Эду Содже. Он считает, что такой город, во-первых, «региональный», во-вторых, постфордистский, в-третьих, «мировой», в-четвертых, «дуальный», то есть состоящий из поляри-

зованных сообществ, в-пятых, «дисциплинирующий», то есть включающий в себя активно контролируемые места («сообщества за воротами» и тюрьмы — два примера таких мест), и, в-шестых, «город-симулякр», в котором производится гиперреальность и царит потребление.

Постфордизм — система промышленного производства, связанная с переходом к так называемой горизонтальной организации (по контрасту с «вертикальной», характерной для фордизма). Если фордизм предполагал производство какого-то продукта силами одной компании, то постфордизм основывается на размещении заказов на производство компонентов продукта среди сети небольших компаний. На постфордистском предприятии не хранятся большие запасы частей или готового продукта, так как эффективно организована логистика. Близость рабочей силы к месту производства уступает место другому приоритету: снижению затрат на стоимость труда, вот почему постфордистские компании активно занимаются «аутсорсингом», размещая трудоемкие производства в развивающихся странах, где труд дешев.

Пространственная фиксация (*spatial fix*) — термин Дэвида Харви для обозначения той тенденции, что городское пространство стало главным способом закрепления капитала. Пространство — абсолютное условие всего производства и всего потребления, и оно должно все активнее расширяться, чтобы соответствовать логике капиталистического роста. Но пространство может стать и барьером на пути получения прибыли и капиталовложений. Присущая капиталу тенденция ускорять время своего обращения и уничтожать пространственные препятствия своей циркуляции обуславливает создание относительно стабильных и неподвижных пространственных образований. Каждая фаза капиталистического развития укоренена в особой форме территориальной организации — «второй природе», состоящей из инфраструктуры (включающей транспорт, иные коммуникации, институты управления и так далее), через которую капитал может циркулировать. Этот момент территориализации возможен за счет долговременных инвестиций в землю и здания, которые в ходе каждого кризиса накопления переоцениваются. Пространственная

фиксация — это попытки вернуть капиталу его прибыльность, что выражается в новой конфигурации капитала и городского пространства, возникающей после каждого кризиса.

Седентаризм — точка зрения, отдающая предпочтение оседлому и неподвижному образу жизни перед кочевым и подвижным и присущая «сидящему обществу» (Т. Ингольд), каким, возможно, остается современное общество вопреки обилию «мобильных» его репрезентаций.

Символическая экономика — понятие, введенное американским урбанистом Шарон Зукин для обозначения использования культурных символов предпринимательским капиталом. Для городов культура — бизнес, а культурная экономика — значимый сектор экономики в целом. Культурные формы оказываются встроенными в производительную деятельность, а культура в целом подвергается различным вариантам коммерциализации и коммодификации. Зукин выделяет три разновидности символической экономики. Первая — манипулирование символами привилегированности и исключенности. Вторая используется теми, кто «продвигает» конкретные места и получает прибыль, привлекая символы их роста и подъема. Третья — строительство музеев, парков, архитектурных «икон» городской элитой с филантропическими и рекламными целями.

Социальный дарвинизм — термин, возникший в конце XIX века для выражения идеи, что люди, подобно животным, борются за существование и что в основе социальной эволюции — соревнование между индивидами, социальными группами, нациями и идеями.

Социальный конструктивизм — теория, методология, парадигма, настаивающая на том, что научное знание производится учеными, а не определяется структурами внешнего мира. Противопоставляет себя эссенциализму — установке на объяснение фактов с опорой на универсальные неизменяемые сущности. Общую для этой парадигмы логику хорошо описал Ян Хакинг. Пусть x — некое явление, тогда социальный конструктивист скажет, что x не следовало существовать или быть таким, каково оно сейчас. Он рассуждает так: 1) x , или x в его настоящем виде, не обусловлено природой вещей, оно не не-

избежно. Иначе говоря, *x* возникло или сформировано событиями, силами, историей, которые могли бы повернуться совсем иначе; 2) *x* в его настоящем виде плохо; 3) было бы лучше, если бы *x* не было или, по крайней мере, оно было бы радикально изменено.

Транснациональное социальное пространство — термин, введенный немецким социальным теоретиком Людвигом Рисом: «...конфигурация социальных практик, артефактов и символических систем, которые простираются между различными географическими пространствами по крайней мере двух национальных государств без создания нового “детерриторизированного” национального государства». В этих пространствах место эмиграции и место иммиграции связываются во что-то третье (мексиканские иммигранты в Америке сохраняют многочисленные связи на родине). Говорят также о транснациональных сетях, мигрантах, идентичностях. Понятие оспаривает традиционную привязку общностей к одному определенному месту и постулирует возможность жить и действовать одновременно «здесь и там», «не только, но и».

Транснациональные корпорации (ТНК) — компании, действующие более чем в одной стране так, что руководство ими осуществляется из одного региона, а производство размещено в другом.

Эпистемология урбанистическая — термин, используемый рядом авторов для фиксации проблем и сложностей познания городской реальности, а также взаимодействия разнородных занимающихся городом систем знания.

Фланер — термин, популяризированный Вальтером Беньямином для описания гуляющего горожанина, заинтригованного драмами городской жизни, ценителя ее тайн и удовольствий.

Фордизм — система промышленного производства, названная по имени основателя автомобильной компании Генри Форда, для которой характерно, во-первых, массовое производство определенного продукта силами одной компании; во-вторых, проживание рабочих неподалеку от завода; в-третьих, привязка определенных типов производства к конкретным городам.

Фрагментация города — понятие, активно используемое исследователями городских сообществ для фиксации процесса ослабления социальных связей, недостатка «социального капитала», то есть сплоченности, в сообществах «проблемных» социальных групп, часто обитающих на периферии города. Дезорганизация и расщепленность населения по расовому, половому, этническому, профессиональному признакам усиливается разнородностью мест, в которых оно проживает.

Франкфуртская школа — возникла на основе Института социальных исследований, созданного по инициативе Макса Хоркхаймера во Франкфурте-на-Майне в 1923 году. Приход нацистов к власти обусловил переезд ее членов в США. Членов школы объединяло стремление создать критическую теорию на основе идей Маркса и других представителей немецкой философии.

Чатал-Хююк (VII — первая половина VI тыс. до н. э., Турция) — крупный населенный пункт, раскопанный в 1960-е годы. Сегодня признано, что это первый значительный городской центр, сыгравший ключевую роль в раннем развитии сельского хозяйства и многих других технологических, социальных и художественных инноваций. Раскопал его английский археолог Джемс Мелларт, который в 1964 году опубликовал в журнале «Scientific American» статью «Неолитический город в Турции», где написал, что население Чатал-Хююка составляло 10 тыс. Эд Соджа в книге «Постметрополис» делает Чатал-Хююк начальной точкой «урбанистической революции», призывая переосмыслить традиционную картину возникновения городов после развития сельскохозяйственных культур. Город и городская жизнь возникли, считает он, раньше земледельческого общества, созданные «эгалитарными собирателями», охотниками и торговцами. Относительная открытость городского плана, отсутствие монументальных фортификаций (таких, как в Иерихоне), тот факт, что среди множества скелетов, раскопанных здесь, ни один не носил следов насильственной смерти, — все это указывает на мирную природу города и его продуктивное существование в течение почти тысячелетия, усиленные социальной властью женщин. На одной из стен старейшего святилища была найдена фрес-

ка — первый в мире образец городской панорамы — 75 зданий со слабо извергающимся вулканом на заднем плане. Этот рисунок оставался единственным изображением человеческого ландшафта в течение последующих 7 тыс. лет.

Чикагская школа — группа социологов, работавших в 1920—1930-е годы в Чикагском университете и осуществлявших исследования города, объединяя теорию и полевую работу.

Экологический отпечаток города — площадь, обеспечивающая его жизнедеятельность, и мера «нагрузки» на природу, которая возникает в результате удовлетворения разнообразных потребностей городских обитателей. Так, экологический отпечаток Лондона в 293 раза превышает его площадь. Сегодня считается, что социоэкологический след городов планеты стал глобальным.

Содержание

ОТ АВТОРА	5
ВВЕДЕНИЕ. «Их» и «наши» города: сложности изучения	8
Урбанистическая и социальная теория. Объект исследования по месту жительства и в путешествии: немного о российской урбанистике. Задачи и план книги	
ГЛАВА 1. Классические теории города	41
Уравнение Георга Зиммеля. Эволюционный витализм Зиммеля. Техники жизни в городе. Бремя культуры. Продуктивность антипатии. Значимость исследовательской оптики. Чикаго как место производства урбанистического знания. Городская экология. Критика чикагской школы. Уроки чикагской школы	
ГЛАВА 2. Неклассические теории города	83
Увидеть аквариум: постколониализм и урбанистика. Постколониальные исследования и имперские города. «Неприятная история легко может произойти с ней»: феминизм и город. «Город, который американцы любят ненавидеть» и лос-анджелесская школа. Две самые известные школы урбанистов: попытка сопоставления. Урбанистический милленаризм Майка Дэвиса. Марксистский постмодернизм Эда Соджи и Фредерика Джеймисона	
ГЛАВА 3. Город и природа	134
Природа как «другое» города. Город как экосистема. Экологический архитектурный проект <i>The High Line</i> . Дialectика природы и города. Город-сад Эбенезера Ховарда. Социальные исследования науки и технологии (SSS, SST). Глобальные взаимозависимости. Трубы и микробы. Акторно-сетевая теория. Материальность города и социальная теория. Пастор и оспа. Официальные лица и легионелла. Природа и политика. «Умный рост». Экологическая устойчивость городов	

ГЛАВА 4. Город и мобильность	171
Исследования городского транспорта. Мобильность и политическая мобилизация. «Комплекс мобильностей как сплетения путей, ведущих внутрь и вовне»: взгляды Анри Лефевра. Поль Вирильо: скорость и политика. Критика седентаризма. Движение как основа перформативного понимания пространства и познания. «Поворот к мобильностям». Мобильность и глобальный финансовый кризис. Мобильные методы: следить за местами и прогуливаться с информантами?	
ГЛАВА 5. Город как место экономической деятельности	220
Становление капитализма в европейских городах: идеи К. Маркса и Ф. Энгельса. Идеи современных марксистов-урбанистов. Изменение экономической роли городов при «позднем» капитализме. Шарон Зукин о символической экономике. Культурная экономика городов. Креативные индустрии и креативный город. Занятость в креативных индустриях Нью-Йорка. Европейский город культуры как бренд. Потребление в городах	
ГЛАВА 6. Город и глобализация	270
Кейнсианство. Теории глобализации. История идеи глобализации. Мировые города и глобальные города. Основные теоретики глобализации. Критика теорий глобальных городов. Глобальные города и государственная политика. Макро/микро, локальное/глобальное. Джентрификация в России и Москве. Джентрификация: как «новая аристократия» преобразила кварталы бедноты. Джентрификация как глобальная стратегия. Брендинг городов	
ГЛАВА 7. Городская политика и управление городом	314
Элитарные и плюралистские модели. Теория машины городского роста. Теории городских режимов. Институциональные теории. Городское правительство и городское управление. Городская политика и глобализация. Городские социальные движения	
ГЛАВА 8. Социальные и культурные различия в городе	356
Чарльз Бут — один из первых исследователей городских различий. Многочисленное разнообразие: Луис Уирт и Аристотель. Послевоенная городская этнография о го-	

родских различиях и отношении к ним. Генераторы разнообразия: Джейн Джекобс. Улицы Джейн Джекобс. Город иммигрантов. Социальная сегрегация и поляризация. «Геттоизация» и бедность

ГЛАВА 9. Город и повседневность 403

Город как место и время повседневности. Улицы как места обитания коллектива: Вальтер Беньямин. Эстетическое и повседневное. Повседневность как пространство спонтанности и сопротивления: Анри Лефевр и Мишель де Серто. Музей наизнанку: «призраки» исчезнувшей повседневности посреди повседневности настоящей. Репрезентируемое и нерепрезентируемое в повседневности

ГЛАВА 10. Город и метафоры 441

Пространство как означаемое и означающее. «О, узнаю этот лабиринт!» и чувство пространства как вместилища. Что люди делают с метафорами. Метафоры и риторические основания науки. Базар, джунгли, организм и машина: классические метафоры города в русскоязычной Сети. Базар при метро. Организм города: хрупкость стабильности. Радиоактивные джунгли и инспекторы-лемуры. Город как машина и город машин. Некоторые итоги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Будущее городов 494

Список основных понятий и терминов 503

Трубина Елена Германовна
ГОРОД В ТЕОРИИ
Опыты осмысления пространства

Дизайнер
А. Рыбаков
Редактор
И. Калинин
Корректор
Е. Абоева
Компьютерная верстка
С. Пчелинцев
Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

В оформлении обложки использована фотография интерьера бывшего ДК им. Дзержинского г. Екатеринбурга, входившего в возведенный в 1929—1936 годы конструктивистский жилой комплекс «Городок чекистов» (Архитекторы И.П. Антонов, В.Д. Соколов). Фото Н. Лозовной.

ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВое ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»»

Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентский ящик 55
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 60×90/16
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 32,5. Тираж 1000. Заказ № 4468
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс
«Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

В книге рассматриваются классические и современные теории городов – от классической чикагской школы до сложившейся в последнее десятилетие акторно-сетевой теории. Значимые идеи урбанистической теории воспроизводятся с учетом специфики постсоветских городов и тех сложностей, с которыми сталкиваются исследователи при их изучении. Книга будет интересна студентам и преподавателям, исследователям и практикам, всем, кого интересует реальность современного города и пути ее постижения.

АНТРОПОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ИСТОРИЯ

ISBN 978-5-86793-823-9



9 785867 938239



Новое
Литературное
Обозрение